А. Фадеев

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

ТОМ
4

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
Ст. Заики

Иллюстрации художников
О. Верейского
и
П. Пинкисевича

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания организации; хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в Молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!

— Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь...

— Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь...

— Я Любовь Шевцова, торжественно клянусь...

. . . .

. . . .

Должно быть, он совсем не понял ее, этот Сергей Левашов, когда пришел тогда к ней в первый раз и постучал в окно и она выбежала к нему, а потом они разговаривали весь остаток ночи,— кто его знает, что он такое себе вообразил!

Во всяком случае, первая трудность в этой поездке у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не предупредив его. Сергей Левашов, еще когда дядя Андрей был на воле, по его совету поступил в гараж дирекциона шофером грузовых машин. Любка послала за ним мальчишку с улицы,—они все дружили с Любкой за то, что она была характером похожа на них.

Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той самой спецовке, в какой он вернулся из Сталино,— спецовок при немцах не полагалось даже шахтерам. Он был очень грязный, усталый, угрюмый.

Допытываться, куда и зачем она едет, это было не в его обычае, но, видно, только это и занимало его весь вечер, и он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием. В конце концов она не выдержала и накричала на него. Что она ему — жена, любовь? Она не может думать ни о какой любви, когда еще так много всего ожидает ее в жизни,— что он такое вообразил, в самом деле, чтобы мучить ее? Они просто товарищи, и она не обязана давать ему отчет: едет, куда ей надо, по семейному делу.

Она все-таки видела, что он не вполне верит в ее занятия и просто ревнует ее, и это доставляло ей некоторое удовольствие.

Ей надо было хорошенько выспаться, а он все сидел и не уходил. Характер у него был такой настойчивый, что он мог всю ночь не уйти, и в конце концов Любка его прогнала. Все-таки ей было бы жалко, если бы он все это время без нее находился в таком мрачном состоянии,— она проводила его в палисадник и у самой калитки взяла под руку, и на мгновение прижалась к нему, и убежала в дом, и сразу разделась и легла в постель к матери.

Конечно, очень трудно было и с мамой. Любка знала, как тяжело будет маме остаться одной, такой беспомощной перед жизненными невзгодами, но маму было очень легко обмануть, и Любка приласкалась к ней и напела ей всякое такое, чему мама поверила, а потом так и уснула у мамы в кровати.

Любка проснулась чуть свет и, напевая, стала собираться в дорогу. Она решила одеться попроще, чтобы не затрепать лучшего своего платья, но все-таки как можно поярче, чтобы бросаться в глаза, а самое свое шикарное платье чистого голубого крепдешина, голубые туфли и кружевное белье и шелковые чулки она уложила в чемоданчик. Она завивалась меж двух маленьких простых зеркал, в которых едва можно было видеть всю голову, часа два, в нижней рубашке и в трусиках, повертывая голову туда и сюда и напевая и от напряжения упираясь в пол то одной, то другой, поставленной накось, крепкой босой сливочной ногой с маленькими и тоже крепкими пальцами. Потом она надела поясок с резинками, обтерла ладошками розовые ступни и надела фильдеперсовые чулки телесного цвета и кромовые туфли и обрушила на себя прохладное шуршащее платье в горошках, вишнях и еще черт его знает в чем ярко-пестром. В это же время она уже что-то жевала на ходу, не переставая мурлыкать.

Она испытывала легкое волнение, которое не только не расслабляло ее, а бодрило. В конце концов она была просто счастлива, что вот и для нее наступила пора действовать и ей уже не придется растрачивать свои силы попусту.

Дня два тому назад, утром, небольшая зеленая машина с продолговатым кузовом, из тех, что доставляли из Ворошиловграда продукты чинам немецкой администрации, застопорила возле домика Шевцовых. Шофер — солдат жандармерии — сказал что-то сидящему рядом с ним солдату, вооруженному автоматом, соскочил с машины и вошел в дом. Любка вышла к нему, когда он уже был в столовой и оглядывался. Он быстро взглянул на Любку, и прежде чем он успел что-нибудь сказать, она по каким-то неуловимым чертам его лица и повадке поняла, что он — русский. И действительно, он сказал на чистом русском языке:

— Не найдется ли у вас воды, залить в машину?

Русский, да еще в форме немецкой жандармерии,— плохо же он разбирался, в чей дом он попал!

— Иди ты в болото! Понял? — сказала Любка, спокойно глядя на него в упор широко открытыми голубыми глазами.

Она, совершенно не подумав, сразу нашла что сказать этому русскому в военной форме. Если бы он попробовал сделать с ней что-нибудь плохое, она бы с визгом выбежала на улицу и подняла на ноги весь квартал, крича, что она предложила солдату взять воду в балке, а он за это начал ее бить. Но этот странный шофер-солдат не сделал ни одного движения, он только усмехнулся и сказал:

— Грубо работаете. Это может вам повредить...— Он быстро оглянулся, не стоит ли кто-нибудь за ним, и сказал скороговоркой: — Варвара Наумовна просила передать, что очень соскучилась по вас...

Любка побледнела и сделала невольное движение к нему. Но он предупредил ее вопрос, приложив к губам тонкие черные пальцы.

Он вышел вслед за Любкой в сенцы. Она уже держала перед собой обеими руками полное ведро с водой, искательно заглядывая шоферу в глаза. Но он не посмотрел на нее, принял ведро и пошел к машине.

Любка нарочно не пошла за ним, а стала наблюдать в щелку непритворенной двери: она надеялась выведать от него кое-что, когда он принесет ведро. Но шофер, вылив воду в радиатор, отшвырнул ведро к палисаднику, быстро сел в машину, хлопнул дверцей, и машина тронулась.

Итак, Любка должна была ехать в Ворошиловград. Конечно, она была связана теперь дисциплиной «Молодой гвардии» и не могла уехать, не предупредив Олега. Правда, она еще раньше сочла возможным намекнуть ему, что у нее есть в Ворошиловграде такие знакомства, которые могут быть полезны. Теперь она сказала ему, что подвернулся подходящий случай съездить. Однако Олег не сразу дал ей разрешение, а попросил немного обождать.

Каково же было ее изумление, когда спустя всего лишь час или два после их разговора на квартиру к Любке пришла Нина Иванцова и сказала, что разрешение дано. Мало того, Нина сказала:

— Расскажи там, где ты будешь, о гибели наших людей, их фамилии и как их зарыли в парке. А потом скажи, что, несмотря на все это, дела идут в гору,— так просили передать старшие. О Молодой гвардии тоже расскажи.

Любка не утерпела и спросила:

— Откуда же Кашук может знать, что там можно обо всем говорить?

Нина с ее осторожностью, обретенной еще во время подпольной работы в Сталино, только плечами пожала, но потом подумала, что Любка и вправду может не решиться рассказать то, что ей поручили. И Нина сказала равнодушным голосом:

— Наверно, старшие знают, к кому ты идешь.

Любка даже удивилась, как такая простая мысль не пришла ей в голову.

Любка Шевцова, как и другие участники «Молодой гвардии», кроме Володи Осьмухина, не знала, да и не пыталась узнать, с кем из взрослых подпольщиков в Краснодоне связан Олег Кошевой. Но Филипп Петрович отлично знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне и с кем она связана в Ворошиловграде.

День был холодный, тучи низко бежали над степью. Любка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего яркий подол ее платья, стояла на открытом ворошиловградском шоссе, с чемоданчиком в одной руке и легким летним пальто на другой.

Немецкие солдаты и ефрейторы с грузовых машин, с воем мчавшихся мимо нее по шоссе, зазывали ее, хохоча и иной раз подавая ей циничные знаки, но она, презрительно сощурившись, не обращала на них внимания. Потом она увидела приближавшуюся к ней вытянутую, низкой посадки светлую легковую машину и немецкого офицера рядом с шофером и небрежно подняла руку.

Офицер быстро обернулся внутри кабины, показав выцветший на спине мундир,— должно быть, кто-то постарше ехал на заднем сиденье. Машина, завизжав на тормозах, остановилась.

— Setzen Sie sich! Schneller! [1] — сказал офицер, приоткрыв дверцу и улыбнувшись Любке одним ртом. Он захлопнул дверцу и, занеся руку, открыл дверцу заднего сиденья.

Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик и пальто, впорхнула в машину, и дверца за ней захлопнулась.

---

[1] Садитесь! Живее! (*нем.*)

Машина рванула, запела на ветру.

Рядом с Любкой сидел поджарый, сухой полковник с несвежей кожей гладко выбритого лица, со свисающими брылями, в высокой выгоревшей от солнца фуражке. Немецкий полковник и Любка с двумя прямо противоположными формами дерзости,— полковник оттого, что он имел власть, Любка оттого, что она все-таки сильно сдрейфила,— смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впереди, обернувшись, тоже смотрел на Любку.

— Wohin befehlen Sie zu fahren? [1] — спросил этот гладко выбритый полковник с улыбкой бушмена.

— Ни-и черта не понимаю! — пропела Любка.— Говорите по-русски или уж лучше молчите.

— Куда, куда...— по-русски сказал полковник, неопределенно махнув рукой вдаль.

— Закудахтал, слава тебе господи,— сказала Любка.— Ворошиловград, чи то Луганск... Ферштеге? Ну, то-то!

Как только она заговорила, испуг ее прошел, и она сразу обрела ту естественность и легкость обращения, которая любого человека, в том числе и немецкого полковника, заставляла воспринимать все, что бы Любка ни говорила и ни делала, как нечто само собой разумеющееся.

— Скажите, который час?.. Часы, часы,— вот балда! — сказала Любка и пальчиком постукала себе повыше кисти.

Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оттянуть рукав на себя, механически согнул ее в локте и поднес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей редким пепельным волосом руке.

В конце концов не обязательно знать языки, при желании всегда можно понять друг друга.

Кто она такая? Она — артистка. Нет, она не играет в театрах, она танцует и поет. Конечно, у нее в Ворошиловграде очень много квартир, где она может остановиться, ее знают многие приличные люди: ведь она дочь известного промышленника, владельца шахт в Горловке. К сожалению, советская власть лишила его всего, и несчастный умер в Сибири, оставив жену и четырех детей,— все девушки, и все очень хороши собой. Да, она

---

[1] Куда прикажете довезти? (*нем.*)

младшая. Нет, его гостеприимством она не может воспользоваться, ведь это может бросить тень на нее, а она совсем не такая. Свой адрес? Его она безусловно даст, но она еще не уверена, где именно она остановится. Если полковник разрешит, она договорится с его лейтенантом, как они смогут найти друг друга.

— Кажется, вы имеете бóльшие шансы, чем я, Рудольф!

— Если это так, я буду стараться для вас, Herr Oberst!

Далеко ли до фронта? Дела на фронте таковы, что такая хорошенькая девушка может уже не интересоваться ими. Во всяком случае, она может спать совершенно спокойно. На днях мы возьмем Сталинград. Мы уже ворвались на Кавказ,— это ее удовлетворит?.. Кто ей сказал, что на Верхнем Дону фронт не так уж далеко?.. О, эти немецкие офицеры! Оказывается, он не один среди них такой болтливый... Говорят, что все хорошенькие русские девушки — шпионки. Правда ли это?.. Хорошо: это случилось потому, что на этом участке фронта — венгерцы. Конечно, они лучше, чем эти вонючие румыны и макаронники, но на них на всех нельзя положиться... Фронт невыносимо растянут, огромное число людей съедает Сталинград. Попробуйте снабдить все это! Я вам покажу это по линиям руки,— дайте вашу маленькую ладонь... Вот эта большая линия — это на Сталинград, а эта, прерывистая, это — на Моздок,— у вас очень непостоянный характер!.. Теперь увеличьте это в миллион раз, и вы поймете, что интендант германской армии должен иметь железные нервы. Нет, она не должна думать, что он имеет дело только с солдатскими штанами, у него нашлось бы кое-что и для хорошенькой девушки, прекрасные вещички, вот сюда, на ноги, и сюда,— она понимает, о чем он говорит? Может быть, она не откажется от шоколада? Не помешал бы и глоток вина, чертовская пыль!.. Это вполне естественно, если девушка не пьет, но — французское! Рудольф, остановите машину...

Они остановились метрах в двухстах не доезжая большой станицы, вытянувшейся по обеим сторонам шоссе, и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на проселок по краю балки, поросшей вербою внизу и обильной травою, уже высохшей, по склону, защищенному от ветра. Лейтенант указал шоферу съехать на про-

селок к балке. Ветер подхватил платье Любки, и она, придерживая его руками, побежала вслед за машиной впереди офицеров, увязая туфлями в растолченной сухой земле, сразу набившейся в туфли.

Лейтенант, лица которого Любка почти не видела, а все время видела только его выцветшую спину, и шофер-солдат вынесли из машины мягкий кожаный чемодан и бело-желтую, мелкого плетения тяжелую корзину.

Они расположились с подветренной стороны на склоне балки на высохшей густой траве. Любка не стала пить вина, как ее ни уговаривали. Но здесь, на скатерти, было столько вкусных вещей, что было бы глупо от них отказываться, тем более, что она была артистка и дочь промышленника, и она ела, сколько хотела.

Ей очень надоела земля в туфлях, и она разрешила внутреннее сомнение, поступила ли бы так дочь промышленника, или нет, тем, что сняла кремовые туфли, вытряхнула землю, обтерла ладошками маленькие ступни в фильдеперсовых чулках и уже осталась так, в чулках, чтобы ноги подышали, пока она сидит. Должно быть, это было вполне правильно, во всяком случае немецкие офицеры приняли это как должное.

Ей все-таки очень хотелось знать, много ли дивизий находится на том участке фронта, который был наиболее близок к Краснодону и пролегал по северной части Ростовской области,— Любка знала уже от немецких офицеров, бывших у них на постое, что часть Ростовской области по-прежнему находится в наших руках. И к большому неудовольствию полковника, который был настроен более лирично, чем деловито, она все время выражала опасения, что фронт будет в этом месте прорван и она снова попадет в большевистское рабство.

В конце концов полковника обидело такое недоверие к немецкому оружию, и он — verdammt noch mal! — удовлетворил ее любопытство.

Пока они тут закусывали, со стороны станицы послышался все нараставший нестройный топот ног по шоссе. Вначале они не обращали на него внимания, но он, возникая издалека, все нарастал, заполняя собой все пространство вокруг, будто шла длинная, нескончаемая колонна людей. И даже отсюда, со склона балки, видны стали массы пыли, несомые ветром в сторону и ввысь от шоссе. Доносились отдельные голоса и выкрики, муж-

ские — грубые, и женские — жалобные, будто причитали по покойнику.

Немецкий полковник, и лейтенант, и Любка встали, высунувшись из балки. Вдоль по шоссе, все вытягиваясь и вытягиваясь из станицы, двигалась большая колонна советских военнопленных, конвоируемая румынскими солдатами и офицерами. Вдоль колонны, иногда прорываясь к ней сквозь румынских солдат, бежали старые и молодые казачки, крича и причитая и бросая то в те, то в другие вздымавшиеся к ним из колонны черные сухие руки куски хлеба, помидоры, яйца, иногда целую буханку или даже узелок.

Военнопленные шли полураздетые в изорванных, почерневших и пропылившихся сверху остатках военных брюк и гимнастерок, в большинстве босые или в страшном подобии обуви, в разбитых лаптях. Они шли, обросшие бородами, такие худые, что, казалось, одежда у них наброшена прямо на скелеты. И страшно было видеть на этих лицах просветленные улыбки, обращенные к бегущим вдоль колонны кричащим женщинам, которых солдаты отгоняли ударами кулаков и прикладов.

Прошло одно мгновение, как Любка высунулась из балки, но уже в следующее мгновение, не помня, когда и как она схватила со скатерти белые булки и еще какую-то еду, она уже бежала, как была — в фильдеперсовых чулках, по этому съезду с размешанной сухой землей, взбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она совала булки, куски в одни, в другие, в третьи протягивавшиеся к ней черные руки. Румын-фельдфебель пытался ее схватить, а она увертывалась; на нее сыпались удары его кулаков, а она, нагнув голову и загораживаясь то одним, то другим локтем, кричала:

— Бей, бей, сучья лапа! Да только не по голове!

Сильные руки извлекли ее из колонны. Она очутилась на обочине шоссе и увидела, как немецкий лейтенант бил наотмашь по лицу румынского фельдфебеля, а перед взбешенным полковником, похожим на поджарого оскаленного пса, стоял навытяжку офицер румынской оккупационной армии в салатной форме и что-то бессвязно лепетал на языке древних римлян.

Но окончательно она пришла в себя, когда кремовые туфли снова были у нее на ногах и машина с немецкими офицерами мчала ее к Ворошиловграду. Самое удиви-

тельное было то, что и этот поступок Любки немцы приняли как само собой разумеющееся.

Они беспрепятственно миновали немецкий контрольный пункт и въехали в город.

Лейтенант, обернувшись, спросил Любку, куда ее доставить. Любка, уже вполне владевшая собой, махнула рукой прямо по улице. Возле дома, который показался ей подходящим для дочери шахтовладельца, она попросила остановить машину.

В сопровождении лейтенанта, несшего чемодан, Любка с перекинутым через руку пальто вошла в подъезд незнакомого ей дома. Здесь она на мгновение заколебалась: постараться ли ей уже здесь отделаться от лейтенанта, или постучаться при нем в первую попавшуюся квартиру? Она нерешительно взглянула на лейтенанта, и он, совершенно неправильно поняв ее взгляд, свободной рукой привлек ее к себе. В то же мгновение она без особого даже гнева довольно сильно ударила его по розовой щеке и побежала вверх по лестнице. Лейтенант, приняв и это как должное, с той самой улыбкой, которая в старинных романах называлась кривой улыбкой, покорно понес за Любкой ее чемодан.

Поднявшись на второй этаж, она постучала в первую же дверь кулачком так решительно, будто она после долгого отсутствия вернулась домой. Дверь открыла высокая худая дама с обиженным и гордым выражением лица, хранившего еще следы былой если не красоты, то неукоснительной заботы о красоте,— нет, Любке положительно везло!

— Данке шен, герр лейтенант! [1] — сказала Любка очень смело и с ужасным произношением, выложив весь свой запас немецких слов, и протянула руку за чемоданом.

Дама, открывшая дверь, смотрела на немецкого лейтенанта и на эту немку в ярко-пестром платье с выражением ужаса, которого она не могла скрыть.

— Moment! [2] — Лейтенант поставил чемодан, быстрым движением вынул из планшета, висевшего у него через плечо, блокнот, вписал что-то толстым некрашеным карандашом и подал Любке листок.

---

[1] Большое спасибо, господин лейтенант! *(нем.)*
[2] Одну секунду! *(нем.)*

Это был адрес. Любка не успела ни прочесть его, ни обдумать, как поступила бы на ее месте дочь шахтовладельца. Она быстро сунула адрес под бюстгальтер и, небрежно кивнув лейтенанту, взявшему под козырек, вошла в переднюю. Любка слышала, как дама запирала за ней дверь на множество замков, засовов и цепочек.

— Мама! Кто это был? — спросила девочка из глубины комнаты.

— Тише! Сейчас! — сказала дама.

Любка вошла в комнату с чемоданом в одной руке и пальто на другой.

— Меня к вам на квартиру поставили... Не стесню? — сказала она, дружелюбно взглянув на девочку, окидывая взглядом квартиру, большую, хорошо меблированную, но запущенную: в ней мог жить врач, или инженер, или профессор, но чувствовалось, что того человека, для которого она в свое время была так хорошо меблирована, теперь здесь нет.

— Интересно, кто же вас поставил? — спросила девочка с спокойным удивлением.— Немцы или кто?

Девочка, как видно, только что пришла домой,— она была в коричневом берете, румяная от ветра, толстая девочка лет четырнадцати, с полной шеей, щекастая, крепкая, похожая на гриб-боровик, в который кто-то воткнул живые карие глазки.

— Тамочка! — строго сказала дама.— Это нас совершенно не касается.

— Как же не касается, мама, если она поставлена к нам на квартиру? Мне просто интересно.

— Простите, вы — немка? — спросила дама в замешательстве.

— Нет, я русская... Я — артистка,— сказала Любка не вполне уверенно.

Произошла небольшая пауза, в течение которой девочка пришла в полную ясность в отношении Любки.

— Русские артистки эвакуировались!

И гриб-боровик, зардевшись от возмущения, выплыл из комнаты.

Итак, Любке предстояло испить до дна всю горечь, что отравляет победителю радости жизни в оккупированной местности. Все же она понимала, что ей выгодно зацепиться за эту квартиру и именно в том качестве, в каком ее, Любку, принимают.

— Я ненадолго, я подыщу себе постоянную,— сказала она. Все-таки ей очень хотелось, чтобы к ней относились в этом доме подобрее, и она добавила: — Ей-богу, я скоро подыщу!.. Где можно переодеться?

Через полчаса русская артистка в голубом крепдешиновом платье и в голубых туфлях, перекинув через руку пальто, спустилась к железнодорожному переезду в низину, разделявшую город на две части, и немощеной каменной улицей поднялась в гору, на Каменный Брод. Она приехала в город на гастроли и искала для себя постоянную квартиру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Как человек осторожный, Иван Федорович предпочитал по возможности не пользоваться явками, оставленными ему, в том числе и по Ворошиловграду. Но после гибели Яковенко, первого из территориальных секретарей, побывать Ивану Федоровичу в Ворошиловграде было совершенно необходимо. Как человек смелый, он рискнул воспользоваться старинным знакомством — пойти к подруге жены, одинокой тихой женщине с неудавшейся личной жизнью. Звали ее Маша Шубина. Она работала чертежницей на паровозостроительном заводе и не эвакуировалась из Ворошиловграда ни в первую, ни во вторую эвакуацию завода только из любви к родному городу: вопреки всем и всему, она была уверена, что город никогда не будет сдан и что она сможет быть полезна.

Иван Федорович решил направиться к Маше Шубиной по совету жены, решил это той же ночью, когда сидел с женой в погребе Марфы Корниенко.

Взять с собой жену Иван Федорович не мог: они много лет работали в Ворошиловграде и вдвоем были бы слишком заметны. Да и по соображениям дела Екатерине Павловне выгодней было остаться здесь — для связи с партизанскими группами и подпольными организациями в округе. И они решили тогда же, в погребе, что лучше Екатерине Павловне остаться у Марфы под видом родственницы, обжиться и, если будет возможность,— устроиться учительницей в одном из ближайших сел.

А когда они так решили, невольно им пришло в голову, что за всю совместную жизнь они расстаются впервые и расстаются в такое время, когда — может случиться — они больше никогда не увидятся.

Они замолчали и долго сидели обнявшись. И вдруг почувствовали, что им хорошо и счастливо сидеть вот так, обнявшись, в этом темном и сыром погребе.

Как и во многих семьях, сложившихся давно и сложившихся прочно благодаря общности взглядов, благодаря трудовой жизни не только мужа, а и жены, и благодаря детям,— их союз уже не нуждался в постоянном внешнем выявлении чувства. Чувство жило в них, скрытое, как жар в золе. Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испытаний, общественных потрясений, горя, радости. О, с какой силой вставали тогда в памяти первые их встречи в луганском саду, и этот всевластный запах акаций над городом, и ночное небо в звездах, раскинувшееся над их молодостью, и необузданные юношеские мечты, и радость первого физического узнавания, и счастье рождения первого ребенка, и первые терпкие плоды несходства в характерах! Какие это были все же чудесные плоды! Вкусив их, только слабые души распадаются, сильные срастаются навеки.

Для любви равно необходимы и суровые испытания жизни, и живые воспоминания того, как она, любовь, начиналась. Первые связывают людей, вторые не дают стареть. Велика связующая сила совместного пути, если вас всегда волнует чувство, могущее быть выраженным всего лишь двумя словами: «А помнишь?..» Это даже не воспоминание. Это вечный свет молодости, зов в дальнейший путь, в будущее. Счастлив тот, кто сохранил это в сердце своем...

Вот это счастливое чувство испытывали Иван Федорович и Катя, сидя в темном погребе Марфы Корниенко.

Они сидели и молчали, а в сердце их звучало: «А помнишь? Ты помнишь?..»

Особенно памятен был им день их последнего объяснения. Они встречались уже много месяцев, и, в сущности, она уже все знала — знала по его отчаянным словам и поступкам. Но она никак не позволяла ему высказаться до конца и сама ничего не обещала.

Накануне он уговорил ее зайти за ним на другой день во двор общежития, где он жил,— он учился на об-

ластных партийных курсах. И то, что она согласилась, было большой его победой: значит, она уже не стыдилась товарищей его,— ведь в эти часы после занятий двор всегда бывал полон курсантов.

И она вошла во двор общежития, полный народа. Посреди двора курсанты играли в городки. Он тоже играл, он был в украинской рубашке без шнурка, с расстегнутым воротом, веселый и разгоряченный. Он подбежал к ней, поздоровался и сказал: «Обожди, сейчас доиграем...» Все курсанты во дворе смотрели в это время на них, потом раздвинулись, уступая ей место, и она стала смотреть на игру, но смотрела она только на него.

Ее всегда немножко смущало то, что он невысок ростом, а теперь она точно впервые увидела его всего, какой он сильный, ловкий и озорной. Самые сложные, замысловатые фигуры он выносил с одной палки из города,— она чувствовала, что все это он делает из-за нее. И все время он издевался над противником.

Тогда только что впервые залили асфальтом Ленинскую улицу, день был жаркий, они шли по плавившемуся асфальту, счастливые. Он шел рядом с ней в этой украинской рубашке, но уже перехваченной шнурком, русые волосы волнами распадались на голове его, и он все говорил и говорил. Он купил мимоходом с лотка сушеных фиников и нес их перед собой в кулечке из газеты. Финики были горячие, сладкие, и только она одна их ела, потому что он все время говорил. Больше всего ей запомнилось, что на такой чудесной асфальтированной улице не было урн для мусора, некуда даже было выплевывать косточки, она оставляла их во рту, в надежде освободиться от них, когда удастся свернуть на улицу похуже.

Вдруг он перестал говорить и посмотрел на нее такими глазами, что она смутилась. И он сказал:

— Вот возьму и поцелую тебя сейчас при всех на улице!

Тогда в ней заговорило строптивое чувство, она искоса поглядела на него из-под ресниц и сказала:

— Только попробуй, я на тебя все финиковые косточки выплюну!

— А много? — спросил он совершенно серьезно.

— Штук двенадцать!

— Побежим в сад? Бегом!..— воскликнул он, не да-

вая ей опомниться, и схватил ее за руку. И они, смеясь и не обращая внимания на людей, побежали в сад.

«Ты помнишь?.. Помнишь, какая это была ночь в саду?..»

Теперь, в темном погребе, как тогда, в луганском саду под звездами, Катя доверчиво спрятала свое горячее лицо где-то у мужа между его уютным сильным плечом и шеей и обросшей мягким волосом щекой. Так и просидели они до рассвета, даже не задремав. Потом Иван Федорович на мгновение еще крепче прижал к себе жену и чуть отнял лицо свое и ослабил руки.

— Пора, ой пора, ласточка моя, голубонька! — сказал он.

Но она все не отнимала от него лица. И они сидели так до тех пор, пока на воле стало совсем светло.

Корнея Тихоновича с внуком Иван Федорович направил на Митякинскую базу — узнать, что сталось с отрядом. Иван Федорович долго учил старика, как нужно действовать небольшими группами и как создавать новые партизанские группы из крестьян, казаков и бывших военных, осевших в селах.

Пока Марфа кормила их, какой-то дед, дальний родственник Марфы, прорвался все-таки через кордон ребят и угодил в аккурат к обеду. Любознательный Иван Федорович так и вцепился в деда, желая знать, как обыкновенный селянский дед расценивает создавшееся положение. Дед этот был тот тертый, бывалый дед, который когда-то вез Кошевого и его родню, у которого прохожие немецкие интенданты все-таки отобрали его буланого конька, из-за чего он и вернулся на село к родне. Дед сразу понял, что он имеет дело не с простым человеком, начал петлять.

— Ось, бачишь, як воно дило... Три с лишним тыждня шло ихнее войско. Велика сила пройшла! Красные теперь не вернуться, ни... Та що балакать, як вже бои идут за Волгою, пид Куйбышевом, Москва окружена, Ленинград взят! Гитлер казав, що Москву визьме измором.

— Так я и поверю, что ты уверовал в эти враки! — с чертовской искрой в глазах сказал Иван Федорович.— Вот что, друг запечный, мы с тобой вроде одного роста, дай мени якую-небудь одежу-обужу, а я тебе оставлю свою.

— Вон оно как, гляди-ка! — по-русски сказал дед, все сразу сообразив.— Одежку я тебе мигом принесу.

В одежке этого деда, с котомкой за плечами, маленький Иван Федорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросший бородою, ввалился в комнатку Маши Шубиной на Каменном Броде.

Странное чувство испытал он, идя под чужой личиной по улицам родного города.

Иван Федорович родился в нем и проработал в нем много лет. Многие здания предприятий, учреждений, клубов, жилые были построены при нем, в значительной части его усилиями. Он помнил, например, как на заседании президиума городского совета был запланирован вот этот сквер, и Иван Федорович лично наблюдал за его разбивкой и посадкой кустов. Сколько усилий он сам лично положил на благоустройство родного города, и все-таки в горкоме всегда ругались, что дворы и улицы содержатся недостаточно чисто, и это была правда.

Теперь часть зданий была разрушена бомбежкой,— в пылу обороны не так бросалось в глаза, насколько это обезобразило город. Но даже не в этом было дело: город за несколько недель пришел в такое запустение, что, казалось, новые хозяева и сами не верят в то, что поселились в нем навечно. Улицы не поливались, не подметались, цветы на скверах увяли, бурьян забивал газоны, бумажки, окурки вихрем завивались в густой рыжей пыли.

Это была одна из столиц угля. В прежние времена сюда привозилось больше товаров, чем во многие другие районы страны,— толпа на улицах была цветистой, нарядной. Чувствовалось, что это южный город: всегда было много фруктов, цветов, голубей. Теперь толпа поредела и стала неприметной, серой, люди одеты были с небрежным однообразием, будто нарочно опустились, было такое впечатление, что они даже не моются. А внешний колорит улице придавали мундиры, погоны и бляшки вражеских солдат и офицеров — больше всего немцев и итальянцев, но также и румын и венгерцев,— только их говор был слышен, только их машины, выпевая клаксонами, мчались по улицам, завивая пыльные смерчи. Еще никогда в жизни не испытывал Иван Федорович такой кровной личной жалости и любви к городу и к его людям.

Было такое чувство, что вот у него был дом и его изгнали из этого дома, и он тайком прокрался в родной дом и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, захватали грязными руками все, что ему дорого, унижают его родных, а он может только видеть это и бессилен что-либо сделать против этого.

И на подруге жены лежала эта же общая печать подавленности и запущенности: она была в заношенном темном платье; русые волосы небрежно закручены узлом; на ногах, давно не мытых, шлепанцы, и видно было, что она так и спит, с немытыми ногами.

— Маша, да разве можно так опускаться! — не выдержал Иван Федорович.

Она безучастно оглядела себя, сказала:

— В самом деле? Я и не замечаю. Все так живут, да так и выгодней: не пристают... Впрочем, в городе и воды-то нет...

Она замолчала, и Иван Федорович впервые обратил внимание на то, как она похудела и как пусто, неприютно у нее в комнате. Он подумал, что она, должно быть, голодает и давно распродала все, что имела.

— Ну, вот что, давай поснидаем... Мени тут одна жинка добре наготовила всего, така умнесенька жинка! — смущенно заговорил он, засуетившись возле своей котомки.

— Боже мой, да разве в этом дело? — Она закрыла лицо руками.— Возьмите меня с собой! — вдруг сказала она со страстью.— Возьмите меня к Кате, я готова служить вам всем, чем могу!.. Я готова быть вашей прислугой, лишь бы не это каждодневное подлое унижение, не это медленное умирание без работы, без всякой цели в жизни!

Она, как всегда, говорила ему «вы», хотя знала его с дней замужества Кати, с которой дружила с детства. Он и раньше догадывался, что она потому не может обращаться к нему на «ты», что не может отрешиться от чувства расстояния, отделявшего ее, простую чертежницу, от него, видного работника.

Тяжелая поперечная складка легла на открытом лбу Ивана Федоровича, и его живые синие глаза приняли суровое, озабоченное выражение.

— Я буду говорить с тобой прямо, может быть грубо,— сказал он, не глядя на нее.— Маша! Коли б де-

ло шло о тебе, обо мне, я б мог забрать тебя до Кати и сховать вас обеих и сам сховаться,— сказал он с недоброй, горькой усмешкой.— Да я слуга государства, и я хочу, щоб и ты наикраще послужила нашему государству: я не только не заберу тебя отсюда, я хочу здесь бросить тебя у самое пекло. Скажи мне прямо: согласна? Маешь на то силу?

— Я согласна на все, лишь бы не жить той жизнью, какой я живу! — сказала она.

— Ни, то не ответ! — сурово сказал Иван Федорович.— Я предлагаю тебе выход не для спасения твоей души,— я спрашиваю: согласна ты служить народу и государству?

— Я согласна,— тихо сказала она.

Он быстро склонился к ней через угол стола и взял ее за руку.

— Мне нужно установить связь со своими людьми здесь, в городе, но тут провалы были, и я не уверен, на какую явку можно положиться... Ты должна найти в себе мужество и хитрость, як у самого дьявола,— проверить явки, что я дам тебе. Пойдешь на это?

— Пойду,— сказала она.

— Завалишься — будут пытать на медленном огне. Не выдашь?

Она помолчала, словно сверялась со своей душой.

— Не выдам,— сказала она.

— Так слухай же...

И он при тусклом-тусклом свете коптилки, еще ближе склонившись к ней, так, что она увидела свежий рубец на залысине на виске, дал ей явку здесь же, на Каменном Броде, которая, казалось ему, была надежней, чем другие. Эта явка была ему особенно нужна, потому что через нее он мог связаться с Украинским партизанским штабом и узнать, что творится не в одной области, а и на советской стороне и повсюду.

Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда, и это соединение наивной жертвенности и неопытности так и пронзило сердце Ивана Федоровича. Лукавая искорка на одной ножке запрыгала из одного его глаза в другой.

— Хиба ж так можно! — сказал он с веселой и доброй укоризной.— То же требует изящной работы, як в модном магазине. Пройдешь свободно, среди бела

дня, я тебя научу, как и что... Мени ж треба ще и с тылу себя обеспечить! У кого ты живешь?

Маша снимала комнату в домишке, принадлежащем старому рабочему паровозостроительного завода. Домишко был сложен из камня и разделен сквозным коридором с двумя выходами — на улицу и во двор, огороженный низкой каменной оградой,— разделен на две половины: в одной половине были комната и кухня, в другой — две маленькие комнатки, одну из которых снимала Маша. У старика было много детей, но все они уже давно отделились: сыновья были кто в армии, кто в эвакуации, дочери — замужем в других городах. По словам Маши, хозяин квартиры был человек обстоятельный, немного, правда, нелюдимый, книжник, но честный.

— Я выдам вас за дядю из села, брата матери,— мать моя тоже была украинка. Скажу, что я сама написала вам, чтоб приехали, а то, мол, трудно жить.

— Ты сведи своего дядю до хозяина: побачим, якии вин там нелюдим! — с усмешкой сказал Иван Федорович.

— А какая уж там работа, на чем работать-то? — мрачно бубнил «нелюдим», изредка вскидывая крупные, навыкате глаза на бороду Ивана Федоровича и на рубец на правой его залысине.— Два раза мы сами оборудование с завода вывозили, да немцы бомбили нас несколько раз... Строили паровозы, строили танки и пушки, а нонче чиним примуса и зажигалки... Кой-какие коробки от цехов, правда, остались, и, если пошарить, много еще оборудования есть по заводу то там, то здесь, да ведь это, как сказать, требует настоящего хозяина. А нонешние...— Он махнул заскорузлым кулаком на маленькой сухой руке.— Несерьезный народ!.. Плавают мелко и — воры. Поверишь ли, приехало на один завод сразу три хозяина: Крупп,— раньше завод был гартмановский, так его акции Крупп скупил,— управление железных дорог и электрическая компания — той досталась наша ТЭЦ, ее, правда, наши перед уходом взорвали... Ходили они, ходили по заводу и давай делить его на три части. И смех и грех: разрушенный завод, а они его столбят, как мужики при царе свои полоски, даже поперек дорог, что связывают завод, ямы порыли, как свиньи. Поделили, застолбили, и каждый остатки оборудо-

вания повез к себе в Германию. А тем, что помельче да похуже, тем они торгуют направо и налево, как спекулянты на толкучке. Наши рабочие смеются: «Ну, дал бог хозяев!» Наш брат за эти годы привык, сам знаешь, к какому размаху, а на этих ему не то что работать, а и смотреть-то муторно. Ну, а в общем смех-то получается сквозь слезы...

Они сидели при свете коптилки, Иван Федорович с длинной своей бородой, притихшая Маша, скрюченная старуха и «нелюдим»,— страшные тени их сходились, расходились, расплывались на стенах и по потолку; все они, сидящие, походили на пещерных жителей. «Нелюдиму» было лет под семьдесят, он был маленького роста, тощий, а голова крупная, ему трудно было держать ее, говорил он мрачно, однотонно, все сливалось в одно «бу-бу-бу-бу». Но Ивану Федоровичу приятно было слушать его не только потому, что старик говорил умно и говорил правду, а и потому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоятельно, подробно знакомит с промышленными делами при немцах случайно забредшего мужика.

Иван Федорович все-таки не выдержал и высказал свои соображения:

— Мы на селе у себя вот как думаем: ему у нас на Украине промышленность развивать нет никакого расчета, промышленность у него вся в Германии, а от нас ему нужен хлеб и уголь. Украина ему вроде как колония, а мы ему — негры...— Ивану Федоровичу показалось, что «нелюдим» смотрит на него с удивлением, он усмехнулся и сказал: — В том, что наши мужики так рассуждают, ничего удивительного нет, народ сильно вырос.

— Так-то оно так...— сказал «нелюдим», нисколько не удивившись на рассуждения Ивана Федоровича.— Ну, хорошо — колония. Выходит, они хозяйство на селе двинули вперед, что ли?

Иван Федорович тихо засмеялся:

— Озимые сеем по пропашным да по стерне озимого и ярового, а землю обрабатываем тяпками. Сам понимаешь, сколько насеем!

— То-то и оно! — сказал «нелюдим», не удивившись и этому.— Не умеют они хозяйничать. Привыкли сорвать с чужих, как жулики, с того и живут, и думают

с такой, прости господи, культурой покорить весь свет,— глупые звери,— беззлобно сказал он.

«Эге, диду, да ты такому хлеборобу, як я, сто очков вперед дашь!» — с удовольствием подумал Иван Федорович.

— Вы когда к своей племяннице проходили, вас не видел кто-нибудь? — не меняя тона, спросил «нелюдим».

— Видать — не видали, да чего мне бояться? Я при всем документе.

— Это я понимаю,— уклончиво сказал «нелюдим»,— да ведь здесь порядок, что я должен заявить о вас в полицию, а ежели вы ненадолго, так лучше так обойтись. Потому я скажу вам прямо, Иван Федорович, что я вас сразу узнал, ведь вы у нас сколько на заводе бывали, не ровен час узнает вас и недобрый человек...

Нет, жинка правильно говорила Ивану Федоровичу всегда, что он родился в сорочке.

Рано утром другого дня Маша, сходившая по явке, привела к Ивану Федоровичу незнакомого человека, который, к великому изумлению Ивана Федоровича и Маши, приветствовал «нелюдима» так, как будто они только вчера расстались. От этого человека Иван Федорович узнал, что «нелюдим» был из своих людей, оставленных в подполье.

От этого же человека Иван Федорович впервые узнал, как далеко залез немец в глубь страны: это были дни, когда завязывалась великая Сталинградская битва.

Все ближайшие дни Иван Федорович был занят проверкой, а частично и восстановлением связей — по городу и по всей области.

И в разгар этой деятельности тот самый человек, через которого Иван Федорович проник в городскую организацию, привел к нему Любку-артистку.

Выслушав все, что могла сказать Любка об обстоятельствах гибели заключенных краснодонской тюрьмы, Иван Федорович некоторое время сидел мрачный, не в силах говорить. Жалко, мучительно жалко было ему Матвея Костиевича и Валько. «Такие добрые казаки были!» — думал он. Внезапно ему пришла в голову мысль о жене: «Как-то она там, одна?..»

— Да...— сказал он.— Тяжкое подполье! Такого тяжкого ще не було на свити...— И он зашагал по ком-

нате и заговорил с Любкой так, как если бы говорил сам с собой.— Сравнивают наше подполье с подпольем при той интервенции, при белых, а какое может быть сравнение? Сила террора у этих катов такая, что беляки — дети перед ними,— эти губят людей миллионами... Но есть у нас преимущество, какого тогда не было: наши подпольщики, партизаны опираются на всю мощь нашей партии, государства, на силу нашей Красной Армии... У наших партизан и сознательность выше, и организация выше, и техника выше — вооружение, связь. Это надо народу объяснить... У наших врагов есть слабое место такое, как ни у кого: они тупые, все делают по указке, по расписанию, живут и действуют среди народа нашего в полной темноте, ничего не понимают... Вот что надо использовать! — сказал он, остановившись против Любки, и снова зашагал из угла в угол.— Это все, все надо объяснить народу, чтобы он не боялся их и научился их обманывать. Народ надо организовать,— он сам даст из себя силы: повсюду создавать небольшие подпольные группы, которые могли бы действовать в шахтах, в селах. Люди должны не в лес прятаться,— мы, черт побери, живем в Донбассе! Надо идти на шахты, на села, даже в немецкие учреждения — на биржу, в управу, в дирекционы, сельские комендатуры, в полицию, даже в гестапо. Разложить все и вся диверсией, саботажем, беспощадным террором изнутри!.. Маленькие группки из местных жителей — рабочих, селян, молодежи, человек по пять, но повсюду, во всех порах... Неправда! Заляскает у нас ворог зубами от страха! — сказал он с таким мстительным чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало трудно дышать. Тут Иван Федорович вспомнил о том, что Любка передала ему «по поручению старших».— У вас, значит, дела в гору идут? Так они и в других местах идут. А без жертв в таком деле не бывает... Тебя как звать? — спросил он, снова остановившись против нее.— Вот оно как,— то ж не дило: така гарна дивчина не может быть Любка, а Люба!—И веселая искорка скакнула у него в глазу.— Ну, еще кажи, що тоби треба?

С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли, семеро, в комнате, построившись в шеренгу. Низкие темные тучи бежали за окном. Каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос, произно-

сивший клятву, подымался до высокой, звенящей ноты, скрывая благоговейное дрожание. И текст клятвы, написанный Олегом и Ваней Земнуховым и утвержденный ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними, более суровый и непоколебимый, чем закон. Любка вспомнила это, и от волнения, вновь ее охватившего, ее лицо стало белым, и на нем с необыкновенной силой выразительности выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом.

— Нам нужны совет и помощь,— сказала она.

— Кому вам?

— Молодой гвардии... У нас командиром Иван Туркенич, он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из-за ранения. Комиссар — Олег Кошевой, из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек тридцать, принявших клятву на верность. Организованы по пятеркам, как раз, как вы говорили,— Олег так предложил...

— Наверно, так ему старшие товарищи посоветовали,— сказал сразу все понявший Иван Федорович,— но все равно, молодец ваш Олег!..

Иван Федорович с необычайным оживлением присел к столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого из них.

Когда Любка дошла до Стаховича, Иван Федорович опустил уголки бровей.

— Обожди,— сказал он и тронул ее за руку.— Як его зовут?

— Евгений.

— Он был с вами все время или пришел откуда?

Любка рассказала, как Стахович появился в Краснодоне и что он говорит о себе.

— Вы к этому парубку относитесь с осторожностью, проверьте его.— И Иван Федорович рассказал Любке о странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отряда.— Когда б он в немецких руках не побывал,— сказал он, раздумывая.

На лице Любки отразилось беспокойство, тем более сильное, что она недолюбливала Стаховича. Некоторое время она молча смотрела на Ивана Федоровича, потом черты ее лица разгладились, глаза посветлели, и она спокойно сказала:

— Нет, этого не может быть. Наверно, он просто струсил и ушел.

— Почему ты так думаешь?

— Ребята его давно знают как комсомольца, он парень с фанаберией, а на такое не пойдет. У него семья очень хорошая, отец старый шахтер, братья-коммунисты в армии... Нет, не может того быть!

Необыкновенная чистота ее мышления поразила Ивана Федоровича.

— Умнесенька дивчина! — сказал он с непонятной ей грустью в глазах.— Было время когда-то, и мы так думали. Да, видишь ли, дело какое,— сказал он ей так просто, как можно было бы сказать ребенку,— на свете еще немало людей растленных, для коих идея, как одежка, на время, а то и маска,— фашисты воспитывают таких людей миллионами по всему свету,— а есть люди просто слабые, коих можно сломать...

— Нет, не может быть,— сказала Любка, имея в виду Стаховича.

— Дай бог! А если струсил, может струсить и еще раз.

— Я скажу Олегу,— коротко сказала Любка.

— Ты все поняла, что я говорил?

Любка кивнула головой.

— Вот так и действуйте... Ты здесь, в городе, связана с тем человеком, что привел тебя? Его и держись.

— Спасибо,— сказала Любка, глядя на него повеселевшими глазами.

Они оба встали.

— Передавай наш боевой большевистский привет товарищам молодогвардейцам.— Он своими небольшими, точными в движениях руками осторожно взял ее за голову и поцеловал в один глаз и в другой и слегка оттолкнул от себя.— Иди,— сказал он.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Эти несколько дней в Ворошиловграде она находилась в подчинении того человека, который свел ее с Иваном Федоровичем. И для этого человека было очень важно, что у Любки завязались такие отношения с немецким интендантским полковником и его адъютан-

том и что она попала на квартиру, где ее принимают не за ту, кто она есть.

Ей не пришлось изучать шифр, потому что он остался таким, каким она его узнала перед отъездом с курсов, но теперь она должна была взять радиопередатчик с собой, потому что из Ворошиловграда на нем очень трудно было работать.

Этот человек учил ее, как менять места, чтобы ее не запеленговали. И сама она не должна была все время сидеть в Краснодоне, а наезжать в Ворошиловград и в другие пункты и не только поддерживать связи, какие у нее образовались, а завязывать новые среди офицеров — немцев, румын, итальянцев и венгерцев.

Ей даже удалось договориться с хозяевами квартиры, где она жила, что она, приезжая в Ворошиловград, будет останавливаться у них, поскольку ей не понравились те квартиры, какие ей предлагали. Девочка, похожая на гриб-боровик, по-прежнему относилась к Любке с величайшим презрением, но мать этой девочки понимала, что Любка все-таки безобиднее, чем немецкие чины.

У Любки не было другого способа, как только опять воспользоваться попутной немецкой машиной. Но теперь она уже не поднимала руку перед легковыми машинами, наоборот — она была больше заинтересована в грузовике с солдатами. Солдаты были и подобрее и менее догадливы, а в чемодане среди ее барахла находилась теперь эта вещичка.

В конце концов она попала в санитарный фургон. Правда, в фургоне, кроме пяти-шести солдат-санитаров, оказались старший офицер медицинской службы и несколько младших. Но все они были немножко пьяны, а Любка давно убедилась, что пьяных офицеров легче обманывать, чем трезвых.

Выяснилось, что они везут спирт во фронтовой госпиталь, много спирта в больших плоских банках. И Любка вдруг подумала, как хорошо было бы добыть у них побольше спирта, потому что спирт открывает любые замки и двери и на него можно приобрести все.

Кончилось это тем, что она уговорила старшего офицера медицинской службы не гнать этот громадный тяжелый фургон среди ночи, а переночевать у хорошей знакомой в Краснодоне, куда она, Любка, едет на гаст-

роли. Она очень напугала мать, втащив в квартиру столько пьяных немецких офицеров и солдат.

Немцы пили всю ночь, и Любке пришлось даже танцевать перед ними, поскольку она выдала себя за артистку. Она танцевала точно на острие бритвы,— и все-таки опять перехитрила их: она заигрывала одновременно и с офицерами и с нижними чинами, и нижние чины из ревности мешали офицерам ухаживать за Любкой, так что старший офицер медицинской службы даже ударил одного санитара сапогом в живот.

В то время когда они так развлекались, Любка услышала вдруг донесшийся с улицы продолжительный полицейский свисток. «Полицай» свистел где-то возле клуба имени Горького, свистел изо всех сил, не выпуская свистка изо рта.

Любка не сразу догадалась, что это сигнал тревоги, но свист все нарастал, приближаясь к дому. За окнами стремительно возник и так же внезапно исчез громкий топот ног,— человек пробежал вниз по улице к малым «шанхайчикам», что лепились вдоль балки. А через некоторое время прогрохали за окном тяжелые сапоги «полицая», свиставшего изо всех сил.

Любка и те из немцев, кто еще мог двигаться, выбежали на крыльцо. Ночь была тихая, темная, теплая. Удаляющийся пронзительный свист и пляшущий конус света от электрического фонаря обозначали трассу бегущего вниз по улице полицейского. И, словно в ответ ему, доносились свистки постовых с рынка и из-за пустыря за балкой — от жандармерии — и даже от второго железнодорожного переезда, который был далеко отсюда.

Немецкие военные медики, покачиваясь от того, что хмель растворил в них тот наиважнейший стержень, что поддерживает человека в вертикальном положении, некоторое время постояли на крыльце в глубоком молчании. Потом старший из офицеров послал санитара за электрическим фонарем и поводил струею света по палисаднику с заброшенными клумбами, остатками забора и переломанными кустами сирени. Потом он осветил фургон во дворе, и все вернулись в горницу.

Как раз в это время Олег, намного опередивший своего преследователя, увидел на пустыре за балкой вспышки фонарей полицейских, бежавших от жандармерии на-

перерез ему. Он тут же понял, что не скрыться ему в малых «шанхайчиках»: собаки, единственно только и сохранившиеся в этих местах из-за того, что никто из немцев не хотел жить в глиняных мазанках,— собаки выдадут Олега своим лаем. В то же мгновение, как он это сообразил, Олег свернул вправо в «Восьмидомики» и прижался к стенке ближайшего стандартного дома. Через минуту или две «полицай» прогрохотал своими чеботами мимо. Он пробежал так близко, что у Олега даже уши заложило от свиста.

Олег выждал немного, потом, стараясь ничем не обнаружить себя, пошел задами той же улицы, по которой только что бежал, к холмам, откуда начал свой путь.

Состояние возбуждения, поднявшегося до какого-то необузданного веселья, когда он обнаружил «полицая» на крыльце клуба, а потом бежал от него по улице, сменилось чувством тревоги. Олег слышал свистки в районе рынка и жандармерии и второго переезда и понимал теперь, что его оплошность поставила в трудное и опасное положение не только его самого, но и Сережку с Валей и Степу Сафонова с Тосей Мащенко.

Это был первый их выход в свет с листовками, написанными Олегом и Ваней Земнуховым, первое мероприятие, по которому население должно было узнать о существовании «Молодой гвардии».

Сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы отвести предложение Стаховича, который считал, что можно в одну ночь оклеить листовками весь город и сразу произвести впечатление. Олег, поближе узнавший Стаховича, уже не сомневался в искренности его побуждений, но как же он, Стахович, не понимал, что чем больше людей вовлечено в дело, тем легче провалиться! И обидно было, что Сережка Тюленин, как всегда, тоже склонялся к мерам самым крайним.

Но Туркенич и Ваня Земнухов поддержали предложение Олега — расклеить листовки только в одном районе, а спустя несколько суток — в другом, а потом — в третьем, чтобы всякий раз направлять внимание полиции по ложному следу.

Олег предложил, чтобы ребята ходили обязательно парами,— один достает листовку, другой мажет, и пока один наклеивает, другой прячет склянку,— и чтобы ходили обязательно юноша с девушкой: если захватит

«полицай», можно объяснить прогулку в такой неурочный час мотивами любовными.

Вместо мучного клейстера они решили употреблять жидкий мед. Клейстер надо было бы где-нибудь варить, и это само по себе могло дать наводящий след полиции, не говоря уже о том, что клейстер оставлял следы на одежде. Для клейстера, кроме того, нужны были кисти, посуда, которую неудобно носить, а мед можно было носить в маленьком пузырьке с затычкой и плескать помалу прямо из горлышка на обратную сторону листовки.

Кроме расклеивания листовок по ночам, Олег разработал очень несложный план распространения листовок среди бела дня в местах большого скопления народа — в кино, на базаре, возле биржи труда.

Для первой ночной операции они избрали район шахты № 1-бис с прилегающими к нему «Восьмидомиками» и рынком. Рынок достался Сереже и Вале, «Восьмидомики» — Степе Сафонову и Тосе. Район шахты № 1-бис Олег взял на себя.

Ему, конечно, очень хотелось пойти с Ниной, но он сказал, что пойдет с Мариной — своей хорошенькой тетушкой.

Туркенича решено было оставить дома, чтобы на этот первый случай, когда у ребят еще не было никакого опыта, каждая пара по окончании работы могла бы сразу доложить командиру, как все прошло.

Однако, когда все разошлись, Олег невольно задумался: какое право имел он вовлекать в такое опасное дело мать трехлетнего ребенка, даже не посоветовавшись с дядей Колей, отцом этого ребенка?

Конечно, нехорошо было нарушать порядок, им же установленный, но Олегом владел уже такой мальчишеский азарт, что он решил пойти один.

Под вечер, когда движение по городу еще было свободным, Олег, сунув несколько листовок во внутренний карман пиджака, а пузырек с медом в карман брюк, вышел из дому. Пройдя улицей, на которой жили Осьмухин и Земнухов, он достиг балки в том месте, где ее пересекала дорога к шахте № 5. Это была та самая балка, которая в дальнейшем своем протяжении вправо отделяла «Восьмидомики» от пустыря с жандармерией. Здесь балка была совершенно не заселена. Олег свернул направо по балке и, не дойдя до малых «шанхайчиков»,

одной из низинок, как бы вливавшихся в балку, выбрался в холмы. Они тянулись длинной перемежающейся грядой, по которой пролегало ворошиловградское шоссе, и господствовали над всей этой частью города.

Прячась среди холмов, Олег дошел почти до места пересечения ворошиловградского шоссе с дорогой из центральной части города в «Первомайку». Здесь он залег, дожидаясь темноты. Вглядываясь сквозь выгоревшие былки бурьяна, он хорошо видел и перекресток, и окраину «Первомайки» по ту сторону шоссе, и взорванную шахту № 1-бис с громадным терриконом, и клуб имени Горького ниже по улице, где жила Люба Шевцова, и «Восьмидомики», и пустырь со школой имени Ворошилова и жандармерией.

Непосредственно угрожавший Олегу полицейский пост находился на перекрестке дорог,— пост обслуживали два «полицая». Один из них не покидал перекрестка и если разрешал себе прогуляться от скуки, то только вдоль шоссе. Другой же патрулировал по дороге от перекрестка к шахте № 1-бис и дальше, к клубу имени Горького, вдоль по улице, на которой жила Люба Шевцова, до малых «шанхайчиков».

Соседний пост находился в районе рынка и тоже обслуживался двумя полицейскими, из которых один постоянно находился на территории базара, а другой патрулировал от базара до того пункта, где малые «шанхайчики» вливались в большой «Шанхай».

Ночь спустилась черная, но такая тихая, что слышен был каждый шорох. Теперь Олег мог доверять только своему слуху.

Ему предстояло наклеить несколько листовок у входа в шахту № 1-бис и на клубе имени Горького. (Они решили не клеить листовки на жилые дома, чтобы не подводить жильцов.) Крадучись, Олег спустился с холмов к крайнему из стандартных домов. Здесь начиналась улица, где жила Люба Шевцова. Входная будка шахты № 1-бис была как раз напротив Олега через площадь.

Он слышал, как разговаривают патрульный и постовой. На мгновение он даже увидел их лица, склонившиеся к огоньку зажигалки. Надо было выждать, пока патрульный пойдет вниз по улице, иначе он мог застигнуть

Олега на открытой площади. Но полицейские долго еще стояли, разговаривая вполголоса.

Наконец патрульный пошел, время от времени освещая себе путь электрическим фонарем. Олег стоял за домом и слышал шаги полицейского. Едва шаги отдалились, Олег вышел на улицу. Тяжелые шаги были все еще слышны. Патрульный по-прежнему освещал путь карманным фонарем, и Олег мог видеть, как он миновал клуб имени Горького. Наконец полицейского не стало видно: за домом Шевцовых начинался крутой спуск к балке. Только вспышки рассеянного отраженного света вдали говорили о том, что «полицай» по-прежнему время от времени освещает себе путь фонариком.

Как и все большие шахты, взорванные во время отступления, шахта № 1-бис не работала. Но по приказу лейтенанта Швейде на шахте была создана администрация из чинов немецкого горнорудного батальона. И часть рабочих, из числа не успевших или не смогших эвакуироваться, каждое утро приходила на работу «по восстановлению»,— так называлась в официальных документах очистка захламленного двора: несколько десятков человек вяло слонялось по двору, перевозя с места на место в ручных деревянных тачках лом и мусор.

Теперь здесь было тихо и мрачно.

Олег наклеил листовку на каменной стене, огораживавшей двор шахты, потом на входной будке и на доске объявлений поверх всяких извещений и приказов. Ему нельзя было долго оставаться здесь — не потому, что его мог заметить сторож,— дед ночью крепко спал,— а потому, что патрульный на обратном пути мог пройти рядом с шахтой и осветить будку. Но шагов патрульного не было слышно и свет фонарика не вспыхивал вдали: патрульный мог задержаться у малых «шанхайчиков».

Олег перешел площадь и спустился к зданию клуба. Это самое вместительное и самое неуютное и холодное здание в городе было совсем непригодно под жилье и теперь пустовало. Оно выходило фасадом на улицу, по которой с самого раннего утра люди шли на базар из «Восьмидомиков», «Первомайки» и ближайших хуторов и по которой шло главное движение из города в сторону Ворошиловграда и в сторону Каменска.

Олег стал лепить листовки по фасаду и вдруг услышал шаги полицейского снизу, от балки. Олег обошел здание и спрятался с той стороны его. Шаги полицейского становились все слышнее. Но как только полицейский, идя вверх по улице, поравнялся с зданием, шагов его не стало слышно. Олег застыл, ожидая, когда «полицай» минует клуб, стоял минуту, две, пять, но шагов все не было слышно.

А вдруг полицейский, проходя, осветил фасад клуба, заметил листовки и теперь остановился и читает? Конечно, он тут же начнет их соскабливать и обнаружит, что они только что наклеены. Тогда можно ожидать, что он обойдет со своим фонариком вокруг здания: ведь человеку, только что наклеившему листовки, некуда спрятаться, как только за этим зданием!..

Олег прислушивался, сдерживая дыхание, но слышал только толчки своего сердца. Его сильно подмывало отделиться от стены и бежать, но он понимал, что это может только повредить ему. Нет, единственный выход — проверить, куда же на самом деле девался полицейский!

Олег высунулся из-за угла,— никаких подозрительных звуков. Придерживаясь стены, высоко подымая ступни ног и осторожно опуская их на землю, Олег тихо продвигался к улице. Несколько раз он останавливался и прислушивался, но все было тихо вокруг. Так дошел он до следующего угла здания и, придерживаясь одной рукой стены, а другой взявшись за угол, выглянул. Под рукой его внезапно обломился кусок старой, источенной дождями штукатурки и упал на землю, как показалось Олегу, со страшным грохотом. В это же самое мгновение Олег увидел над нижними ступеньками подъезда огонек сигаретки и понял, что полицейский просто присел отдохнуть и покурить. Огонек сигаретки тут же взметнулся вверх, на ступеньках произошел некий шум, а Олег, с силой оттолкнувшись от угла, побежал вниз по улице, к балке. Раздался резкий свисток, и на какие-то доли секунды Олег попал в конус света, но тотчас же вырвался из него несколькими рывками.

Справедливость требует сказать, что с момента возникновения этой непосредственной опасности Олег не совершил уже ни одного опрометчивого поступка. Он мог бы в одну минуту запутать полицейского в «Вось-

мидомиках» и спрятаться у Любки или у Иванцовых, но Олег не имел права подводить их. Он мог бы сделать вид, что бежит к рынку, а на самом деле очутиться в «Шанхае», где бы его уже сам черт не достал. Но так можно было подвести Сережку и Ва́лю. И Олег побежал к малым «шанхайчикам».

И вот теперь, когда обстоятельства заставили его все-таки свернуть в «Восьмидомики», он не стал углубляться в этот район, чтобы не подводить Степу Сафонова и Тосю. Он шел обратно в холмы, к перекрестку, где его мог перехватить постовой.

Его снедала тревога за друзей и за возможную неудачу всей операции. И все-таки чувство мальчишеского озорства вновь овладело им, когда он услышал неистовый собачий лай в малых «шанхайчиках». Он представил себе, как сошлись вместе преследовавший его патрульный и «полицаи» из жандармерии и как они обсуждают исчезновение неизвестного и обшаривают вокруг местность своими фонариками.

На рынке уже не свистели. С вершины холма, где снова очутился Олег, он видел по вспышкам фонарей, что полицейские, бежавшие ему наперерез, возвращаются обратно через пустырь в жандармерию, а патрульный, его преследователь, стоит в дальнем конце улицы и освещает какой-то дом.

Заметил ли «полицай» листовки, наклеенные на здании клуба?.. Нет, конечно, не заметил! Иначе он не сидел и не курил бы так на ступеньке подъезда. Сейчас бы они перевернули все «Восьмидомики», ища его, Олега!

На душе у него стало легко.

Еще не светало, когда Олег тихо-тихо стукнул три раза в ставню, в окно Туркеничу, как было условлено. Туркенич чуть слышно приоткрыл входную дверь. Они на цыпочках прошли через кухню и горницу со спящими людьми в комнатку, где Ваня жил один. Коптилка стояла высоко на шкафчике. Видно было, что Ваня еще не ложился. Он не выразил никакой радости при виде Олега, лицо его было сурово и бледно.

— П-попался кто-нибудь? — сильно заикаясь и тоже бледнея, спросил Олег.

— Нет, теперь все целы,— сказал Туркенич, избегая встречаться с ним глазами.— Садись...— Он указал Олегу на табуретку, а сам сел на сбитую постель: как

видно, он всю ночь то ходил по комнатке, то садился на эту постель.

— И как? Удачно? — спросил Олег.

— Удачно,— не глядя на него, говорил Туркенич.— Они у меня все здесь сошлись — и Сережа, и Валя, и Степа, и Тося... Ты, значит, один ходил?— Туркенич поднял на Олега глаза и опять опустил.

— К-как ты узнал? — спросил Олег с мальчишеским виноватым выражением.

— Беспокоились о тебе,— уклончиво сказал Ваня,— потом я уж не вытерпел, пошел к Николаю Николаевичу, смотрю — Марина дома... Все ребята хотели тебя здесь дожидаться, да я отговорил. Если, говорю, он попался, хуже будет, если и нас застукают здесь среди ночи всей компанией. А завтра сам знаешь, какой тяжелый день для ребят,— опять базар, биржа...

Олег с растущим в нем чувством вины, причину которой он не вполне сознавал, бегло рассказал, как он поторопился перейти от шахты к клубу и что произошло у клуба. Все-таки он оживился, вспоминая все обстоятельства дела.

— Ну, потом, когда уже все обошлось, я, извини, немножко созорничал, да на обратном пути еще две листовки пришлепал на школе имени Ворошилова...

Он глядел на Туркенича с широкой улыбкой.

Туркенич, молча слушавший его, встал, сунул руки в карманы и некоторое время сверху вниз смотрел на сидевшего на табуретке Олега.

— Вот что я скажу тебе, только ты не серчай...— сказал Туркенич своим тихим голосом.— Это в первый и в последний раз ты ходил на такое дело. Понятно?..

— Не п-понятно,— сказал Олег.— Дело удалось, а без шероховатостей дела не бывает. Это не п-прогулка, это борьба, где есть и п-противник!..

— Дело не в противнике,— сказал Туркенич,— а нельзя быть мальчишкой, ни тебе, ни мне нельзя. Да, да, я хоть постарше, а я и к себе это отношу. Я тебя уважаю, ты это знаешь, потому я с тобой так и говорю. Ты парень хороший, крепкий, и знаний у тебя, наверно, больше, чем у меня, а ты — мальчишка... Ведь я едва ребят уговорил, чтобы они не пошли на помощь к тебе. Уговаривал, а чуть сам не пошел,— сказал Туркенич с усмешкой.— Может быть, ты думаешь, это мы только из-за

тебя все пятеро здесь переживали? Нет, мы за все дело переживали. Пора, брат, привыкнуть, что ты уже не ты, а я уже не я... Я себя всю ночь корил, что отпустил тебя. Разве мы можем теперь рисковать собой без нужды, по пустякам? Нет, брат, не имеем права! И ты уж меня извини, я это решением штаба проведу. То есть запрещение и тебе и мне участвовать в операциях без специального на то указания.

Олег с детским выражением молча, серьезно смотрел на него. Туркенич смягчился.

— Я, брат, не оговорился, что у тебя, может быть, знаний больше, чем у меня,— сказал он с некоторой виноватостью в голосе.— Это от воспитания зависит. Я свое детство все на улице пробегал босиком, как Сережка, и хоть учился, а настоящие знания стали приходить ко мне уже взрослому. У тебя, знаешь, все-таки мать учительница, и отчим у тебя человек был политически воспитанный, а мои старики, сам знаешь,— и Туркенич с добрым выражением указал лицом на дверь в горницу.— Вот эти твои знания самое время пришло в настоящее дело пустить,— понимаешь? А полицаев дразнить, это, брат, мелко плавать. Не этого от тебя и ребята ждут. А уж если говорить всерьез...— Туркенич многозначительно указал большим пальцем куда-то высоко за спину,— так эти люди, знаешь, как на тебя надеются!..

— Ох, и х-хорош же ты парень, Ваня! — с удивлением сказал Олег, весело глядя на него.— И ты прав, ох, как ты п-прав! — сказал он и покрутил головой.— Что ж, проводи через штаб, коли так...

Они засмеялись.

— Все ж таки надо поздравить тебя с удачей, я и забыл...— Туркенич протянул ему руку.

Олег попал домой уже с рассветом. И как раз в это время Любка, собиравшаяся к нему в гости, выпроваживала своих немцев. Она не спала всю ночь и все-таки не могла не рассмеяться, глядя, как фургон, полный пьяных немцев и руководимый пьяным шофером, выделывал по улице замысловатые загогулины.

Мать все корила Любку на чем свет стоит, но дочь показала ей четыре большие банки спирта, которые она успела ночью стащить с машины. И мать, хоть и была простая женщина, поняла, что Любка поступила с каким-то своим расчетом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Земляки! Краснодонцы! Шахтеры! Колхозники!

Все брешут немцы! Москва была, есть и будет наша! Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная Армия еще вернется в Донбасс.

Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей, дочерей.

Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле, у себя дома обнять мужа, сына, брата!

Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени.

Бейте проклятых оккупантов! Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе!

Родина в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. «Молодая гвардия» будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она горькой ни была для России. Правда победит!

Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок.

Смерть немецким захватчикам!

«Молодая гвардия».

Откуда возник он, этот маленький листок, вырванный из школьной тетради, на краю кишащей людьми базарной площади, па щите, где в былые времена вывешивалась с обеих сторон районная газета «Социалистическая родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски, желтую и черную?

Люди из сел и станиц еще с рассвета сходились на базар к воскресному дню — с кошелками, кулями; иная женщина принесла, может быть, только одного куренка, завернутого в тряпку, а у кого богато уродило овощей или осталась мука с прошлого урожая, тот привез свое добро на тачке. Волов уже не стало и в помине — всех забрал немец, а что уж говорить о лошадях!

А эти тачки,— памятны они будут народу на многие годы! Это тачки не того фасона, чтобы возить глину, на одном колесе, а тачки для разной клади, на двух высоких колесах,— их толкают перед собой, взявшись руками за поперечину. Тысячи, тысячи людей прошли с ними

сквозь весь Донбасс, из конца в конец, и в зной и пыль, и в дождь и грязь, и в мороз и снег, да чаще чем с добром на базар — искать себе кров или могилу.

Еще с рассвета люди из ближних сел несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мед. А городской люд вынес спозаранку — кто шапку, кто хустку, кто спидницу, кто чеботы, а не то гвозди или топор, или соль, или завалящего ситчику, а может быть, даже мадеполаму или старинного покроя платье с кружевами из бабушкиного заповедного сундука.

Редкостного смельчака или глупца, или просто подлого человека ведет в такое время на рынок нажива,— в такое время гонят человека на рынок беда да нужда. Немецкие марки ходят теперь по украинской земле, да кто их знает, настоящие ли они, и удержатся ли те марки, да и, откровенно сказать, кто же их имеет? Нет уж, лучше старинный дедовский способ,— сколько раз выручал он в лихую годину: я — тебе, а ты — мне... И с самого раннего утра кишат люди на базаре, тысячи раз оборачиваясь один вокруг другого.

И все люди видели: стоял себе щит на краю базара, стоял, как много лет подряд. И, как все последние недели, висели на нем немецкие плакаты. И вдруг на одном из них, как раз на том самом, где веером расположились фотографии, изображавшие парад немецких войск в Москве, немецких офицеров, купающихся в Неве — у Петропавловской крепости, немецких офицеров под руку с нашими дивчатами на набережной Сталинграда,— как раз на этом плакате возник белый листок, аккуратно исписанный чернилами, разведенными на химическом карандаше.

Полюбопытствовал сначала один человек, потом подошли еще двое, и еще, и еще, и вот уже кучка народу, больше женщин, стариков, подростков, собралась у щита, и все просовывают головы, чтобы прочесть листок. А кто же пройдет мимо кучки народа, устремившего взоры на исписанный листок белой бумаги, да еще на базаре!

Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили, неодолимая сила понуждала их снова и снова перечитывать этот листок. А задние, пытаясь протолкнуться к листку, шумели, сердились, спрашивали, что там написано. И хотя никто не

отвечал и пробиться нельзя было, громадная и все растущая толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, вырванный из школьной тетради: «Неправда, что немецкие войска идут парадом по Красной площади! Неправда, что немецкие офицеры купаются у Петропавловской крепости! Неправда, что они гуляют с нашими девушками по сталинградским улицам! Неправда, что нет больше на свете Красной Армии, а фронт держат монголы, нанятые англичанами!» Все это — неправда. Правда в том, что в городе остались свои люди, знающие правду, и они бесстрашно говорят эту единственную правду народу.

Человек с повязкой «полицая», неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловичные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игната Фомина и расступались перед ним с мгновенным выражением испуга или заискивания.

Сережка Тюленин, насунув кепку на брови и прячась за людей, чтобы Фомин не узнал его, поискал глазами в толпе Васю Пирожка. Найдя его, он подмигнул в сторону Фомина. Но Пирожок хорошо знал, что от него требуется,— он уже проталкивался за Фоминым к щиту.

Несмотря на то, что Пирожка и Ковалева выгнали из полиции, у них сохранились добрые отношения со всеми полицейскими, вовсе не считавшими поступок Пирожка и Ковалева таким уж предосудительным. Фомин оглянулся, узнал Пирожка и ничего не сказал ему. Они вместе добрались к этому листку. Фомин попытался соскоблить его ногтем, но листок прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фомин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката и, скомкав, сунул в карман пиджака.

— Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда! — зашипел он, обернув на толпу желтое лицо скопца, и маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных складок кожи.

Пирожок, скользя и виясь вокруг Фомина, как черный змий, выкрикивал мальчишеским голосом:

— Слыхали?.. Расходись, господа, лучше будет!

Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Пирожок на мгновение точно прилип к нему. Толпа раздалась и начала разбегаться. Пирожок выбежал вперед.

Фомин мрачно шел по базару в тяжелых яловичных сапогах. Народ, забросив свои торговые дела, глядел ему в спину с выражением — кто испуга, кто удивления, а кто злорадства: на спине Фомина к его клетчатому пиджаку был прикреплен листок, на котором большими печатными буквами было выведено:

«Ты продаешь наших людей немцам за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку махорки. А заплатишь своей подлой жизнью. Берегись!»

Никто не остановил Фомина, и он с этим зловещим предупреждением на спине проследовал через весь базар в полицию.

Светлая курчавая голова Сережки и черная головка Пирожка то возникали, то исчезали в базарной толпе там, здесь, двигаясь среди вращающихся тел, как кометы по своим непонятным орбитам. Они не одни: вдруг вынырнет на каком-нибудь извороте русая головка Тоси Мащенко, тихой, скромно одетой девушки с умненькими глазками. А если здесь головка Тоси Мащенко, значит, ищи поблизости ее спутника, белую голову Степы Сафонова. Светлые пронзительные глаза Сережки скрещиваются в толпе с темными бархатными глазами Витьки Лукьянченко,— скрестятся и разойдутся. И долго кружит вокруг ларьков и столиков Валя Борц со своими светло-русыми золотистыми косами; в руках у нее корзинка, прикрытая суровым рушником, а что она продает и что покупает, этого не видит никто.

И люди находят листовки у себя в кошелке, в пустом мешке, а то и прямо на прилавке под сахарным кочаном капусты или под арбузом, серо-желтым, темно-зеленым или словно расписанным иероглифами,— иногда это даже не листовка, а просто узкая полоска бумаги, на которой выведено печатными буквами что-нибудь такое:

«Долой гитлеровских двести грамм, да здравствует советский килограмм!»

И дрогнет сердце у человека.

Сережка в который уже раз обогнул ряды столиков и вынырнул на толкучке, где продавали с рук, и вдруг лицом к лицу столкнулся с врачом городской больницы Натальей Алексеевной. Она стояла, в запылившихся

спортивных тапочках, в ряду других женщин, держа в пухлых детских руках маленькие дамские туфли, изрядно поношенные. Она смутилась, узнав Сережку.

— Здравствуйте! — сказал он, тоже растерявшись, и стянул с головы кепку.

В глазах Натальи Алексеевны мгновенно появилось то самое, знакомое ему, прямое, беспощадное, практическое выражение,— она ловким движением своих пухлых ручек завернула туфли и сказала:

— Очень хорошо. Ты мне очень нужен.

Сережка и Валя должны были вместе перейти с базара в район биржи труда, откуда сегодня выступала на Верхнедуванную первая партия молодежи, угоняемой в Германию. И вдруг Валя увидела, как Сережка и какая-то кругленькая — издали казалось — девочка с женской прической вышли из базарной толпы к мазанкам Ли Фан-чи и скрылись за мазанками. Гордость не позволила Вале пойти следом. Полная верхняя губа ее чуть дрогнула, в глазах появилось холодное выражение. И Валя со своей корзинкой, где осталось еще под картофелем несколько листовок, необходимых на новом месте, горделивой походкой пошла к бирже труда.

Площадка на холме перед белым одноэтажным зданием биржи была оцеплена немецкими солдатами. Молодые люди, которые должны были сегодня покинуть родной город, матери, отцы, родственники с узлами и чемоданами и просто любопытные толпились перед оцеплением по склонам холма. Все последнее время стояли пасмурные, серые дни. Поднявшийся с утра ветер, со свирепым однообразием гнавший по небу темные тучи, не давал пролиться дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин и девушек на склонах холма и катил по дороге мимо зданий районного исполкома и «бешеного барина» тяжелые валы пыли.

Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окаменевшая в своем горе. Если и заговорят в каком-нибудь месте, то вполголоса или шепотом, даже плакать громко боятся: иная мать только смахнет слезы рукой, а дочка вдруг уткнет глаза в платочек.

Валя остановилась с края толпы, на склоне холма, откуда ей видны были район шахты № 1-бис и часть железнодорожной ветки.

Все новые люди подходили с разных концов города. Ребята, разбрасывавшие листовки по базару, тоже почти все перекочевали сюда. Вдруг Валя увидела Сережку — он шел по железнодорожной насыпи, нагнув голову, чтобы ветром не сдуло кепку. Некоторое время его не было видно, потом он возник из-за округлости холма,— он шел без дороги, окидывая взглядом толпу, и еще издалека увидел Валю. Верхняя полная яркая губа ее самолюбиво дрогнула.

Валя не смотрела на него и ни о чем не спрашивала.

— Наталья Алексеевна...— тихо сказал он, поняв, что Валя сердится.

Он склонился к ее уху и прошептал:

— Целая группа ребят в поселке Краснодон... Просто сами собой... Скажи Олегу...

Валя была связной от штаба. Она кивнула головой. В это время они увидели идущую по дороге со стороны «Восьмидомиков» Ульяну Громову и с ней незнакомую девушку в берете и в пальто. Уля и эта девушка, преодолевая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, несли вдвоем чемодан.

— Если придется туда пойти, ты согласна? — снова шепнул Сережка.

Валя кивнула головой.

Обер-лейтенант Шприк, директор биржи, понял наконец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением со своими родными, если их не поторопить. Он вышел на крыльцо, гладко выбритый и уже не в кожаных трусах, как он ходил в жаркие дни у себя на бирже и по улицам, а в полной форме, вышел в сопровождении писаря и крикнул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь повторил это по-украински.

Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих за оцепление. Началось прощание. Матери и дочери, уже не сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, но страшно было смотреть на их лица, когда матери, бабки, сестры бились у них на груди и престарелые отцы, десятки лет проведшие под землей и не раз видевшие смерть лицом к лицу, потупившись, смахивали слезы с усов.

— Пора...— сурово сказал Сережка, стараясь не показать Вале своего волнения.

Она, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, не слыша его, машинально двинулась сквозь толпу к бирже. Так же машинально она доставала из-под картофеля сложенный вчетверо листок и совала его кому-нибудь в карман пальто или тужурки или просто под ручку чемодана или веревку корзинки.

У самого оцепления внезапный поток людей, в панике хлынувших от биржи, оттеснил Валю. Среди провожающих немало было подростков, девушек, молодых женщин, и кто-то из них, провожая сестру или брата, случайно попал за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так развеселило немецких солдат, что они стали хватать за руки первых попавшихся ребят и девушек и втаскивать их за оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Какая-то женщина забилась в истерике. Молодежь в ужасе хлынула от оцепления.

Сережка, вынырнувший неизвестно откуда, с выражением страдания и гнева на лице за руку вытащил Валю из толпы прямо на Нину Иванцову.

— Слава богу... А то эти ироды...— Нина схватила обоих за руки своими крупными женственными смуглыми руками.— Сегодня в пять у Кашука... Предупреди Земнухова и Стаховича,— шепнула она Вале.— Ульяну не видели? —И побежала разыскивать Улю: Нина, как и Валя, была связной от штаба.

А Валя и Сережка еще постояли некоторое время друг возле друга,— им очень не хотелось расставаться. У Сережки было такое лицо, точно он вот-вот скажет что-то очень важное, но он так ничего и не сказал.

— Я побегу,— мягко сказала Валя.

Все-таки она постояла еще некоторое время, потом улыбнулась Сережке, оглянулась, застыдилась и побежала с холма со своей корзинкой, мелькая крепкими загорелыми ногами.

Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи. Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него. На мгновение глаза их встретились, и в глазах солдата мелькнуло подобие человеческого выражения. Он отпустил Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал на белокурую молодую женщину с непокрытой головой, не отпускавшую от себя сына, подростка лет шестнадцати.

Наконец женщина оторвалась от сына, и выяснилось, что угоняют не его, а ее: подросток, плача, как ребенок, смотрел, как она с узелком в руке вошла в здание биржи, в последний раз улыбнувшись сыну с порога.

Всю ночь Уля и Валя просидели, обнявшись, в маленькой, украшенной осенними цветами горенке на квартире Филатовых. Старенькая Валина мама то подходила и гладила по головке и целовала их обеих, то перебирала вещички в Валином чемодане, то тихо-тихо сидела в углу на креслице: с уходом Вали она оставалась совсем одна.

Валя, обессилевшая от слез и тоже притихшая, изредка чуть вздрагивала в объятиях Ули. А Уля с ужасным сознанием неизбежности того, что должно было произойти, размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно детским и материнским, молча все гладила и гладила русую Валину головку.

При свете коптилки в темной горенке только и видны были их лица и руки — двух девушек и старенькой матери.

Если бы никогда этого не видеть! Этого прощания Вали и ее мамы, этого бесконечного пути с чемоданом под свистящим ветром, этого последнего объятия перед цепью немецких солдат!

Но все это было, было... Все это еще длится... С лицом, полным мрачной силы, Уля стояла у самой цепи немецких солдат, не отводя глаз от двери биржи.

Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли на площадке возле стены свои узлы и чемоданы,— говорили, что вещи будут доставлены машиной,— и входили в помещение. Немчинова под наблюдением обер-лейтенанта выдавала им на руки карточку, единственный документ, который на всем пути следования удостоверял их личность для любого представителя немецкой власти. На карточке не было ни имени, ни фамилии ее владельца, а только номер и название города. С этой карточкой они выходили из помещения, и ефрейтор ставил их на свое место в шеренгах вдоль площади.

Вот вышла и Валя Филатова, поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней, но ефрейтор на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул к строящимся шеренгам. Валя попала в третью или четвертую шерен-

гу, в дальний конец, и подруги больше не могли видеть друг друга.

Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на проявление любви. Женщины в толпе пытались прорваться сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания или совета детям. А молодые люди в шеренгах, в большинстве девушки, уже словно принадлежали к другому миру: они отвечали вполголоса или просто взмахом платочка, или молча, с бегущими по лицу слезами, смотрели и смотрели на дорогие лица.

Но вот обер-лейтенант Шприк вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него.

— Still gestanden! [1] — скомандовал обер-лейтенант.

— Still gestanden!—повторил толстый ефрейтор ужасным голосом.

В колонне все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел перед первой шеренгой и, тыкая плотным пальцем в каждого переднего из стоящей друг другу в затылок четверки, пересчитал всех. В колонне было свыше двухсот человек.

Обер-лейтенант передал пакет толстому ефрейтору и махнул рукой. Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде ефрейтора повернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных, с толстым ефрейтором впереди.

Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны и вслед за нею, и плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром.

Уля, на ходу приподымаясь на цыпочках, все пыталась разыскать Валю в колонне и наконец увидела ее.

Валя, с широко открытыми глазами, озиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки оттого, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю.

— Я здесь, Валечка, я здесь, я с тобой!..— кричала Уля, оттесняемая толпой.

Но Валя не видела и не слышала ее и все оглядывалась с этим мучительным выражением.

Уля, все более оттесняемая от колонны, несколько раз еще увидела Валино лицо, потом колонна за зданием

---

[1] Смирно! *(нем.)*

«бешеного барина» спустилась ко второму переезду, и Вали не стало видно.

— Ульяна! — сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей.— Я тебя ищу. Сегодня в пять у Кашука... Любка приехала...

Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными страшными глазами.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу, на котором стояли бутылка с водкой. кружки и тарелки без всякой закуски, и все, смолкнув, с серьезными лицами тоже присели: кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега.

Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные, и вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь — дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли.

Большая комната в квартире Кошевых, такая же, как во всех стандартных домах, с некрашеными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны со множеством взбитых подушек, покрытых кружевной накидкой,— эта комната еще напоминала им беспечную жизнь под родительским кровом и в то же время была уже конспиративной квартирой.

И Олег был уже не Олег, а Кашук: это была фамилия отчима, в молодости довольно известного на Украине партизана, а в последний год перед смертью — заведующего земельным отделом в Каневе. Олег взял себе как кличку его фамилию; с ней у него связаны были первые героические представления о партизанской борьбе и все то мужественное воспитание — с работой на поле, охотой, лошадьми, челнами на Днепре,— которое дал ему отчим.

Он открыл страничку, где условными обозначениями было у него все записано, и предоставил слово Любе Шевцовой.

Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей, опасностей, встреч, приключений,— их нельзя было бы пересказать и за две ночи.

Еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, а теперь она снова была среди своих друзей.

Как она заранее договорилась с Олегом, Любка прежде всего передала членам штаба все, что Иван Федорович рассказал ей о Стаховиче. Разумеется, она не назвала имени Ивана Федоровича, хотя она сразу узнала его,— она сказала, что встретила случайно человека, бывшего со Стаховичем в отряде.

Любка была девушка прямая и бесстрашная и даже по-своему жестокая в тех случаях, если она кого-нибудь не любила. И она не скрыла предположения этого человека, что Стахович мог побывать в руках у немцев.

Пока она рассказывала все это, члены штаба боялись даже взглянуть на Стаховича. А он сидел, внешне спокойный, выложив на стол худые руки, и прямо глядел перед собой,— в лице у него было выражение силы. Но при последних словах Любки он сразу изменился.

Напряжение, в котором он держал себя, спало, губы и руки его разжались, и он вдруг обиженно и удивленно и в то же время открыто обвел всех глазами и сразу стал похож на мальчика.

— Он... он так сказал?.. Он мог так подумать? — несколько раз повторял он, глядя Любке в глаза с этим обиженным детским выражением.

Все молчали, и он опустил лицо в ладони и посидел так некоторое время. Потом он отнял от лица руки и тихо сказал:

— На меня упало такое подозрение, что я... Почему же он тебе не сказал, что нас уже неделю гоняли и нам говорили, что надо расходиться по группам? — сказал он, вскинув глаза на Любку, и снова открыто оглядел всех.— Я, когда лежал в кустах, я подумал: они идут на прорыв, чтобы спастись, и большая часть, если не все, погибнет, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен. Это я тогда так по-

думал... Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой... очень страшно было,— наивно сказал Стахович.— Но все-таки я не считаю, что совершил такое уж большое преступление... Ведь они тоже спасали себя... Уже стемнело, я и подумал: плаваю я хорошо, одного меня немцы могут и не заметить. Когда все убежали, я еще полежал немного, огонь здесь прекратился, потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал: пора,— и поплыл на спине, один нос наружу,— плаваю я хорошо,— сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся!.. А такое подозрение... Разве это можно? Ведь сам-то этот человек в конце концов тоже спасся?.. Я подумал: раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся!..

Стахович сидел растрепанный и походил на мальчика.

— Положим, так,— ну, ты спасся,— сказал Ваня Земнухов,— а почему ты нам сказал, что ты послан от штаба отряда?

— Потому, что меня, правда, хотели послать... Я подумал: раз я остался жив, ничто же не отменяется!.. В конце концов я же не просто шкуру спасал, я же хотел и хочу бороться с захватчиками. У меня есть опыт, я же участвовал в организации отряда и был в боях — вот почему я так сказал!

У всех было так тяжело на душе, что после объяснений Стаховича все испытали некоторое облегчение. И все-таки это была очень неприятная история. И нужно же было ей случиться!

Всем было ясно, что Стахович говорит правду. Но все чувствовали, что он поступил дурно и дурно рассказывает о своем поступке, и было обидно и непонятно это и неизвестно, как поступить с ним.

Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом или человеком, ищущим личной выгоды. А он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных постоянным заимствованием некоторых внешних проявлений их власти в такое время его жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть

заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера.

Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях, как о равных себе, поверхностно начитанный, умеющий легко выражать устно и письменно не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он, еще ничего не сделав в жизни, считался среди работников районного комитета комсомола активистом. А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником. Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и создал себе ложное представление об искусстве власти, будто оно состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.

Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой. И вместо живого, непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда нарочито сдержан, говорил искусственным тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство.

Так с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития.

Почему, в самом деле, он должен был погибнуть, а не спастись, как другие, как этот партизан, которого встретила Любка? И какое право имел этот человек возвести на него такое подозрение, когда не он, Стахович, а другие, более ответственные люди, виноваты в том, что отряд попал в такое положение?

Пока ребята в нерешительности молчали, Стахович даже несколько подбодрился такими рассуждениями. Но вдруг Сережка резко сказал:

— Начался огонь в другом месте, а он лег себе на спинку и поплыл! А огонь начался оттого, что отряд на прорыв пошел, где каждый человек на счету. Выходит, все пошли, чтобы его спасти?

Ваня Туркенич, командир, сидел, ни на кого не глядя, со своей военной выправкой, с лицом необыкновенной чистоты и мужественности. И он сказал:

— Солдат должен выполнять приказ. А ты сбежал во время боя. Короче говоря — дезертировал в бою. У нас на фронте за это расстреливали или сдавали в штрафной батальон. Люди кровью искупали свою вину...

— Я крови не боюсь...— сказал Стахович и побледнел.

— Ты просто зазнайка, вот и все! — сказала Любка.

Все посмотрели на Олега: что же он об этом думает? И Олег сказал очень спокойно:

— Ваня Туркенич уже все сказал, лучше не скажешь. А по тому, как Стахович держится, он, видно, вовсе не признает дисциплины... Может ли такой человек быть в штабе нашего отряда?

И когда Олег так сказал, прорвалось то, что было у всех на душе. Ребята со страстью обрушились на Стаховича. Ведь они вместе давали клятву,— как же мог Стахович давать ее, когда на совести его был такой поступок, как же он мог не сознаться в нем? Хорош товарищ, который способен был осквернить такой святой день! Конечно, нельзя ни минуты держать такого товарища в штабе. А девушки, Люба и Уля, даже ничего не говорили, настолько они презирали Стаховича, и это было ему всего обидней.

Он совсем растерялся и смотрел униженно, стараясь всем заглянуть в глаза, и все повторял:

— Неужели вы мне не верите? Дайте мне любое испытание...

И тут Олег действительно показал, что он уже не Олег, а Кашук.

— Но ты понимаешь сам, что тебя нельзя оставить в штабе? — спросил он.

И Стахович вынужден был признать, что, конечно, его нельзя оставить в штабе.

— Важно, чтобы ты сам понимал это,— сказал Олег.— А задание мы тебе дадим, и не одно. Мы тебя проверим. За тобой останется твоя пятерка, и у тебя будет немало возможностей восстановить свое доброе имя.

А Любка сказала:

— У него семья такая хорошая,— даже обидно!

Они проголосовали за вывод Евгения Стаховича из штаба «Молодой гвардии». Он сидел, опустив голову, потом встал и, превозмогая себя, сказал:

— Мне это очень тяжело, вы сами понимаете. Но я знаю — вы не могли поступить иначе. И я не обижаюсь на вас. Я клянусь...—У него задрожали губы, и он выбежал из комнаты.

Некоторое время все тяжело молчали. Трудно давалось им это первое серьезное разочарование в товарище. И очень трудно было резать по живому.

Но Олег широко улыбнулся и сказал, чуть заикаясь:

— Д-да он еще п-поправится, ребята, ей-богу!

И Ваня Туркенич поддержал его своим тихим голосом:

— А вы думаете, на фронте таких случаев не бывает? Молодой боец поначалу струсит, а потом такой еще из него солдат, любо-дорого!

Любка поняла, что пришло время подробно рассказать о встрече с Иваном Федоровичем. Она умолчала, правда, о том, как она попала к нему,— вообще она не имела права рассказывать о той, другой стороне ее деятельности,— но она даже показала, пройдясь по комнате, как он принял ее и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он на самом деле был доволен ими.

Взволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели себя, они стали пожимать руки и поздравлять друг друга.

— Нет, Ваня, подумай только, только подумай! — с наивным и счастливым выражением говорил Олег Земнухову.— Молодая гвардия существует, она признана даже областным руководством!

А Любка обняла Улю, с которой она подружилась с того совещания у Туркенича, но с которой еще не успела поздороваться, и поцеловала ее, как сестру.

Потом Олег снова заглянул в свою книжку, и Ваня Земнухов, который на прошлом заседании был выделен организатором пятерок, предложил наметить еще руководителей пятерок,—ведь организация будет расти.

— Может быть, начнем с Первомайки? — сказал он, весело взглянув на Улю сквозь профессорские очки.

Уля встала с опущенными вдоль тела руками, и вдруг на всех лицах несознаваемо отразилось то прекрасное, счастливое, бескорыстное чувство, какое в чистых душах не может не вызывать девичья красота. Но Уля не замечала этого любования ею.

— Мы, то есть Толя Попов и я, предлагаем Витю Петрова и Майю Пегливанову,— сказала она. Вдруг она увидела, что Любка с волнением смотрит на нее.— А на Восьмидомиках пусть Люба подберет: будем соседями,— сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом.

— Ну, что ты, право! — Любка покраснела и замахала своими беленькими ручками: какой же она, в самом деле, организатор!

Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела: в одно мгновение она представила себя организатором на «Восьмидомиках», и ей это очень понравилось.

Ваня Туркенич нашел, что пришло время внести предложение, о котором они условились ночью с Олегом. Он рассказал все, что случилось с Олегом и чем это могло угрожать не только ему, а всей организации, и предложил вынести решение, которое навсегда запрещало бы Олегу участвовать в операциях без разрешения штаба.

— Я думаю, этого даже объяснять не надо,— сказал он.— Конечно, это решение должно распространяться и на меня.

— Он п-прав,— сказал Олег.

И они единодушно приняли это решение. Потом встал Сережка и очень смутился.

— У меня даже два сообщения,— хмуро сказал он, выпятив подпухшие губы.

Всем вдруг стало так смешно, что некоторое время ему даже не давали говорить.

— Нет, я хочу сначала сказать об этом Игнате Фомине. Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь? — вдруг сказал Сережка, багровея от гнева.— Этот Иуда выдал Остапчука, Валько, и мы еще не знаем, сколько наших шахтеров лежит на его черной совести!.. Я что предлагаю?.. Я предлагаю его убить,— сказал Сережка.— Поручите это мне, потому что я его все равно убью,— сказал он, и всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно убьет Игната Фомина.

Лицо Олега стало очень серьезным, крупные продольные складки легли на его лбу. Все члены штаба смолкли.

— А что? Он правильно говорит,— спокойным, тихим голосом сказал Ваня Туркенич.— Игнат Фомин — злостный предатель наших людей. И его надо повесить. Повесить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди. И оставить на груди плакат, за что повешен. Чтобы другим неповадно было. А что, в самом деле? — сказал он с неожиданной для него жестокостью в голосе.— Они, небось, нас не помилуют!.. Поручите это мне и Тюленину...

После того как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило. Как ни велика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им было трудно переступить через *это*. Но Туркенич сказал свое веское слово, это был их старший товарищ, командир Красной Армии,— значит, так и должно быть.

— Конечно, мы должны получить разрешение на это от старших товарищей,— сказал Олег,— но для этого надо иметь наше общее мнение... Я поставлю сначала на голосование предложение Тюленина о Фомине, а потом — кому поручить,— пояснил он.

— Вопрос довольно ясен,— сказал Ваня Земнухов.

— Да, вопрос ясен, а все-таки я поставлю отдельно вопрос о Фомине,— сказал Олег с какой-то мрачной настойчивостью.

И все поняли, почему Олег так настаивает на этом. Они дали клятву. Каждый должен был снова решить это в своей душе. В суровом молчании они проголосовали за казнь Фомина и поручили казнить его Туркеничу и Тюленину.

— Правильно решили! Так с ними и надо, со сволочами! — со страстным блеском в глазах говорил Сережка — Перехожу ко второму сообщению...

Врач больницы, Наталья Алексеевна, та самая женщина с маленькими пухлыми ручками и глазами беспощадного, практического выражения, рассказала Сережке, что в поселке, в восемнадцати километрах от города, носящем также название Краснодон, организовалась группа молодежи для борьбы с немецкими оккупантами. Сама Наталья Алексеевна не состояла в этой группе, а узнала о ее существовании от своей сожительницы по квартире в поселке, где постоянно жила мать Натальи Алексеевны,— от учительницы Антонины Елисеенко, и обещала ей помочь установить связь с городом.

По предложению Сережки штаб поручил связаться с этой группой Вале Борц, поручил заочно, потому что связные, Нина и Оля Иванцовы и Валя, не присутствовали на заседании штаба, а вместе с Мариной сидели в сарае на дворе и охраняли штаб.

Штаб «Молодой гвардии» воспользовался тем, что Елена Николаевна и дядя Коля уехали на несколько дней в район, где жила родня Марины,— обменять коекакие вещи на хлеб. Бабушка Вера Васильевна, притворившись, будто она верит, что ребята собрались на вечеринку, увела тетю Марину с маленьким сыном в сарай.

Пока они заседали, уже стемнело, и бабушка Вера неожиданно вошла в комнату. Поверх очков, у которых одна из державок, заправленная за ухо, была отломана и прикручена черной ниткой, бабушка Вера взглянула на стол и увидела, что бутылка с водкой не тронута и кружки пустые.

— Вы бы хоч чай пили, я вам як раз подогрела! — сказала она, к великому смущению подпольщиков.— А Марину я уговорила лечь спать с сыном в сарае, бо там воздух чище.

Бабушка привела Валю, Нину и Олю и принесла чайник и с какого-то дальнего донышка дальнего ящика — даже не буфета, а комода,— достала несколько конфет, потом закрыла ставни, зажгла коптилку и ушла.

Теперь, когда молодые люди остались одни при этой чадящей коптилке, маленькое колеблющееся пламя которой выделяло из полумрака только случайные детали лиц, одежды, предметов, они действительно стали походить на заговорщиков. Голоса их звучали глуше, таинственней.

— Хотите послушать Москву? — тихо спросил Олег.

Все поняли это как шутку. Только Любка вздрогнула слегка и спросила:

— Как Москву?

— Только одно условие: ни о чем не спрашивать.

Олег вышел во двор и почти тотчас же вернулся.

— Потерпите немножечко,— сказал он.

Он скрылся в темной комнате дяди Коли.

Ребята сидели молча, не зная, верить ли этому. Но разве можно было шутить этим здесь, в такое время!

— Ниночка, помоги мне,— позвал Олег.

Нина Иванцова пошла к нему.

И вдруг из комнаты дяди Коли донеслось негромкое, такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, легкий треск, звуки музыки: где-то танцевали. Все время вырывались немецкие марши. Спокойный голос пожилого человека по-английски перечислял цифры убитых на земном шаре, и кто-то все говорил и говорил по-немецки, быстро, исступленно, будто боялся, что ему не дадут договорить.

И вдруг сквозь легкое потрескивание в воздухе, который словно входил в комнату волнами из большого-большого пространства, очень ясно, на бархатных, едва весомых низах, торжественно, обыденно, свободно заговорил знакомый голос диктора Левитана:

«...От Советского Информбюро... Оперативная сводка за седьмое сентября... вечернее сообщение...»

— Записывайте, записывайте! — вдруг зашипел Ваня Земнухов и сам схватился за карандаш.— Мы завтра же выпустим ее!

А этот свободный голос с свободной земли говорил через тысячеверстное пространство:

«...В течение седьмого сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и

Моздок... На других фронтах существенных изменений не произошло...»

Отзвуки великого боя точно вошли в комнату.

Юноши и девушки, подавшись вперед, с телами, вытянутыми, как струны, с иконописными лицами и глазами, темными и большими при свете коптилки, безмолвные, слушали этот голос свободной земли.

У порога, прислонившись к двери, не замечаемая никем, стояла бабушка Вера с худым, иссеченным морщинами бронзовым лицом Данте Алигьери.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Электрический свет подавался только в немецкие учреждения. Дядя Коля воспользовался тем, что линия к дирекцнону и комендатуре проходила не улицей, а по границе с соседним двором,— один из столбов стоял у самого дома Коростылевых. Радиоприемник хранился в его комнате, под половицами, под комодом, а провод во время пользования приемником выводился в форточку и сцеплялся с проводом, обвивавшим длинный шест с крючком, а шест подвешивался на главный провод, возле столба.

Сводка Информбюро... Во что бы то ни стало им нужна была типография!

Володя Осьмухин, Жора Арутюнянц и Толя «Гром гремит» выкопали в парке только остатки шрифта. Возможно, люди, закапывавшие его, не имели тары под рукой, в спешке высыпали шрифт в яму и прикрыли землей. А немецкие солдаты, рывшие ложементы для машин и зенитных установок, вначале не разобрались в том, что это такое. Они разбросали часть шрифта вместе с землей, а потом, спохватившись, доложили по начальству. Наверно, шрифт куда-нибудь был сдан, но какая-то мелочь еще осталась на дне ямы. В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в земле, ребята находили остатки шрифта по радиусу в несколько метров от места, где он был обозначен по плану, и выбрали все, что там было. Для надобностей Лютикова этот шрифт был непригоден. И Филипп Петрович разрешил Володе использовать шрифт для «Молодой гвардии».

Старший брат Земнухова, Александр, находившийся теперь в армии, был по профессии типографский рабочий. Он работал долгое время в местной типографии газеты «Социалистическая родина», куда Ваня частенько заходил за ним. И вот под наблюдением Вани Володя сконструировал маленький печатный станок. Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся сделать деревянный ящик, в котором все это должно было быть собрано, и кассы для набора.

Отец Жоры был столяр. Правда, вопреки ожиданиям Жоры, ни отец его, ни даже мать, с ее характером, после прихода немцев не взялись за оружие. Но все же Жора не сомневался, что постепенно он приучит их к своим занятиям. После зрелого обдумывания он нашел, что мать его слишком уж энергичная женщина и ее надо приучать в последнюю очередь, а надо начать с отца. И отец Жоры, человек пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну,— сын целиком удался в мать, с ее характером, с ее ростом и цветом волос, как вороново крыло,— отец Жоры, сильно недовольный тем, что подпольщики передали такой щепетильный заказ через несовершеннолетнего сына, тайно от жены сделал и ящик и кассы. Конечно, он не мог знать того, что Жора и Володя были теперь сами крупными людьми — руководителями пятерок.

Дружба ребят перешла уже в такие отношения, когда они и дня не могли прожить, не видя друг друга. Только с Люсей Осьмухиной у Жоры по-прежнему сохранялись напряженно-официальные отношения.

Несомненно, это был тот случай, когда люди не могут сойтись характерами. Они оба были очень начитанные, но Жора любил книги научно-политического содержания, а Люсю волновали в книгах главным образом страсти,— надо сказать, она была старше его годами. Правда, когда Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему льстило, что Люся будет вполне свободно владеть тремя иностранными языками, но все же он считал такое образование недостаточно основательным и был, может быть, не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера-строителя.

В общем с первой же секунды, как они встречались, светлый вспыхивающий взор Люси и черный решитель-

ный взор Жоры скрещивались, как стальные клинки. И на всем протяжении, пока они были вместе, большей частью не одни, они атаковали друг друга короткими репликами, надменными и язвительными у Люси и подчеркнуто сдержанными и дидактическими у Жоры.

Наконец наступил день, когда ребята, вчетвером, собрались в комнате у Жоры — он сам, Володя Осьмухин, Толя «Гром гремит» и Ваня Земнухов, их старший товарищ и руководитель, который не столько как поэт, сколько как автор большинства листовок и лозунгов «Молодой гвардии», был, конечно, больше всех заинтересован в типографии. И вот станок был собран. И Толя Орлов несколько раз, сопя и кашляя, как в бочку, прошелся с ним по комнате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может быть перенесен одним человеком.

У них уже были и плоская кисточка и валик для прокатки. А вместо типографской краски отец Жоры, который за всю свою жизнь имел дело только с окраской и лакировкой дерева, приготовил, как он сказал, «оригинальную смесь». Они тут же стали сортировать буквы по кассам. А близорукий Ваня Земнухов, которому все буквы казались одной буквой «о», сидел на Жориной кровати и говорил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно сделать все буквы русского алфавита.

Как раз в это время кто-то постучал в занавешенное окно, но они не растерялись: немцы и «полицаи» еще ни разу не заходили в этот дальний конец выселков. И действительно, это пришли Олег и Туркенич. Они никак не могли усидеть дома, им тоже хотелось поскорей оттиснуть что-нибудь в своей типографии.

Но потом оказалось, что они вовсе не такие уж простаки! Туркенич потихоньку отозвал Жору, и они вместе вышли в огород, а Олег как ни в чем не бывало остался помогать Володе и Толе.

Туркенич и Жора прилегли возле межи под солнышком, часто закрывавшимся тучами и гревшим уже по-осеннему,— земля и трава были еще влажные после дождя. Туркенич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Как он и ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решительностью:

— Правильно! Это и справедливо и поучительно для других подлецов!.. Конечно, я согласен.

После того как Олег и Ваня Туркенич получили разрешение от подпольного райкома, предстояло самое тонкое дело — найти среди ребят таких, кто не только пойдет на это из чувства справедливости и чувства дисциплины, а у кого высокое моральное чувство долга настолько претворилось в волю, что рука его не дрогнет.

Туркенич и Сережка Тюленин наметили первым Сергея Левашова: это был цельный парень и сам уже многое испытал. Потом они остановились на Ковалеве: он был смел, добр и физически очень силен,— такой человек им был нужен. Сережка предложил было и Пирожка, но Туркенич отвел его за то, что Пирожок слишком был склонен к авантюрам. Лучшего друга своего, Витьку Лукьянченко, Сережка мысленно сам отвел из жалости к нему. Наконец они остановились на Жоре. И они не ошиблись.

— А вы не утвердили состав трибунала? — спросил Жора.— Не нужно, чтобы он занимался долгим разбирательством, важно, чтобы обвиняемый сам видел, что его казнят по суду.

— Мы сами утвердим трибунал,— сказал Туркенич.

— Мы будем его судить от имени народа. Здесь сейчас мы законные представители народа.— И черные мужественные глаза Жоры сверкнули.

«Ах, орел парень!» — подумал Туркенич.

— Нужен бы и еще кто-нибудь,— сказал он.

Жора задумался. Володя пришел ему на ум, но Володя был слишком тонкой душевной организации для такого дела.

— У меня в пятерке есть Радик Юркин. Знаешь? Из нашей школы. Думаю, он подойдет.

— Он же мальчишка. Еще переживать будет.

— Что ты! Мальчишки ни черта не переживают. Это мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем,— сказал Жора,— а мальчишки, знаешь, ни черта не переживают. Он такой спокойный, такой отчаянный!

В то время когда отец Жоры столярничал у себя под навесом, мать была захвачена Жорой у замочной скважины, и он вынужден был сказать ей, что он человек вполне самостоятельный и товарищи его взрослые

люди: пусть она не удивляется, если все они завтра женятся.

Жора и Ваня Туркевич вернулись как раз вовремя: шрифт был разобран, и Володя уже набрал несколько строк в столбик. Жора мгновенно обмакнул кисть в «оригинальную смесь», а Володя пришлепнул листы и прокатал валиком. Печатный текст оказался в траурной рамке от металлических пластинок, которые Володя по неопытности недостаточно сточил у себя в механическом цехе. Кроме того, буквы оказались разного размера, но с этим уже приходилось мириться. Но самое важное было то, что они имели перед собой настоящий печатный текст и все смогли прочесть то, что набрал Володя Осьмухин:

«Не уединяйся с Ваней не нервируй все равно мы знаем тайну твоего сердца Айяяй».

Володя пояснил, что эти строчки он посвящает Жоре Арутюнянцу и что он старался подбирать слова с буквой «й», и даже «Айяяй» набрал ради нее, потому что буквы «й» в их типографии оказалось больше всего. Знаки препинания он не набрал только потому, что забыл, что их нужно набирать, как буквы.

Олег весь так и загорелся.

— А вы знаете, что на Первомайке две девушки просят принять их в комсомол? — спросил он, глядя на всех большими глазами.

— У меня в пятерке тоже есть парень, который хочет вступить в комсомол,— сказал Жора. Этот парень был все тот же Радик Юркин, потому что пятерка Жоры Арутюнянца пока что состояла из одного Радика Юркина.

— Мы сможем в типографии Молодой гвардии печатать временные комсомольские билеты! — воскликнул Олег.— Ведь мы имеем право принимать в комсомол: наша организация утверждена официально!

Куда бы ни передвигалось, какое бы движение руками или ногами ни совершало длинное тело человека с узкой головой, в старомодном картузе, с глазами, как у питона, запрятанными среди многочисленных складок кожи, человек этот уже был мертв.

Месть шла за ним по пятам, днем и ночью, по дежурствам и облавам, она наблюдала за ним через окно, когда он рассматривал с женой вещи и тряпки, отобранные в семье у только что убитого человека; месть знала каждое его преступление и вела им счет. Месть преследовала его в образе юноши, почти мальчика, быстрого, как кошка, с глазами, которые видели даже во тьме. Но если бы Фомин знал, как она беспощадна, эта месть с босыми ногами, он уже сейчас прекратил бы всякие движения, создающие видимость жизни.

Фомин был мертв потому, что во всех его деяниях и поступках им руководили теперь даже не жажда наживы и не чувство мести, а скрытое под маской чинности и благообразия чувство беспредельной и всеобъемлющей злобы — на свою жизнь, на всех людей, даже на немцев.

Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но никогда она не была столь страшной и безнадежной, как теперь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но все же духовная опора его существования. Как ни велики были преступления, какие он совершил, он надеялся на то, что придет к положению власти, когда все люди будут его бояться, а из боязни будут уважать его и преклоняться перед ним. И окруженный уважением людей, как это бывало в старину в жизни людей богатых, он придет к пристанищу довольства и самостоятельности.

А оказалось, что он не только не обрел, но и не имел никакой надежды обрести признанную имущественную опору в жизни. Он крал вещи людей, которых арестовывал и убивал, и немцы, смотревшие на это сквозь пальцы, презирали его как наемного, зависимого, темного негодяя и вора. Он знал, что нужен немцам только до тех пор, пока он будет делать это для них, для утверждения их господства, а когда это господство будет утверждено и придет законный порядок — Ordnung, они прогонят или попросту уничтожат его.

Многие люди, правда, боялись его, но и эти люди и все другие презирали и сторонились его. А без утверждения себя в жизни, без уважения людей даже вещи и тряпки, которые доставались жене, не приносили ему никакого удовлетворения. Они жили с женой хуже зверей:

звери все же имеют свои радости от солнца и пищи и продолжают в жизни самих себя.

Кроме арестов и облав, в которых он участвовал, Игнат Фомин, как и все полицейские, нес караульную службу — дозорным по улицам или на посту при учреждениях.

В эту ночь он был дежурным при дирекционе, занимавшем помещение школы имени Горького в парке.

Ветер порывами шумел листвою и постанывал в тонких стволах деревьев и мел влажный лист по аллеям. Шел дождь,— не дождь, какая-то мелкая морось,— небо нависло темное, мутное, и все-таки чудились за этой мутью не то месяц, не то звезды, купы деревьев проступали темными и тоже мутными пятнами, влажные края которых сливались с небом, точно растворялись в нем.

Кирпичное здание школы и высокое глухое деревянное здание летнего театра, как темные глыбы, громоздились друг против друга, через аллею.

Фомин в длинном, черном, застегнутом наглухо осеннем пальто с поднятым воротником ходил взад-вперед по аллее между зданиями, не углубляясь в парк, точно он был на цепи. Иногда он останавливался под деревянной аркой ворот, прислонившись к одному из столбов. Так он стоял и смотрел в темноту вдоль по Садовой, где жили люди, когда рука, со страшной силой обнявшая его сзади под подбородок, сдавила ему горло — он не смог даже захрипеть — и согнула его назад через спину так, что в позвоночнике его что-то хрустнуло, и он упал на землю. В то же мгновение он почувствовал несколько пар рук на своем теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло, а другая железными тисками сдавила нос, и кто-то загнал кляп в судорожно раскрывшийся рот и туго захлестнул всю нижнюю часть лица чем-то вроде сурового полотенца.

Когда он очнулся, он лежал со связанными руками и ногами на спине под деревянной аркой ворот, и над ним, точно разрезанное темной дугой, свисало мутное небо с этим рассеянным, растворившимся не светом, а туманом.

Несколько темных фигур людей, лиц которых он не мог видеть, неподвижно стояли по обе стороны от него.

Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, взглянул на арку ворот и тихо сказал:

— Здесь будет в самый раз.

Маленький худенький мальчик, ловко снуя острыми локтями и коленками, взобрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю, раскачивавшуюся в рассеянном мутном свете неба.

— Закрепи двойным морским,— сурово сказал снизу мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком кепки.

Фомин услышал его голос и вдруг представил свою горницу на «Шанхае», обставленную кадками с фикусами, и плотную фигуру сидящего за столом человека с крапинами на лице, и этого мальчика. И Игнат Фомин стал страшно извиваться на мокрой холодной земле длинным, как у червя, телом. Извиваясь, он сполз с места, на которое его положили, но человек в большой куртке, похожей на матросский бушлат, приземистый, с могучими руками и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фомина на прежнее место.

В этом человеке Фомин признал Ковалева, вместе с ним служившего в полиции и выгнанного. Кроме Ковалева, Фомин узнал еще одного из шоферов дирекциона, тоже сильного, широкоплечего парня, которого он еще сегодня видел в гараже, куда забегал мимоходом, перед дежурством, прикурить. Как ни странно это было в его положении, но Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, этот шофер является главным виновником непонятных и многочисленных аварий машин дирекциона, на что жаловалась немецкая администрация, и что об этом следует донести. Но в это мгновение он услышал над собой голос, который тихо и торжественно заговорил с легким армянским акцентом:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Фомин мгновенно притих и поднял глаза к небу и снова увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеянном свете неба и худенького мальчика, который тихо сидел на арке ворот, обняв ее ногами, и смотрел вниз. Но вот голос с армянским акцентом перестал звучать. Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико извиваться на земле. Несколько человек

схватили его сильными руками и подняли в стоячем положении, а худенький мальчик на перекладине сорвал полотенце, стягивавшее ему челюсти, и надел ему на шею петлю.

Фомин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какое преступление казнен Игнат Фомин.

Потом они разошлись, каждый своим путем, только маленький Радик Юркин отправился ночевать к Жоре на выселки.

— Как ты себя чувствуешь? — блестя во тьме черными глазами, страшным шепотом спрашивал Жора Радика, которого била дрожь.

— Спать охота, просто спасу нет... Ведь я привык очень рано ложиться,— сказал Радик и посмотрел на Жору тихими, кроткими глазами.

Сережка Тюленин в раздумье стоял под деревьями парка. Вот наконец свершилось то, в чем он поклялся себе еще в тот день, когда узнал, что большой и добрый человек, которого он видел у Фомина, выдан своим хозяином немецким властям. Сережка не только настоял на свершении приговора, он отдал этому все свои физические и душевные силы, и вот это свершилось. В душе его менялись чувство удовлетворения, и азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках...

Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей. Но он никогда бы не решился зайти к ней ночью да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Да Вали и не было в городе: она ушла в поселок Краснодон.

Вот как получилось, что этой необыкновенной, мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший, в одной насквозь влажной рубашке, с залубеневшими от

грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову.

С опущенным на окно затемнением, при свете коптилки, они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник,— Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой,— и Сережка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра, даже здесь, на кухне, чуть колебавший пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухоньке.

Ваня, в очках, босой, говорил своим глуховатым баском:

— Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке, кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна... Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую, я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже совсем неграмотная женщина, из деревни, как и твоя... Я, как сейчас, помню нашу избушку; я лежу на печке, лет шести, а брат Саша пришел из школы, стихи учит... А то, помню, гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукать, а он меня сбросил.

Ваня вдруг засмущался, помолчал, потом заговорил снова:

— Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей... Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал... Он услышал колокольчик. «Что, думает, такое? Уж не жандармы ли за ним?» А это Пущин, его друг... А то сидят они себе с няней; где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли... Помнишь «Буря мглою небо кроет...»? Ты, наверно, помнишь. Меня всегда волнует это место...

И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы; в глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода весело забулькала, зашипела.

— Довольно стихов! — Ваня точно очнулся.— Раздягайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду,— весело сказал он.— Нет, брат, совсем, совсем, чего стесняться! Я и мочалку припас.

Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печи, поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки, дурно пахнущего мыла.

— У нас на селе в Тамбовской области был один старик. Он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве, у купца Сандунова,— говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные босые ступни.— Ты знаешь, что это значит — банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться, нанимаешь банщика, он тебя и трет, этакий усатый черт,— понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее полутора миллионов человек. А что ты думаешь? Он этим гордился,— столько людей сделать чистыми! Да ведь, знаешь, человеческая натура,— через неделю снова грязный!

Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову.

— Гардероб у тебя на зависть,— сказал Ваня, развешивая его влажную одежду над плитой,— похлеще еще, чем у меня... А ты, я вижу, порядок понимаешь. Вот слей сюда в поганое ведро, и еще разок, да не бойся брызгать, подотру.

Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка; он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук так, что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой басок:

— Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь...

Сережка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, подставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками.

Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережка сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями:

— Ты что ж это, братец ты мой? Ослаб? Или ленишься? Я недоволен тобой, братец ты мой...

— А харч каков? Сами посудите, ваше степенство! — очень серьезно, виновато и басисто отозвался Ваня.

В это время дверь на кухню отворилась, и Ваня, в роговых очках и с засученными рукавами, и Сережка, голый, с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани в нижней рубашке и в сподниках. Он стоял, высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался придать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми, до мучительности, глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу.

— Гроза миновала,— спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Сережке уже без прежнего энтузиазма.— На чаишко бы с вас, ваше степенство!

— Бог подаст,— ответил Сережка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам, и вздохнул.

— Да... Не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями,— серьезно сказал Ваня, когда Сережка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты.

Но Сережка не боялся трудностей с родителями... Он рассеянно взглянул на Ваню.

— Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать,— сказал он.

И вот что он написал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне:

«Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время: что, что с тобой? Давай не разлучаться никогда, все делать вместе. Валя,

если я погибну, прошу об одном: приди на мою могилу и помяни меня незлым, тихим словом».

Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь «шанхайчиками», по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью — снова в парк, на Деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку Валиной сестренке Люсе.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Мысль о том: «А как же мама?» — отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, прытко и деловито перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной глянцевитой дороге.

Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью, но — мама, мама!.. Как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что просто-напросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне! Каким, должно быть, жестоким холодом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери — теперь, когда нет отца, когда мать так одинока!.. А если мама уже что-нибудь подозревает?..

— Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери, точнее — Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она — девушка характера независимого и сильного и много старше вас, и, я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку,— говорила Наталья Алексеевна, как всегда, заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника.— Я хорошо знаю Сережу, как вполне серьезного мальчика, я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть. И я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому,— я лично убеждена, что он у них самый главный,

по тому, как Тося относится к нему. Они, правда, дают понять Тосиной и моей маме, будто у них отношения любовные, но я, хотя и не сумела еще сама, из-за перегруженности, организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. И я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, очень кокетливую девушку,— неодобрительно сказала Наталья Алексеевна,— но тоже несомненного члена их организации,— добавила она уже из чистого чувства справедливости.— Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, он работает на какой-то там шахтенке,— говоря точно, крутит вороток...

— И немцы верят вашим бумажкам? — спросила Валя.

— Немцы! — воскликнула Наталья Алексеевна.— Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица... Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один сержант из технической команды, какой-то ефрейтор, барбос барбосом... Мы, русские, для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет.

И все случилось так, как предсказала Наталья Алексеевна. Вале суждено было провести в этом поселке, таком разбросанном, бесприютном с его казарменного типа большими зданиями, огромными черными терриконами и застывшими копрами, совершенно лишенном зелени,— провести в нем двое суток среди людей, которым трудно было внушить, что за длинными темными ресницами и золотистыми косами стоит могучий авторитет «Молодой гвардии».

Мама Натальи Алексеевны жила в старинной, более обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся вместе хуторов. Там были даже садочки при домиках. Но кусты в садочках уже пожухли. От прошедших дождей образовалась сметанообразная, по пояс, грязь на улицах, которой уж, видно, суждено было покоиться до самой зимы.

В течение этих дней через поселок беспрерывно шла какая-то румынская часть направлением на Сталинград.

Ее пушки и фуры с бьющимися в постромках худыми конями стояли часами в этой грязи, и ездовые с голосами степных волынок по-русски ругались на весь поселок.

Тося Елисеенко, девушка лет двадцати трех, тяжелой украинской стати, полная, красивая, с черными глазами, страстными до непримиримости, сказала Вале напрямик, что она обвиняет районный подпольный центр в недооценке такого шахтерского поселка, как поселок Краснодон. Почему до сих пор ни один из руководителей не посетил поселка Краснодон? Почему на их просьбу не прислали ответственного человека, который научил бы их работать?

Валя сочла себя вправе сказать, что она представляет только молодежную организацию «Молодая гвардия», работающую под руководством подпольного райкома партии.

— А почему не пришел кто-нибудь из членов штаба Молодой гвардии? — говорила Тося, сверкая своими недобрыми глазами.— У нас тоже молодежная организация,— самолюбиво добавила она.

— Я доверенное лицо от штаба,— самолюбиво, приподымая верхнюю яркую губу, говорила Валя,— а посылать члена штаба в организацию, которая еще ничем не проявила себя в своей деятельности, было бы опрометчиво и неконспиративно... если вы хоть что-нибудь в этом понимаете,— добавила Валя.

— Ничем не проявили своей деятельности?! — гневно воскликнула Тося.— Хорош штаб, который не знает деятельности своих организаций! А я не дура рассказывать о нашей деятельности человеку, которого мы не знаем.

Возможно, они так бы и не договорились, эти миловидные самолюбивые девушки, если бы Коля Сумской не пришел на помощь.

Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого. Но тут Валя прямо и холодно сказала, что «Молодая гвардия» знает руководящее положение Сумского в организации и, если Тося не сведет ее с ним, Валя разыщет его сама.

— Интересно мне, как вы его разыщете,— с некоторой тревогой сказала Тося.

— Хотя бы через Лиду Андросову.

— У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнестись к вам иначе, чем я.

— Тем хуже... Я буду искать его сама и по незнанию адреса могу его случайно провалить.

И Тося Елисеенко сдалась.

Все повернулось иначе, когда они очутились у Коли Сумского. Он жил на самом краю поселка в просторном деревенском доме,— за домом шла уже степь. Отец его раньше был возчиком на шахте, весь быт их был наполовину деревенский.

Носатый, смуглый, с умным лицом, полным старинной, дедовской запорожской отваги и хитрости и одновременно прямоты, что и составляло его обаяние, Сумской, прищурившись, выслушал надменные пояснения Вали и страстные Тоси и молча пригласил девушек из хаты. Приставной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оттуда с шумом взвились в небо голуби, а иные обсели плечи и голову Сумского и норовили сесть на руки, и он наконец подставил руку точно вырезанному по лекалу турману, такому ослепительному, уж подлинно чистому, как голубь.

Сидевший на чердаке юноша, сложением истый геркулес, ужасно смутился, увидев чужую девушку, и быстро прикрыл что-то возле себя сеном, но Сумской дал ему знак: все в порядке. Геркулес, улыбнувшись, откинул сено, и Валя увидела радиоприемник.

— Володя Жданов... Валя неизвестная, что ли,— без улыбки сказал Сумской.— Вот мы трое — Тося, Володя и аз, грешник у пекли,— мы и есть руководящая тройка нашей организации,— говорил он, обсаженный воркующими, ласкающимися к нему и вдруг точно вспыхивающими крыльями голубями.

Пока они договаривались, сможет ли Сумской пойти с Валей в город, Валя чувствовала на себе взгляд геркулеса, и взгляд этот смущал ее. Валя знала среди «молодогвардейцев» такого богатыря, как Ковалев, которого за силу его и доброту звали на окраине «царьком». Но этот был необычайно благородных пропорций и в лице и во всем теле, шея у него была, как изваянная из бронзы, от него исходило ощущение силы, спокойной и красивой. И, неизвестно почему, Валя вспомнила вдруг Сережку, худенького, босого, и такая счастливая нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала.

Они все четверо подошли к краю чердака, и вдруг Коля Сумской схватил турмана, сидевшего у него на руке, и, свободно размахнувшись им снизу, изо всех сил запустил его в пасмурное моросящее небо. Голуби снялись с его плеч. Все следили в косое отверстие окна в крыше за турманом. А он, завившись столбом, исчез в небе, как божий дух.

Тося Елисеенко, всплеснув руками, присела и завизжала. Она завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмеялись. Это выражение счастья и в голосе ее и в глазах как бы говорило всем: «Вы думаете, что я не добрая, а вы лучше глядите, яка я гарна дивчина!»

Утро застало Валю и Колю Сумского в степи по дороге к городу. Всю хмарь точно смыло за ночь, солнце так припалило с рассветом, что кругом уже было сухо. Степь раскинулась вокруг в одних увядших былинках, и все же прекрасная в свете ранней осени, свете расплавленной меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись в воздухе. Немецкие транспортные самолеты наполняли степь своим рокотом — они летели все в том же направлении, на Сталинград,— и снова становилось тихо.

Пройдя с полпути, Валя и Сумской прилегли отдохнуть на солнышке на склоне холма. Сумской закурил.

И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно разносившаяся по степи, песня, такая знакомая, что мотив ее сразу зазвучал в душе у Вали и Сумского. «Спят курганы темные...» Для них, жителей донецкой степи, это была родная песня, но как же очутилась она, родимая, здесь в это утро?.. Валя и Коля, приподнявшись на локте, мысленно повторяли слова песни, которая все приближалась к ним. Пели ее два голоса, мужской и женский, очень юные, пели до отчаянности громко, с вызовом всему миру:

Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой...

Валя быстро скользнула на вершину холма, глянула украдкой, потом высунулась до пояса и засмеялась.

По дороге, по направлению к ним, шли, взявшись за руки, Володя Осьмухин и его сестра Людмила и пели эту песню,— они просто орали.

Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, помчалась им навстречу. Сумской, не очень удивившись, медленно пошел вслед.

— Вы куда?

— На деревню к дедушке, хлебца разживиться. Кто это кульгает за тобой?

— Это свой парень, Коля Сумской с поселка.

— Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую, мою родную сестру Людмилу,— сейчас в степи произошло объяснение,— сказал Володя.

— Валя, судите сами: разве это не свинство? Ведь все же меня знают, а родной брат все от меня скрывает. А ведь я все вижу! Вплоть до того, что наткнулась у него на шрифт из типографии и какой-то вонючий раствор, которым он его промывал, и часть уже промыл, а часть еще нет, когда вдруг сегодня... Валя! Знаете ли вы, что случилось сегодня? — вдруг воскликнула Люся, быстро взглянув на подошедшего Сумского.

— Обожди,— серьезно сказал Володя,— наши мехцеховские лично видели, они же мне все и рассказали... В общем, они идут мимо парка, смотрят: в воротах кто-то висит в черном пальто, и записка на груди. Сначала они думали: немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, смотрят — Фомин. Ну, знаешь, эта сволочь, полицай? А на записке: «Так будем поступать со всеми предателями наших людей». И все... Понимаешь? — снизив голос до шепота, сказал Володя.— Вот это работка! — воскликнул он.— Два часа при дневном свете висел! Ведь это был его пост, никого поблизости из полицаев не было. Масса народу видела, сегодня в городе только об этом и говорят.

Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать о возможности такого решения. Володя был уверен, что это сделала подпольная большевистская организация. Но Валя вдруг так побледнела, что бледность выступила даже сквозь ее золотистый загар: она знала одного человека, способного на это.

— А не знаешь, с нашей стороны все прошло благополучно, жертв не было? — спрашивала она, едва владея своими губами.

— Блестяще! — воскликнул Володя.— Никто ни черта не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот... Мама убеждена, что это я повесил этого сукиного сына, и стала предсказывать, что меня тоже повесят. Я уже стал подталкивать Люську, говорю: «Ты видишь, мама глуховата и у нее температура, и вообще пора к дедушке».

— Коля, пойдемте,— вдруг сказала Валя Сумскому.

Весь остальной путь до города Валя едва не загнала своего спутника, и он ничем не мог объяснить происшедшей в ней перемены. Вот каблуки ее застучали по родному крыльцу. Сумской вслед за нею, смущенный, вошел в столовую.

В столовой молча и напряженно, как на именинах, сидели друг против друга Мария Андреевна в темном платье, плотно облегавшем ее полное тело, и маленькая бледная Люся с светлыми золотистыми волосами до плеч.

Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро встала, хотела что-то сказать и задохнулась, бросилась к дочери, одно мгновение подозрительно глядела то на нее, то на Сумского и, не выдержав, стала исступленно целовать дочь. И только теперь Валя поняла, что ее мать переживала то же самое, что и мать Володи; она подозревала, что ее родная дочь, Валя Борц, принимала участие в казни Фомина и именно поэтому отсутствовала эти дни.

Забыв о Сумском, который смущенно стоял у дверей, Валя смотрела на мать с выражением: «Что я могу сказать тебе, мама, ну, что?»

В это время маленькая Люся молча подошла к Вале и протянула записку. Валя машинально развернула записку, даже не успела прочесть, а узнала только почерк. Детская счастливая улыбка осветила ее загорелое, запылившееся с дороги лицо. Она быстро оглянулась на Сумского, и краска залила ей даже шею и уши. Валя схватила мать за руку и потащила за собой в другую комнату.

— Мама! — сказала она.— Мама! То, что ты думаешь, это все глупости. Но неужели ты не видишь, не

понимаешь, чем мы, я, все мои товарищи живем? Неужели ты не понимаешь, что мы не можем жить иначе? Мама! — счастливая, красная, говорила Валя, прямо глядя в лицо матери.

Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью, оно стало даже вдохновенным.

— Дочь моя! Да благословит тебя бог! — сказала Мария Андреевна, всю жизнь, и в школе и вне школы, занимавшаяся антирелигиозным просвещением.— Да благословит тебя бог! — сказала она и заплакала.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Тяжело родителям, которые, не зная душевного мира детей своих, видят, что дети вовлечены в скрытую, таинственную и опасную деятельность, а родители не в силах проникнуть в мир их деятельности и не в силах запретить ее.

Уже за утренним чаем по угрюмому лицу отца, не смотревшего на сына, Ваня почувствовал приближение грозы. И гроза разразилась, когда сестра Нина, сходив по воду к колодцу, принесла слух о казни Фомина и то, что говорят об этом.

Отец изменился в лице, и на худых щеках его надулись желваки.

— Мы, наверно, у себя дома лучше можем узнать,— сказал он ядовито, не глядя на сына,— информацию...— Он любил иногда вставить эдакое слово.— Чего молчишь? Рассказывай. Ты же там, как сказать, поближе,— тихо говорил отец.

— К кому поближе? К полиции, что ли? — побледнев, сказал Ваня.

— Чего Тюленин вчера приходил? В запрещенное время?

— Кто его соблюдает, время-то! Будто Нинка в это время на свидания не ходит! Приходил поболтать, не в первый раз.

— Не врать! — взвизгнул отец и ударил ребром ладони по столу.— За это — тюрьма! Если ему своей головы не жалко, мы, твои родители, за что будем в ответе?

— Не о том ты, батя, говоришь,— тихо сказал Ваня и встал, не обращая внимания на то, что отец бил ладонью по столу и кричал: «Нет, о том!» — Ты хочешь знать, состою ли я в подпольной организации? Вот что ты хочешь знать. Нет, не состою. И о Фомине я тоже услыхал только что от Нины. А скажу только: так ему и надо, подлецу! Как видишь с ее слов, и люди так говорят И ты тоже так думаешь. Но я не скрою: я оказываю посильную помощь нашим людям. Все мы должны помогать им, а я — комсомолец. А не говорил об этом тебе и маме, чтоб зря не беспокоить.

— Слыхала, Настасья Ивановна? — И отец почти безумно посмотрел на жену своими белесыми глазами.— Вот он, печальник о нас!.. Стыда в тебе нет! Я всю жизнь работал на вас... Забыл, как жили в семейном доме двенадцать семейств, на полу валялись, одних детей двадцать восемь штук? Ради вас, детей, мы с вашей матерью убили все свои силы. Посмотри на нее. Александра учили — не доучили, Нинку не доучили, положили все на тебя, а ты сам суешь свою голову в петлю. На мать посмотри! Она все глаза по тебе проплакала, только ты ничего не видишь.

— А что, по-твоему, я должен делать?

— Иди работать! Нинка работает, иди и ты. Она, счетовод, работает чернорабочим, а ты что?

— На кого работать? На немца? Чтобы он наших больше убивал? Вот когда придут наши, я первый пойду работать... Твой сын, мой брат, в Красной Армии, а ты велишь мне идти немцам помогать, чтобы его скорей убили! — гневно говорил Ваня.

Они уже стояли друг против друга.

— А жрать что? — кричал отец.— А лучше будет, когда первый из тех, за кого ты радеешь, продаст твою голову? Немцам продаст! Ты знаешь хоть бы людей на нашей улице? Кто чем дышит? А я знаю! У них своя забота, своя корысть. Только ты один радетель за всех!

— Неправда!.. Была у тебя корысть, когда ты отправлял государственное имущество в тыл?

— Обо мне речи нет.

— Нет, о тебе речь! Почему ты думаешь, что ты лучше других людей? — говорил Ваня, опершись пальцами одной руки о стол и упрямо склонив голову в ро-

говых очках.— Корысть! Каждый за себя!.. А я тебя спрашиваю: какая была в тебе корысть в те дни, когда ты уже выходное получил, знал, что остаешься здесь, что это дело может повредить тебе, больной грузил не свое имущество, не спал ночей? Неужто ты один такой на земле? Даже по науке это не выходит!

Сестра Нина, из-за воскресного дня бывшая в этот час дома, сидела на своей кровати, насупившись, не глядя на спорящих, и, как всегда, нельзя было понять, что она думает. А мать, рано и сильно постаревшая, добрая, слабосильная женщина, весь круг жизни которой ограничивался работой на поле да возней у печки, больше всего боялась, чтобы Александр Федорович в сердцах не выгнал и не проклял Ванюшу. И когда говорил отец, она заискивающе кивала ему, чтобы умилостивить его, а когда говорил сын, она опять-таки смотрела на мужа с фальшивой улыбкой, мигая, словно предлагая ему все-таки прислушаться к сыну и извинить его, хотя оба они, старики, понимают, насколько неразумно он говорит.

Отец, в длинном пиджаке поверх застиранной косоворотки, стоял посреди комнаты в туфлях на полусогнутых по-стариковски ногах, в оттопырившихся и залатанных на коленях вытертых штанах и, то судорожно прижимая к груди кулаки, то беспомощно опуская руки, кричал:

— Я не по науке доказую, а по жизни!

— А наука не из жизни?.. Не один ты, а и другие люди ищут справедливости! — говорил Ваня с неожиданной в нем запальчивостью.— А ты стыдишься в себе признать хорошее!

— Мне стыдиться нечего!

— Тогда докажи, что я не прав! Криком меня убедить нельзя. Могу смириться, замолчать — это так. А поступать все равно буду по совести.

Отец вдруг сразу сломался, и белесые глаза его потускнели.

— Вот, Настасья Ивановна,— визгливо сказал он,— выучили сынка... Выучили — и больше не нужны. Адью!..— Он развел руками, повернулся и вышел.

Анастасия Ивановна, мелко перебирая ногами, вышла за ним. Нина, не подымая головы, сидела на кровати и молчала.

Ваня бесцельно потыкался из угла в угол и сел, не утишив угрызений совести. Попробовал даже, как в бы-

лые дни, излить душу в стихотворном послании к брату:

Мой преданный и славный друг,
Мой брат прекрасный Саша...

Нет:

Мой лучший друг, мой брат родной...

Нет, стихотворное послание не ладилось. Да и нельзя было послать его брату.

И тогда Ваня понял, что нужно ему сделать: нужно пойти к Клаве в Нижне-Александровский.

Елена Николаевна Кошевая страдала вдвойне оттого, что она сама не могла решить, должна ли она воспрепятствовать деятельности сына, или помочь ему. Ее, как и всех матерей, неустанно, изо дня в день, лишая способности деятельности, сна, изнуряя душевно и физически, отлагая на лице морщины, мучила тоска — боязнь за сына. Иногда боязнь эта принимала просто животный характер: ей хотелось ворваться, накричать, силой оттащить сына от страшной судьбы, которую он готовил себе.

Но в ней самой были черты ее мужа, отчима Олега, единственной глубокой и страстной любви ее жизни,— в ней самой клокотало такое пламя битвы, что она не могла не сочувствовать сыну.

Часто она испытывала обиду на него: как может он скрытничать перед ней, перед его мамой, ведь он был всегда так откровенен, любовно-вежлив, послушен! Особенно обижало то, что ее мать, бабушка Вера, была, по-видимому, вовлечена в заговор внука и тоже таилась от дочери; брат Коля, судя по всему, был тоже участником заговора. И даже совсем посторонняя женщина, Полина Георгиевна Соколова, или тетя Поля, как звали ее в семье Кошевых, стала теперь, казалось, ближе Олегу, чем родная мать. Как, когда, с чего это началось?

В былые времена Елена Николаевна и тетя Поля были так неразлучны, что люди, заговаривая об одной, не могли не вспомнить о другой. Они дружили, как могут дружить связанные общей работой и общими мыслями зрелые, уже немало испытавшие женщины. А с началом войны тетя Поля вдруг замкнулась в себе и перестала

заходить к Кошевым, и если Елена Николаевна по старой памяти навещала ее, тетя Поля точно смущалась и своей коровы, и того, что торгует молоком, и того, что Елена Николаевна может осудить ее за уход в свое, личное, от деятельности на благо родины. И Елена Николаевна даже не находила в душе своей возможности заговорить с Полей об этом. Так их дружба распалась сама собой.

А появилась вновь Полина Георгиевна в доме Кошевых, когда в городе уже хозяйничали немцы. Она пришла с сердцем открытым и кровоточащим, и Елена Николаевна узнала ее прежней. Они теперь часто встречались, чтобы отвести душу, но, как всегда, говорила больше Елена Николаевна, а тихая и скромная тетя Поля смотрела на нее своими умными усталыми глазами. И все же, какая бы она ни была тихая, тетя Поля, Елена Николаевна не могла не заметить, что она, ее старая подруга, точно приворожила к себе Олега. Всегда он возникал возле, стоило только появиться Полине Георгиевне, и часто Елена Николаевна ловила внезапно мелькнувший между ними молниеносный взгляд — взгляд людей, которым есть что сказать друг другу. И действительно, если Елене Николаевне приходилось отлучиться, а потом вновь войти в горницу, чувствовалось, что они прервали с ее приходом свой, особый разговор. А когда Елена Николаевна выходила в сени проводить подругу, та говорила застенчиво и торопливо: «Нет, нет, не беспокойся, Леночка, я уж сама». И никогда она не говорила так, если ее шел провожать Олег.

Как же это все могло получиться? Каково было переносить это материнскому сердцу? Кто же из всех людей на земле сможет лучше понять сына, разделить его дела и думы, защитить его силою любви в злой час жизни? А правдивый голос подсказывал ей, что сын скрывается перед ней впервые именно потому, что не уверен в ней.

Как все молодые матери, она больше видела хорошие стороны единственного дитяти, но она действительно знала своего сына.

С того момента, как в городе начали появляться листовки за таинственной подписью «Молодая гвардия», Елена Николаевна не сомневалась, что сын ее не только причастен к этой организации, но играет в ней руково-

дящую роль. Она волновалась, гордилась, страдала, но не считала возможным искусственно вызывать сына на откровенность.

Только однажды она словно бы невзначай спросила:

— С кем ты больше дружишь сейчас?

Он с неожиданной в нем хитростью перевел разговор как бы на продолжение прежнего разговора о Лене Позднышевой, сказал, немного смутившись:

— Д-дружу с Ниной Иванцовой...

И мать почему-то поддалась на эту хитрость и сказала неискренне:

— А Лена?

Он молча достал дневник и подал ей, и мать прочла в дневнике все, что ее сын думал теперь о Лене Позднышевой и о прежнем увлечении Леной.

Но в это утро, когда она услышала от соседей о казни Фомина, у нее едва не вырвался звериный крик. Она сдержала его и легла на постель. И бабушка Вера, несгибающаяся и таинственная, как мумия, положила ей на лоб холодное полотенце.

Елена Николаевна, как и все родители, ни на мгновение не подозревала о причастности сына к самой казни. Но вот каков был тот мир, где вращался сып, вот как жестока была борьба! Какое же возмездие ждет его?.. В душе ее все еще не было ответа сыну, но нужно было наконец разрушить эту страшную таинственность,— так жить нельзя!..

А в это время сын ее, как всегда, аккуратно одетый, чисто вымытый, загорелый, вобрав голову в плечи, одно из которых было чуть выше другого, сидел в сарае на койке, а против него, подмостив полешки, сидел носатый, смуглый и ловкий в движениях Коля Сумской, и они резались в шахматы.

Все внимание их было поглощено игрой, лишь время от времени они как бы вскользь обменивались репликами такого содержания, что человек неискушенный мог бы подумать, что он имеет дело с закоренелыми злодеями.

Сумской. Там на станции ссыпной пункт... Как только свезли зерно первого обмолота, Коля Миронов и Палагута запустили клеща...

Молчание.

Кошевой. Хлеб убрали?

— Заставляют весь убрать... Но больше стоит в скирдах и суслонах: нечем обмолотить и вывезти.

Молчание.

Кошевой. Скирды надо жечь... У тебя ладья под угрозой!

Молчание.

Кошевой. Это хорошо, что у вас свои ребята в совхозе. Мы в штабе обсуждали и решили: обязательно свои ячейки на хуторах. Оружие у вас есть?

— Мало.

— Надо собирать.

— Где ж его соберешь?

— На степи. И у них воруйте,— они живут беспечно.

Сумской. Извиняюсь, шах...

Кошевой. Он, брат, тебе отрыгнется, как агрессору.

— Агрессор-то не я.

— А задираешься, как какой-нибудь сателлит!

— У меня скорей положение французское,— с усмешкой сказал Сумской.

Молчание.

Сумской. Извини, коли не так спрошу: этого подвесили не без вашего участия?

Кошевой. Кто его знает.

— Хорошо-о,— сказал Коля с явным удовольствием.— Я думаю, их вообще стоит больше убивать, хотя бы просто из-за угла. И не столько холуев, сколько хозяев.

— Абсолютно стоит. Они живут беспечно.

— Ты знаешь, я сдамся, пожалуй,— сказал Сумской.— Положение безвыходное, а мне домой пора.

Олег аккуратно сложил шахматы, потом подошел к двери, выглянул и вернулся.

— Прими клятву...

Не было никакого перехода от той минуты, как они сидели и играли в шахматы, а вот уже и Кошевой и Сумской, оба в рост, только Олег пошире в плечах, стояли друг против друга, опустив руки по швам, и смотрели с естественным и простым выражением.

Сумской из карманчика гимнастерки достал маленький клочок бумажки и побледнел.

— Я, Николай Сумской,— приглушенным голосом заговорил он,— вступая в ряды членов Молодой гвар-

дии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...— Им овладело такое волнение, что в голосе пробился металл, но, боясь, что его услышат во дворе, Сумской смирил свой голос.— ...Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!

— Поздравляю тебя... Отныне твоя жизнь принадлежит не тебе, а партии, всему народу,— с чувством сказал Олег и пожал ему руку.— Примешь клятву от всей краснодонской группы...

Самое главное — это попасть в дом, когда мама уже спит или притворяется, что спит, тихо раздеться и лечь. И тогда не нужно отводить глаз от ясных и измученных глаз мамы и не нужно притворяться, будто ничего не изменилось в жизни.

Ступая на цыпочках и сам чувствуя, какой он большой, он входит на кухню, тихонько приоткрывает дверь и входит в комнату. Окна, как всегда, наглухо закрыты ставнями и затемнены. Сегодня топили плиту,— в доме нестерпимая духота. Коптилка, поставленная, чтобы не марать скатерти и чтобы была повыше, на старую опрокинутую жестяную банку, выделяет из мрака выпуклости и грани знакомых предметов.

Мать, всегда такая аккуратная, почему-то сидит на разобранной ко сну постели в платье и прическе, сцепив положенные меж колен маленькие, смуглые, с утолщенными суставами руки, и смотрит на огонек коптилки.

Как тихо в доме! Дядя Коля, теперь почти все дни пропадающий у своего приятеля инженера Быстринова, вернулся и спит, и Марина спит, а маленький племянник, наверно, давно уже спит, выпятив губы. Бабушка спит и даже не похрапывает. Даже тиканья часов не слышно. Не спит одна мама. Прекрасная моя!..

Но главное — не поддаваться чувству... Вот так вот, молча, пройти мимо на цыпочках и лечь, а там сразу можно притвориться спящим...

Большой, тяжелый, он на цыпочках подходит к матери, падает перед ней на колени и прячет в ее коленях свое лицо. Он чувствует ее руки на своих щеках, чувст-

вует ее неподменимое тепло и едва уловимый, точно наносимый издалека девичий запах жасмина и другой, чуть горьковатый, то ли полыни, то ли листочков баклажана,— не все ли равно!..

— Прекрасная моя! Прекрасная моя! — шепчет он, обдавая ее снизу светом своих глаз.— Ты же все, все понимаешь... прекрасная моя!

— Я все понимаю,— шепчет она, склонившись к нему головой и не глядя на него.

Он ищет ее глаза, а она все прячет глаза в его шелковистых волосах и шепчет, шепчет:

— Всегда... везде... Не бойся... будь сильный... орлик мой... до последнего дыхания...

— Будет, ну, будет... Спать пора...— шепчет он.— Хочешь, я выпущу их на волю?

И он, как в детстве, нащупывает руками одну и другую скрепочки в ее волосах и начинает выбирать шпильки. Пряча лицо, она все клонит голову ему на руки, но он вынимает шпильки все до одной и выпускает ее косы, и они, развернувшись, падают с таким звуком, как падают яблоки в саду, и покрывают всю маму.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Чтобы отлучиться на несколько дней в Нижне-Александровский, Ваня Земнухов должен был получить разрешение штаба.

— Дело, понимаешь, не только в том, чтобы навестить дивчину,— говорил он Олегу.— Я уж давно планирую поручить ей всю организацию молодежи на казачьих хуторах,— говорил Ваня с некоторым смущением.

Но Олег, казалось, пропустил мимо ушей выдвинутые Ваней столь непреложные мотивы.

— Денек, два обожди,— сказал он.— Возможно, тебе другое задание будет... Нет, нет, т-там же,— вдруг с широкой улыбкой сказал Олег, заметив, что лицо Вани приняло замкнутое выражение. Оно всегда принимало замкнутое выражение, когда Ваня не хотел, чтобы догадались об истинных его чувствах.

В последние дни Полина Георгиевна настойчиво требовала от Олега выдвинуть толкового парня в распоря-

жение Лютикова. Парень нужен был как связной по специальному маршруту Краснодон — Нижне-Александровский. И мысль Олега пала на Земнухова.

Тетя Поля, передавая желание Филиппа Петровича, несколько раз подчеркивала:

— Только нужен очень толковый, очень проверенный. Самый толковый и самый проверенный...

И не далее как на другой день после разговора Земнухова с Олегом близорукий Ваня в тапочках на босу ногу и в повязанном на голове носовом платке с четырьмя торчащими ушками уже шагал по проселочной степной дороге, среди редких неубранных хлебов под нежарким солнцем.

Весь охваченный сознанием важности своей миссии, сосредоточенный на мыслях, порожденных этой новой его ролью,— а сосредоточение на собственных мыслях было наиболее характерным состоянием близорукого Вани во время путешествия,— он шел по степи, шел через многие населенные пункты, почти не замечая того, что попадалось ему на пути.

Человек со стороны,— если бы мог быть такой человек,— попав в сельские районы немецкой оккупации, был бы поражен необыкновенными мрачными и неожиданными по контрасту картинами, открывающимися его взгляду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте сел, станиц, хуторов остались только остовы печей, да головни, да одинокая кошка на пригретом солнцем полуобгоревшем и прорастающем бурьяном крылечке. И встретил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога, если не считать случайно забредших раз-другой мародеров-солдат.

А были и такие села, где немецкая власть утвердилась так, как она считала наиболее выгодным и удобным для себя, где прямого военного грабежа, то есть грабежа, совершаемого проходящими частями армии, и всякого рода насилий и зверств было не больше и не меньше, чем это отпущено было историей для немецкого военно-оккупационного господства в России, где хозяйствование немцев было представлено, так сказать, в наиболее чистом виде.

Именно к такого рода хуторам принадлежал хутор Нижне-Александровский, где у родни по материнской линии нашли приют Клава Ковалева и ее мать.

Казак, у которого они жили, родной брат матери, до прихода немцев был рядовым колхозником. Он не был ни бригадиром, ни конюхом, а был тем обыкновенным колхозником, который работает со своей семьей в бригадах артели на общественном поле и живет с того, что вырабатывает на трудодни и получает со своей усадьбы.

И Иван Никанорович, дядя Клавы, и вся его семья с момента прихода немцев испытали не больше и не меньше того, что отпустила история на рядовой обыкновенный крестьянский двор во время немецкого господства. Они были ограблены во время прохождения наступающей немецкой армии, ограблены в той мере, в какой их скот, птица и продовольственные запасы были на виду, то есть ограблены очень сильно, но не дочиста, так как нет ни одного крестьянина на свете, который обладал бы таким многовековым опытом в запрятывании своего добра в лихое время, как русский крестьянин.

После того как прошла армия и начал устанавливаться «новый порядок» — Ordnung, Ивану Никаноровичу, как и другим, было объявлено, что земля, закрепленная за Нижне-Александровской артелью на вечное пользование, теперь, как и вся земля, будет собственностью немецкого государства. Но! — говорил устами рейхскомиссара из Киева «новый порядок» — Ordnung,— но эта земля, которую с такими трудами и испытаниями удалось соединить в одну большую артельную землю, теперь будет снова разделена на мелкие участки, которые перейдут в единоличное пользование каждого казака. Но! Это мероприятие будет проведено только тогда, когда все казаки и крестьяне будут иметь собственные сельскохозяйственные орудия и тягловую силу. А так как сейчас они не могут их иметь, земля останется в прежнем состоянии, но уже как собственность немецкого государства. Для обработки земли над хутором будет поставлен староста, русский, но от немцев,— и он был поставлен,— а крестьяне будут разбиты на десятидворки. Над каждой десятидворкой будет поставлен старший, русский, но от немцев,— и старшие были поставлены,— и за свою работу на этой земле крестьяне будут получать хлеб по определенной норме. А чтобы крестьяне работали хорошо, они должны знать, что только те из них, кто будет сейчас работать хорошо, получит потом участок земли в единоличное пользование.

Для того чтобы хорошо работать на этой большой земле, немецкое государство пока что не может дать машин и горючего для машин и не может дать лошадей. Работники должны обходиться косами, серпами, тяпками, а в качестве тягловой силы использовать собственных коров. А кто будет жалеть своих коров, тот вряд ли может рассчитывать на получение земли в единоличное пользование в будущем. При всем том, что такой вид труда требовал особенно много рабочей силы, немецкая власть не только не стремилась сохранить эту силу на месте, а прилагала все меры к тому, чтобы наиболее здоровую и трудоспособную часть населения угнать в Германию.

Ввиду того, что немецкое государство не могло сейчас учесть своих потребностей в мясе, молоке, яйцах, оно взяло на первый случай с хутора Нижне-Александровского по одной корове с каждых пяти дворов, и по одной свинье с каждого двора, и еще пятьдесят килограммов картофеля, двадцать штук яиц и триста литров молока с каждого двора. Но! Так как может понадобиться и еще,— и эта надобность действительно постоянно возникала,— то казаки и крестьяне не могут резать свой скот и птицу для себя. А если уж в крайнем случае очень захочется зарезать свинью, то четыре двора, соединившись, могут зарезать ее, только они обязаны при этом сдать трех свиней немецкому государству.

Для того чтобы взять все это из двора Ивана Никаноровича и его односельчан, кроме старших над десятидворками и старосты над хутором, был учрежден аппарат районной сельскохозяйственной комендатуры во главе с зондерфюрером Сандерсом. И зондерфюрер, учитывая жаркий климат, подобно обер-лейтенанту Шприку, разъезжал по селам и хуторам в мундире и трусиках, и казачки при виде его крестились и плевались, как если бы они видели сатану. Эта районная сельскохозяйственная комендатура подчинялась еще более многолюдной окружной сельскохозяйственной комендатуре во главе с зондерфюрером Глюккером, который ходил, правда, в штанах, но уже сидел так высоко, что оттуда не спускался. А эта комендатура, в свою очередь, подчинялась ландвиртшафтсгруппе, или, сокращенно, группе «ля», во главе с майором Штандером. Эта группа была уже так предельно высоко, что ее просто никто не видел. Но и

эта группа была только отделом виртшафтскоммандо 9, или, сокращенно, «викдо 9», во главе с доктором Люде. А уже виртшафтскоммандо 9 подчинялась, с одной стороны, фельдкомендатуре в городе Ворошиловграде, то есть, попросту говоря, жандармскому управлению, а с другой стороны — главному управлению государственных имений при самом рейхскомиссаре в городе Киеве.

Чувствуя над собой всю эту лестницу все более обремененных чинами бездельников и воров, разговаривавших на непонятном языке, которых тем не менее надо было кормить, повседневно испытывая на себе плоды их деятельности, Иван Никанорович и его односельчане поняли, что немецкая фашистская власть не только зверская власть,— это уж было видно сразу,— а власть несерьезная, воровская, и, можно сказать, глупая власть.

И тогда Иван Никанорович и его односельчане, так же как и жители ближайших станиц и хуторов — Гундоровской, Давыдова, Макарова Яра и других, начали так поступать с немецкой властью, как только может и должен поступать уважающий себя казак с глупой властью,— они начали обманывать ее.

Обман немецкой власти сводился главным образом к видимости работы вместо настоящей работы на земле и в развеивании по ветру, а если была возможность — в расхищении по собственным дворам того, что удалось выработать, и в утаивании скота, и птицы, и продовольствия. А чтобы сподручней было обманывать, казаки и крестьяне стремились к тому, чтобы старшие над десятидворками и старосты над хуторами и селами были своими людьми. Как всякая зверская власть, немецко-фашистская власть находила достаточно зверей, чтобы сажать их на место старост, но, как говорится, человек не вечен. Был староста, а вот его уже и нет, канул человек, как в воду.

Клаве Ковалевой было восемнадцать лет, и она была далека от всех этих дел. Она только страдала оттого, что очень несвободно стало жить, и нельзя учиться, и нет подруг, и неизвестно, что с отцом. Она скрашивала свое время тем, что мечтала о Ване, мечтала в очень ясной, жизненной форме,— как вся эта неразбериха когда-нибудь кончится и они женятся, и у них будут дети, и они очень хорошо будут жить вместе с детьми.

Еще она скрашивала свое время тем, что читала книжки, но очень трудно было доставать книжки в Нижне-Александровском. И когда она услышала, что на хутор прибыла новая, уже от новой районной власти, учительница взамен старой, успевшей эвакуироваться, Клава решила, что незазорно будет попросить у этой учительницы книжек.

Учительница жила при школе, в комнатке, где жила раньше старая учительница,— пользовалась даже ее мебелью и вещами, как болтали соседки. Клава постучалась и, не дождавшись ответа, отворила дверь своей полной сильной рукой и, уже войдя в комнату, выходившую на теневую сторону и занавешенную, искоса стала разглядывать, кто же тут есть. Учительница, нагнувшись вполоборота к Клаве, обметала крылом птицы подоконник, обернула голову, и вдруг одна из ее выгнутых густых бровей приподнялась, и женщина отпрянула, прижалась к подоконнику, потом выпрямилась и снова внимательно посмотрела на Клаву:

— Вы...

Она не договорила, виноватая улыбка появилась на лице ее, и она пошла навстречу Клаве.

Это была стройная белокурая женщина, одетая в простое платье, с прямым, даже строгим взглядом серых глаз, губами, резко очерченными, но тем милее была простая, ясная улыбка, время от времени возникавшая на ее лице.

— Шкаф, где была школьная библиотечка, разбит,— в школе стояли немцы. Страницы книжек можно видеть в совсем неподходящем месте, но кое-что осталось, мы с вами посмотрим,— говорила она, так правильно и чисто выговаривая фразу, как может выговаривать только хорошая русская учительница.— Вы здешняя?

— Можно сказать, здешняя,— нерешительно сказала Клава.

— Почему вы оговорились?

Клава смутилась.

Учительница прямо смотрела на нее.

— Давайте присядем.

Клава стояла.

— Я видела вас в Краснодоне,— сказала учительница.

Клава молча искоса глядела на нее.

— Я думала, вы уехали,— сказала учительница со своей ясной улыбкой.

— Я никуда не уезжала.

— Значит, провожали кого-нибудь.

— Откуда вы знаете? — Клава смотрела на нее сбоку с испугом и любопытством.

— Знаю... Но вы не смущайтесь... Вы, наверно, думаете: приехала от немецкой власти и...

— Ничего я не думаю...

— Думаете.— Учительница засмеялась, даже лицо у нее порозовело.— Кого же вы проводили?

— Отца.

— Нет, не отца.

— Нет, отца.

— Ну хорошо, а отец ваш кто?

— Служащий треста,— сказала Клава, вся багровея.

— Садитесь, не стесняйтесь меня.

Учительница ласково чуть дотронулась до руки Клавы. Клава села.

— Ваш друг уехал?

— Какой друг? — У Клавы даже сердце забилось.

— Не скрывайте, я все знаю.— Из глаз учительницы совсем ушло строгое выражение, они искрились от смеха, доброго и задористого.

«Не скажу, хоть зарежь!» — подумала Клава, вдруг свирепея.

— Не знаю, про что вы говорите... Нехорошо так! — сказала она и встала.

Учительница, уже не в силах сдерживать себя, громко смеялась, от удовольствия складывая и разнимая загорелые руки и клоня белокурую голову то на один бок, то на другой.

— Милая вы моя... простите... у вас сердце наружу,— сказала она, быстро встала, сильным движением притянула Клаву за плечи и чуть прижалась к ней.— Я все шучу, вы меня не бойтесь. Я просто русская учительница — жить-то ведь надо, а не обязательно учить злому, даже при немцах.

В дверь сильно постучали.

Учительница, отпустив Клаву, бысто подошла к двери и чуть приоткрыла ее.

— Марфа...— сказала она негромко и радостно.

Высокая, сильной кости женщина в ослепительно белой хустке и с черными от загара, запылившимися босыми ногами, с дорожным узелком под мышкой, вошла в комнату.

— Здравствуйте,— сказала она, вопросительно взглянув на Клаву.— Живем вроде близко, и вон аж когда собралась проведать! — громко, с улыбкой, обнажившей крепкие зубы, сказала она учительнице.

— Как вас зовут?.. Клава! Я проведу вас в класс, и вы присмотрите себе книжку. Только не уходите, я быстро освобожусь.

— Что? Ну, что? — с волнением спрашивала Екатерина Павловна, вернувшись.

Марфа сидела, закрыв глаза большой натруженной загорелой рукой, горькая складка обозначилась в углах ее все еще молодых губ.

— Не знаю, чи радость, чи горе,— сказала она, отняв руку.— Прийшов до мене хлопец с хутора Погорилого, каже — жив мой Гордий Корниенко, в плену. Катерина, дай мени совет! — сказала она, подняв голову, и заговорила по-русски: — На Погорелом, в лесхозе, пленные работают, под охраной, человек шестьдесят, рублять лес для армии, и мой Гордий там. Живут в бараке, отлучиться не можно... С голоду опух. Як мени быть? Чи пойти мени туда?

— Как он дал знать тебе?

— Там и вольные работают. Случилось так, что удалось ему шепнуть одному с хутора. А немцы не знають, що вин здешний.

Екатерина Павловна некоторое время молча смотрела на нее. Это был один из тех случаев жизни, когда нельзя было дать совет. Марфа могла недели прожить на этом хуторе Погорелом и извести себя — и так и не увидеть мужа. В лучшем случае они могли увидеть друг друга издалека, но это прибавило бы к физическим страданиям ее мужа невыносимые нравственные мучения. И даже еды подбросить ему нельзя: можно себе представить, что это за барак для военнопленных!

— Поступай по совести.

— А ты б пошла? — спросила Марфа.

— Я бы пошла,— со вздохом сказала Екатерина Павловна.— И ты пойдешь, а только напрасно...

— Вот и я кажу — напрасно... Не пойду,— сказала Марфа и закрыла глаза рукою.

— Корней Тихонович знает?

— Каже, коли б разрешили ему с отрядом, могли б освободить...

Лицо Екатерины Павловны приняло озабоченное и грустное выражение. Она знала, что партизанскую группу, которой командовал Корней Тихонович, нельзя использовать для этой побочной цели.

Через Ворошиловградскую область проходили теперь важнейшие коммуникации немецкой армии. Все, решительно все, что находилось в распоряжении Ивана Федоровича, все, что вновь создавалось им, было направлено теперь на то, чтобы там, за сотни и сотни километров от Донбасса, была выиграна великая битва за Сталинград.

Все партизанские отряды области, разбитые на множество мелких групп, действовали теперь по шоссейным, грунтовым и по трем железным дорогам, идущим на восток и на юг. И все-таки сил еще было мало. И Иван Федорович, местопребывание которого было известно теперь только Екатерине Павловне, Марфе Корниенко и связной Кротовой, переключал деятельность всех подпольных райкомов области на диверсии на дорогах.

Екатерина Павловна хорошо знала это, потому что все бесчисленные нити связей пучком сходились в ее маленьких точных руках и уже только в виде одной нити шли от нее к Ивану Федоровичу. Вот почему она ничего не ответила на переданное Марфой косвенное предложение Корнея Тихоновича, хотя и понимала, что Марфа только и пришла к ней с этой тайной надеждой.

Связь Екатерины Павловны с мужем была не непосредственной, а через Марфу, точнее — через квартиру Марфы.

Екатерина Павловна, однако, не спросила об Иване Федоровиче: она знала, что, если Марфа ничего не сказала о нем, значит вестей нет.

Клава стояла у шкафа с книгами — это были книги, читанные в детстве, и грустно ей было от встречи с друзьями детства. Грустно было смотреть на черные пустые парты. Вечернее солнце косо падало в окна, и в его тихом и густом свете была какая-то грустная и зрелая улыбка прощания. Клаву даже не мучило больше

любопытство, откуда знает ее учительница,— так грустно было Клаве жить на свете.

— Выбрали кое-что? — Учительница прямо смотрела на Клаву, резко очерченные губы ее были плотно сжаты, но в серых глазах где-то очень далеко стояло печальное выражение.— Вот видите, жизнь-разлучница оборачивается иногда жестоко,— говорила она.— А в молодости мы живем суетно, не зная, что то́, что нам дано, дано на всю жизнь... Если бы я могла снова стать такой, как вы, я бы уже это знала. Но я не могу даже вам передать это... Если ваш друг придет, обязательно познакомьте меня с ним.

Екатерина Павловна не могла предполагать, что в это время Ваня Земнухов уже входил в Нижне-Александровский и входил с прямым поручением к ней, Екатерине Павловне.

Ваня передал ей шифровку — отчет о деятельности Краснодонского подпольного райкома. А Екатерина Павловна на словах передала ему требование Ивана Федоровича о развертывании подпольной организации Краснодона в боевой партизанский отряд и об усилении диверсий на дорогах.

— Передайте, что дела на фронте совсем не плохи. Может быть, очень скоро нам всем придется выступить с оружием в руках,— сказала Екатерина Павловна, пытливо вглядываясь в сидящего перед ней нескладного юношу, словно желая узнать, что же там кроется у него за очками.

Ваня сидел, молчаливый, ссутулившись, и беспрерывно поправлял рукой свои распадающиеся волосы. Но если бы знала эта женщина, каким огнем пылала душа его!

Все-таки они разговорились.

— Страшно оборачиваются судьбы людей! — говорила Екатерина Павловна, только что выслушавшая от Вани мрачную повесть гибели Матвея Костиевича и Валько.— У Остапчука, как вы его называете, осталась семья у немцев и тоже, может быть, замучена, а не то бродит бедная женщина с детьми по чужим людям и все-таки надеется, придет же он когда-нибудь спасти ее и детей, а его уже и в живых нет... Или вот была у меня женщина...— Екатерина Павловна рассказала о Марфе и о ее муже.— Рядом, а даже повидаться невозможно. А потом погонят его куда-нибудь поглубже, и сгинет

он... Какая же казнь справедлива за это им, этим!..— сказала она, стиснув в кулак сильную маленькую руку.

— Погорелый — это возле нас, там один наш парень живет,— сказал Ваня, вспомнив о Вите Петрове. Смутная мысль забродила в нем, но он даже себе еще не отдавал в ней отчета.— Пленных много? Охрана большая? — спрашивал он.

— Попробуйте вспомнить, кто из наших людей, способных организовать других, остался еще в живых в Краснодоне? — вдруг спросила она в какой-то своей внутренней связи.

Ваня назвал.

— А из военных, осевших после окружения или по другим причинам?

— Таких много.— Ваня вспомнил военных из числа раненых, спрятанных по квартирам: он знал от Сережки, что Наталья Алексеевна продолжает тайно оказывать им медицинскую помощь.

— Вы скажите тем, кто вас послал, чтобы установили связи с ними и привлекли их... Они скоро, очень скоро понадобятся и вам. Понадобятся, чтобы командовать вами, молодыми. Народ вы хороший, но они старше вас,— сказала Екатерина Павловна.

Ваня изложил свой план сделать у Клавы явочный пункт для связи «Молодой гвардии» с молодежью села и попросил помочь Клаве в этом.

— Пусть лучше она не знает, кто я,— с улыбкой сказала Екатерина Павловна,— мы будем с ней просто дружить.

— Но откуда вы все-таки знаете нас? — не вытерпел Ваня.

— Этого я вам никогда не скажу, а то вы будете очень смущены,— сказала она, и лицо ее вдруг приняло лукавое выражение.

— Что у вас за секреты? — ревниво спрашивала Клава у Вани, когда уже в полной темноте они сидели в горнице в доме Ивана Никаноровича и мама Клавы, давно, а особенно после событий на переправе, относившаяся к Ване, как к своему человеку в доме, спокойно спала на пышно взбитой, воздушной и жаркой до дурмана казачьей перине.

— Ты умеешь держать тайну? — на ухо спросил Ваня.

— Спрашиваешь...

— Поклянись!

— Клянусь.

— Она сказала, что один наш краснодонец прячется поблизости, и просила передать родным, а потом разговорились по пустякам... Клава! — тихо и торжественно сказал он, взяв ее за руку.— Мы создали организацию молодежи для борьбы с захватчиками, вступишь в нее?

— А ты в ней состоишь?

— Конечно.

— Конечно, вступлю! — она приложила свои теплые-теплые губы к его уху.— Ведь я же твоя, понимаешь?

— Я приму от тебя клятву. Мы писали ее с Олегом, и я знаю ее наизусть, и тебе придется ее выучить.

— Я ее выучу, ведь я же совсем твоя...

— Тебе придется организовать молодежь здесь и по ближайшим хуторам.

— Я тебе все организую.

— Ты не относись к этому так легкомысленно. В случае провала это грозит гибелью.

— А тебе?

— И мне.

— Я готова погибнуть с тобой.

— Но я думаю, нам лучше обоим остаться живыми.

— Конечно, гораздо лучше.

— Ты знаешь, мне постелили там, у ребят, надо идти, а то неудобно.

— Ну, зачем тебе туда идти? Ведь я же твоя, ну, понимаешь, совершенно твоя,— шептала ему на ухо Клава своими теплыми губами.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

К концу сентября организация «Молодая гвардия» на Первомайском руднике, вместе с «Восьмидомиками» и районом шахты № 1-бис, была уже одной из наиболее крупных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее деятельного среди молодежи, учившейся в старших классах Первомайской школы, было вовлечено в организацию.

Первомайцы установили свой радиоприемник и выпускали сводки Информбюро и листовки, которые писали тушью на страничках школьных тетрадей.

Сколько переживаний было с этим радиоприемником! В совершенно различных домах были обнаружены давно заброшенные, поломанные дешевые радиоприемники — и радиоприемники выкрали. Борис Главан, молдаванин, бежавший с родителями из Бессарабии и осевший в Краснодоне,— в группе звали его «Алеко»,— взялся сконструировать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге домой он был с отдельными частями аппаратов и лампочками схвачен на улице «полицаем».

Главан разговаривал в полиции только на румынском языке, кричал, что полиция лишает всю его семью средств к существованию, поскольку весь этот материал нужен ему, чтобы делать зажигалки, и клялся, что он будет жаловаться командованию румынской армии: в Краснодоне всегда бывало на постое некоторое число румынских офицеров из проходящих частей. На квартире Главана было обнаружено несколько готовых зажигалок и несколько находящихся в производстве — он действительно подрабатывал на жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпустила этого представителя союзной державы, хотя и отобрала у него части радиоприемников. Но он все-таки сделал радиоприемник из тех частей, что еще оставались.

Первомайцы имели самостоятельные связи с ближними хуторами через Лилю Иванихину, которая, оправившись после плена, пошла работать учительницей на хутор Суходол. Они были главными поставщиками оружия, которое собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районы боев на Донце, и крали его у останавливавшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после того как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц.

Подобно тому как душою всей организации «Молодая гвардия» были Олег Кошевой и Иван Туркенич, а душою организации в поселке Краснодон — Коля Сумской и Тося Елисеенко, так душою организации на «Первомайке» были Уля Громова и Анатолий Попов.

Толя Попов был назначен штабом командиром первомайской группы, и с его организационными навыками, обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьезностью он привнес во все, что бы ни делала молодежь «Первомайки», дух ответственной дисциплины и решительной смелости, опирающейся на исключительно слаженную работу всех ребят.

А Уля Громова была автором всех начинаний и автором большинства воззваний и листовок первомайцев. Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда, равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь, и пела и танцевала, как все, и читала стихи, и водила пионеров,— высокая, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами, то брызжущими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та и другая вместе.

Молодости свойственно судить о показном и подлинном, о живом и скучном, ложном и значительном не на основе изучения и опыта, а с первого взгляда, слова, движения. Уля не имела теперь подруг, приближенных к ней, она была равно внимательна, и добра, и требовательна ко всем. Но достаточно было девушкам видеть ее, обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скудости душевной, а за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь его моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда,— что же сказать, если они хоть на мгновение приоткроют свое сердце?

И так же ровна она была со всеми юношами. Никто из них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, чем с другим, ни один из них внутренне не смел даже допустить этой возможности для себя. По одним ее взглядам, движениям каждый юноша понимал, что он имеет дело не с самолюбивым преувеличением своей личности и тем более не с бедностью чувств, а с тем цельным скрытым миром подлинных страстей, которые еще не нашли того, на кого они изольются полной великой

чистой мерой, и которые не могут расходовать себя по капле. И Уля была окружена тем неосознанным бережным и бескорыстным обожанием ребят, которое выпадает на долю исключительно сильных и чистых девушек.

Именно поэтому, а не только потому, что она была начитана и умна, она естественно, свободно, даже незаметно для самой себя владела душами подруг и товарищей первомайцев.

Девушки собрались у сестер Иванихиных, где они теперь большей частью собирались: они делали индивидуальные пакеты с перевязочным материалом для раненых.

Перевязочный материал был похищен Любкой еще у тех офицеров и солдат медицинской службы, которые гуляли у нее,— она похитила его так, мимоходом, не придавая ему значения. Но Уля, узнав об этом, сразу пустила его в дело.

— Каждый из наших мальчишек должен иметь при себе индивидуальный пакет, они ведь не то, что мы, им придется сражаться,—говорила она.

И, должно быть, она кое-что знала, когда говорила:

— Очень скоро придет время, когда мы выступим все. Тогда нам нужно будет много-много перевязочного материала...

На самом деле Уля только передала своими словами то, что сказал Ваня Земнухов на заседании штаба. А откуда ему это было известно, она не знала.

Так они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, которую в былые времена считали необщественной, какой-то просто индивидуалисткой. принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пегливановой тоже вступила в «Молодую гвардию». А тоненькая Саша Бондарева говорила:

— Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на иждивение своих детей,— я их сколько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так же, одна за другой, соберутся, бывало, у моей бабушки и сидят: одна вяжет, другая шьет, третья пасьянс кладет, четвертая помогает бабушке картошку чистить,— и молчат... Молчат, молчат, потом одна встанет, потянется и говорит: «А что, бабоньки, встряхнемси?» Бабки улыбнутся себе под нос, а другая скажет: «Да

оно не грех бы встряхнуться». И тут у них уже идет складчина, по пятиалтынному с носа,— глядишь, и косушка на столе, много ли им нужно, бабкам-то? Выпьют по наперстку, подопрут щеки вот этак рукой и запоют: «Ой ты, колечко мое позлащенное...»

— Ох, уж эта Сашка, и всегда она что-нибудь выкопает такое! — смеялись девушки.— Да уж не заспивать ли и нам что-нибудь такое, как те старушки?

Но в это время пришла Нина Иванцова,— теперь она уже редко приходила просто так, посидеть с девушками, теперь она всегда приходила как связная от штаба, а где он был, этот штаб, и из кого он состоял, девушки не знали. Со словом «штаб» связано было у них представление о каких-то взрослых людях, которые сидят где-то в подполье, возможно в блиндаже под землей, и стены вокруг увешаны картами, и сами эти люди вооружены, и они могут тут же по радио связаться с фронтом, а может быть, даже и с Москвой. И вот пришла Нина Иванцова и вызвала Улю на улицу, и девушки уже понимали, что, значит, Нина пришла с новым заданием. И действительно, через некоторое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлучиться. Потом она отозвала Майю Пегливанову и сказала ей, чтобы индивидуальные пакеты дивчата разобрали по домам, а штук семь-восемь она отнесла бы к Уле, потому что они могут скоро понадобиться.

Не прошло и четверти часа, как Уля, подобрав юбку и перекинув через плетень сначала одну, потом другую длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в садик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни лежали друг против друга на животе Анатолий Попов в узбекской шапочке на овсяного цвета волосах и Витя Петров с непокрытой темной головой и рассматривали карту района.

Они издали заметили Улю, и, когда она подошла к ним, они, тихо переговариваясь, продолжали смотреть в карту. Уля небрежным движением выгнутой кисти руки закинула за спину косы, павшие ей на грудь, и, обрав по ногам юбку, опустилась возле на корточки, стиснув колени, и тоже стала смотреть в карту.

Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору и ради которого была вызвана Уля, было первым серьезным испытанием для первомайцев: штаб «Моло-

дой гвардии» поручил им освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе Погорелом.

— Охрана далеко живет? — спрашивал Анатолий.

— Охрана живет по правую сторону дороги, уже в самом хуторе. А барак на отлете слева, возле той рощи, помнишь? Там раньше склад был. Они только нары сделали да обнесли вокруг проволокой. И всего один часовой... Я думаю, охрану выгоднее не трогать, а снять часового... А жаль: следовало бы их всех передавить,— сказал Виктор с злым выражением.

Виктор Петров сильно изменился с той поры, как погиб его отец. Он лежал в темной бархатной курточке и, мрачновато поглядывая на Анатолия своими смелыми глазами, покусывая сухую травинку, говорил как бы нехотя:

— Ночью пленные на замке, но можно взять Главана с инструментом, он все сделает бесшумно.

Анатолий поднял глаза на Улю.

— Как твое мнение? — спросил он.

Хотя Уля не слышала начала их разговора, она с тем мгновенным пониманием с полуслова, пониманием, которое с самого начала их деятельности установилось у них само собой, сразу схватила сущность того, чем был недоволен Виктор.

— Я Витю очень хорошо понимаю: правда, хотелось бы уничтожить охрану. Но мы еще не созрели для таких операций,— сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом.

— И я тоже так думаю,— сказал Анатолий.— Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели.

К вечеру другого дня они сошлись поодиночке в лесу под хутором Погорелым, на берегу Донца, пятеро — Анатолий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рагозин, Женя Шепелев, самый младший из них, и Борис Главан. Все они были вооружены револьверами. У Виктора была еще старинная отцовская «финка», которую он теперь всегда носил на поясе под бархатной курточкой. Борис Главан взял с собой щипцы-кусачки, «фомку» и отвертку.

Стояла свежая безлунная звездная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Кустарник, подступивший здесь к самому берегу,

шевелился над ними, река чуть светлела и катилась почти бесшумно, только где-то пониже у обвалившегося берега тихие струи ее, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся земли, то ли затягивая и вновь отпуская какую-то лозинку, издавали посасывающий и причмокивающий звук, будто теленок матку сосал. Противоположный низкий степной берег терялся в мутной, чуть серебристой мгле.

Они дожидались полуночи, когда произойдет смена караула.

Так была таинственна и прекрасна эта ночь ранней осени, с этой чуть серебристой туманной дымкой за рекой и с этим посасывающим и причмокивающим, каким-то детским звуком, что каждый из ребят не мог отделаться от странного чувства: неужели они должны будут расстаться и с рекой и с этим звуком и вступить в борьбу с немецким часовым, с какими-то проволочными заграждениями, запорами? Ведь и река и этот звук — все это было так близко и знакомо им, а то, что предстояло им сделать, они должны были делать впервые,— никто из них даже не представлял себе, как это будет. Но они скрывали друг от друга это чувство и шепотом говорили о том, что им было близко.

— Витя, ты помнишь это место? Ведь это то самое, правда? — спрашивал Анатолий.

— Нет, то чуть пониже, вон, где обвалилось и сосет. Ведь мне пришлось с того берега плыть, я все боялся, что тебя стащит пониже, прямо в вир.

— Задним числом сказать, я все-таки здорово перетрусил,— с детской улыбкой сказал Анатолий,— ведь я почти уже захлебнулся.

— Мы с Женькой Мошковым выходим из лесу и — ах, черт тебя дери! И я, главное, еще плавать не умел,— сказал очень худой, долговязый парень Володя Рагозин в насунутой на глаза кепке с таким длинным козырьком, что совсем не видно было его лица.— Нет, если бы Женька Мошков не кинулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы не вытянуть,— сказал он Виктору.

— Конечно, не вытянуть,— сознался Виктор.— А что было еще слышно о Мошкове?

— Ничего,— сказал Рагозин.— Да что, младший лейтенант, да еще в пехоте! Это же самый низовой командир, они, брат, гибнут, как семечки...

— Нет, у вас Донец — тихий, вот у нас Днестр — это да, речка! — приподнявшись на локте, сказал Боря Главан, блеснув во тьме белыми зубами.— Быстрый! Красавец! У нас если утонешь, так не спасешься. И потом, слушай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас такой лес по Днестру! Осокори, тисы — не обхватишь, вершины — под самое небо...

— Вот ты бы там и жил,— сказал Женя Шепелев.— Это все-таки возмутительно, что людям не удается жить там, где им нравится... Все эти войны и вообще... А то бы жили каждый, где кому нравится. Нравится в Бразилии — пожалуйста. Я бы себе жил спокойно в Донбассе. Мне лично тут очень нравится.

— Нет, слушай: если уж хочешь жить действительно спокойно, приезжай в мирное время к нам в Сороку, уездный наш город, а еще лучше в мое село, у него, брат, и названье громкое, историческое — Царь-град,— сказал Главан, тихо смеясь.— Только приезжай, знаешь, не на хлопотную должность. Не дай бог, скажем, на должность уполномоченного Заготскота! Приезжай председателем местного общества Красного Креста. Будешь содержать одни парикмахерские, делать совершенно нечего, знай винцо попивай. Нет, ей-богу, должность на зависть! — весело говорил Главан.

— Тише ты, развеселился! — добродушно сказал Анатолий.

И снова они услышали этот посасывающий и причмокивающий звук на реке.

— Пора...— сказал Анатолий.

И то простое, естественное чувство природы и счастья жизни, которое только что владело ими, сразу их покинуло.

Краем просеки, огибая открытые делянки, гуськом, во главе с Виктором, знавшим здесь каждый куст, они вошли в рощу, за которой стоял не видный отсюда барак. Здесь они полежали немного, прислушались. Удивительная тишина стояла вокруг. Виктор сделал знак рукой, и они поползли.

И вот они лежали уже на самой опушке рощи. Барак, высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними, обыкновенный барак, но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже совершенно голая. Слева от барака темне-

ла фигура часового. Еще левее шла дорога, а за нею начинались домики хутора, но их не видно было отсюда.

Еще около получаса оставалось до смены караула, и все это время они лежали, не отводя взора от темной неподвижной фигуры часового. Наконец они услышали нараставший откуда-то спереди слева звук шагов и, еще не видя идущих, услышали, как два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу и приближаются к ним. Это были разводящий и сменный. Их темные фигуры приблизились к часовому, который, заслышав их, застыл в позе «смирно».

Послышались приглушенная немецкая команда, бряцанье оружия, стук каблуков о землю. Две фигуры отделились, и снова послышался звук шагов по укатанной дороге, он все удалялся, стал глуше, исчез в ночи.

Анатолий чуть повернул голову к Жене Шепелеву, но тот уже отползал в глубь рощи. Женя должен был пройти окраиной хутора и занять сторожевую позицию возле домика, где жила охрана.

Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, взад и вперед, как волк у решетки. Он ходил быстрыми шагами, закинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, как он потирает ладони: наверно, ему было холодно со сна.

Анатолий нащупал руку Виктора, неожиданно горячую, и тихо пожал ее.

— А может, вдвоем? — прошептал он, вдруг приблизив губы к его уху.

Это была уже дружеская слабость. Виктор отрицательно помотал головой и пополз вперед.

Анатолий, Борис Главан и Володя Рагозин, затаив дыхание, следили за ним и за часовым. При каждом шорохе, который производил Виктор, им казалось, что он обнаружил себя. Но Виктор все дальше уползал от них, вот его бархатная курточка слилась с местностью, его уже не видно и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти это, и они все следили за темной фигурой часового, но часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, и ничего не происходило, и казалось, что прошло уже очень много времени и скоро начнет светать...

Как в детской полузабытой игре, еще в пионерские времена, когда так хотелось перехитрить стоявшего на посту товарища, Виктор полз, припав к земле, но не во-

лоча брюхо, а по очереди передвигая ставшие необыкновенно гибкими руку, потом ногу и опять руку и ногу. Когда часовой шел в направлении к нему, Виктор замирал; когда часовой уходил, Виктор снова полз, сдерживая себя, чтобы не ползти быстро.

Сердце его сильно билось, но страха не было в душе его. До того момента, как он начал ползти, он все заставлял себя думать об отце, чтобы снова и снова вызвать мстительное чувство. Но теперь он совершенно забыл об этом: все его душевные силы ушли на то, чтобы незаметно подкрасться к часовому.

Так он дополз до угла проволочного заграждения, прямоугольником оцеплявшего барак, и замер. Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. Виктор достал «финку», взял ее в зубы и пополз навстречу часовому. Глаза его так привыкли к темноте, что он видел даже проволоку, и ему казалось, что, наверно, часовой тоже привык к темноте и, когда подойдет вплотную к нему, увидит его на земле. Но часовой дошел до прохода в проволочном заграждении и остановился. Виктор знал, что это не обычный проход, а с каким-то приспособлением, похожим на оплетенные колючей проволокой козлы. Виктор напряженно ждал, но часовой, не снимая винтовки из-за плеча, сунул руки в карманы штанов и так застыл — спиной к бараку, чуть склонив голову.

И вдруг Виктору показалось то самое, что казалось и его друзьям, с замиранием сердца ждавшим его действий,— ему показалось, что прошло много времени и скоро начнет светать. И, не думая уже о том, что часовому теперь легче его увидеть и особенно услышать, потому что звуки собственных шагов уже не заглушали часовому других звуков, Виктор пополз прямо на него. Не более двух метров разделяло их, а часовой все стоял так, засунув руки в карманы, с винтовкой за плечом, склонив голову в пилотке, чуть покачиваясь. Виктор не помнил, сделал ли он еще несколько ползучих движений, или сразу вскочил, но он был уже на ногах сбоку от часового и занес «финку». Часовой открыл глаза и быстро повернул голову,— это был сильно пожилой, худой немец, обросший щетиной. Глаза его приняли безумное выражение, и он, не успев вытащить рук из карманов, издал странный тихий звук:

— Ых...

Виктор изо всей силы ударил его «финкой» в шею, левее подбородка. «Финка» по самую рукоять вошла во что-то мягкое за ключицей. Немец упал, и Виктор упал на него и хотел ударить еще раз, но немец уже задергался и кровь пошла у него изо рта. Виктор отошел в сторону и бросил окровавленную «финку». И вдруг его начало рвать с такой силой, что он зажал себе рот рукавом левой руки, чтобы не было слышно, как его рвет.

В это время он увидел перед собой Анатолия, который совал ему «финку» и шептал:

— Возьми, останется примета...

Виктор спрятал «финку», а Рагозин схватил его под руку и сказал:

— На дорогу!..

Виктор вынул револьвер и вместе с Рагозиным выбежал на дорогу, и они залегли здесь.

Боря Главан, боясь в темноте запутаться в этих козлах с колючей проволокой, с профессиональной быстротой работая щипцами-кусачками, сделал проход между двумя столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Главан ощупал запор,— это был обычный железный засов на замке. Главан сунул «фомку» в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало донельзя спертым, смрадно-теплым воздухом. Люди проснулись, кто-то шевелился справа и слева и впереди от них, кто-то испуганно спрашивал спросонок.

— Товарищи...— сказал Анатолий и от волнения не мог больше ничего сказать.

Раздалось несколько приглушенных радостных возгласов, на них зашикали.

— Уходите лесом к реке и дальше вверх и вниз по реке,— сказал Анатолий, овладев собой.— Есть здесь Гордей Корниенко?

— Есть! — ответил кто-то из груды копошившихся тел.

— Идите домой, к жене...— Анатолий вышел из барака и стал у дверей.

— Голубь... Спасибо... Избавители...— доносилось до Анатолия.

Передние побежали было к козлам, опутанным проволокой, но Главан перехватил их и направил в проход в заграждении. Пленные устремились в проход. Вдруг кто-то сбоку схватил Анатолия обеими руками за плечо и зашептал исступленно-радостно:

— Толя?.. Толя?..

Анатолий, вздрогнув, приблизил лицо к самому лицу человека, державшего его.

— Мошков Женя...— сказал Анатолий, почему-то даже не удивившись.

— Узнал тебя по голосу,— сказал Мошков.

— Обожди... Уйдем вместе...

Было еще далеко до рассвета, когда отделившиеся от других ребят Анатолий, Виктор и Женя Мошков, босой, в каких-то вонючих лохмотьях, с колтуном на голове, присели на дне узкой, поросшей кустарником балки отдохнуть.

Теперь казалось просто чудом, что они освободили из плена Мошкова, о котором только что перед этим говорили на берегу Донца. Несмотря на усталость, Анатолий был радостно возбужден. Он все вспоминал то один, то другой момент операции, завершившейся так удачно, хвалил Виктора и Главана и других ребят, то опять возвращался к тому, как это они освободили Женю Мошкова. Виктор отвечал мрачно, односложно, а Мошков все время молчал. В конце концов Анатолий тоже смолк. В балке было очень темно и тихо.

И вдруг где-то ниже по Донцу занялось зарево. Оно занялось сразу, охватив большую часть неба, которое над местом пожара все более провисало, как красный полог; даже в балке стало светло.

— Где это? — тихо спросил Виктор.

— Возле Гундоровской,— сказал Анатолий после некоторого молчания.— Это Сережка,— сказал он, понизив голос.— Скирды жгут. Он теперь их каждую ночь жжет...

— Учились в школе, видели перед собой такой широкий, ясный путь жизни, и вот чем вынуждены заниматься! — вдруг с силой сказал Виктор.— И выхода другого нет...

— Ребята! Неужто ж я свободен? Ребята! — хрипло сказал Женя Мошков и, закрыв лицо руками, пал на пересохшую траву.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Наступило время, когда даже бездомные люди со своими тачками опасались передвигаться по шоссейным и грунтовым дорогам, а брели проселками или прямо по степи,— так часто стали подрываться на минах грузовые и легковые машины и цистерны с бензином.

Не успевала схлынуть молва о крупной аварии где-нибудь на шоссе между Матвеевым Курганом и Новошахтинском на юге, как уже накатывалась новая — о гибели целого транспорта с бензином между Старобельском и Беловодском на севере.

Вдруг взлетел на воздух железобетонный мост через речку Крепенку на главном шоссе сталинградского направления, и даже нельзя было понять, как это могло получиться: мост находился в крупном населенном пункте Боково-Платово и хорошо охранялся немцами. А через несколько дней обрушился в реку громадный железнодорожный мост возле Каменска на магистрали Воронеж — Ростов. Взрыв этого моста, на охране которого был занят взвод немецких автоматчиков с четырьмя станковыми пулеметами, был так силен, что гул взрыва докатился ночью до Краснодона.

Олег догадывался, что взрыв этот произведен, должно быть, совместными усилиями подпольных партийных организаций Краснодона и Каменска. Он догадывался об этом потому, что недели за две до того, как произошел взрыв, Полина Георгиевна вновь потребовала от имени Лютикова связного для направления в Каменск.

Олег выделил Олю Иванцову.

В течение двух недель Оля ни разу не появлялась в орбите деятельности «Молодой гвардии», хотя Олег знал от Нины, что Оля несколько раз возвращалась домой в Краснодон и опять уходила. Она вновь возникла на квартире Олега через два дня после того, как произошел этот знаменитый взрыв, и скромно приступила к исполнению своих повседневных обязанностей связной штаба «Молодой гвардии». Олег понимал, что ее ни о чем нельзя расспрашивать, но иногда ловил себя на том, что с любопытством и интересом вглядывается в ее лицо. Но она словно не замечала этого, была все так же ровна, спокойна, мало разговорчива. Неподвижное лицо ее с неправильными сильными чертами, очень

редко освещавшееся улыбкой, было точно нарочно создано для хранения тайн.

К этому времени на дорогах района и далеко за его пределами действовали уже три постоянные боевые группы «Молодой гвардии».

Одна группа — на дороге между Краснодоном и Каменском: она нападала преимущественно на легковые машины с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор Петров.

Вторая группа — на дорогах Ворошиловград — Лихая; она нападала на машины-цистерны: уничтожала водителей и охрану, а бензин выпускала в землю. Руководил этой группой освобожденный из плена Женя Мошков, лейтенант Красной Армии.

И третья группа — группа Тюленина, которая действовала повсюду. Она задерживала немецкие грузовые машины с оружием, продовольствием, обмундированием и охотилась за отбившимися и отставшими немецкими солдатами,— охотилась даже в самом городе.

Бойцы групп сходились на задание и расходились после него поодиночке; каждый держал свое оружие в определенном месте в степи, закопанным.

С освобождением из плена Мошкова «Молодая гвардия» получила еще одного опытного руководителя.

Оправившийся после лишений, перенесенных им, плотный, крепенький, как дубок, Мошков ходил неторопливо, развалистой походкой, с обмотанным вокруг шеи вязаным шарфом, очень толстившим его, обутый в сапоги и калоши, снятые им с подходящего по росту «полицая», убитого во время разгрома полицейского участка на хуторе Шевыревка. Сердитый на вид, он был добряк в душе. Пребывание в армии, особенно после того, как он был принят на фронте в партию, приучило его к выдержке и самодисциплине.

Он поступил по своей специальности слесаря все в тот же механический цех мастерских при дирекционе № 10 и по предложению Лютикова был введен в штаб «Молодой гвардии».

Несмотря на то, что «Молодая гвардия» имела уже за своими плечами несколько громких боевых дел, ничто не говорило о том, что немцы озабочены существованием этой организации.

Подобно тому как ручьи и реки образуются в результате незаметного для глаза мельчайшего движения подземных вод, так и действия «Молодой гвардии» незаметно вливались в глубоко скрытое широкое движение миллионов людей, стремившихся вернуться к своему естественному состоянию, в каком они находились до прихода немцев. И в этом изобилии направленных против немцев больших и малых поступков и дел долгое время немцы не видели особого следа «Молодой гвардии».

Фронт отодвинулся теперь так далеко, что немцам, стоявшим в Краснодоне, этот город представлялся чуть ли не глухой заштатной провинцией германского райха. Если бы не действия партизан на дорогах, казалось бы, что здесь навеки утвердился «новый порядок».

Все притихло на фронтах войны — на западе и востоке, на севере и на юге, точно прислушиваясь к раскатам великой Сталинградской битвы. И в ежедневных кратких сообщениях на протяжении сентября, потом октября о боях в районе Сталинграда и в районе Моздока было уже что-то настолько привычное и постоянное, что казалось — так уже всегда и будет.

Совсем прекратился поток пленных, которых гнали через Краснодон с востока на запад. Но с запада на восток все продолжали двигаться немецкие и румынские воинские части, обозы, пушки и танки: они уходили и уже не возвращались, а все шли новые, и в Краснодоне постоянно дневали и ночевали немецкие, румынские солдаты и офицеры, и тоже казалось, что уже всегда так и будет.

В доме Коростылевых и Кошевых несколько дней стояли одновременно немецкий офицер, летчик-«ас», возвращавшийся на фронт из отпуска после ранения, и румынский офицер с денщиком — веселым малым, который говорил по-русски и крал что ни попадя, вплоть до головок чеснока и рамок от семейных фотографий.

Офицер-румын в форме салатного цвета, при галстуке и с золотыми витыми погончиками был маленький, с черными усиками и глазками навыкате, очень подвижной, даже кончик его носа находился в постоянном движении. Обосновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил вне дома, ходил по городу в штатской одежде, обследуя шахты, учреждения, воинские части.

— Что это твой хозяин в штатском ходит? — спросил дядя Коля денщика, с которым у него установились почти приятельские отношения.

Веселый денщик надул щеки, хлопнул по ним ладошками, выстрелив воздухом, как в цирке, и очень добродушно сказал:

— Шпион!..

После этого разговора дядя Коля уже никогда не мог найти своей трубки.

Немецкий «ас» расположился в большой комнате, вытеснив Елену Николаевну к бабушке, а Олега в сарай. Это был крупный белый мужчина с красными глазами, весь в орденах за бои над Францией и за Харьков. Он был феерически пьян, когда его привели сюда из комендатуры, и он провел здесь несколько дней только потому, что продолжал пить и днем и ночью и никак не мог протрезвиться. Он стремился вовлечь в свое пьянство все население дома, кроме румын, существования которых он просто не замечал, он буквально секунды не мог просуществовать без собеседников. На невыносимом немецко-русском языке он пояснял, как он побьет сначала большевиков, потом англичан, потом американцев и как тогда уже все будет хорошо. Но под конец пребывания он впал в предельную мрачность.

— Сталинград!.. Ха!..— говорил он, подымая багровый указательный палец.— Большевик стреляйт... пу! Мне капут!..— И мрачные слезы выступали на его красных веках...

Перед отъездом он протрезвился ровно настолько, чтобы настрелять себе из маузера кур по дворам. Ему некуда было их спрятать, он связал их за ноги, и они лежали у крыльца, пока он собирал свои вещи.

Румын-денщик подозвал Олега, надул щеки, выстрелил воздухом, как в цирке, и указал на кур.

— Цивилизация! — сказал он добродушно.

И Олег уже никогда не видел больше своего перочинного ножика.

При «новом порядке» в Краснодоне образовались такие же «сливки общества», как в каком-нибудь Гейдельберге или Баден-Бадене,— целая лестница чинов, положений. На вершине этой лестницы стояли гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и глава дирек-

циона лейтенант Швейде. Привыкший работать в раз навсегда определенной и со всех сторон предусмотренной чистенькой обстановке немецких предприятий, он сам не заметил, как превратил в своеобразную программу хозяйствования высказанное им когда-то Баракову недоумение по поводу положения дел в подведомственных ему предприятиях. В самом деле, если рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, крепежного леса нет, да и шахт-то, собственно говоря, нет, то в таком случае и угля нет. И он аккуратно оправлял свою должность только в том смысле, что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конюхи овес немецким лошадям дирекциона, и подписывал бумаги. Остальное время он с еще большей энергией посвящал собственному птичнику, свинарнику и коровнику и устройству вечеринок для чинов немецкой администрации.

Немного пониже на ступеньках этой лестницы стояли Фельднер, заместитель Швейде, обер-лейтенант Шприк и зондерфюрер Сандерс в своих трусиках. Еще ниже — начальник полиции Соликовский и бургомистр Стаценко, очень солидный, пьяный с утра, в определенный час аккуратно шагавший с зонтиком по грязи в городскую управу и так же аккуратно возвращавшийся из нее, будто он действительно чем-то управлял. А на самом низу лестницы находился унтер Фенбонг со своими солдатами, и они-то все и делали.

Как бесприютен и несчастен был любимый шахтерский городок, когда хлынули октябрьские дожди! Весь в грязи, без топлива, без света, лишенный заборов, с вырубленными палисадниками, с выбитыми окнами в пустых домах, из которых вещи были выкрадены проходящими солдатами, а мебель — чинами немецкой администрации, обставлявшими свои квартиры. Люди не узнавали друг друга, встречаясь,— так все исхудали, обносились, прожились. И бывало, даже самый простой человек внезапно останавливался посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли: «Да неужели все это правда? Не сон ли это? Не наваждение? Уж не сошел ли я с ума?»

И только вдруг неизвестно откуда возникшая на стенке дома или на телеграфном столбе маленькая, мокрая от дождя листовка, обжигавшая душу огненным словом «Сталинград», да грохот очередного взрыва на

дороге вновь и вновь говорили людям: «Нет, это не сон и не наваждение, это правда. И борьба идет!»

В один из таких дней, когда крупный осенний дождь с ветром лил уже несколько суток, Любка была доставлена из Ворошиловграда немецкой серой машиной низкой посадки, и молодой лейтенант, немец, выскочив первым, подержал ей дверцу и откозырял, когда она, не оглядываясь, с чемоданчиком в руке взбежала на крыльцо родного дома.

На этот раз Евфросинья Мироновна, мать ее, не выдержала и, когда они ложились спать, сказала:

— Ты бы поостереглась, Любушка... Простые люди, знаешь, что говорят? «Больно она к немцам близка»...

— Люди так говорят? Это хорошо, это, мамочка, мне даже очень удобно,— сказала Любка, засмеялась и уснула, свернувшись калачиком.

На другое утро Ваня Земнухов, узнавший об ее приезде, почти бегом пронесся на длинных ногах громадным пустырем, отделявшим его улицу от «Восьмидомиков», и в грязи по колено, окоченевший от дождя, вскочил в большую горницу к Шевцовым, даже не постучавшись.

Любка одна-одинешенька, держа перед собой в одной руке маленькое зеркальце, а другой то поправляя свои нерасчесанные, развившиеся локоны, то оглаживая у талии простое зеленое домашнее платьице, ходила по диагонали по комнате босиком и говорила примерно следующее:

— Ах ты, Любка-Любушка! И за что так любят тебя мальчишки, я просто не понимаю... И чем же ты хороша собой? Фу! Рот у тебя большой, глазки маленькие, лицо неправильное, фигурка... Ну, фигурка, правда, ничего... Нет, фигурка определенно ничего... А так, если разобраться... И хотя бы ты гналась за ними, а то ведь совершенно нет. Фу! Гнаться за мальчишками! Нет, я просто не понимаю...

И, склоняя перед зеркальцем голову то на один бок, то на другой, потряхивая кудрями, она, звонко отбивая босыми ногами, пошла чечеткой по диагонали комнаты, напевая:

Любка, Любушка,
Любушка-голубушка...

Ваня, с невозмутимым спокойствием наблюдавший за ней, посчитал, что пришло время кашлянуть.

Любка, не только не растерявшись, а приняв скорее выражение вызывающее, медленно опустила зеркало, повернулась, узнала Ваню, сощурила голубые глаза и звонко рассмеялась.

— Судьба Сережки Левашова мне совершенно ясна,— сказал Ваня глуховатым баском,— ему придется добывать тебе черевички у самой царицы...

— Ты знаешь, Ваня, это просто удивительно, я даже тебя больше люблю, чем этого Сережку! — говорила Любка с некоторым все же смущением.

— А я так плохо вижу, что, откровенно говоря, мне все девушки кажутся на одно лицо. Я различаю их по голосу, и мне нравятся девушки с голосами низкими, как у дьякона, а у тебя, понимаешь, он как-то колокольчиком! — невозмутимо говорил Ваня.— У тебя дома кто есть?

— Никого... Мама у Иванцовых.

— Присядем. И отложи зеркало, чтобы меня не нервировать... Любовь Григорьевна! За своими повседневными делами задумывалась ли ты над тем, что близится двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской революции?

— Конечно! — сказала Любка, хотя, по совести сказать, она об этом просто забыла.

Ваня склонился к ней и что-то шепнул ей на ухо.

— Ах, здорово! Вот молодцы-то! Придумали чего! — И она от всего сердца поцеловала Ваню прямо в губы, и он чуть не уронил очки от смущения.

...— Мамочка! Тебе приходилось в жизни красить какие-нибудь носильные вещи?

Мать смотрела на Любку не понимая.

— Скажем, была у тебя белая кофточка, а ты хочешь, чтобы она стала... синяя.

— Как же, приходилось, доню.

— А чтоб была красная, тоже приходилось?

— Да это и все равно, какая краска...

— Научи меня, мамочка, может быть, я себе что-нибудь покрашу.

...— Тетя Маруся, тебе не приходилось перекрашивать одежду из одного цвета в другой? — спрашивал Володя Осьмухин у своей тетки Литвиновой, жившей с детьми в домике неподалеку от Осьмухиных.

— Конечно, Вова, приходилось.

— Ты не могла бы мне покрасить в красный цвет две-три наволочки?

— Они же, бывает, очень красятся, Вовочка, у тебя будут щеки красные и уши.

— Нет, я не буду на них спать, я их буду днем надевать, просто для красоты...

...— Папа, я уже убедился, что ты прекрасно делаешь краски не только для дерева, а даже для металла. Не можешь ли ты покрасить в красный цвет одну простыню? Понимаешь, опять просят меня эти подпольщики: «Дай нам одну красную простыню». Ну, что ты им скажешь! — так говорил Жора Арутюнянц отцу.

— Покрасить можно. Но... все-таки простыня! А мама? — с опаской отвечал отец.

— В конце концов уточните между собой вопрос, кто из вас главный в доме — ты или мама? В конце концов!.. Вопрос ясен: нужна абсолютно красная простыня...

После того как Валя Борц получила записку от Сережки, Валя никогда не заговаривала с ним об этой записке, и он никогда не спрашивал ее. Но с того дня они были уже неразлучны. Они стремились друг к другу, едва только занимался день. Чаще всего Сережка первый появлялся на Деревянной улице, где не только привыкли к худенькому пареньку с жесткой курчавой головой, ходившему босиком даже в эти холодные дождливые дни октября, а полюбили его — и Мария Андреевна и особенно маленькая Люся, хотя он большей частью молчал в их присутствии.

Маленькая Люся даже спросила однажды:

— Почему вы так не любите ходить в ботинках?

— Босому танцевать легче,— с усмешкой сказал Сережка.

Но после того он уже приходил в ботинках,— он просто не мог найти времени, чтобы их починить.

В один из дней, когда среди «молодогвардейцев» внезапно пробудился интерес к окраске материй, Сережка и

Валя должны были, уже в четвертый раз, разбросать листовки во время киносеанса в летнем театре.

Летний театр, в прошлом клуб имени Ленина, помещался в дощатом высоком длинном здании с неуютной, всегда открытой сценой, перед которой в дни сеансов опускалось полотно. Люди сидели на некрашеных длинных скамьях, врытых в землю,— уровень их повышался к задним рядам. После занятия Краснодона немцами здесь демонстрировались немецкие фильмы, большей частью военно-хроникальные; иногда выступали бродячие эстрадные труппы с цирковыми номерами. Места в театре были не нумерованы, входная плата одинакова для всех; какое место занять, зависело от энергии и предприимчивости зрителя.

Валя, как всегда, пробралась на ту сторону зала, ближе к задним рядам, а Сережка остался по эту сторону от входа, ближе к передним. И в тот момент, как потух свет и в зале еще шла борьба за места, они веером пустили листовки в публику.

Раздались крики, взвизгивания. Листовки расхватали. Сережка и Валя сошлись в обычном условном месте, возле четвертого от сцены столба, подпиравшего здание. Народу, как всегда, было больше, чем мест. Сережка и Валя остались среди зрителей в проходе. В тот момент, как из будки на экран пал синий с искрами, пыльный конус света, Сережка чуть тронул локтем локоть Вали и указал глазами левее экрана. Закрывая всю эту часть сцены, с верхней рампы свисало большое темно-красное, с белым кругом и черной свастикой посредине, немецко-фашистское знамя; оно чуть колыхалось от движения воздуха по залу.

— Я — на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь с билетершей... Если пойдут зал убирать, задержи хоть минут на пять,— шепнул Сережка Вале на ухо.

Она молча кивнула головой.

На экране, поверх немецкого названия фильма, возникла, белыми буквами, надпись по-русски: «Ее первое переживание».

— Потом к тебе? — спросил Сережка с некоторой робостью.

Валя кивнула головой.

Едва потух свет перед последней частью, Сережка отделился от Вали и исчез. Он исчез бесследно, как мог

исчезать только один Сережка. Нигде в проходах, где стояли люди, не заметно было никакого движения. Все-таки ей любопытно было, как он сделает это. Валя стала продвигаться ближе к выходу, не спуская глаз с маленькой дверцы справа от экрана, через которую Сережка только и мог незаметно проникнуть на сцену. Сеанс кончился. Публика с шумом повалила к выходу, зажегся свет, а Валя так ничего и не увидела.

Она вышла из театра с толпой и остановилась против выхода, под деревьями. В парке было темно, холодно, мокро, листья еще не все опали и от влаги перемещались с таким звуком, будто вздыхали. Вот уже последние зрители выходили из театра. Валя подбежала к билетерше, нагнулась, будто ища что-то на земле в прямоугольнике слабого света, падающего из зрительного зала через распахнутую дверь.

— Вы не находили здесь кошелька, маленького, кожаного?

— Что ты, девушка, где мне искать, только народ вышел! — сказала пожилая билетерша.

Валя, нагибаясь, щупала пальцами то там, то здесь растоптанную ногами грязь.

— Он непременно где-нибудь здесь... Я, как вышла, достала платок, немного отошла, смотрю — кошелька нет.

Билетерша тоже стала смотреть вокруг.

В это самое время Сережка, забравшийся на сцену не через дверцу, а прямо через перильца оркестра, оттуда, со сцены, изо всей силы дергал знамя, пытаясь сорвать его с верхней рампы, но что-то держало. Сережка вцепился повыше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя оборвалось, и Сережка едва не упал вместе с ним в оркестр.

Он стоял на сцене один перед полуосвещенным пустым залом с широко распахнутой дверью в парк и аккуратно, не торопясь, свертывал огромное фашистское знамя — сначала вдвое, потом вчетверо, потом в восемь раз, чтобы его можно было поместить за пазухой.

Сторож, закрывавший снаружи вход в будку механика, вышел из темноты на свет, падавший из зала, к билетерше и Вале, искавшим кошелек.

— Свет! Будто не знаешь, что за это бывает! — сердито сказал сторож.— Туши, будем запирать...

Валя кинулась к нему и схватила его за борта пиджака.

— Родненький, одну секундочку! — сказала она умоляюще.— Кошелек уронила, ничего не видно будет, одну секундочку! — повторила она, не выпуская его пиджака.

— Где ж его тут найдешь! — сказал сторож, смягчившись, невольно шаря глазами вокруг.

В это мгновение мальчишка в глубоко насунутой на глаза кепке, невообразимо пузатый, на тоненьких, особенно тоненьких по сравнению с его пузом ногах, выскочил из пустого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими ногами, издал жалобный звук:

— Ме-е-е-е...

И растворился во мраке.

Валя успела еще лицемерно сказать:

— Ах, какая жалость...

Но смех так распирал ее, что она закрыла лицо руками и, давясь, почти побежала от театра.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

После объяснения Олега с матерью ничто уже не противостояло его деятельности: весь дом был вовлечен в нее, родные были его помощниками, и мать была первой среди них.

Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердца сплавилось у этого шестнадцатилетнего юноши что-то из самого ценного опыта старших поколений, незаметно почерпнутое из книг, из рассказов отчима, а особенно внушаемое ему теперь его непосредственным руководителем, Филиппом Петровичем Лютиковым,— как сплавилось это в его сердце с испытанным им и его товарищами собственным опытом первых поражений и первых осуществленных замыслов. Но по мере развертывания деятельности «Молодой гвардии» Олег обретал все больше влияния на своих товарищей и сам все больше сознавал это.

Он был настолько общителен, жизнелюбив, непосредственен, что не только мысль о господстве над товарищами, но даже простое невнимание к ним, к их мнению и опыту были противны его душе. Но он все более

сознавал, что успех или неуспех их деятельности во многом зависит от того, насколько он, Олег, среди всех своих друзей сможет все предусмотреть или ошибется.

Он был всегда возбужденно-деятелен, всегда весел и в то же время аккуратен, расчетлив, требователен. Там, где дело касалось его одного, в нем еще сказывался мальчишка,— ему хотелось самому расклеивать листовки, жечь скирды, красть оружие и бить немцев изза угла. Но он уже понимал выпавшую на его долю ответственность за все и за всех и смирял себя.

Он был связан дружбой с девушкой старше его, девушкой необыкновенной простоты, бесстрашной, молчаливой и романтичной, с этими тяжелыми темными завитками волос, спускавшимися на ее круглые сильные плечи, с красивыми, смуглыми до черноты руками и с этим выражением вызова, страсти, полета в раскрылии бровей над карими широкими глазами. Нина Иванцова угадывала каждый его взгляд, движение и — беспрекословно, бесстрашно, точно — выполняла любое его поручение.

Всегда занятые то листовками, то временными комсомольскими билетами, то планом какой-нибудь местности, они могли часами молчать друг возле друга не скучая. А если уж они говорили, они летели высоко над землей: все созданное величием человеческого духа и доступное детскому взору проносилось перед их воображением. А иногда им было так беспричинно весело вдвоем, что они только смеялись — Олег безудержно, по-мальчишески, потирая кончики пальцев, просто до слез, а она с девической, тихой, доверчивой веселостью, а то вдруг женственно, немного даже загадочно, будто таила что-то от него.

Однажды, сильно смущенный, он попросил у Нины разрешения прочесть ей стихи.

— Чьи, твои? — спросила она удивленно.

— Нет. Ты послушай...

Он начал, еще больше заикаясь, но после первых строк вдруг овладел собой:

Пой, подруга, песню боевую,
Не унывай и не грусти.
Скоро наши дорогие
Краснокрылые орлы
Прилетят, раскроют двери
Всех подвалов и темниц.

Слезы высохнут на солнце
На концах твоих ресниц.
Снова станешь ты свободна,
Весела, как Первый май.
Мстить пойдем, моя подруга,
За любимый милый край...

— Здесь я еще не все доделал,— сказал Олег, снова засмущавшись.— Здесь должно быть, как мы пойдем в армию вместе... Ты хотела бы?

— Это ты мне посвятил? Мне, да?..— сказала она, обдавая его светом своих сияющих глаз.— Я сразу поняла, что это твои. Почему ты раньше не говорил, что пишешь?

— Я стеснялся,— сказал он с широкой улыбкой, довольный тем, что стихи ей понравились.— Я давно пишу. Но я никому не показываю. Я больше всего Вани стесняюсь. Ведь он, знаешь, как пишет! А я что... У меня, я чувствую, размер не выдержан, да и рифму я с трудом подбираю,— говорил он, счастливый признанием его стихов Ниной.

Да, так случилось, что в этот самый тяжелый период жизни Олег вошел в самую счастливую пору расцвета всех своих юношеских сил.

Шестого ноября, в канун Октябрьского праздника, днем, штаб «Молодой гвардии» собрался в полном составе на квартире Кошевого с участием связных — Вали Борц, Нины и Оли Иванцовых. Олег решил ознаменовать этот день торжественным принятием в комсомол Радика Юркина.

Радик Юркин уже не был тем мальчиком с тихими, кроткими глазами, который сказал Жоре Арутюнянцу: «Ведь я привык рано ложиться». После своего участия в казни Фомина Радик Юркин был включен в боевую группу Тюленина и участвовал в ночных нападениях на немецкие грузовые машины. Он довольно уверенно сидел на стуле у двери и прямо, не мигая, смотрел в окно напротив, через комнату, пока Олег произносил вступительную речь, а потом Тюленин давал характеристику ему, Радику. Иногда в нем пробуждалось любопытство, что же это за люди вершат его судьбу. И он переводил свой спокойный взгляд из-под длинных серых ресниц на членов штаба, сидевших вокруг большого обеденного стола, накрытого, как на званом обеде. Но две девуш-

ки — одна светлая, другая черная — сейчас же начинали так ласково улыбаться ему, и обе они были так хороши собой, что Радик вдруг чувствовал прилив необыкновенного смущения и отводил взгляд.

— Б-будут вопросы к товарищу Радику Юркину? — спросил Олег.

Все молчали.

— Пусть биографию расскажет,— сказал Ваня Туркенич.

— Расскажи б-биографию.

Радик Юркин встал и, глядя в окно, звонким голосом, каким он отвечал урок в классе, сказал:

— Я родился в городе Краснодоне в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Учился в школе имени Горького...— На этом и кончалась биография Радика Юркина, но он сам чувствовал, что этого мало, и менее уверенно добавил: — А как немцы пришли, теперь уже не учусь...

Все опять помолчали.

— Общественных обязанностей не нес? — спросил Ваня Земнухов.

— Не нес,— с глубоким мальчишеским вздохом сказал Радик Юркин.

— Задачи комсомола знаешь? — снова спросил Ваня, уставившись в стол сквозь свои роговые очки.

— Задача комсомола — бить немецко-фашистских захватчиков, пока не останется ни одного,— очень четко сказал Радик Юркин.

— Что ж, я считаю, парень вполне политически грамотный,— сказал Туркенич.

— Конечно, принять! — сказала Любка, всем сердцем болевшая за то, чтобы все вышло хорошо у Радика Юркина.

— Принять, принять!..— сказали и другие члены штаба.

— Кто за то, чтобы принять в члены комсомола товарища Радика Юркина? — с широкой улыбкой спросил Олег и сам поднял руку.

Все подняли руки.

— Ед-диногласно,— сказал Олег и встал.— Подойди сюда...

Радик слегка побледнел и подошел к столу меж раздвинувшимися, чтобы дать ему место, и серьезно смотревшими на него Туркеничем и Улей Громовой.

— Радик! — торжественно сказал Олег.— По поручению штаба вручаю тебе временный комсомольский билет. Храни его, как собственную честь. Членские взносы будешь уплачивать в своей пятерке. А когда вернется Красная Армия, райком комсомола обменяет тебе этот временный билет на постоянный...

Радик протянул тонкую загорелую руку и взял билет. Билет был того же размера, что и взаправдашный, сделан из плотной бумаги, на какой чертят планы и карты, сложен вдвое. На лицевой стороне вверху маленькими скачущими типографскими буквами было напечатано: «Смерть немецким оккупантам!» Немного ниже: «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». Еще ниже, немного покрупнее: «Временный комсомольский билет». На развороте билета слева написаны были фамилия, имя и отчество Радика, год его рождения; ниже — время вступления в комсомол: «6 ноября 1942 года», еще ниже — «Выдан комсомольской организацией «Молодая гвардия» в г. Краснодоне. Секретарь: Кашук». На правой стороне билета были расчерчены графы для уплаты членских взносов.

— Я зашью его в курточку и буду всегда носить с собой,— сказал Радик чуть слышно и спрятал билет во внутренний карман курточки.

— Можешь идти,— сказал Олег.

Все поздравили Радика Юркина и пожали ему руку.

Радик вышел на Садовую. Дождя не было, но было очень ветрено и холодно. Близились сумерки. Этой ночью Радик должен был возглавить группу из трех ребят для проведения большого праздничного задания. Чувствуя у себя на груди билет, Радик с суровым и счастливым выражением лица пошел по улице домой. На спуске ко второму переезду, у здания районного исполкома, где помещалась теперь сельскохозяйственная комендатура, Радик, чуть подобрав нижнюю челюсть, раздвинул губы и издал пронзительный свист — просто так, чтобы немцы знали, что он существует на свете.

Этой ночью не только Радик Юркин, а почти вся организация участвовала в большом праздничном задании.

— Не забудьте: кто освободится, прямо ко мне! — говорил Олег. — Кроме первомайцев!

Первомайцы устраивали на квартире сестер Иванихиных октябрьскую вечеринку.

В комнате остались Олег, Туркенич, Ваня Земнухов и связные — Нина и Оля. Лицо Олега вдруг выразило волнение.

— Д-девушки, м-милые, п-пора, — сказал он, сильно заикаясь. Он подошел к двери в комнату Николая Николаевича и постучал. — Тетя Марина! П-пора...

Марина в пальто, повязывая на ходу платок, вышла из комнаты, за ней дядя Коля. Бабушка Вера и Елена Николаевна тоже вышли из своей комнаты.

Марина, Оля и Нина, одевшись, вышли из дома — они должны были обеспечить охрану ближайших улиц.

Опасная это была дерзость: пойти на это в такой час, когда в домах не спали и люди еще ходили по улицам, но разве можно было упустить это?!

Сумерки сгустились. Бабушка Вера опустила затемнение и зажгла коптилку. Олег вышел во двор к Марине. Она отделилась от стены дома.

— Нема никого.

Дядя Коля высунулся из форточки и, оглядевшись, протянул Олегу конец провода. Олег прицепил его к шесту и повесил шест на провод возле самого столба, так, что и шест и столб слились в темноте.

Олег, Туркенич и Ваня Земнухов сидели в комнате дяди Коли, у письменного стола, держа наготове карандаши. Бабушка Вера, прямая, с непроницаемым выражением, и Елена Николаевна, подавшись вперед, с наивным и немного испуганным выражением лица, сидели поодаль на кровати, обратив глаза к аппарату.

Только дядя Коля с его спокойными точными руками мог так сразу, бесшумно включиться в нужную волну. Они включились прямо в овации. Разряды в воздухе не давали расслышать голос, который говорил:

— Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипятилетие победы Советской революции в нашей стране. Прошло двадцать пять лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, двадцать шестого года существования Советского строя...

Туркенич с лицом спокойным и серьезным и Ваня, приблизив очки почти к самой тетрадке, быстро записывали. Записывать не трудно было: Сталин говорил не торопясь. Иногда он смолкал на некоторое время, и слышно было, как он наливает в стакан воду, ставит стакан на место. Все же первое время все их душевные силы уходили на то, чтобы ничего не упустить. Потом они приспособились к ритму речи, и тогда сознание необыкновенности, почти невозможности того, в чем они участвуют, овладело каждым из них.

Тот, кто не сидел при свете коптилки в нетопленной комнатке или в блиндаже, когда не только бушует на дворе осенняя стужа,— когда человек унижен, растоптан, нищ,— кто не ловил окоченевшей рукой у потайного радио свободную волну своей родины, тот никогда не поймет, с каким чувством слушали они эту речь из самой Москвы.

— ...людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато.

Смех в большом зале, донесшийся сюда, мгновенно вызвал улыбки на их лица, бабушка Вера даже прикрыла рот рукою.

— У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно... Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей.

Буря аплодисментов вызвала потребность выразить и себя в шумном движении, но они не могли этого сделать и только переглядывались.

Все, что неосознанно жило в патриотическом чувстве этих людей, от шестнадцатилетнего мальчика до старой женщины,— все это возвращалось к ним теперь, облеченное в простую, прямую правду фактов и цифр.

Это они, простые люди, на долю которых выпали такие немыслимые страдания и мучения, говорили сейчас всему миру:

— Гитлеровские мерзавцы... насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер... Только низкие люди и подлецы, ли-

шенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных, безоружных людей... Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов...

Это говорила их надежда и месть...

Дыхание огромного мира, окружающего их маленький городок, затоптанный в грязи сапогами вражеских солдат, мощное содрогание родной земли, биение ночной Москвы врывались в комнату и наполняли их сердца счастьем сознания своей принадлежности к этому миру...

Шум оваций покрывал каждую здравицу речи.

— Нашим партизанам и партизанкам — слава!

— Вы слышали!..— воскликнул Олег, глядя на всех блестящими, счастливыми глазами.

Дядя Коля выключил радио, и вдруг наступила страшная тишина. Только что это было, и вот уже нет ничего... Позванивает форточка. Осенний ветер свистит за окном. Они сидят одни в полутемной комнатке, и сотни километров горя отделяют их от мира, который только что прошумел...

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Ночь была так черна, что, вплотную соткнувшись лицами, нельзя было видеть друг друга. Сырой, холодный ветер мчался по улицам, завихряясь на перекрестках; он погромыхивал крышами, стонал по трубам, свистел в проводах, дудел в столбах. Нужно было знать город так, как они, чтобы по невылазной грязи, во тьме, выйти точно к проходной будке.

Обычно на этом отрезке дороги — от ворошиловградского шоссе до клуба имени Горького — ходил ночью дежурный «полицай». Но, видно, грязь и стужа загнали его куда-нибудь под крышу.

Проходная будка была сложена из камня,— это бы-

ла не будка, а целая башня с зубцами наверху, как в замке, внизу была конторка и проход на территорию шахты. Направо и налево от башни шла высокая каменная стена.

Они были точно созданы для того, чтобы проделать это вдвоем,— широкоплечий Сергей Левашов и Любка со своими сильными ногами и легкая, как огонь. Сергей выставил колено и протянул Любке руки. Она, не видя их, сразу попала в них своими маленькими ручками и тихо засмеялась. Она поставила ногу в ботике на колено к нему и в то же мгновение была уже у него на плечах и положила руки на каменную ограду. Он крепко держал ее за ноги повыше ботиков, чтобы она не упала. Платье ее билось над его головой, как флаг. Она легла животом на ограду, держась с той стороны за стену поджатыми под грудь руками: руки у нее были недостаточно сильные, чтобы подтянуть Сергея, но в такой позе она смогла удержаться, когда он, крепко взявшись за ее талию и упираясь ногами в стену, сам подтянулся на руках и быстрым сильным движением перенес одну, потом другую руку на стену. Теперь Любке осталось только освободить ему место,— он был уже рядом с ней.

Поверхность толстой стены была ребром и мокрая,— очень легко было соскользнуть. Но Сергей стоял крепко, прислонившись лбом к стене башни и распластав по ней руки. Теперь Любка уже сама взлезла ему на плечи по спине,— все-таки он был очень силен. Зубцы башни оказались на уровне ее груди, и она легко влезла на башню. Ветер так рвал ее платье и жакет, что казалось — вот-вот сбросит ее. Но теперь самое трудное было позади...

Она вынула из-за пазухи сверточек, нащупала шпагат, продетый сквозь оборку с узкого края, и, не давая развернуться на ветру, прикрепила к флагштоку. И только она отпустила, ветер подхватил это с такой яростной силой, что у Любки забилось сердце от волнения. Она достала второй, меньший, сверточек и надвязала у самого подножия флагштока так, что это было уже внутри, за зубцами. Таким же образом, по спине Сергея, она спустилась на стену, но не решилась спрыгнуть в грязь и села, свесив ноги. Сергей спрыгнул и снизу тихо позвал ее, подставив руки. Она не видела его, а только чувствовала его по голосу. У нее вдруг замер-

ло сердце,— она протянула вперед руки, зажмурила глаза и прыгнула. Она упала ему прямо в руки и обняла его за шею, и он подержал ее так некоторое время. Но она высвободилась, спрыгнула на землю и, дыша ему в лицо, возбужденно зашептала:

— Сережка! Захватим гитару, а?

— Идет! И я переоденусь, ты меня всего вывозила своими ботиками,— сказал он, счастливый.

— Ни-ни! Примут нас, какие есть! —Она весело засмеялась.

Вале и Сережке Тюленину достался центр города — самый опасный район: немецкие часовые стояли у здания райисполкома, у здания биржи, «полицай» дежурил у дирекциона, под горой была жандармерия. Но тьма и ветер благоприятствовали им. Сережка облюбовал пустующий дом «бешеного барина», и пока Валя дежурила с той стороны дома, что была обращена к райисполкому, Сережка взобрался по гнилой лестнице, приставленной к чердаку, должно быть, еще в те времена, когда жив был «бешеный барин»,— и все обстряпал в пятнадцать минут.

Вале было очень холодно, и она рада была, что все так быстро кончилось. Но Сережка, склонившись к самому ее лицу и смеясь, тихо сказал:

— А у меня еще один в запасе. Давай — на дирекцион!

— А полицай?

— А пожарная лестница?

В самом деле, пожарная лестница была со стороны, противоположной главному подъезду.

— Пошли,— сказала она.

В чернильной тьме они спустились на железнодорожную ветку и долго шли по шпалам. Вале казалось, что они идут уже к Верхнедуванной, но это было не так: Сережка видел в темноте, как кошка.

— Вот здесь,— сказал он.— Только иди за мной, а то слева косогор и вылезешь прямо на школу полицаев...

Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми ветками и кропил Валю и Сережку холодными каплями с веток. Сережка уверенно и быстро вел ее из аллеи в аллею, и Валя догадалась, что они подошли к школе,— так сильно грохотала крыша.

Вот уже не слышно стало дрожания железной лестницы, по которой поднимался Сережка. Его все не было и не было... Валя стояла одна в темноте у подножья лестницы. Как бесприютна и ужасна была эта ночь с этим стуком голых веток! И какие слабые, беспомощные в этом темном, ужасном мире были ее мама и она, Валя, и маленькая Люся... А отец? Что, если он бредет сейчас где-нибудь без крова, полуслепой?.. Валя представила себе все огромное пространство донецкой степи, взорванные шахты, мокрые городки и поселки без света, с этими жандармериями... Вдруг ей показалось, что Сережка никогда не спустится с этой грохочущей крыши, и мужество покинуло ее. Но в это мгновение она почувствовала дрожание лестницы, и лицо ее приняло холодное и независимое выражение.

— Ты здесь?..— Он улыбался в темноте.

Она почувствовала, что он протянул к ней руку, и подала свою. Рука его была холодна, как ледышка. Что только он не переносил,— худенький, в дырявых ботинках, в которых он уже столько часов ходил по грязи,— наверно, они были полны воды,— в старенькой, прохудившейся курточке нараспашку?.. Обеими руками она взяла его за щеки, они тоже были холодные, как ледышки.

— Ты же совсем окоченел,— сказала она, не отнимая рук от его лица.

Он мгновенно притих, и так они постояли некоторое время. Только голые ветки стучали. Потом он прошептал:

— Больше не будем кружить... Отойдем немного да через забор...

Она отняла руки.

Они подошли к домику Олега с той стороны, где жили соседи. Вдруг Сережка схватил Валю за руку, и они оба прижались к стенке. Валя, ничего не понимавшая, подставила ему ухо к самым губам.

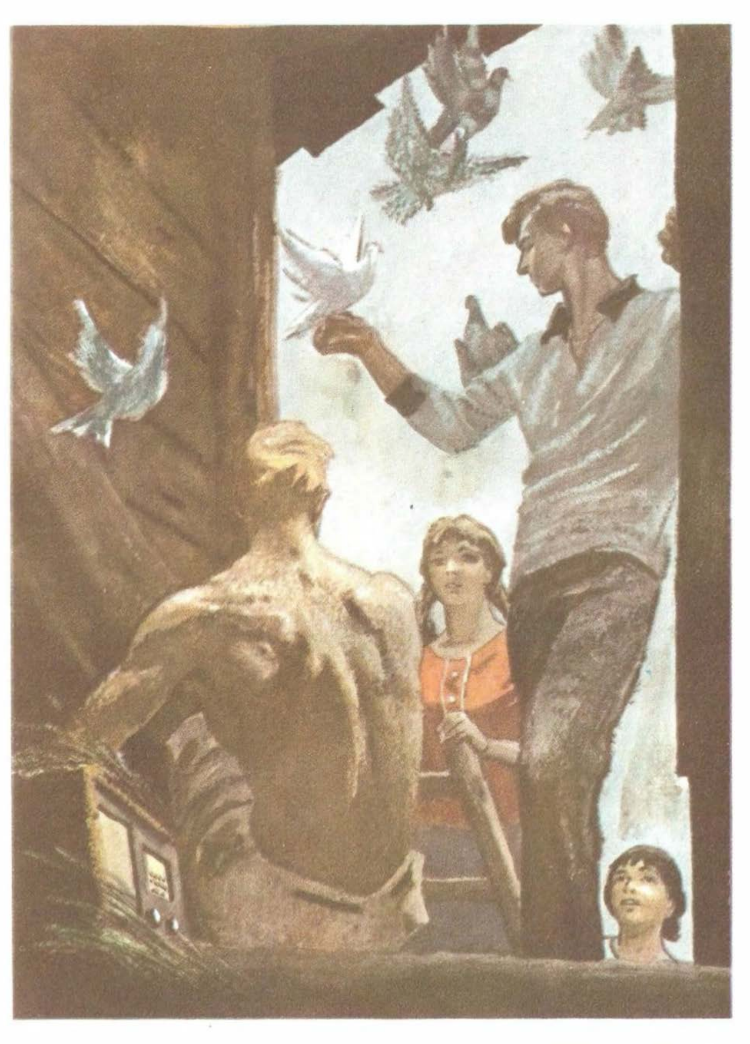
— Шли двое навстречу. Услышали нас и тоже остановились...— прошептал он.

— Показалось!

— Нет, стоят...

— Давай отсюда во двор!

Но едва они обогнули дом со стороны соседей, как



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Сережка опять остановил Валю: те двое проделали то же с противоположной стороны дома.

— Тебе почудилось, наверно...

— Нет, стоят.

Открылась дверь в квартире Кошевых, кто-то вышел и наткнулся на людей, от которых прятались Сережка и Валя.

— Любка? Чего вы не заходите? — раздался тихий голос Елены Николаевны.

— Тсс...

— Свои! — сказал Сережка и, схватив Валю за руку, повлек за собой.

В темноте послышался тихий смех Любки. И она с Сергеем Левашовым с гитарой и Сережка и Валя, давясь от смеха и хватая друг друга за руки, вбежали на кухню к Кошевым. Они были такие мокрые, грязные и такие счастливые, что бабушка Вера подняла длинные костлявые руки в цветастых рукавах и сказала:

— Рятуйте, люди добрые!

За всю их жизнь не было у них такой вечеринки, как эта, при свете коптилок, в нетопленной комнате, в городе, где уже более трех месяцев господствовали немцы.

Было удивительно, как все молодые люди, двенадцать человек, уместились на одном диване. Тесно прижавшись один к другому и склонившись головами, они по очереди читали вслух доклад, и лица их невольно выражали то, что одни испытали сегодня, сидя у радио, а другие — в этом ночном походе по грязи. Лица их выражали одновременно то любовное чувство, которое связывало некоторых из них и словно током передавалось другим, и то необыкновенно счастливое чувство общности, которое возникает в юных сердцах при соприкосновении с большой человеческой мыслью, а особенно той мыслью, которая выражает самое важное в их жизни сейчас. На их лицах было такое счастливое выражение дружбы, и светлой молодости, и того, что все будет хорошо... Даже Елена Николаевна чувствовала себя молодой и счастливой среди них. И только бабушка Вера, оперев худое лицо на смуглую ладонь, с какой-то боязнью и неожиданным чувством жалости неподвижно смотрела на молодых людей с высоты своей старости.

Молодые люди прочли доклад и задумались. На лице бабушки появилось лукавое выражение.

— Ой, гляжу я на вас, хлопцы та дивчата,— сказала она,— та хиба ж так можно? Такой великий праздник! Дивиться на стол! Та не вже ж та горилка только для красы! Треба ж ее выпить!

— Ой, бабуня, ты ж у меня краще всех!.. К столу, к столу!..— закричал Олег.

Главное было — не сильно орать, и всем было очень смешно хором шикать на того, кто повышал голос. Решили все-таки по очереди дежурить возле дома, и очень смешно было выгонять на дежурство того, кто любезничал с соседом или соседкой или просто очень развеселился.

Белоголовый Степа Сафонов в обычном состоянии мог говорить о чем угодно, но если ему приходилось выпить немного вина, он мог говорить только о любимом предмете. Веснушчатый носик Степы Сафонова покрылся бисеринками пота, и он стал рассказывать своей соседке Нине Иванцовой о птице фламинго. Все на него зашикали, и его немедленно выгнали на дежурство. Он вернулся как раз в тот момент, когда сдвинули в сторону стол и Сергей Левашов взял гитару.

Сергей Левашов играл в той русской небрежной манере, особенно распространенной среди русских мастеровых, при которой вся поза и особенно лицо исполнителя выражают полную безучастность к тому, что происходит: он не смотрит на танцующих, не смотрит на зрителей и уж, конечно, не смотрит на инструмент, он не смотрит ни на что в особенности, а руки его сами собой выделывают такое, что так и хочется пуститься в пляс.

Сергей Левашов взял гитару и заиграл какой-то модный перед войной заграничный бостон. Степа Сафонов кинулся к Нине, и они закружились.

В этом заграничном танце Любка-артистка была, конечно, лучше всех. Но из мужчин на первом месте был Ваня Туркенич, высокий, стройный, галантный — настоящий офицер. И Любка танцевала сначала с ним, а потом с Олегом, который считался одним из лучших танцоров в школе.

А Степа Сафонов все не отпускал притихшую, словно одеревеневшую Нину, и танцевал с ней все танцы, и очень подробно объяснял Нине, насколько разнится

оперенье у самца фламинго и у самки фламинго и сколько самка фламинго кладет яиц.

Вдруг лицо у Нины стало красное и некрасивое, и она сказала:

— Мне с тобой, Степа, совершенно неудобно танцевать, потому что ты маленький и мне на ноги наступаешь и все время треплешься.

И она вырвалась от него и убежала.

Степа Сафонов устремился было к Вале, но она уже пошла с Туркеничем. Тогда он подхватил Олю Иванцову. Она была спокойная, серьезная девушка и еще более молчаливая, чем ее сестра, и Степа уже мог совершенно безнаказанно рассказывать ей о необыкновенной птице.

Все же он не забыл обиды и в один из удобных моментов поискал Нину глазами. Она танцевала с Олегом. Олег уверенно и спокойно кружил ее крупное, сильное тело, и улыбка сама собой выступила на губах у Нины, глаза у нее стали счастливые, и она была необыкновенно хороша собой.

Бабушка Вера не выдержала и закричала:

— Ото ж мени танцы! И що воны такое придумали у той заграници! Сережа, давай гопака!..

Сергей Левашов, даже не поведя бровью, перешел на гопака. Олег, в два прыжка проскочив всю комнату, подхватил бабушку за талию, и она, нисколько не сконфузившись, с неожиданной в ней легкостью так и понеслась вместе с ним, выстукивая башмаками. Только по тому, как плавно кружился над полом темный подол ее юбки, видно было, что бабушка танцует умеючи — бережно и лихость у нее не столько в ногах, сколько в руках, а особенно в выражении лица.

Ни в чем так свободно не проявляется народный характер, как в песне и в пляске. Олег с выражением лукавства, которое у него было не в губах и даже не в глазах, а где-то в подрагивающих кончиках бровей, с расстегнутым воротом рубахи, с выступившими на лбу под волосами капельками пота, свободно и почти недвижимо держа крупную голову и плечи, шел вприсядку с такой — оторви голову! — удалостью, что в нем, как в его бабушке, сразу стал виден природный украинец.

Белозубая, черноокая красавица Марина, ради праздника надевшая на себя все свои монисты, не утерпела, топнула каблуком, развела руки, будто выпустила что-то дорогое, и вихрем пошла вокруг Олега. Но дядя Коля настиг ее, а Олег снова подхватил бабушку за талию, и они понеслись в две пары, стуча каблуками.

— Ой, помрешь, стара! — вдруг крикнула вся раскрасневшаяся бабушка и упала на диван, обвеваясь платочком.

Все зашумели, задвигались, захлопали, танец прервался, но Сергей Левашов, безучастный ко всему, еще играл гопака, будто все это его вовсе не касалось, и вдруг оборвал на половине лада, положив руки на струны.

— Украина забила! — вскричала Любка.— Сережка! Давай нашу поулошную!

И не успел Сергей Левашов тронуть струны, как она уже пошла «русскую», сразу выдав такого дробота своими каблучками, что уже ни на что нельзя было смотреть, как только на ее ноги. Так она прошла, плавно неся голову и плечи, и вышла перед Сережкой Тюлениным, топнула ногой и отошла назад, предоставив ему место.

Сережка с тем безучастным выражением лица, с которым не только играют, а и пляшут русские мастеровые люди, небрежно пошел на Любку, тихо постукивая рваными и много раз чиненными башмаками. Так он прошелся в меру и снова вышел на Любку, топнул и отступил. Она, выхватив платочек, пошла на него, топнула и поплыла по кругу, с незаметным искусством неся неподвижную голову и только вдруг одаряя зрителя каким-то едва заметным, небрежным чутошным поворотом, в котором, казалось, участвует только один носик. Сережка ринулся за ней и давай чесать нога за ногу все с тем же безучастным выражением, с опущенными руками, но с такой беззаветной преданностью делу, какую его ноги выражали с небрежной и немного комичной старательностью.

Любка, круто сломав ритм вслед за зачастившей гитарой, вдруг повернулась на Сережку, но он все наступал на нее, с такой отчаянностью, с такой безнадежной любовной яростью оттопывая башмаками, что от башмаков стали отлетать кусочки засохшей грязи.

Особенностью его танца было предельное чувство меры,— это была удаль, но удаль, глубоко запрятанная. А Любка черт знает что выделывала своими полными, сильными ногами, лицо ее порозовело, золотистые кудри дрожали, сотрясенные, как если бы они были из чистого золота, и на всех лицах, обращенных на нее, было выражение: «Вот так Любка-артистка!» И только влюбленный в Любку Сергей Левашов не смотрел на нее, лицо его было канонически безучастно ко всему, лишь сильные нервные пальцы его быстро бегали по струнам.

Сережка, сделав полный отчаяния жест, будто он ударил шапкой оземь, решительно пошел на Любку, в такт музыке ударяя себя ладошками по коленкам и подметкам, и так он загнал Любку в окружившее их кольцо зрителей, и оба они остановились, топнув каблуками. Кругом засмеялись, захлопали, а Любка вдруг грустно сказала:

— Вот она, наша поулошная...

И потом она уже больше не танцевала, а сидела рядом с Сергеем Левашовым, положив ему на плечо свою маленькую белую руку.

В этот день штаб «Молодой гвардии», с разрешения подпольного райкома, выдал денежное вспомоществование некоторым находящимся в наиболее бедственном положении семьям фронтовиков.

Средства «Молодой гвардии» составлялись не столько из членских взносов, сколько от продажи из-под полы папирос, спичек, белья, разных продуктов, особенно спирта, которые ребята похищали с немецких грузовых машин.

Днем Володя Осьмухин зашел к своей тетке Литвиновой и подал ей пакет с советскими деньгами: они ходили наряду с марками, только по очень низкому курсу.

— Тетя Маруся, это тебе и Калерии Александровне от наших подпольщиков,— сказал Володя.— Купи что-нибудь детям ради великого праздника...

Калерия Александровна была соседка Литвиновой, тоже жена командира. У обеих были дети, обе сильно бедствовали: немцы не только отобрали у них все вещи, но и вывезли на грузовике большую часть мебели.

Калерия Александровна и тетя Маруся решили отметить праздник званым ужином, купили немного само-

гонки, испекли пшеничный пирог с начинкой из капусты и картофеля.

К восьми часам на квартире Калерии Александровны, где она жила с матерью и детьми, собрались Елизавета Алексеевна — мать Володи, его сестра Людмила и тетя Маруся с двумя девочками. Ребята, сославшись на то, что должны побывать у товарищей, обещали прийти позже. Взрослые выпили немного, посетовали, что такой праздник приходится праздновать украдкой. Дети вполголоса спели несколько советских песенок. Родители прослезились. Люся очень скучала. Потом детей отправили спать.

Было уже довольно поздно, когда пришел Жора Арутюнянц. Он ужасно смутился, попав на свет,— оттого, что был весь в грязи, оттого, что не было ребят, и оттого, что ему пришлось сесть рядом с Люсей. От смущения он выпил полстакана самогона, который Люся преподнесла ему, и опьянел. Когда пришли Володя и Толя Орлов, Жора был так мрачен, что даже приход товарищей не вывел его из этого состояния разочарованности.

Ребята тоже выпили. Взрослые были заняты своими разговорами. По отдельным обрывкам фраз, которыми обменивались ребята, Люся поняла, что они были не в гостях.

— Где? — шепотом спросил Володя, перегнувшись к Жоре через Толю «Гром гремит».

— Больница,— мрачно ответил Жора.— А вы?

— Наша школа...— Володя, узкие темные глаза которого загорелись удалью и хитрецой, еще больше перегнулся к Жоре и возбужденно зашептал ему на ухо.

— Как? Не маскировка? — спросил Жора, выйдя на мгновение из своего состояния.

— Нет, всамделишную! — сказал Володя.— Школу жалко, да ни черта, построим новую!

Люся, обидевшись, что они секретничают без нее, сказала:

— Если ты назначаешь свидания, сиди дома. Весь день бегали ребята и какие-то девочки: «Володя дома? Володя дома?»

— Я — как Васька Буслай: «Все на Васькин двор!» — засмеялся Володя.

Толя «Гром гремит» со своими серыми вихрами и мосластыми конечностями вдруг встал и не совсем твердо сказал:

— Поздравляю всех с двадцатипятилетием Великой Октябрьской революции!

Он осмелел оттого, что был пьян. Он стал очень румян, глаза у него стали хитрые, и он стал дразнить Володю какой-то Фимочкой.

А Жора, ни к кому не обращаясь, мрачно глядя перед собой в стол черными армянскими глазами, говорил:

— Конечно, это не современно, но я понимаю Печорина... Конечно, это, может быть, не отвечает духу нашего общества... Но в иных случаях они заслуживают именно такого отношения...— Он помолчал и мрачно добавил: — Женщины...

Люся демонстративно встала со своего места, подошла к Толе «Гром гремит» и стала нежно целовать его в ухо, приговаривая:

— Толечка, ты же у нас совершенно пьяненький.

В общем, начался такой разнобой, что Елизавета Алексеевна со свойственной ей резкостью и житейской практичностью сказала, что пора расходиться.

По привычке заботиться о доме и детях тетя Маруся проснулась едва рассвело; сунула ноги в шлепанцы, накинула домашнее платье, быстро растопила плиту и поставила чайник и, задумавшись, подошла к окну, выходящему на пустырь. С левой стороны его виднелись здания детской больницы и школы имени Ворошилова, а с правой, на холме,— здания райисполкома и «бешеного барина». И вдруг она издала легкий крик... Под сильно пасмурным, с мчащимися по нему низкими рваными тучами небом на здании школы Ворошилова развевался на ветру красный флаг. Ветер то натягивал его с такой силой, что он весь вытягивался в трепещущий прямоугольник, то чуть отпускал его, и тогда он ниспадал складками, и края его завивались и развивались.

Красный флаг еще бо̀льших размеров развевался на здании «бешеного барина». Большая группа немецких солдат и несколько человек в штатском стояли у дома, у приставной деревянной лестницы, и смотрели на флаг. Двое солдат стояли на самой лестнице, один в том месте, где она опиралась на крышу, другой чуть пониже, и то поглядывали на флаг, то переговаривались со сто-

явшими внизу. Но почему-то никто из них не лез выше и не убирал флага. На этой самой высокой точке флаг величественно развевался, видный всему городу.

Тетя Маруся, не помня себя, сбросила шлепанцы, сунула ноги в туфли и, даже не накинув платка, нечесаная, побежала к соседке.

Калерия Александровна в нижней рубашке, с опухшими ногами, на коленях стояла на подоконнике, взявшись руками за наличники, и глядела на флаги с выражением экстаза на лице. Слезы ручьями бежали по ее худым темным щекам.

— Маруся! — сказала она.— Маруся! Это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты. Я... я поздравляю тебя...

И они кинулись друг другу в объятья.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Красные флаги развевались не только над зданиями «бешеного барина» и школы имени Ворошилова. Красные флаги развевались над дирекционом и над бывшим райпотребсоюзом, над шахтами № 12, № 7—10, № 2-бис, № 1-бис, над шахтами «Первомайки» и поселка Краснодон.

Народ со всех концов города стекался смотреть на флаги... У зданий и пропускных будок собирались целые толпы. Жандармы и полицейские сбились с ног, разгоняя народ, но никто из них не решался снять флаги: у подножья каждого флага прикреплен был кусок белой материи с черной надписью: «Заминировано».

Унтер Фенбонг, поднявшийся на здание школы имени Ворошилова, обнаружил провод, идущий от флага в чердачное окно. И на чердаке действительно лежала мина под стрехой,— она даже не была замаскирована.

Ни в жандармерии, ни в команде СС не было никого, кто умел бы обращаться с минами. Гауптвахтмайстер Брюкнер послал свою машину в окружную жандармерию в Ровеньки за минерами. Но минеров не оказалось и в Ровеньках, и машина помчалась в Ворошиловград.

Во втором часу дня прибывшие из Ворошиловграда минеры разрядили мину на чердаке школы, а во всех остальных местах мин обнаружено не было.

Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем городам и поселкам Донецкого бассейна. Позор немецкой жандармерии уже не мог быть скрыт от фельдкоменданта области в Юзовке генерал-майора Клера. И майстер Брюкнер получил приказ во что бы то ни стало раскрыть и выловить подпольную организацию, в противном случае ему предлагалось снять с погон серебряные молнии и пойти в солдаты.

Не имея никакого представления об организации, которую ему предстояло выловить, майстер Брюкнер поступил так, как поступали на его месте все жандармерии и гестапо: он снова запустил свой «частый бредень», как назвал это когда-то Сергей Левашов: в городе и в районе были арестованы десятки невинных людей. Но как ни част был бредень, он не захватил никого из районной партийной организации, по указанию которой вывешены были флаги, и никого из членов «Молодой гвардии». Немцы никак не могли предположить, что организация, на деле осуществившая это, состоит из мальчиков и девочек.

И правда, трудно было предположить такое, если в ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик Степа Сафонов, склонив набок белую голову и намусливая карандаш слюнями, записывал в своем дневнике:

«Часов в пять ко мне зашел Сенька, позвал в гости на Голубятники, сказал: будут хорошие дивчата. Мы пошли, посидели немного. Двое-трое дивчат были ничего, а остальные дрянь...»

Во второй половине ноября от своих людей с хуторов «Молодой гвардии» стало известно, что немцы гонят в тыл из Ростовской области большое стадо скота, полторы тысячи голов. Стадо уже прошло через Донец возле Каменска на правый берег и движется между рекой и большой грунтовой дорогой Каменск — Гундоровская. При стаде, кроме чабанов-украинцев с Дона, шла вооруженная винтовками охрана, двенадцать — тринадцать пожилых немецких солдат из хозяйственной команды.

В ту же ночь, как стало это известно, группы Тюленина, Петрова и Мошкова, вооруженные винтовками и автоматами, сосредоточились в лесистой балке на берегу речонки, впадавшей в Северный Донец, возле де-

ревянного моста, где грунтовая дорога пересекала речонку. Разведка донесла, что стадо ночует километрах в пяти от них среди скирд, развороченных чабанами и солдатами на корм скоту.

Шел крупный холодный дождь со снегом, снег таял, под ногами образовалась грязная мокрая кашица. Ребята, приволочившие на ногах со степи пуды грязи, жались в кучи, согреваясь теплом друг от друга, шутили:

— Ничего себе, попали на курорт!

Рассвет забрезжил такой темный, мутный, сонный и так долго не приходил в себя, будто раздумывал: «Стоит ли вставать в такую отвратительную погоду, уж не вернуться ли обратно да и залечь себе спать?..» Но чувство долга перебороло в нем эти ленивые утренние размышления, и рассвет пришел на донецкую землю. В мешанине дождя, снега и тумана можно было видеть шагов на триста.

По приказу Туркенича, возглавлявшего все три группы, ребята, держа на изготовку винтовки окоченевшими, неразгибающимися пальцами, залегли по правому берегу речонки — с той стороны, откуда немцы должны были выйти на мост.

Олег, который тоже принимал участие в операции, и Стахович, взятый ими, чтобы проверить его в боевом деле, лежали на том же берегу, пониже, там, где речонка делала излучину.

За то время, что прошло со дня вывода Стаховича из штаба, Стахович участвовал во многих делах «Молодой гвардии» и почти восстановил свое доброе имя. Это было ему тем легче сделать, что для большинства членов «Молодой гвардии» он никогда не терял его.

По доброму свойству человеческой натуры, присущему иногда и принципиальным людям, люди очень неохотно меняют, считают даже как-то неловким менять привычно сложившееся, перешедшее уже в быт отношение к человеку, хотя неопровержимые факты показали что человек этот совсем не таков, каким казался. «Выправится!.. Мы все не без слабостей»,— говорят в таких случаях люди.

Не только рядовые члены «Молодой гвардии», ничего не знавшие о Стаховиче, а и большинство из тех, кто был близок к штабу, по привычке относились к Стаховичу так, как если бы с ним ничего не случилось.

Олег и Стахович молча лежали в кустарнике на опавших листьях и осматривали голую, мокрую, мелкохолмистую местность, силясь как можно дальше пробиться взором сквозь струящуюся в тумане сетку дождя и снега. А к ним, все нарастая, уже доносилось разноголосое мычание сотен голов, слившееся в какую-то какофоническую музыку, будто дьявол играл на своей волынке.

— Пить хотят,— тихо сказал Олег.— Они будут их в речонке поить. Это нам на руку...

— Гляди! Гляди! — возбужденно сказал Стахович.

Впереди, левее от них, возникли в тумане красные головы — одна, другая, третья, десять, двадцать, множество голов со странными тонкими рогами, растущими почти прямо вверх и загибающимися острыми концами вовнутрь. Головы были как бы и коровьи, но у коров, даже комолых, без рог, явно обозначаются между ушей выпуклости, наросты, из каких развиваются рога. А у этих существ, туловища которых нельзя было видеть из-за сгустившегося у самой земли тумана, рога росли прямо из гладкого темени. Они, эти существа, возникли из тумана, как химеры.

Они шли, должно быть, не первыми в стаде, а крайними от его левого крыла; там, в глубине за ними, раздавался могучий рев и чувствовалось мощное движение трущихся друг о друга тел и топот тысяч копыт, сотрясавший землю.

И в это время до слуха Олега и Стаховича донеслась оживленная немецкая речь, приближавшаяся спереди, правее по дороге. Чувствовалось по голосам, что немцы отдохнули и хорошо настроены. Они бодро чавкали по грязи своими башмаками.

Олег и Стахович, пригибаясь, почти бегом перешли на то место, где лежали ребята.

Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не более чем в десяти метрах от моста, с автоматом, который он держал на весу на левой руке. Чуть высунув голову среди кустиков поблекшей, мокрой травы, он смотрел вдаль по дороге. У самых его ног сидел очень сердитый светло-рыжий Женя Мошков, с вязаным шарфом вокруг шеи, тоже с автоматом, навешенным на левую руку, и смотрел на мост. Ребята лежали уступами один за другим, по диагонали вдоль берега. Передним

в этой линии был Сережка, а замыкал ее Виктор — оба они тоже были вооружены автоматами.

Олег и Стахович легли между Мошковым и Тюлениным.

Беспечный, неторопливый говор немолодых немецких солдат звучал уже, казалось, над самой головой. Туркенич опустился на одно колено и взял автомат на изготовку; Мошков лег, поправил подвернувшийся мокрый ватник и тоже выставил свой автомат.

Олег с наивным, детским выражением смотрел на мост. И вдруг по мосту застучали ботинки, и группа немецких солдат в заляпанных грязью шинелях, кто небрежно неся винтовку на ремне, а кто закинув ее за спину, вышла на мост.

Длинный ефрейтор с пышными светлыми ландскнехтскими усами, идя среди передних солдат, рассказывал что-то, оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывался, поворачивая лицо на лежавших по берегу ребят, и солдаты с бессознательным любопытством прохожего человека к новому месту тоже смотрели на речку вправо и влево от моста. Но так как они не ожидали видеть здесь партизан, они их и не видели.

И в это мгновение с резким, оглушающим, сливающимся в одну линию звуком заработал автомат Туркенича, за ним Мошкова, и еще, и еще, посыпались беспорядочные винтовочные выстрелы.

Все вышло так неожиданно и непохоже на то, как Олег себе представлял это, что он не успел выстрелить: в первое мгновение он смотрел на все это с детским удивлением, потом почувствовал внутренний толчок, что ведь ему тоже нужно стрелять, но в это мгновение уже все кончилось. Ни одного солдата уже не видно было на мосту; большинство солдат упало, а двое, только что вступившие на мост, побежали назад по дороге. Сережка, за ним Мошков, за ними Стахович вскочили на верхний берег и застрелили их.

Туркенич и с ним еще несколько ребят взбежали на мост. Там еще корчился один, и они добили его. Потом они стащили всех солдат за ноги в кусты, чтобы не видно было с дороги, а оружие взяли с собой. Стадо, растянувшись на несколько километров вдоль по речонке, пило воду — прямо с берега или вступив передними, а то и всеми четырьмя ногами в воду, или перебредя на

ту сторону,— пило, раздувая влажные ноздри, с таким слитным мощным всасывающим звуком, точно тут работало несколько насосов.

В гигантском этом стаде смешаны были обыкновенные рабочие волы, красные, сивые, рябые, очень медлительные, и толсторогие грудастые бугаи, как вылитые на своих сдвоенных стальных ратицах; коровы разных пород, грациозные нетели и матки в самой поре, с раздувшимися боками, недоенные, с набухшими выменами и красными распухшими сосками; эти странные, державшиеся особняком, не броско светло-красные коровы с рогами, растущими прямо из плоского темени; крупные черно-пестрые и красно-пестрые голландки, такие почтенные, в своих белых разводах, что казалось, будто они в чепцах и передниках.

Чабаны-погонщики, престарелые деды, за жизнь свою словно перенявшие медлительную повадку своих пасомых, а может быть, просто привыкшие за войну к превратностям судьбы, не обращая внимания на стрельбу, которая случилась по соседству, уселись в кружок на мокрую землю, позади стада, и залюлячили. Однако они сразу повставали, увидев вооруженных людей.

Ребята почтительно снимали шапки, здоровались.

— Здравствуйте, господа товарищи! — сказал грибообразный дед с вывернутыми ступнями, одетый поверх полотняной рубахи в недубленую баранью душегрейку без рукавов.

Судя по тому, что в руках у него был плетеный арапник, а не длинный пастуший бич, батиг, как у других, он был старший среди них. Видно, желая успокоить своих дедов, он обернулся к ним и сказал:

— То ж партизаны!..

— Извините, добрые люди,— снова приподняв и надев шапку, сказал Олег,— немецкую охрану мы скончили, просим допомоги скот разогнать по степи, чтоб немцам не достался...

— Хм... Разогнать!..— после некоторого молчания сказал другой дед, маленький, шустрый.— То ж наш скот, с Дону, чего нам его в чужой краине разженять?..

— Что же, вы его обратно погоните? — сказал Олег с широкой улыбкой.

— Оно так, обратно не погонишь,— тотчас же грустно согласился маленький дед.

— А разгоним, может, свои разберут...

— Ай-я-яй, такая ж сила! — вдруг сказал маленький дед с отчаянием и восторгом и схватился за голову.

И так стало понятно, что переживают эти деды, приневоленные гнать всю эту огромную силу скота с родной земли в чужую, германскую землю. Ребятам стало жалко и скота и дедов. Но медлить нельзя было.

— Диду, дай мени свий батиг! — сказал Олег и, взяв из руки маленького деда пастуший бич, пошел к стаду.

Стадо, по мере того как волы и коровы утоляли жажду, постепенно переходило на ту сторону речки, и часть разбредалась, ища остатков сухой травы, дыша в мокрую голую землю. Часть уныло стояла, подставив спины дождю, или оглядывалась: где, мол, вы, чабаны, что нам делать дальше?

С необычайной уверенностью и спокойствием, точно он попал в свою стихию, Олег, где отпихнув рукой, где хлопнув по животу или по шее, где с треском подхлестнув бичом, расчищал себе дорогу среди скота. Он перешел реку и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душегрейке пришел к нему на помощь со своим арапником. За ним пошли и остальные деды и все ребята.

Крича и хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо надвое, потратив на это немало времени.

— Ни, це не дило,— сказал дед в душегрейке.— Вдарьте с автоматов, все одно пропадать...

— Ай-я-яй!..— Олег сморщился, как от боли, и почти в то же мгновение лицо его невольно приняло зверское выражение. Он сорвал из-за плеча автомат и пустил очередь по стаду.

Несколько волов и коров упало, другие, подраненные, ревя и стеная, ринулись в степь. И вся эта половина стада, почуя запах пороха и крови, веером хлынула по степи,— земля загудела. Сережка и Женя Мошков пустили по очереди из автоматов во вторую половину стада, и она тоже снялась.

Ребята бежали вслед, и там, где грудилось по нескольку десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполнилась выстрелами, мычаньем и ревом скота, топотом копыт, хлопаньем бичей и страшными и жалобными криками людей. Иной бугай, подстреленный на бегу,

вдруг останавливался, медленно подгибая передние ноги, и грузно падал вперед, на ноздри. Подстреленные коровы, мыча, подымали свои прекрасные головы и снова бессильно опускали их. Вся местность вокруг покрылась тушами, красневшими в тумане на черной земле...

Когда ребята поодиночке расходились, каждый своей дорогой, долго еще попадались им то там, то здесь разбредшиеся по степи волы и коровы.

Через некоторое время над степью закурился дымок. Это Сережка Тюленин по поручению Туркенича подпалил деревянный мост, чудом уцелевший до сих пор.

Олег и Туркенич уходили вместе.

— Ты обратил внимание на этих коров с рогами, которые растут будто прямо из темени, а наверху загибаются вовнутрь, почти сходятся? — возбужденно спрашивал Олег.— Это из восточной части Сальской степи, а может быть, даже из самой Астраханской. Это индийский скот... Он остался еще со времен Золотой орды...

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Туркенич.

— В детстве отчим, когда ездил по этим делам, всегда брал меня с собой, он в этом деле был человек знающий.

— А Стахович показал себя сегодня молодцом! — сказал Туркенич.

— Д-да...— неуверенно сказал Олег.— Ездили мы тогда с отчимом. Знаешь, Днепр, солнце, стада огромные в степи... И кто бы мог тогда подумать, что я... что мы...— Олег опять сморщился, как от боли, махнул рукой и молчал уже до самого дома.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

После того как немцы обманом угнали в Германию первую партию жителей города, люди научились понимать, чем это им грозит, и уклоняться от регистрации на бирже.

Людей вылавливали в их домах и на улицах, как в рабовладельческие времена вылавливали негров в зарослях.

Газетка «Нове життя», издававшаяся в Ворошиловграде седьмым отделом фельдкомендатуры, из номера в

номер печатала письма к родным от их угнанных детей о якобы привольной, сытой жизни в Германии и о хороших заработках.

В Краснодоне тоже изредка получали письма от молодых людей, работавших частью в Восточной Пруссии на самых низких работах — батраками, домашней прислугой. Письма приходили без помарок цензуры, в них многое можно было прочесть между строк, но они скупо говорили только о внешних обстоятельствах жизни. А большинство родителей вовсе не получало писем.

Женщина, работавшая на почте, объяснила Уле, что письма, приходившие из Германии, просматривает специально посаженный на почте немец от жандармерии, знающий русский язык. Письма он задерживает и бросает в ящик стола, где они хранятся под ключом, пока их много не накопится,— тогда он их сжигает.

Уля Громова по поручению штаба «Молодой гвардии» ведала всей работой против вербовки и угона молодежи: Уля писала и выпускала листовки, устраивала в городе на работу тех, кому грозил угон, или добивалась с помощью Натальи Алексеевны освобождения под видом болезни, иногда даже прятала по хуторам зарегистрированных и сбежавших.

Уля занималась этим не только потому, что это было ей поручено, а и по какому-то внутреннему обязательству: должно быть, она чувствовала некоторую свою вину в том, что не смогла уберечь Валю от страшной судьбы. Это чувство вины все более преследовало Улю оттого, что ни она, ни Валина мама не имели от Вали никаких вестей.

В первых числах декабря с помощью женщины на почте ребята-первомайцы ночью похитили из стола цензора недоставленные письма. И вот они лежали перед Улей в мешке.

С наступлением холодов Уля снова жила в домике вместе со всей семьей. Как и большинство «молодогвардейцев», Уля скрывала от родных свою принадлежность к организации.

Она пережила тяжелые минуты, когда родители, боясь за нее, попытались устроить ее на работу. Мать, лежа в постели, то исступленно смотрела на нее своими черными глазами большой дикой птицы, то принималась плакать, а старый Матвей Максимович впервые за

много лет накричал на дочь. Лицо его побагровело вплоть до лысеющего темени, но было что-то жалкое, несмотря на громадный костистый остов отца и на страшные кулаки, что-то жалкое было в остатках его кудрей на лысеющей голове и в его беспомощности повлиять на дочь.

Уля сказала, что если отец и мать еще хоть раз попрекнут ее куском, она уйдет из дому.

Матвей Максимович и Матрена Савельевна были смущены: она была их любимица. И впервые стало ясно, что старый Матвей Максимович уже утерял свою власть над дочерью, а мать слишком больна, чтобы настоять на своем.

Скрывая свою деятельность, Уля особенно старательно выполняла обязанности по дому, а если уходила надолго, ссылалась на то, что вся жизнь так принижена и бедна, что только и можно отвести душу с подругами. И все чаще она чувствовала на себе долгий скорбный взгляд матери,— мать точно смотрела ей в душу. А отец как-то даже стеснялся Ули и в ее присутствии больше молчал.

Иное положение было у Анатолия: с уходом отца на фронт Анатолий был главным в доме; мать, Таисья Прокофьевна, и младшая сестренка боготворили его и подчинялись ему во всем. И вот Уля сидела перед этим мешком с письмами не у себя дома, а у Анатолия,— он ушел в этот день к Лиле Иванихиной на Суходол,— и, запуская длинные пальцы в конверты, обрезанные цензурой, вынимала письма, бегло просматривала первые строки и бросала письма на стол.

Имена и фамилии, обращения к родителям, сестрам, с традиционными поклонами, трогательные в своей наивности, мелькали перед взором Ули. Их было так много, этих писем, что только одно их проглядывание заняло у нее немало времени. Но среди них не было письма от Вали...

Уля сидела, ссутулившись, опустив руки на колени, и смотрела перед собой с бессильным выражением... Тихо было в домике. Таисья Прокофьевна и сестренка Анатолия уже спали. Маленький огонек коптилки с чуть струившейся с кончика его дымкой копоти то спадал, то вспрядывал, колеблемый дыханием Ули. Ходики над ее головой отсчитывали секунды со своим ржавым зву-

ком «трик-трак... трик-трак...» Домик Попова, так же как и домик Ули, стоял отдельно среди хуторов, и это ощущение отъединенности их жизни от жизни людей присуще было Уле с детства, особенно в осенние и зимние ночи. Домик Попова был добротный, тонкое звенение ветра, уже немного зимнее, едва доносилось из-за ставен.

Уля чувствовала себя совсем-совсем одинокой в этом мире, полном таинственных недобрых звуков и с этим то спадавшим, то вспрядывавшим огоньком коптилки...

Почему так устроен мир, что люди никогда не могут до конца отдать свое сердце другому?.. Почему, когда так слиты были с самого раннего детства их души, Ули и Вали, почему она, Уля, не бросила своего дома с его повседневными заботами, не отказалась от всех привычек жизни, от родных и товарищей, и не посвятила всех сил тому, чтобы спасти Валю? Вдруг оказаться там, рядом с ней, осушить ее слезы, открыть ей путь к свободе?.. «Потому, что это невозможно... Потому, что ты отдала свое сердце больше чем одной Вале,— ты отдала его освобождению родной земли»,— отвечал ей внутренний голос. «Нет, нет,— говорила она себе,— не ищи оправданий, ты не сделала этого даже тогда, когда еще было не поздно, потому что ты не нашла чувства в своем сердце, ты оказалась такой же, как и все».

«Но неужели этого нельзя сделать сейчас?..» — думала Уля. И она предалась детским мечтам: она находит мужественных людей, готовых повиноваться ее зову, они преодолевают все препятствия, обманывают немецких комендантов, и там, в этой ужасной стране, Уля находит Валю и говорит ей: «Я сделала все, я не пощадила себя, чтобы спасти тебя, и вот ты свободна...» Ах, если бы это было возможно!.. Но это невозможно. Таких людей нет, и она, Уля, просто слаба для этого... Нет, это мог бы сделать друг — юноша, если бы он был у Вали.

Но разве у нее самой, у Ули, есть такой друг? Кто сделал бы это ради нее, если бы Уля попала в такое положение? Нет у нее такого друга. И, наверно, таких друзей нет на свете...

Но ведь есть же где-нибудь на свете человек, которого она полюбит? Какой он? Она не видела его, но он

жил в ее душе — большой, правдивый, сильный, с мужественным, добрым взглядом. Невыразимая жажда любви стеснилась в ее сердце. Закрыть глаза, все забыть, отдать всю себя... И в черных глазах ее, отражавших дымно-золотой огонек коптилки, то исчезали, то вспыхивали счастливые и грозные отсветы этого чувства...

Вдруг тихий-тихий стон, похожий на зов, донесся до Ули. Она вся содрогнулась, и тонко вырезанные ноздри ее затрепетали... Нет, это простонала во сне сестренка Анатолия. Груда писем лежала перед Улей на столе. Тонкие струйки копоти стекали с язычка огня. Чуть доносилось из-за ставенки тихое звенение ветра, и ходики все отсчитывали и отсчитывали свое: «Трик-трак... трик-трак...»

На щеках Ули выступил румянец. Даже себе самой она не могла бы дать отчета, чего она застыдилась: того ли, что из-за мечтаний своих бросила работу, то ли в мечтаниях ее было что-то недосказанное, чего она застыдилась. И она, сердясь на себя, стала внимательно просматривать письма, ища такие, какие можно было бы использовать.

Уля стояла перед Олегом и Туркеничем и говорила:

— Нет, если бы вы их прочли! Это ужасно!.. Наталья Алексеевна говорит, что за все время немцы угнали из города около восьмисот человек. И уже изготовлен тайный список еще на полторы тысячи с адресами и всем прочим... Нет, нужно сделать что-то страшное, может быть напасть, когда они поведут партию, может быть убить этого Шприка!..

— Убить его всегда не мешает, д-да нового пришлют,— сказал Олег.

— Уничтожить списки... И я знаю как: надо сжечь биржу! — вдруг сказала она с мстительным выражением.

Это одно из самых фантастических дел «Молодой гвардии» осуществили вместе Сережка Тюленин и Любка Шевцова с помощью Вити Лукьянченко.

В эти дни уже обозначился перелом на зиму, к ночи довольно сильно приморaживало, и смерзшиеся, твердые глыбы и борозды развороченной машинами

грязи держались на улицах до той поры, как к полдню солнце начинало пригревать и все немного оттаивало.

Сборный пункт был на огороде Вити Лукьянченко. Они прошли железнодорожной веткой, потом прямо по холму, без дороги. Сережка и Витька несли бак с бензином и несколько бутылок с зажигательной смесью. Они были вооружены. А у Любки все вооружение состояло из бутылки с медом и газеты «Нове життя».

Ночь была такая тихая, что слышен был малейший звук. Неудачный шаг, неосторожное движение баком с его металлическим звуком могло выдать их. И было так темно, что при их отличном знании местности они иногда не могли определить, где находятся. Они делали шаг и слушали, потом делали другой и опять слушали...

Так бесконечно долго тянулось время; казалось, ему конца не будет. И как это было ни странно, когда они услышали шаги часового у биржи, они стали меньше бояться. Шаги часового то явственно звучали в ночи, то смолкали, когда он, может быть, останавливался и прислушивался, а может быть, просто отдыхал у крыльца.

Здание биржи длинным своим фасадом с крыльцом обращено было к сельскохозяйственной комендатуре. Они все еще не видели его, но по звукам шагов часового знали, что вышли сбоку здания, и они обошли его слева, чтобы зайти с задней длинной стены.

Здесь, метрах в двадцати от здания, Витька Лукьянченко остался, чтобы было меньше шума, а Сережка и Люба подкрались к окну.

Любка облила медом нижнее продолговатое стекло в окне и оклеила его газетным листом. Сережка выдавил стекло, треснувшее, но не распавшееся, и вынул его. Работа эта требовала терпения. Так же они поступили и со стеклом второй рамы.

После этого они отдохнули. Часовой топтался на крыльце, видно ему было холодно, и им пришлось долго ждать, пока он опять пойдет: они боялись, что на крыльце ему слышны будут шаги Любки внутри здания. Часовой пошел, и Сережка, чуть присев, подставил Любке сцепленные руки. Любка, держась за раму окна, ступила одной ногой Сережке на руки, а другую перенесла через подоконник и, перехватившись рукой за стену изнутри, села верхом на подоконник, чувствуя, как нижние планки оконных рам врезались ей в ноги. Но

она уже не могла обращать внимание на такие мелочи. Она все глубже сползала той ногой, чтобы достать пол. И вот Любка была уже там, внутри.

Сережка подал ей бак.

Она пробыла там довольно долго. Сережка очень волновался, чтобы она не наткнулась в темноте на стол или стул.

Когда Любка снова появилась у окна, от нее сильно пахло бензином. Она улыбнулась Сережке, перекинула ногу через подоконник, потом высунула руку и голову. Сережка подхватил ее под мышки и помог ей вылезти.

Сережка один стоял у окна, из которого пахло бензином, стоял до тех пор, пока, по его расчетам, Люба и Витька не отошли достаточно далеко.

Тогда он вынул из-за пазухи бутылку с зажигательной смесью и с силой пустил ее в зияющее окно. Вспышка была так сильна, что на мгновение ослепила его. Он не стал бросать других бутылок и помчался по холму к ветке.

Часовой кричал и стрелял позади него, и какая-то из пуль пропела над Сережкой очень высоко. Местность вокруг то освещалась каким-то мертвенным светом, то опять уходила во тьму. И вдруг взнялся вверх столб пламени, и стало светло, как днем.

В эту ночь Уля легла не раздеваясь. Тихо, чтобы никого не разбудить, она подходила иногда к окну и чуть отгибала затемнение. Но все было темно вокруг. Уля волновалась за Любку и Сережку, и иной раз ей казалось, что она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медленно-медленно. Уля вся извелась и задремала.

Вдруг она очнулась и бросилась к выходу, с грохотом опрокинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то спросила спросонок, но Уля не ответила ей и выскочила в одном платье во двор.

Зарево стояло за холмами над городом, слышались отдаленные выстрелы и, как Уле показалось, крики. Отсветы пламени даже в этом дальнем районе города выделяли из тьмы крыши домов и пристройку во дворе.

Но вид зарева не вызвал в Уле того чувства, с каким она ожидала его. Зарево и отсветы его на пристройке, крики и выстрелы и испуганный голос матери — все это слилось в Улиной душе в смутное тревожное

чувство. Это была тревога и за Любу с Сережкой, и особенно острая за то, как это отразится на всей их организации, когда их так ищут. И это была тревога за то, чтобы во всей этой страшной вынужденной деятельности разрушения не потерять что-то самое большое и доброе, что жило в мире и что она чувствовала в собственной душе. Такое чувство тревоги Уля испытывала впервые.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

22 ноября 1942 года десятки тайных радиоприемников во всех районах Ворошиловградской области приняли сообщения Советского Информбюро «В последний час» о том, что советскими войсками отрезаны две железные дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято громадное число пленных. И вся та невидная подземная работа, которую исподволь, день за днем, подготовлял и направлял Иван Федорович Проценко, вдруг вышла на поверхность и начала принимать размах всенародного движения против «нового порядка».

Каждый день приносил вести о том, что советские войска развивают свой успех под Сталинградом. И все, что неясно брезжило в душе каждого советского человека, как ожидание, как надежда, вдруг кипящей кровью ударило в сердце: «Идут!»

Ранним утром 30 ноября Полина Георгиевна, как всегда, принесла Лютикову молоко в бидоне. Филипп Петрович ни в чем не изменил распорядка жизни, заведенного им с того дня, как он приступил к работе в мастерских. Было утро понедельника. Полина Георгиевна застала Филиппа Петровича одетым в старый, лоснившийся от постоянного соприкосновения с металлом и машинным маслом костюм,— Филипп Петрович собирался на работу. Это был все тот же костюм, который Филипп Петрович надевал и раньше, до оккупации, в рабочее время. Придя к себе в конторку, он надевал еще поверх костюма синий рабочий халат. Разница состояла в том, что раньше халат этот так и хранился в шкафу, в конторке, а теперь Филипп Петрович носил его с собой свернутым под мышкой. Халат уже ле-

жал в кухне на табурете, дожидаясь, пока Филипп Петрович поест.

По лицу Полины Георгиевны Филипп Петрович понял, что она опять принесла новости, и новости благоприятные. Пошутив для приличия с Пелагеей Ильиничной, хотя в этом не было никакой нужды,— за все эти месяцы совместной жизни Пелагея Ильинична, верная себе, ни разу не показала, что она хоть что-нибудь видит,— Лютиков и Полина Георгиевна прошли к нему в комнатку.

— Вот, переписала специально для вас... Принято вчера вечером,— с волнением сказала Полина Георгиевна, доставая из-под кофточки на груди мелко исписанный клочок бумажки.

Вчера утром она передала ему сообщение Совинформбюро «В последний час» о крупном наступлении советских войск на Центральном фронте, в районе Великих Лук и Ржева. Теперь это было сообщение о выходе наших войск на восточный берег Дона.

Некоторое время Филипп Петрович неподвижно смотрел на бумажку, потом поднял на Полину Георгиевну строгие глаза и сказал:

— Капут... Гитлер капут...

Он сказал теми словами, какими, по рассказам очевидцев, говорили немецкие солдаты, сдаваясь в плен. Но он сказал это очень серьезно и обнял Полину Георгиевну. Счастливые слезы выступили у нее на глазах.

— Размножить? — спросила она.

В последнее время они почти не выпускали своих листовок, а распространяли печатные сообщения Совинформбюро, которые сбрасывали в условных местах советские самолеты. Но вчерашнее сообщение было настолько важным, что Филипп Петрович велел выпустить листовку.

— Пусть соединят в одну. Этой ночью вывесим,— сказал он.

Он вынул из кармана зажигалку, поджег клочок бумажки над пепельницей, растер пепел и, толкнув форточку, выдул пепел в огород.

В лицо Филиппу Петровичу пахнул морозный воздух, и Филипп Петрович вдруг задержал взгляд на инее, покрывавшем обожженные морозом листья подсолнухов и тыкв в огороде.

— Сильный мороз был? — спросил он с некоторой озабоченностью.

— Как и вчера. Лужи до дна промерзли, еще и не тают.

На лбу Филиппа Петровича собрались морщины, и некоторое время он стоял, думая о чем-то своем. Полина Георгиевна ждала от него еще каких-нибудь распоряжений, но он точно забыл о ней.

— Я пойду,— тихо сказала она.

— Да, да,— отозвался он, словно бы очнувшись, и так глубоко, тяжело вздохнул, что Полина Георгиевна подумала: «Уж здоров ли он?»

Филипп Петрович не был здоров: его мучили подагра, одышка, но он уже давно был так нездоров и не этим было вызвано его глубокое раздумье.

Филипп Петрович знал, что в их положении беда всегда приходит с того конца, откуда не ждешь.

Положение Лютикова, как руководителя организации, было выгодным. Выгода его положения состояла в том, что он не имел непосредственных сношений с немецкой администрацией и мог действовать наперекор ей, не неся перед ней ответственности. Ответственность перед немецкой администрацией нес Бараков. Но именно поэтому там, где дело касалось производства, Бараков по указанию Лютикова делал все, чтобы выглядеть и перед администрацией и перед рабочими, как директор, старающийся для немцев. Все, кроме одного: Бараков не должен был видеть того, что Лютиков делает против немцев.

Внешне это выглядело так: энергичный, деятельный, распорядительный Бараков отдает все свои силы на то, чтобы созидать,— и это видят все; незаметный, скромный Лютиков все разрушает,— и этого не видит никто. Дело не идет? Нет, в общем оно даже идет, но идет медленнее, чем хотелось бы. Причины? Причины все те же: «Рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, а на нет и суда нет».

По существующему между Бараковым и Лютиковым распределению труда, Бараков, почтительно приняв от начальства ворох распоряжений и указаний, предупреждал о них Лютикова и развивал бешеную деятельность, чтобы осуществить эти указания и распоряжения. А Лютиков все разрушал.

Бешеная деятельность Баракова по восстановлению производства была совершенно бесплодна. Но она отлично прикрывала другую, приносящую наглядные плоды, деятельность Баракова как руководителя и организатора партизанских налетов и диверсий на дорогах, проходящих через Краснодонский и близлежащие районы.

Лютиков после гибели Валько принял на себя организацию саботажа на всех угольных и прочих предприятиях города и района, и прежде всего — в Центральных электромеханических мастерских: от них главным образом и зависело восстановление оборудования в шахтах и на других предприятиях.

Предприятий в районе было много, контроль над ними немецкая администрация не могла осуществить за отсутствием нужного числа верных ей людей. И везде происходило то, что народ со стародавних времен окрестил словом «волынка»: люди не работали, а «волынили».

Находились люди, добровольно, по собственному почину бравшие на себя роль главных «волынщиков».

Например, Виктор Быстринов, приятель Николая Николаевича, работал в дирекционе на должности, схожей с должностью делопроизводителя или писаря. Инженер по образованию и по призванию, он не только сам ничего не делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех ничего не делающих на шахтах и учил их, что надо делать, чтобы и все остальные люди на шахтах ничего не делали.

С некоторых пор к нему повадился ходить старик Кондратович, оставшийся после гибели своих товарищей — Шевцова, Валько и Костиевича — один, как старый высохший дуб на юру. Старик не сомневался, что немцы не тронули его из-за сына, который, занимаясь шинкарством, вел дружбу с полицией и низшими чинами жандармерии.

Впрочем, в минуты редких душевных откровений сын утверждал, что немецкая власть для него менее выгодна, чем советская.

— Больно люди обедняли, ни у кого денег нет! — признавался он с некоторой даже скорбью.

— Обожди, братья с фронта вернутся, будешь ты на небеси, иде же несть бо ни печаль, ни воздыхание, —

спокойно говорил старик своим низким хриплым голосом.

Кондратович по-прежнему нигде не работал и целыми днями слонялся по мелким шахтенкам да по шахтерским квартирам и незаметно для себя превратился в копилку всех подлостей, глупостей и промахов немецкой администрации на шахтах. Как старый рабочий великого опыта и мастерства, он презирал немецких администраторов; его презрение к ним росло с тем большей силой, чем больше он убеждался в их хозяйственной бездарности.

— Судите сами, товарищи молодые инженеры,— говорил он Быстринову и дяде Коле,— все у них в руках, а по всему району — две тонны в сутки! Ну, я понимаю,— капитализм, а мы, так сказать,— на себя. Но ведь у них полтора века позади, а нам двадцать пять лет,— учили же их чему-нибудь! И к тому ж — хваленые на весь свет хозяева, прославленные финансисты, всесветный грабеж организовали. Тьфу, прости господи! — хрипел старик на чудовищных своих низах.

— Выскочки! У них и с грабежом в двадцатом веке не выходит: в четырнадцатом году их побили и сейчас побьют. Хапнуть любят, а творческого воображения нет. Люмпены да мещане на верхушке жизни... Полный хозяйственный провал на глазах всего человечества! — злобно оскаливаясь, говорил Быстринов.

И два молодых инженера да престарелый рабочий без особых усилий разрабатывали планы на каждый день, как разрушить те немногие усилия, какие Швейде затрачивал на добычу угля.

Так деятельность многих десятков людей подпирала деятельность подпольного райкома партии.

Труднее и опаснее было проделывать все это Филиппу Петровичу в мастерских, где он сам работал. Он придерживался такого правила: безотказно выполнять все мелкие заказы, которые сами по себе не имеют решающего значения в производстве, и тянуть, тянуть до бесконечности выполнение заказов крупных. В мастерских с самых первых дней их работы при немцах ремонтировалось несколько прессов, насосное оборудование нескольких крупных шахт, но до сих пор ничто не было ни отремонтировано, ни восстановлено.

Нельзя было, однако, настолько подводить директора Баракова, чтобы ни одна из мер, принимаемых им, не давала результатов. Поэтому некоторые работы доводились до конца или почти до конца, но неожиданная авария приостанавливала все дело. Беспрестанно выводился из строя мотор,— в него просто подсыпали песочку. Пока ремонтировался мотор, ставили двигатель, но вдруг и двигатель выходил из строя: перегревали цилиндр и пускали холодную водичку. Для этих мелких и мельчайших диверсий у Филиппа Петровича во всех цехах были свои люди, которые формально подчинялись начальникам своих цехов, но на деле выполняли только указания Лютикова.

В последнее время Бараков нанял много новых рабочих — из числа бывших военных. В кузнечном цехе работали молотобойцами двое коммунистов — офицеров Красной Армии. Это были командиры партизанских групп, совершавших ночами крупные диверсии на дорогах. Чтобы оправдать отлучки своих людей с производства, широко практиковались фиктивные командировки на предприятия, расположенные в других районах, за инструментом или для пополнения оборудования. А чтобы не возбуждать подозрений у рабочих, не вовлеченных в подпольную организацию, им тоже давались такие командировки. Рабочие убеждались, что действительно невозможно добыть ни оборудования, ни инструментов, а начальство видело, что директор и руководители цехов стараются. Дело не двигалось на законных основаниях.

Мастерские превратились в главный центр подпольной организации Краснодона: не известные никому силы были сосредоточены в одном месте, всегда под рукой,— сноситься с ними было легко и просто. Но в этом же была и своя опасность.

Бараков работал смело, выдержанно и организованно. Военный человек и инженер, он был внимателен к мелочам.

— У меня, знаешь, так дело поставлено, что комар носу не подточит,— говорил он Филиппу Петровичу в хорошую минуту.— Почему мы должны исходить из того, что мы их глупее? — говорил он.— А если мы их умнее, обязаны перехитрить. И перехитрим!

Филипп Петрович опускал себе на грудь массивный подбородок, так что лицо еще больше оплывало книзу,— это всегда было признаком недовольства у Филиппа Петровича,— и говорил:

— Больно легко ты судишь. Это же немцы — фашисты. Они ни умней, ни хитрей тебя, верно. Да зачем им знать, прав ты или нет? Увидят, дело не идет, и свернут тебе голову, даже не поморщатся. А на твое место поставят подлеца. И всем нам или крышка, или — бежать. А бежать мы не имеем права. Нет, брат, мы ходим на острие ножа, и если уж ты осторожен, будь осторожней втрое.

Вот о чем все чаще думал Филипп Петрович, грузно ворочаясь на постели в темной своей комнатке, и сон бежал от него. И еще он думал о том, что время идет, идет...

Чем дольше затягивалось выполнение заказов, чем больше неполадок, срывов, аварий накапливалось на счету Баракова, тем двусмысленней становилось его положение перед немецкой администрацией. Но еще опаснее было то, что в течение времени все более широкий круг людей, работавших в мастерских,— а среди них было немало опытных мастеровых,— все больше приходил и не мог не прийти к пониманию того, что кто-то на этом предприятии сознательно вредит делу.

Бараков, который вращался среди немцев и говорил по-немецки и был требователен на производстве, считался в рабочей среде человеком немецким. Его сторонились, и здесь, в мастерских, на него едва ли могло выпасть подозрение. Подозрение могло выпасть только на Филиппа Петровича. Все-таки очень мало нашлось людей в Краснодоне, которые поверили в то, что Лютиков искренне работает на немцев. Он принадлежал к тому типу рабочих России, которых называли в старину совестью рабочего класса. Все его знали, доверяли ему,— народ не ошибается.

В цехе в непосредственном подчинении Филиппу Петровичу работало несколько десятков человек. И как бы Филипп Петрович ни отмалчивался, как бы скромно он ни держался, люди-производственники не могли не видеть, что указания Филиппа Петровича, высказываемые походя, как бы в некоторой неуверенности или ра-

стерянности перед трудностями, идут во вред производству.

Деятельность его слагалась из мелочей, каждая из них в отдельности не была заметна. Но время шло, мелочи наслаивались одна на другую, превращались в нечто большее, и Филипп Петрович тоже становился все заметнее. Люди, окружавшие Филиппа Петровича, были в подавляющем большинстве свои люди. Он догадывался, что среди подчиненных ему немало людей, подобных его хозяйке Пелагее Ильиничне. Они все видят, сочувствуют ему, но не подают об этом виду ни ему, ни другим, ни даже себе. Но для того чтобы быть раскрытым, не нужно много подлецов — при случае достаточно и одного труса.

Самой ответственной работой, возложенной на мастерские, была работа по восстановлению крупнейшей краснодонской водокачки, обслуживавшей группу шахт, снабжавшей водой центральную часть города и самые мастерские. Работа по ее восстановлению была возложена на Баракова около двух месяцев тому назад, а он перепоручил ее Филиппу Петровичу.

Несложная эта работа, как и все остальные, производилась вопреки здравому смыслу. В водокачке была, однако, большая нужда. Господин Фельднер несколько раз лично проверял работу и очень сердился на то, что работа идет медленно. Даже когда водокачка была готова, Филипп Петрович все не сдавал ее в эксплуатацию под предлогом, что водокачка должна пройти испытания. По утрам все крепче ударяли морозы, ранние в этом году, а вся система стояла наполненная водой.

К концу рабочего дня в субботу Филипп Петрович пришел принимать водокачку. Он все придирался к тому, что бак и трубы дают течь, и с особой тщательностью подвинчивал гайки и краны. Старший по работам ходил за ним следом, видел, что все в исправности, молчал. Рабочие поджидали на улице.

Наконец Филипп Петрович вместе со старшим вышли к рабочим. Филипп Петрович вынул из кармана пиджака кисет и сложенную по размерам закрутки газетку «Нове життя», стал молча угощать рабочих рубленым самосадом с кореньем. Оживившись, они потянулись к табаку. Даже самосад был теперь редкостью.

Курили гнилую смесь с сеном пополам,— табак этот повсеместно называли «матрац моей бабушки».

Они молча стояли возле водокачки, курили. Рабочие изредка вопросительно поглядывали то на старшего, то на Лютикова. Филипп Петрович бросил недокурок на землю и придавил его сапогом.

— Ну, теперь, кажется, все, шабаш,— сказал он.— Сегодня, видно, сдавать работу уже некому: поздно. Обождем до понедельника...

Он почувствовал, как все посмотрели на него в некоторой растерянности: даже с вечера уже сильно морозило.

— Воду бы спустить,— неуверенно сказал старший.

— Зима, что ли? — строго сказал Филипп Петрович.

Ему очень не хотелось встречаться со старшим глазами, но невзначай это получилось. И Филипп Петрович понял, что старший тоже все понял. Должно быть, поняли и все остальные, такая вдруг образовалась неловкость. Филипп Петрович, владевший собой, сказал небрежно:

— Пошли...

И они в глубоком молчании пошли от водокачки.

Об этом и вспомнил Филипп Петрович, когда открыл форточку и увидел густой иней на почерневших от мороза листьях подсолнухов и тыкв.

Как и предполагал Филипп Петрович, вся бригада поджидала его у водокачки. Можно было и не говорить ему, что трубы раздулись, полопались, вся система пришла в негодность, все нужно было начинать сначала.

— Жаль... Да кто ж бы мог думать! Такие морозы! — сказал Филипп Петрович.— Что ж, не будем падать духом. Трубы надо сменить. Нет их, правда, нигде, да постараемся найти...

Все смотрели на него с робостью. Он понял, что все уважают его за смелость и все страшатся того, что он сделал, и, еще больше того, страшатся его спокойствия.

Да, люди, с которыми работал Филипп Петрович, были свои люди. Но доколе же можно испытывать судьбу?

По установленному между ними неписаному порядку взаимоотношений Бараков и Лютиков никогда не

встречались вне работы, чтобы ни у кого мысли не могло возникнуть не только о их дружбе, а даже о возможности их общения на почве внеслужебных отношений. Если нужно было срочно поговорить, Бараков вызывал Филиппа Петровича в кабинет, а перед Филиппом Петровичем и после него обязательно вызывал и других начальников цехов.

На этот раз была настоятельная потребность в том, чтобы поговорить.

Филипп Петрович прошел в свою конторку при цехе, бросил на стул свернутый халат, который он все время носил под мышкой, снял кепку, пальто, пригладил седые волосы, поправил расческой свои коротко подстриженные жесткие усы и пошел к Баракову.

Контора мастерских помещалась в небольшом кирпичном доме во дворе.

В отличие от большинства учреждений и частных жилищ в Краснодоне, в которых с наступлением холодов стало холоднее, чем на улице, в конторе мастерских было так же тепло, как во всех учреждениях и домах, где работали и жили немцы. Бараков сидел в своем теплом кабинете в суконной просторной блузе с отложным широким воротом, из-под которого выглядывал хорошо отглаженный голубой воротничок, подвязанный ярким галстуком. Бараков сильно похудел и загорел, и это еще больше молодило его. Он отрастил волосы и взбил себе спереди волнистый кок. Этим взбитым коком волос и ямочкой на подбородке и в то же время таким ясным, прямым и смелым взглядом больших глаз и плотно сжатыми полными губами приметно сильной складки он действительно производил на людей, в нынешней обстановке, двойственное впечатление.

Бараков сидел в своем кабинете и решительно ничего не делал. Он очень обрадовался Лютикову.

— Знаешь уже? — спросил Филипп Петрович, садясь против него, отдышиваясь.

— Туда ей и дорога! — Улыбка чуть тронула полные губы Баракова.

— Нет, я про сводку.

— Тоже знаю...— У Баракова был свой радиоприемник.

— Ну, и як же це воно буде у нас на Украини? — с усмешкой спросил Лютиков. Русский человек, вырос-

ший в Донбассе, он иногда позволял себе этакую вольность.

— А ось як,— в тон ему ответил Бараков.— Будем готовить всеобщее...— Бараков обеими руками сделал широкое круглое движение, так что Филиппу Петровичу стало совершенно ясно, какое такое «всеобщее» будет готовить Бараков.— Как только наши подойдут...— Бараков неопределенно повертел над столом кистью руки и подвигал пальцами.

— Точно...— Филипп Петрович был доволен своим напарником.

— К завтрему я тебе весь план принесу... Задержка у нас не в детках, а в палочках-стукалочках да в конфетках...— Бараков случайно сказал в рифму и засмеялся. Речь шла о том, что людей найдется достаточно, но мало винтовок и патронов.

— Скажу ребятам, чтобы приналегли,— они достанут. Дело не в водокачке,— сказал Филипп Петрович, внезапно переходя к тому, что на самом деле больше всего волновало его.— Дело не в ней. А дело в том... Ты и сам понимаешь, в чем.

На переносье у Баракова обозначилась резкая морщина.

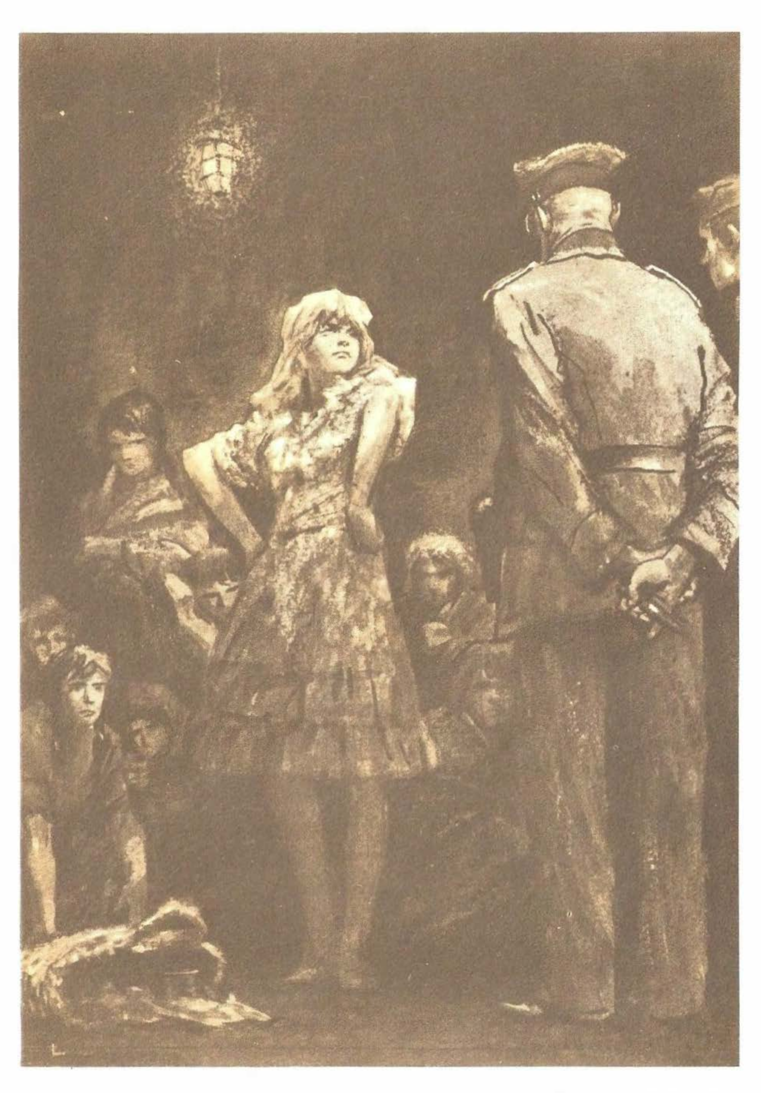
— Знаешь, что я тебе предложу? Давай я тебя уволю.— твердо сказал он.— Придерусь к тому, что ты водокачку разморозил, и уволю.

Филипп Петрович задумался: действительно, мог быть и такой выход.

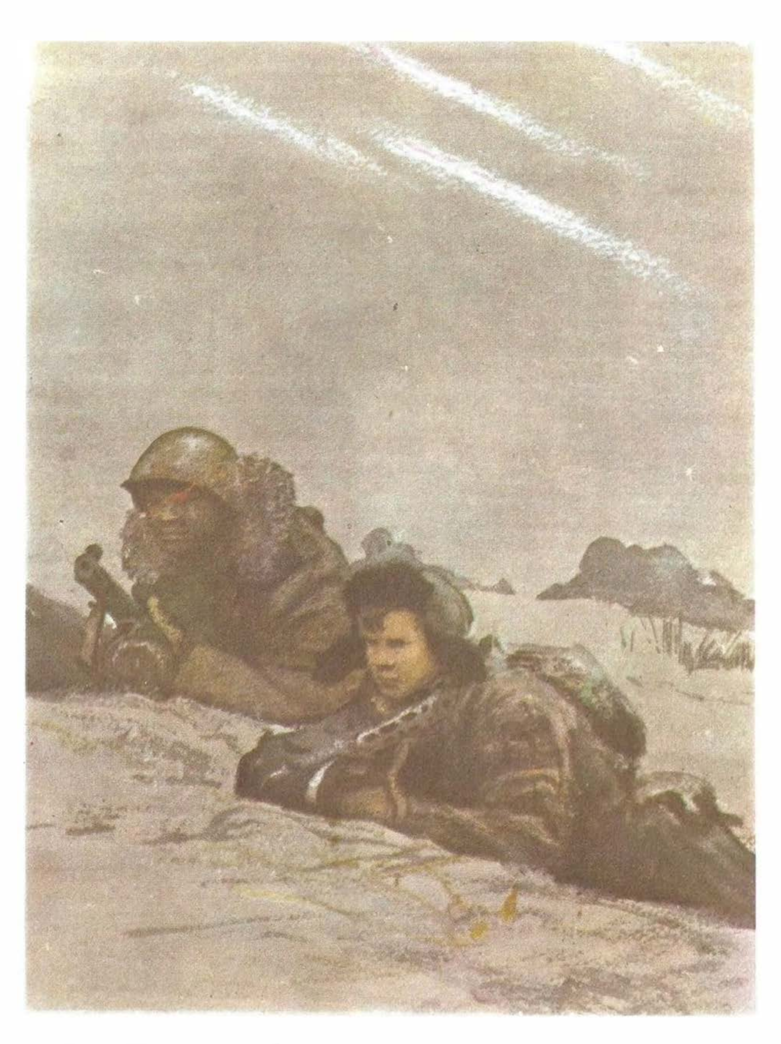
— Нет,— сказал он через некоторое время.— Спрятаться мне некуда. А если бы и было куда,— нельзя. Сразу всё поймут, и тебе — каюк, а с тобой и другим. Потерять такое положение, как наше теперь,— нет, это не подойдет,— решительно сказал он.— Нет, будем смотреть, как там у наших на фронте. Если наши быстро пойдут, начнем работать на немцев с таким пылом и жаром, что, ежели кто в чем нас и подозревал, сразу увидит, что ошибся: немцам худо, а мы стараемся! Все равно все нашим достанется!

Необыкновенная простота этого хода в первое мгновение поразила Баракова.

— Но ведь если фронт подойдет, поставят нас на ремонт вооружения,— сказал он.



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

— Если фронт подойдет, мы бросим все к чертовой матери и — в партизаны!

«Силен старый!» — с удовольствием подумал Бараков.

— Надо второй центр руководства создать,— сказал Филипп Петрович,— вне мастерских, без нас с тобой, вроде про запас.— Он хотел было сказать какое-нибудь утешительное, полушутливое замечание, вроде: «Он, конечно, и не понадобится, этот центр, да береженого...» и так далее, но почувствовал, что не нужно этого ни ему, ни Баракову, и сказал: — Люди у нас сейчас с опытом, в случае чего отлично справятся и без нас с тобой. Верно?

— Верно.

— Придется райком созвать. Ведь мы ж с тобой созывали его еще до того, как немцы пришли. Где же внутрипартийная демократия? — Филипп Петрович строго взглянул на Баракова и подмигнул.

Бараков засмеялся. Райком они действительно не созывали, потому что его почти невозможно было созвать в условиях Краснодона. Но все самое важное они решали, только посоветовавшись с другими руководящими людьми в районе.

Возвращаясь через цех к себе в конторку, Филипп Петрович увидел Мошкова, Володю Осьмухина и Толю Орлова,— они работали у соседних тисков.

Делая вид, что проверяет работу, Филипп Петрович пошел вдоль длинного, в половину протяжения цеха, стола у стены, за которым работали слесари. Ребята, только что беспечно курившие и болтавшие, для приличия взялись за напильники.

Когда Филипп Петрович подошел ближе, Мошков поднял на него глаза и сказал вполголоса, со злой усмешкой:

— Что, гонял?

Филипп Петрович понял, что Мошков уже знает о водокачке и спрашивает о Баракове. Мошков, как и другие ребята, не знал правды о Баракове и считал его немецким человеком.

— Не говори...— Филипп Петрович покачал головой, как если бы он на самом деле только что получил разнос.— Как дела? — спросил он, склоняясь к тискам Осьмухина, будто рассматривая деталь, и тихо сказал

сквозь колючие усы: — Олега ко мне сегодня ночью, как тогда...

Это был еще один уязвимый пункт в подпольной организации Краснодона «Молодая гвардия».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Чем явственнее обозначались успехи Красной Армии уже не только в районе Сталинграда и на Дону, а и на Северном Кавказе и в районе Великих Лук, тем шире размахивалась и становилась все отчаянней деятельность «Молодой гвардии».

«Молодая гвардия» была уже большой, разветвленной по всему району и все растущей организацией, насчитывавшей более ста членов. И еще больше того было у нее помощников.

Организация росла и не могла не расти, потому что она развивала свою деятельность. В конце концов она к этому была призвана. Правда, ребята чувствовали, что стали как-то заметней, по сравнению с тем временем, когда начинали свою деятельность. Но что же делать,— в известном смысле это было неизбежно.

Но чем шире развертывалась деятельность «Молодой гвардии», тем все у́же сходились вокруг нее крылья «частого бредня», заброшенного гестапо и полицией.

На одном из заседаний штаба Уля вдруг сказала:

— А кто из нас знает азбуку Морзе?

Никто не спросил, зачем это надо, и никто не пошутил над Улей. Может быть, впервые за все время их деятельности члены штаба подумали о том, что они ведь могут быть арестованы. Но это было мимолетное раздумье. Ведь им пока ничто не угрожало.

И именно в этот период Олег был вызван для личной беседы с Лютиковым.

Они так и не виделись с той первой встречи и нашли друг в друге большие перемены.

Филипп Петрович еще больше поседел и как-то еще поширел, раздался. Чувствовалось, что это не от здоровья. Во время их разговора он часто вставал и делал несколько шагов по комнатке взад-вперед. Олег слышал его дыхание,—должно быть, Лютикову тяжело было носить свое большое тело. Только глаза Филиппа Петро-

вича смотрели все с тем же строгим выражением, никакой усталости не чувствовалось в них.

А Лютиков заметил, что Олег вырос, вырос даже физически. Это был совсем взрослый парень, в лучшей своей поре. Черты скуластого лица его точно глубже легли, определились, и только в больших глазах его и где-то в складке полных губ нет-нет и возникало прежнее мальчишеское выражение, особенно когда Олег улыбался. Но в эту встречу он находился больше в состоянии задумчивости, сидел ссутулившись, вобрав голову в плечи, и на лбу его обозначались широкие продольные складки.

Филипп Петрович подробно, пытливо, по нескольку раз возвращаясь все к тому же, расспрашивал его и о старых и о вновь создаваемых группах «Молодой гвардии», требовал фамилии, характеристики. Чувствовалось, что его интересует не столько внешняя сторона дела, о которой он хорошо знал через Полину Георгиевну, сколько внутреннее положение в организации, а особенно, как Олег видит свою организацию и как понимает положение дел в ней.

Филиппа Петровича интересовало, насколько широкий круг членов организации знает друг друга, как осуществляется связь штаба с группами, связь и взаимодействие между группами. Он вспомнил операцию по разгону скота и долго расспрашивал, как технически штаб извещал группы о предстоящей операции, как внутри группы ее руководитель извещал ребят и как они все сходились. Его интересовали и более обыденные мероприятия,— например, расклейка листовок,— и тоже главным образом со стороны связи и руководства.

Повторим, что особенность разговора Филиппа Петровича с любым человеком состояла в том, что он всегда давал возможность высказаться и не торопился с выражением собственного мнения. Он никогда не подделывался под собеседника, а у него само собой получалось так, что он со старым и малым говорил, как с равным.

Олег чувствовал это. Филипп Петрович разговаривал с ним, как с политическим руководителем, прислушивался к его мнению. В другое время такое отношение к нему счастливой гордостью наполнило бы сердце Олега.

Но теперь он чувствовал, что Филипп Петрович не совсем доволен «Молодой гвардией». Филипп Петрович расспрашивал его и вдруг вставал и начинал ходить, что было так ему несвойственно. Потом он уже и не спрашивал, а только ходил. И Олег тоже замолчал. Наконец Филипп Петрович тяжело опустился на стул против Олега и поднял на него свои строгие глаза.

— Выросли вы: организация выросла, и сами выросли,— сказал Филипп Петрович,— это хорошо. Пользу приносите большую. Народ вас почувствовал, придет время, он вам скажет доброе слово. А я скажу, что у вас неладно... Ни одного человека не принимайте больше в организацию без моего разрешения,—хватит! Сейчас время такое, когда даже самый робкий и ленивый будет нам помогать, не обязательно ему быть в организации. Понятно?

— Понятно,— тихо сказал Олег.

— Связь...— Филипп Петрович помолчал.— Кустарно у вас дело поставлено. Уж больно много беготни друг к другу, из квартиры в квартиру. А больше всего вокруг твоей квартиры и Туркенича. Это опасно. Если бы я, скажем, был простой житель на твоей улице, и то бы заметил: с чего это изо дня в день, а то и в ночь, когда и ходить-то не полагается, бегают и бегают к вам ребята и дивчата? Чего это они так бегают? Вот так бы я подумал, простой житель. Ну, а ведь те вас ищут, они и подавно обратят на это внимание. Вы народ молодой, иногда, поди, собираетесь и не для политики, а просто так, погулять? — с добродушной и немножко хитрой улыбкой спросил Филипп Петрович.

Олег смутился, улыбнулся и кивнул головой.

— Не годится. Придется малость поскучать. Наши придут,— отвеселимся,— сказал Филипп Петрович очень серьезно.— Штаб, и тот собирать пореже. Время пришло военное. Есть у вас командир, комиссар,— работайте, как на фронте в боевой обстановке. А связь придется поставить на уровне вашей организации. Хорошо бы вам придумать такое место, куда бы каждый мог приходить свободно и никто бы этому не удивлялся. Что теперь в клубе имени Горького?

— Пустой стоит,— сказал Олег. Он вспомнил, как клеил листовки на стене клуба и чуть не попался «полицаю». «И давно ж это было!» — показалось ему.— Он

ни под учреждение, ни под жилье не годится, вот и стоит пустой,— пояснил Олег.

— А вы обратитесь к начальству и сделайте из него заправский клуб.

Олег некоторое время помолчал, и на лбу у него собрались складки.

— Не понимаю,— сказал он.

— И понимать нечего: клуб для молодежи, для населения. Организуйте ребят, дивчат, далеких от политики, кто думает только о развлечениях, скучает, создайте инициативную группу с вашим участием и обратитесь к господину бургомистру, чтобы разрешил занять здание под клуб. Скажите, хотим, дескать, культурно обслуживать население в духе нового порядка. И просто пусть, мол, ребята танцуют, а то они зря болтаются и только мысли вредные в голову приходят! Сам-то этот подлец, конечно, ничего не решит, да он у начальства спросит. Могут разрешить. Они же сами от скуки подыхают,— сказал Лютиков.

С присущей ему не по возрасту — не мелко-житейской, а большой практической — сметкой Олег сразу сообразил, что в клубе можно устроить своих ребят из штаба и через них держать связь с руководителями пятерок. Но возможность быть вовлеченным помимо своей воли в мир, который был античеловечен, возможность какого бы то ни было соучастия в омерзительных делах этого чуждого мира смутила совесть Олега. Самим утверждать в людях подлейшие нравы или хотя бы даже косвенно способствовать этому... Нет, все что угодно, только не это! Он молча склонил голову, не в силах взглянуть на Филиппа Петровича.

— Так я и думал,— спокойно сказал Лютиков.— Не понял! А если бы понял, большой подарок сделал бы ты и мне и всей организации.— Филипп Петрович встал и сделал несколько тяжелых шагов по комнате.— Мальчишка, а боишься... запачкаться. Кто чист, тот не запачкается! И какие у них там к черту агитаторы? Лишний громкоговоритель поставят в клубе, так он и без того кричит. Надо так сделать, чтобы клуб этот был в наших руках. Наша агитация будет негромкая, а сильнее их агитации. Скажу откровенно, что и мы к вашему делу маленько примажемся. Правда, так, что вы и не заметите, за это извините. А программу вы будете делать

нейтральную. Если ты напустишь на это дело таких ребят, как Мошков, Земнухов или Осьмухин, а еще лучше Любу Шевцову,— они тебе все это дело организуют.

И долго еще старый Лютиков убеждал своего юного товарища, даже и после того как Олег согласился с ним. Олег уже и не рад был, что поддался ложному чувству.

— Я к тому говорю, что товарищи твои скажут тебе то же самое, что ты мне сказал. Так чтобы ты знал, что отвечать,— говорил Лютиков. И все учил и учил Олега.

Заручившись поддержкой администрации шахты № 1-бис, Ваня Земнухов, Мошков и две девушки, не имевшие отношения к «Молодой гвардии», пошли к бургомистру Стаценко. Они действительно представляли группу молодежи, которую удалось сколотить на этот случай.

Стаценко принял их в нетопленном и грязном помещении городской управы. Он, как всегда, был пьян. Выложив на зеленое сукно свои маленькие руки с набухшими пальцами, Стаценко неподвижно смотрел на Ваню Земнухова, который был скромен, учтив, витиеват и сквозь роговые очки смотрел не на бургомистра, а в зеленое сукно.

— В город просачиваются ложные слухи, будто немецкая армия терпит поражение под Сталинградом. В связи с этим в умах молодежи наблюдается...— Ваня неопределенно полепил воздух тонкими пальцами,— ...некоторая шаткость. Поддерживаемые господином Паулем,— он назвал фамилию уполномоченного горнорудного батальона по шахте № 1-бис,— и господином...— он назвал фамилию заведующего отделом просвещения городской управы,— о чем вы, господин бургомистр, должно быть, уже поставлены в известность, наконец просто от лица молодежи, преданной новому порядку, мы просим вас лично, Василий Илларионович, зная ваше отзывчивое сердце...

— С моей стороны, господа... Ребята! — вдруг ласково воскликнул Стаценко.— Городская управа...— Слезы выступили у него на глазах.

И Стаценко, и господа, и ребята знали, что городская управа сама ничего решить не может, а все решит старший жандармский вахмистр. Но Стаценко был «за»: он — как правильно догадался Филипп Петрович — «сам подыхал от скуки».

Так 19 декабря 1942 года в клубе имени Горького состоялся с разрешения гауптвахтмайстера первый эстрадный вечер.

Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах. Клуб был нетоплен, но зрителей собралось вдвое больше, чем клуб мог вместить, и вскоре с отпотевшего потолка начало капать.

В первых рядах сидели гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер, лейтенант Швейде, его заместитель Фельднер, зондерфюрер Сандерс со всем составом сельскохозяйственной комендатуры, обер-лейтенант Шприк с Немчиновой, бургомистр Стаценко, начальник полиции Соликовский с женой и недавно присланный ему на помощь следователь Кулешов. Это был учтивый, тихий человек с круглым веснушчатым лицом, с голубыми глазами и редкими рыжими бровками, одетый в длинное черное пальто, в кубанке с красным дном, перекрещенным золотом. Присутствовали также господа Пауль, Юнер, Беккер, Блошке, Шварц и другие ефрейторы горнорудного батальона. Присутствовали переводчик Шурка Рейбанд, повар гауптвахтмайстера и главный повар лейтенанта Швейде.

В рядах подальше, выделяясь своим обмундированием среди заполнивших зал местных жителей в сумрачных одеждах, поношенных платках и шапках, сидели солдаты проходящих немецких и румынских частей, солдаты жандармерии и полицейские. Не было унтера Фенбонга, который был перегружен по должности и вообще не любил развлечений.

«Знатные гости» сидели перед старым плотным занавесом, украшенным по всему полю гербами СССР с серпом и молотом. Но когда занавес отдернулся, на заднем плане сцены зрители увидели громадный, в красках портрет фюрера, написанный местными силами с некоторым несоблюдением пропорций лица, но все же очень близко к оригиналу.

Вечер начался со старинного водевиля, где роль старика, отца невесты, играл Ваня Туркенич. Верный традиции и своим художественным принципам, он был загримирован под садовника Данилыча. Краснодонская публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахтмайстер Брюкнер. Однако, когда водевиль

кончился, майстер Брюкнер несколько раз приложил одну ладонь к другой. Тогда захлопали и немцы.

Струнный оркестр, украшением которого были два лучших в городе гитариста — Витя Петров и Сергей Левашов, сыграли вальс «Осенний сон» и «Выйду ль я на реченьку».

Стахович, администратор и конферансье, в темном костюме и начищенных до блеска ботинках, худой, выдержанный, вышел на сцену.

— Артистка областной луганской эстрады... Любовь Шевцова!

Публика захлопала.

Любка вышла в голубом крепдешиновом платье и в голубых туфельках и под аккомпанемент Вали Борц на сильно расстроенном рояле спела несколько грустных и несколько веселых песенок. Она имела успех, ее долго вызывали. Она вихрем вынеслась на сцену уже в своем ярко-пестром платье и в кремовых туфлях, и с губной гармоникой, и начала черт знает что выделывать своими полными ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями.

Снова вышел Стахович в темном костюме.

— Пародии на цыганские романсы... Владимир Осьмухин! Аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов!..

Володя, заламывая руки и неестественно вытягивая шею, а то вдруг без всякого перехода пускаясь в бурный пляс, спел: «Ой, матушка, скушно мне». Мрачный Сергей Левашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефистофель.

Публика смеялась, и немцы тоже.

Володя бисировал. С этой своей манерой неестественного вращения головой он спел, обращаясь главным образом к портрету фюрера:

Эх, расскажи, расскажи, бродяга,
Чей ты родом, откуда ты?
Ой, да и получишь скоро по заслугам,
Как только солнышко пригреет,
Эх, да ты уснешь глубоким сном...

Люди повставали со своих мест и орали от восторга. Володю вызывали несчетное число раз.

Вечер закончился цирковыми номерами бригады под руководством Ковалева.

Пока в клубе шел концерт, Олег и Нина приняли сообщение «В последний час» о большом наступлении советских войск в районе Среднего Дона, о занятии ими Новой Калитвы, Кантемировки и Богучара, то есть тех самых пунктов, взятие которых немцами предшествовало их прорыву на юге в июле этого года.

Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета. И вдруг услышали над головами рокот моторов, особенный звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Видные простым глазом в ясном морозном воздухе, шли над городом советские бомбардировщики. Они шли не торопясь, наполнив все пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то перед Ворошиловградом. Гулкие бомбовые удары слышны были и в Краснодоне. Вражеские истребители не потревожили советских бомбардировщиков и только с некоторым запозданием начала бить зенитная артиллерия, но бомбардировщики так же неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

В эти исторические месяцы — ноябрь, декабрь 1942 года — советские люди, а особенно находившиеся в глубоком тылу у немцев, не могли видеть истинных масштабов события, вошедшего в историческую память народов одним словом-символом: Сталинград.

Сталинград — это не только не имевшая себе равных в истории оборона узкого, прижавшегося к Волге клочка земли в разрушенном до основания городе против врага, сосредоточившего такие количественно огромные силы, в таком универсальном сочетании родов оружия и при таком богатстве совершенной техники, каких не знало ни одно из самых больших сражений за все время существования человечества.

Сталинград — это великое проявление полководческого гения военачальников, воспитанных новым, советским строем. За предельно малый срок, менее чем в полтора месяца, по единому цельному замыслу, осуществленному в три этапа на невиданно обширном пространстве приволжских и донских степей,— советскими войсками было окружено двадцать две дивизии и разгром-

лено тридцать шесть дивизий противника. И потребовался всего лишь один месяц, чтобы окруженный противник был истреблен и пленен.

Сталинград — это лучшее свидетельство организаторского гения людей, порожденных новым советским строем. Чтобы понять это, достаточно представить себе, какие массы людей и военной техники были приведены в движение согласно единому плану, единой воле, какие были сбережены и созданы для осуществления этого плана людские и материальные резервы, каких организаторских усилий и материальных ресурсов потребовало передвижение этих масс к фронту, снабжение их продовольствием, обмундированием, боеприпасами, горючим и, наконец, какая всемирно-исторического значения учебная и воспитательная работа была проведена, чтобы сотни тысяч опытных в военном отношении и политически воспитанных командиров и военачальников, от сержантов до маршалов, возглавили это движение и превратили его в сознательное движение миллионов вооруженных людей.

Сталинград — это высший показатель преимущества хозяйства нового общества с его единым планом над старым обществом и его анархией. Ни одно государство старого типа не смогло бы спустя полтора года после вторжения в глубь страны многомиллионной вражеской армии, вооружаемой и снабжаемой промышленностью и сельским хозяйством большинства стран Европы, после нанесенных ему немыслимых материальных разрушений и опустошений,— ни одно государство старого типа не смогло бы в хозяйственном отношении решить задачу подобного наступления.

Сталинград — это выражение духовной мощи и исторического разума народа, освобожденного от цепей капитала. И этим он вошел в историю.

Как и все советские люди, Иван Федорович Проценко не мог знать подлинных масштабов события, свидетелем и участником которого он был. Но, будучи связан по радио и через живых людей с Украинским партизанским штабом и Военным советом Юго-Западного фронта, которому предстояло первому продвинуться на территорию Украины, Иван Федорович больше других советских людей, боровшихся с врагом на территории

Ворошиловградской области, знал о характере и размерах наступательных операций советских войск.

Иван Федорович пробыл в Ворошиловграде ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы развернуть деятельность всех четырех подпольных райкомов города. Но к тому времени, когда было получено сообщение о прорыве советскими войсками немецкого фронта на Среднем Дону, Иван Федорович успел уже несколько раз переменить свое местопребывание. С конца ноября он держался главным образом в северных районах области.

Никто не подсказывал Ивану Федоровичу, что он должен теперь находиться именно в этих северных районах. Но простым здравым смыслом или чутьем он понял, что ему теперь важнее находиться там, где фронт советских войск наиболее близок и где раньше всего партизанским отрядам удастся войти в боевое взаимодействие с регулярной советской армией.

Приближалось время, которого Иван Федорович так долго ждал, время, когда снова можно было сводить мелкие партизанские группы в отряды, способные на большие операции.

Иван Федорович обосновался теперь в одном из сел Беловодского района у родственников Марфы Корниенко, где скрывался также освобожденный из плена гвардии сержант Гордей Корниенко, муж Марфы. Корниенко создал в селе партизанскую группу, которая, помимо своих прямых обязанностей, охраняла Ивана Федоровича от всяких случайностей. Всеми партизанскими группами Беловодского района командовал директор того самого совхоза, где работали летом учащиеся краснодонской школы имени Горького, директор, который предоставил Марии Андреевне Борц последний грузовик для эвакуации ребят. Вот этому самому директору Иван Федорович отдал приказ свести все группы Беловодского района и сформировать отряд человек в двести.

Еще мир не был оповещен о новом мощном наступлении советских войск в районе Среднего Дона, когда радист Ивана Федоровича принял шифрованное сообщение о глубоком прорыве немецкого фронта с северо-востока, на участке Новая Калитва — Монастырщина и с востока — в районе Боковское на реке Чир. Одновременно Ивану Федоровичу был передан приказ: бросить

все имеющиеся в его распоряжении партизанские силы на коммуникации врага на север — к Кантемировке и Марковке и на восток — к Миллерову, Глубокой, Каменску, Лихой. Это был приказ Военного совета фронта.

— Пришел наш час! — торжественно сказал Иван Федорович и обнял радиста.

Они поцеловались, как братья. Вдруг Иван Федорович легонько оттолкнул радиста и, как был раздетый, выбежал из хаты.

Стояла ясная морозная ночь — вся в звездах. Последние дни все подваливал снег,— крыши хат, дальние холмы тихо дремали под снежной пеленой. Иван Федорович стоял, не чувствуя мороза, грудь ему распирало, он жадно вдыхал морозный воздух и не удерживал слез, катившихся из глаз его и замерзавших на щеках.

Ивану Федоровичу понадобилось около часа, чтобы добраться до своей квартиры. Радиста вместе с аппаратом он взял с собой. Могучий гвардеец Гордей Корниенко, только что вернувшийся с операции по уничтожению полицейских постов по хуторам, крепко спал. Однако сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за плечо и передал свои новости.

— Возле Монастырщины! — воскликнул Корниенко, и глаза его загорелись.— Я ж сам с того фронта, я там и в плен попал... Через несколько дней наши здесь будут, попомнишь мое слово!

Старый солдат крякнул от волнения и быстро стал одеваться.

Гордею Корниенко отдавались в подчинение все северные партизанские группы, и он должен был немедленно выступать в район Марковки — Кантемировки Сам же Иван Федорович в сопровождении радиста с аппаратом и двух партизан должен был выйти в село Городищи, где базировался директор совхоза со своим отрядом: Иван Федорович понимал, что именно теперь наступило время, когда лучше быть при отряде.

В эти дни скитаний ему бессменно служила связной подруга его жены Маша Шубина, которую он взял с собой из Ворошиловграда. Как он и предполагал, она оказалась из тех стойких, преданных натур, которые бывают в жизни так предельно скромны, что нужен острый глаз организатора, чтобы суметь выбрать их из массы людей. Но когда выбор падет на них, они, эти натуры,

обнаруживают такую нечеловеческую работоспособность и при этом такое полное забвение самих себя, что на их плечи ложится все практическое выполнение заданий их начальников и руководителей. Без помощи таких людей даже самые большие задания так бы и оставались заданиями, не претворившись в дело.

Маша Шубина разучилась отличать ночь от дня, так она была занята. Если бы люди, которые работали рядом с ней, попробовали бы представить себе, что же было наиболее характерным в ее жизни и работе, они поразились бы тому, что никто не помнит ее спящей. Если она и спала, то спала так мало, а главное, так незаметно, что казалось, будто она и не спит вовсе.

Душа этой женщины горела не видимым никому величественным пафосом работы. Единственная личная радость, которая согревала ее душу, была радость сознания, что она не одинока. Правда, ей невозможно было общаться с Катей, ее подругой,— с Катей она была связана только через Марфу Корниенко. Но Маша знала, что лучшая и единственная ее подруга где-то близко и что они трудятся на общее дело. А Ивану Федоровичу Маша была бескорыстно предана всей душой — за то, что он заметил ее среди многих и доверился ей. Вот за это доверие она могла бы отдать жизнь за него.

Иван Федорович, весь захваченный огромностью событий, развитию которых он в меру своих сил способствовал, отдавал Маше последние распоряжения:

— У Марфы ты лично встретишься с командиром Митякинского отряда. Район его действий — дороги на Глубокую, на Каменск. Пусть выступает немедленно, действует днем и ночью, не дает врагу передышки. А Кате пусть Марфа скажет, чтобы немедленно бросала свое учительство и — сюда...

— На эту квартиру? — переспросила Маша.

— На эту... А ты, не теряя ни часа,— к Ксении Кротовой. Дорогу найдешь?

— Найду.

Когда Иван Федорович вводил Машу в круг ее обязанностей, он дал ей этот адрес: село Успенка, медпункт, врач Валентина Кротова. Ксения, сестра Валентины, работала теперь по связи между Екатериной Павловной, женой Проценко, и всеми райкомами, расположенными к югу от Донца.

— Ксении скажешь: район действий — по дорогам на Лихую, Шахты, Новочеркасск, Ростов, Таганрог,— продолжал Иван Федорович.— Действовать днем и ночью, не давать врагу передышки. Всюду, где фронт подойдет близко, захватывать населенные пункты, отвлекать врага на себя... Катина главная квартира, выходит, ликвидируется. Главная квартира будет теперь у Марфы. Пароль сменяю...— Он наклонился на ухо к Маше и сказал ей пароль.— Не забудешь?

— Нет.

Он подумал немного и сказал:

— Все.

— Все? — Она подняла на него глаза. Вопрос ее в сущности был таков: «А я?» Но глаза ее ничего не выражали.

Как человек памятливый, Иван Федорович проверил в уме своем, не упустил ли чего-нибудь. И вспомнил, что не распорядился, как Маше быть дальше.

— Да... Как попадешь до Ксении, перейдешь в ее распоряжение. Будете работать по связи с Марфой. Скажи от меня, чтоб больше тебя никуда не посылали.

Маша опустила глаза. Она представила себе, как пойдет сейчас одна, все дальше и дальше от этих мест, куда не сегодня-завтра придут наши. Да, через несколько дней там, где стоит сейчас она с Иваном Федоровичем, уже не останется ни одного врага и вступит в свои права тот ясный мир, которого все они так долго ждали, ради которого не щадили своей жизни.

— Что ж, Маша,— сказал Иван Федорович,— нема часа ни мени, ни тоби... Спасибо тебе за все...

Он крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Она на мгновение притихла в руках его и не смогла ответить ему.

Одетая, как одевались самые бедные женщины в немецком тылу, она вздела торбу и вышла из хаты. Иван Федорович не вышел провожать ее. И она пошла в свой дальний одинокий путь в этот ранний предрассветный час, поскрипывая по снежку, с лицом немолодым и в то же время таким еще девическим, незаметная женщина с железной душою.

А спустя некоторое время выступил и Иван Федорович со своей небольшой группой. Утро занималось морозное, тихое. Ранняя суровая зимняя заря проступала

сквозь мертвенную дымку. Ни малейшего движения — ни на земле, ни на небе, — ни звука, ни даже шелеста ветра не чувствовалось в обширной, куда хватал глаз, белой пустыне с серевшими кое-где по низинам балок и скатам холмов пятнами кустарников. Все спало вокруг, прикрытое снегом. Все было такое неуютное, бедное, холодное, безлюдное и, казалось, останется таким навечно. А Иван Федорович шел по этой бескрайной пустыне, и громы победы перекатывались в его распахнувшейся душе.

Немногим менее пяти суток прошло между этим тихим утром, когда Иван Федорович выступил к отряду, и тем поздним вечером, когда партизан в подбитом эрзац-мехом немецком капюшоне привел к Ивану Федоровичу в заброшенную хату под Городищами его жену Катю. Чудовищно сотрясавшие воздух и землю громы как бы распавшейся на части гигантской битвы перекатывались по необъятным просторам этой земли. И сам Иван Федорович сидел и смотрел в прекрасное лицо жены своей, весь черный от пороха.

Все смешалось, заклокотало, заблистало вокруг. Ночами зарницы светящихся ракет и даже вспышки орудий можно было видеть за десятки километров. Грохотало на земле и на небе. Развертывались гигантские танковые и воздушные бои. Люди из отряда Ивана Федоровича, знавшие уже, что навстречу им рвется танковый корпус, только что получивший звание гвардейского, не могли избавиться от иллюзии: казалось, они физически слышат скрежет брони сшибавшихся танковых масс. Свои и вражеские самолеты прочерчивали в небе белые спирали, которые часами неподвижно стояли в морозном воздухе.

Смешавшиеся тылы немецких частей ползли по грейдерным дорогам на запад и юго-запад, а бесчисленные проселки все были во власти Ивана Федоровича. Как это бывает во время сильного поражения, в условиях, когда победитель стремительно наступает, все силы немецкого оружия, еще способные к сопротивлению, были поглощены отражением этой главной грозной опасности, — не до партизан им было!

В крупных и мелких населенных пунктах, а особенно по берегам рек Камышная, Деркул, Евсуг, впадающих в Северный Донец, где заранее были созданы долговременные укрепления, а теперь спешно возводились новые, сидели немецкие гарнизоны. Вокруг каждого из таких укрепленных пунктов, даже тогда, когда он оказывался обойденным и оставался в расположении наступающих советских войск, развертывались жестокие, затяжные бои. Немецкие гарнизоны сражались до последнего солдата: был получен приказ Гитлера — не отступать, не сдаваться. А бегущие по проселкам разрозненные группы немецких солдат и офицеров — остатки ранее разбитых или плененных частей — становились добычей партизан.

Насколько быстро развертывалось наступление советских войск, можно было судить по тому, что за эти пять дней тыловые немецкие аэродромы, в течение нескольких месяцев почти пустовавшие, превратились в действующие аэродромы и на них обрушивалась вся мощь советской авиации. Немецкая бомбардировочная авиация дальнего действия спешно перебазировалась в глубокий тыл.

Они сидели одни в заброшенной избе — Катя, только что сбросившая деревенский полушубок, еще румяная от мороза, и Иван Федорович, черный от бессонницы. Бесовские искры поскакивали из одного его глаза в другой, и Иван Федорович говорил:

— Усе робим, як указують нам с политотделу гвардейского танкового корпуса, и добре робим! — И он засмеялся.— Катя, вызвал я тебя, бо бильш никòму не могу я доверить этого дела. Догадываешься, какого?

Еще она чувствовала его первое порывистое объятие и поцелуи на глазах своих, и глаза ее еще были влажны и сияли оттого, что смотрели на него. А он уже не мог говорить ни о чем, кроме самого важного, что занимало его теперь. И она сразу догадалась, зачем он вызвал ее. Нет, ей даже не надо было догадываться, она сразу узнала это, как только увидела его. Не пройдет и нескольких часов, как ей придется опять покинуть его и идти,— она знала куда. Почему она знала это, она не могла бы объяснить. Просто она любила его. И Екатерина Павловна в ответ на его вопрос только кивнула головой и снова подняла на него свои влажные, сияющие глаза,

которые были так прекрасны на ее резко очерченном, обветренном, немного даже суровом лице.

Он быстро вскочил, проверил, заперта ли дверь, и вынул из полевой сумки несколько листочков папиросной бумаги размером в четвертушку листа.

— Смотри.— Он бережно разложил листочки на столе.— Текст, как видишь, я весь зашифровал. Ну, а карту не зашифруешь.

Действительно, листочки были исписаны с обеих сторон остро отточенным карандашом и так мелко, что трудно было представить, как смогла сделать это человеческая рука. А на одном из листочков была тонко вычерчена карта Ворошиловградской области, испещренная квадратиками, кружочками и треугольничками. О том, какого труда стоила вся эта скрупулезная работа, можно было судить по тому, что самые крупные из этих знаков были величиной с тлю, а самые мелкие — величиной с булавочную головку. Это были тщательно собираемые в течение пяти месяцев, проверенные и дополненные по самым последним данным сведения о расположении главных линий обороны, укрепленных пунктов, огневых позиций и расположении аэродромов, зенитных батарей, автопарков, ремонтных мастерских, о численности войск, гарнизонов, их вооружении и о многом другом.

— Скажи, что в Ворошиловграде и по Донцу многое изменится по сравнению с моими данными, изменится в пользу противника. А все, что перед Донцом, так и будет, как есть. Еще скажи, что сильно укрепляют Миус. Выводы сделают сами, мне их не учить. А тебе скажу: коли воны укрепляють Миус, значит нема у Гитлера веры, що воны смогут удержать Ростов. Поняла?

Иван Федорович засмеялся звонко, весело,— так он смеялся обычно в кругу семьи, особенно с детьми, в те редкие минуты, когда бывал совсем, совсем свободен. На мгновение они забыли, что предстоит им обоим. Иван Федорович обеими руками взял ее за голову и чуть отстранил и, глазами, полными нежности, оглядывая лицо ее, все повторял:

— Ах, ты ж ласточка моя, ласточка моя... Да! — воскликнул он.— Я ж самого главного тебе не сказал: наши вступили на украинскую землю. Дивись...

Он вынул из полевой сумки большую склеенную военную карту и расстелил ее на столе. И первое, что бросилось Кате в глаза,— это были жирно очерченные синим и красным карандашом населенные пункты по северо-восточной окраине Ворошиловградской области, уже занятые советскими войсками. Горячая волна так и обдала сердце Кати: некоторые из этих пунктов были совсем близко от Городищ.

Встреча Ивана Федоровича и Кати произошла в те дни, когда еще не завершились второй и третий этапы великой Сталинградской операции и вторая линия окружения еще не замкнула навсегда сталинградскую группировку немцев. Но в эту ночь уже было известно, что немецкие войска, рвавшиеся на помощь сталинградской группировке в районе Котельниково, разгромлены и уже были получены первые сведения о наступлении наших войск на Северном Кавказе.

— Железную дорогу Лихая — Сталинград наши перерезали в двух местах, вот здесь, на Чернышевской и Тацинской,— весело говорил Иван Федорович,— а Морозовский еще держат немцы. Тут вот, по реке Калитве, почти все населенные пункты заняты нашими. Железная дорога Миллерово — Воронеж форсирована от Миллерова вот до этого пункта севернее Кантемировки. А Миллерово еще у немцев. Они его здорово укрепили. Да похоже, наши его обошли,— видишь, куда танки вырвались...— Иван Федорович провел пальцем по реке Камышной где-то западнее Миллерова и посмотрел на Катю.

Катя напряженно всматривалась в карту, как раз в те места, где наши были наиболее близко к Городищам, и в выражении глаз ее появилось что-то ястребиное. Иван Федорович понял, почему она так смотрит, и замолчал. Катя отвела глаза от карты и некоторое время смотрела прямо перед собой. Это был уже ее обычный, умный, задумчивый, немного грустный взгляд. Иван Федорович вздохнул и переложил листочек папиросной бумаги с нарисованной на ней картой поверх большой карты.

— Смотри сюда, все это ты должна запомнить, в пути смотреть на эту картинку тебе уже не придется,— сказал он.— Листки заховай так, чтобы в случае чего...

Одним словом, проглотишь. И хорошо продумай: кто ты? Сдается мне, ты беженка. Беженка, учителька,— ну, скажем, с Чира. Уходишь от красных. Так ты будешь немцам и полицаям говорить. А местным жителям... Местным жителям скажешь: идут с Чира к родным в Старобельск,— тяжело жить одной. Хороший человек пожалеет и пригреет, а дурному тоже придраться не к чему,— говорил Иван Федорович тихим, глуховатым голосом, не глядя на жену.— Запомни: фронта — так, как его здесь понимают,— нет. Наступают наши танки — там, здесь... Немецкие укрепленные пункты обходи так, чтобы не видели тебя. Но везде могут быть немцы случайные, проходные, этих бойся пуще всего. А как дойдешь вот до этого рубежа, дальше уже не двигайся, жди наших. Видишь, здесь у меня и на карту ничего не нанесено, здесь мы ничего не знаем, а расспрашивать тебе нельзя,— опасно. Найди якую-нéбудь одинокую старушку або жинку и оставайся у нее. Завяжется бой, залезайте у погреб и сидите...

Все это он мог бы и не говорить Кате, но ему так хотелось помочь ей хотя бы советом. С какой радостью пошел бы он сам вместо нее!

— Как только выйдешь, я сразу передам туда, что вышла. Если не встретят, объявляйся первому нашему толковому человеку и проси сопроводить в политотдел танкового корпуса...— Вдруг резвая искорка скакнула в его глазу, и он сказал: — А как попадешь в политотдел, не забудь от радости, что у тебя все ж таки муж есть, и попроси, чтоб мне передали: «Пришла, мол,— все благополучно...»

— Еще и не так скажу. Скажу: или наступайте швидче, выручайте моего чоловика, или пустыть мене до его обратно,— сказала Катя и засмеялась.

Иван Федорович вдруг смутился.

— Хотел я обойти этот вопрос, да, видно, его не обойти,— сказал он, и лицо его стало серьезным.— Як бы швидко ни наступали наши, да я ведь их ждать не буду. Наше дело отступать вместе с немцами. Наши — сюда, а мы с немцами — туда. Нас теперь с немцами водой не разлить. Пока последний немецкий солдат не уйдет с нашей ворошиловградской территории, буду я их бить по сю сторону. Иначе что ж бы обо мне подумали

наши старобельские, ворошиловградские, краснодонские, рубежанские, краснолучские партизаны да подпольщики?.. А вертаться тебе до меня безрассудно: не будет уже в этом никакой нужды. Послухай меня...— Он склонился к ней и положил свою плотную ладонь на тонкие пальцы ее руки и сжал их.— Ты при корпусе не оставайся, делать тебе там нечего, просись в распоряжение Военного совета фронта. Увидишь Никиту Сергеевича, просись на побывку к детям. Зазорного в том ничего нет, заслужила. А дети? Ведь мы даже не знаем, где они теперь,— в Саратове ли, где ли? Живы ли, здоровы ли?

Катя смотрела на него и ничего не отвечала. Грохот далекого ночного боя сотрясал эту отбитую от хутора маленькую хатенку.

Душа Ивана Федоровича была переполнена любовью и жалостью к ней, его подруге, любимой женщине. Ведь только он один знал, как она на самом деле ласкова, добра, какой нечеловеческой силой характера преодолевала она, его Катя, все опасности и лишения, унижение, смерть и гибель близких людей. Ивану Федоровичу хотелось поскорей унести свою Катю туда, где были свободные люди, где был свет, тепло, где были дети. Но не об этом думала его Катя.

Она все смотрела, смотрела на Ивана Федоровича, потом высвободила свою руку и ласково провела по его русым зачесанным волосам, которые за эти месяцы еще дальше отступили от висков, отчего высокий лоб его казался еще выше. Она провела своей ласковой рукой по этим мягким русым волосам и сказала:

— Не говори, не говори мне ничего... Не говори, я все сама знаю. Пусть используют меня, как надо, а проситься я никуда не буду. Пока ты будешь здесь, я всегда буду так близко от тебя, как только мне позволят...

Он хотел еще возразить ей, но вдруг все лицо его распустилось. Он схватил обе ее руки и уткнул свое лицо ей в ладони и задержался так некоторое время. Потом он поднял на нее синие глаза свои и сказал очень тихо:

— Катя...

— Да, пора,— сказала она и встала.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Сопровождал ее огромного роста медвежеватый старик из местных,— все называли его «старик Фома». В начале похода, когда Екатерина Павловна и старик Фома еще имели возможность перемолвиться двумя-тремя словами, Кате удалось выяснить, что фамилия его Корниенко, что он один из многочисленных Корниенков, первых украинских старожилов в здешней степи, и, как все Корниенки, состоит в дальнем родстве с Гордеем Корниенко.

Потом им разговаривать уже нельзя было.

Шли они всю ночь — то проселками, то просто по степи. Снег еще только покрыл поля, идти было нетрудно. Иногда то по северному, то по южному горизонтам ложился свет фар и мгновенно исчезал. Там, севернее и южнее, пролегали большие грейдерные дороги. И, несмотря на дальность расстояния, слышно было движение машин по ним. Южнее отходили немецкие части, разбитые в районе Миллерово, а севернее отходили части из-под Баранниковки — первого населенного пункта Ворошиловградской области, взятого нашими войсками.

Екатерина Павловна и старик Фома шли на восток, но часто меняли направление, чтобы обойти деревни и укрепленные пункты в степи. Путь казался Кате необыкновенно долгим, и все-таки они все ближе и ближе подходили к району боев: все слышнее становились тяжелые вздохи орудий и явственней обозначались их вспышки то там, то здесь по горизонту. К утру начал сеяться мелкий сухой снежок, приглушил все звуки, и ничего не стало видно.

Катя шла в стоптанных беженских валенках, с холщовой торбой за спиной, окутанная снегом. И все вокруг — и огромный старик Фома в шапке с поднятыми, но не завязанными, распадавшимися на две стороны меховыми ушами, и шорох шагов, и этот снег, мельтешивший перед глазами,— все казалось призрачным. Душа Кати погрузилась в полудрему, в полусон. Вдруг она почувствовала под ногами твердый грунт. Старик Фома остановился. Катя приблизила к нему лицо свое, и что-то сразу толкнуло ей в сердце: здесь они должны были расстаться.

Старик Фома с выражением ласковым и озабоченным вглядывался в ее лицо, а темная рука его указывала вдоль по проселку, на который они вышли. Катя посмотрела по направлению его руки. Уже светало. Старик большими руками взял ее за плечи, притянул к себе и жарко прошептал, щекоча ей ухо и щеку усами и бородой:

— Не больше, як сажен двести. Вы чуете меня?

— Прощайте,— шепнула она в ответ.

Пройдя немного по проселку, она оглянулась: Фома Корниенко все еще стоял на дороге. Катя поняла, что старик будет стоять до тех пор, пока она не скроется из глаз его. И правда, отойдя метров пятьдесят, она еще смогла различить его силуэт,— большой старик стоял, окутанный снегом, похожий на деда-мороза. А когда она оглянулась в третий раз, старика Фомы уже не было видно. Это была последняя деревня, где Катя могла рассчитывать на помощь своих людей,— дальше нужно было пробираться, надеясь только на себя. Деревушка была расположена позади выдвинутых на восток высотных укреплений, представлявших только часть наскоро созданной здесь немцами оборонительной линии. Наиболее удобные дома, как сказал Кате Иван Федорович, были заняты офицерами и штабами небольших подразделений, занимавших укрепленные пункты.

Иван Федорович предупреждал жену, что положение ее может усложниться, если к ее приходу деревня окажется забитой частями, вышибленными с немецкого оборонительного рубежа по речке Камышной. Речка эта, впадавшая в реку Деркул, приток Донца, текла с севера на юг, вблизи от границы Ростовской области, почти параллельно железной дороге Кантемировка — Миллерово. В одну из деревень, расположенных у речки Камышной, и должна была выйти Екатерина Павловна и там ждать наших.

Сквозь снежную паутинку Катя завидела силуэт ближней хаты, свернула с проселка и пошла полем в обход деревни, не теряя из виду крыш. Ей сказали, что ее хата третья по счету. Становилось все светлее. Катя подошла к малюсенькой хатке и прильнула к закрытому ставней окну. В хатке было тихо. Катя не постучала, а поскребла, как ее научили.

Долго никто не отвечал ей. Сердце ее сильно билось. Через некоторое время из хатки тихо отозвался голос — голос подростка. Катя поскребла еще раз. Маленькие ножки прошлепали по земляному полу, дверь приоткрылась, и Катя вошла.

В хате было совершенно темно.

— Звидкиля вы? — тихо спросил детский голос.

Катя произнесла условную фразу.

— Мамо, чуете? — сказал мальчик.

— Тихо,— шепотом отозвался женский голос.— Хиба ж ты не розумиешь по-русски? То ж русская женщина, разве ты не слышишь? Идить сюда, сидайте на кровать. Покажи, Сашко...

Мальчик захолодевшей рукой взял теплую, разогревшуюся в рукавице руку Екатерины Павловны и повлек Катю за собой.

— Обожди, я полушубок скину,— сказала она.

Но женская рука, протянутая навстречу, переняла Катину руку из руки подростка и потянула на себя.

— Сидайте так. У нас холодно. Вы немецких патрулив не бачили?

— Нет.

Екатерина Павловна сбросила торбу, сняла платок, встряхнула, потом расстегнула полушубок и, придерживая за полы, отрясла его на себе и только тогда села на кровать рядом с женщиной. Мальчик чуть слышно уселся с другого бока и — Катя не услышала, а почувствовала это материнским чутьем,— прижался к матери, к ее теплому телу.

— Немцев много в деревне? — спрашивала Катя.

— Да не так чтобы много. Они теперь и не ночуют туточки, а больше там, у погребах.

— Погребах... — усмехнулся мальчик. — В блиндажах!

— А все одно. Теперь, кажуть, должно прийти подкрепление до них, будут здесь фронт держать.

— Скажите, вас Галиной Алексеевной зовут? — спросила Катя.

— Зовите Галей, я ще не стара, Галя Корниенкова.

Так и говорили Кате, что она попадет еще к одним Корниенкам.

— Вы к нашим идете? — тихо спросил мальчик.

— К нашим. Пройти туда можно?

Мальчик помолчал, потом сказал с загадочным выражением:

— Люди проходили...

— Давно?

Мальчик не ответил.

— А як мени звать вас? — спросила женщина.

— По документу — Вера.

— Вера так Вера, люди здесь свои, поверят. А кто не поверит, ничего не скажет. Может, и есть такой дурной, кто выдал бы вас, да кто ж теперь насмелится? — со спокойной усмешкой сказала женщина.— Все знают, скоро наши придут... Разбирайтесь, ложитесь на кровать, а я вас накрою, чтоб было тепло. Мы с сыном у двоих спим, так нам тепло...

— Я вас согнала?!. Нет, нет,— с живостью сказала Катя,— мне хоть на лавке, хоть на полу, все равно я спать не буду.

— Заснете. А нам все одно вставать.

В хате действительно было очень холодно,— чувствовалось, что она не топлена с начала зимы. Катя уже привыкла к тому, что хаты при немцах стоят нетопленые, а пищу — нехитрую похлебку, или кашу, или картошку — жители готовят на скорую руку — на щепочках, на соломке.

Катя сняла полушубок, валенки и легла. Хозяйка накрыла ее стеганым одеялом, а сверху полушубком. И Катя не заметила, как заснула.

Разбудил ее страшный гулкий удар, который она во сне не столько услышала, сколько ощутила всем телом. Еще ничего не понимая, она приподнялась на кровати, и в это мгновенье еще и еще несколько ударов-взрывов наполнили своими мощными звуками и сотрясением воздуха весь окружающий мир. Катя услышала густой рев моторов,— самолеты пронеслись низко над деревней один за другим и сразу набрали высоту по немыслимой кривой. Катя не то что поняла, она просто расслышала по звуку, что это наши «илы».

— Наши! — воскликнула она.

— Да, то наши,— сдержанно сказал мальчик, сидевший на лавке у окна.

— Сашко, одягайся, одягайтесь и вы, Вера, чи як вас! Наши-то наши, а як дадут — не встанешь! — гово-

рила Галя, стоявшая посреди хаты с полынным веником в руке.

Несмотря на холод в хате, Галя стояла на земляном полу босая, с обнаженными руками, и мальчик тоже сидел раздетый.

— Ничего они не дадут,— сказал мальчик с сознанием своего превосходства над женщинами,— они по укреплениям бьют.

Он сидел, поджав под лавкой босые скрещенные ножки, щуплый мальчик с серьезными глазами взрослого человека.

— Наши илы — в такую погоду! — взволнованно говорила Катя.

— Ни, то с ночи залепило,— сказал мальчик, уловив ее взгляд, брошенный на заиндевевшие окна.— Погода хорошая: солнца нема, а снег уже не идет...

Привыкнув за свою жизнь учительницы иметь дело с подростками его возраста, Катя чувствовала, что мальчик интересуется ею и что ему очень хочется, чтобы она обратила на него внимание. В то же время мальчику настолько было присуще чувство собственного достоинства, что ни в жестах, ни в интонациях голоса он не допускал ничего такого, что могло бы быть воспринято как нескромность с его стороны.

Катя слышала яростную трель зенитных пулеметов где-то перед деревней. Как ни была она взволнована, она не могла не отметить, что немцы еще не располагают здесь зенитной артиллерией. Это значило, что эта линия укреплений только теперь внезапно приобрела значение важной линии обороны.

— Скорей бы уж наши приходили! — говорила Галя.— У нас и погреба нема. Когда наши отступали, мы от немецких самолетов к соседям в погреб бегали, а не то прямо в поле,— ляжем в бурьян или в межу, уши затиснем и ждем...

Новые бомбовые удары — один, другой, третий — потрясли хатенку, и снова наши самолеты с ревом пронеслись над деревней и взмылись ввысь.

— Ой, родненькие ж вы мои! — воскликнула Галя и, присев на корточки, закрыла уши ладонями.

Эта женщина, присевшая на корточки при звуке самолетов, была хозяйкой главной квартиры партизан этого района. Через квартиру Гали Корниенко шел

главный поток бежавших из плена или выходивших из окружения солдат Красной Армии. Катя знала, что муж Гали погиб в самом начале войны и что двое малых ребят ее умерли от дизентерии во время оккупации. Было что-то очень наивное и очень человеческое в этом невольном движении Гали — стать пониже, укрыться от опасности, хотя бы заткнув уши, чтобы не слышать. Катя кинулась к Гале и обняла ее.

— Не бойтесь, не бойтесь!..— воскликнула Катя с чувством.

— А я и не боюсь, да вроде бабе так полагается...— Галя подняла к ней спокойное лицо в темных родинках и засмеялась.

В этой хатенке Екатерина Павловна провела весь день. Понадобилась вся ее выдержка, чтобы дотянуть до темноты,— так хотелось поскорее выйти навстречу нашим. Весь день наши «илы», сопровождаемые истребителями, обрабатывали укрепления перед деревней. «Илов» было немного,— судя по всему, две тройки. Они делали по два-три захода, а отбомбившись, уходили на зарядку, заправку и возвращались снова. Так они работали с того самого утреннего часа, как разбудили Катю, до наступления темноты.

Весь день над деревней развертывались воздушные бои между нашими истребителями и «мессерами». Иногда слышно было, как проходили с гудением, очень высоко, советские бомбардировщики — на какие-то дальние рубежи обороны немцев. Должно быть, они бомбили укрепления по реке Деркул, впадавшей в Донец возле базы Митякинского отряда, где в глиняной пещере, заваленный, стоял «газик» Ивана Федоровича.

Несколько раз в течение дня проносились немецкие штурмовики и сбрасывали бомбы где-то недалеко, возможно за речкой Камышной. Оттуда все время доносился гул тяжелой артиллерии.

Однажды беспорядочная артиллерийская стрельба возникла в ближней полосе за немецкими укреплениями, куда лежал теперь путь Екатерины Павловны. Стрельба возникла будто издалека, а потом приблизилась и где-то уже совсем близко, достигнув своего апогея, внезапно стихла. К вечеру она вновь разгорелась, эта стрельба,— снаряды рвались перед самой деревней. В течение не-

скольких минут немецкие пушки били в ответ, били так часто, что в хате невозможно было разговаривать.

Екатерина Павловна и Галя многозначительно переглядывались. И только маленький Сашко все смотрел перед собой с загадочным выражением.

Эти бои в воздухе и артиллерийская стрельба заставили жителей попрятаться по хатам и погребам и избавили Екатерину Павловну от посетителей. А немецкие солдаты были, видно, поглощены своим прямым делом. Казалось, что деревня пуста и только в одной этой хатенке живут они трое — две женщины и мальчик.

Чем меньше оставалось времени до той решающей, а может быть, и роковой минуты, когда Катя должна была выступить, тем трудней ей было владеть собой. Она выспрашивала у Гали подробности предстоящего ей пути и сможет ли кто-нибудь показать ей дорогу, а Галя только говорила:

— Не тревожьте себя, отдыхайте. Успеете еще потревожиться.

Должно быть, Галя сама ничего не знала и просто жалела ее, и это только усиливало волнение Кати. Но если бы кто-нибудь посторонний зашел сейчас в хату и заговорил с Катей, он никогда бы не догадался о ее переживаниях.

Сумерки сгустились, и «илы» закончили последний свой хоровод, и смолкли зенитные пулеметы. Все стихло вокруг, и только в дальнем огромном пространстве все еще продолжалась своя непонятная трудовая, боевая жизнь-страда. Маленький Сашко спустил свои скрещенные под лавкой ноги в валенках, которые он все-таки обул днем, подошел к двери и молча стал напяливать на себя залатанный кожушок — когда-то белой, а теперь грязной кожи.

— Пора вам, Верочка,— сказала Галя, — в самый теперь раз. Они, черти, лягут теперь трошки отдыхать. А из своих может зайти теперь кто-нибудь до нас, лучше будет, чтобы они вас не видели.

В сумерках трудно было различить выражение ее лица, голос ее звучал глухо.

— Куда мальчик собирается? — спросила Катя с возникшим в ней смутным, тревожным чувством.

— Ничего, ничего,— торопливо сказала Галя. Она порывисто забегала по хате, помогая одеться Кате и сыну.

На мгновение взгляд Кати с материнским выражением остановился на бледном личике Сашко. Так вот кто был тот знаменитый проводник, который на протяжении пяти месяцев оккупации проводил через всю глубину вражеских укреплений,— проводил и одиночками, и группами, и целыми отрядами,— сотни, а может, и тысячи наших людей! А мальчик уже не глядел в сторону Кати. Он напяливал свой кожушок и всеми своими движениями как бы говорил: «Много было у тебя времени поглядеть на меня, да ты не догадалась, а теперь ты лучше мне не мешай».

— Вы трохи обождите, а я выйду покараулю и вам скажу.— Галя помогла Екатерине Павловне просунуть негнущиеся в рукавах полушубка руки за лямки и оправила торбу на ее спине.— Давайте ж простимся, бо не буде часа. Дай бог вам всего наисчастливого...

Они поцеловались, и Галя вышла из хаты. Катя уже не удивлялась, что мать не приласкала сына, даже не простилась с ним,— теперь Катя уже ничему не удивлялась. Она понимала, что слова «они привыкли» здесь неприменимы. Сама она, Катя, не удержалась и зацеловала, затискала бы своего мальчика, если бы судьба судила провожать его на такое смертельно опасное дело. Но Катя не могла не согласиться с тем, что Галя поступает более правильно. И, должно быть, если бы Галя поступила иначе, маленький Сашко уклонился бы от ее ласки, даже принял бы враждебно ее ласку, потому что материнская ласка могла теперь только размягчить его.

Кате было неловко наедине с Сашко. Она чувствовала, что все, что она скажет, прозвучит фальшиво. Но все-таки она не выдержала и сказала очень деловым тоном:

— Ты не ходи далеко, а только покажи мне, где пройти между этими укреплениями. Дальше я дорогу знаю.

Сашко молчал и не глядел на нее. В это время Галя приоткрыла дверь и сказала шепотом:

— Идить, нема никóго...

Стояла пасмурная, тихая, не очень холодная и не темная ночь,— должно быть, месяц стоял за пленкой зимнего тумана, да и снег светлил.

Сашко — не в шапке, а в очень поношенном и великоватом ему мятом картузе, без рукавиц, в валенках — пошел, не оглядываясь, прямо в поле. Должно быть, он хорошо знал, что мать не подведет: сказала «нема нико́го» — значит, никого и нема.

Перемежающаяся линия холмов, через которую они должны были пройти, тянувшаяся с севера на юг, была водоразделом между рекой Деркулом и ее притоком Камышной. Деревня лежала в низинке между двух чуть возвышавшихся отрожков, уходивших в степь в сторону Деркула, постепенно понижавшихся и сливавшихся со степью. Сашко шел прямо по полю в сторону от деревни, чтобы пересечь один из этих отрожков. Катя поняла, почему Сашко взял это направление: как ни мало возвышался над степью отрожек,— когда они перевалили его, их уже нельзя было видеть из деревни. Перейдя на другую сторону отрожка, Сашко свернул вдоль него на восток. Теперь они шли перпендикулярно к линии холмов с немецкими укреплениями.

С того момента, как они вышли, Сашко ни разу не оглянулся, идет ли за ним его спутница. Она покорно шла за ним. Они шли теперь по выступавшей из неглубокого снега редкой стерне — низинкой, такой же, как и та, где расположена была деревня. Как и в прошлую ночь, явственно доносилась возня отступавших немецких войск по грейдерным дорогам, где-то севернее и южнее. Говор орудий стал реже и громче и больше на юго-востоке, под Миллеровом. Где-то очень далеко, должно быть над речкой Камышной, подвисали лампы немецких осветительных бомб. Это было так далеко, что мертвенный свет их был только виден отсюда, но не рассеивал полутьмы. Если бы такую лампу подвесили бы над одной из высоток впереди, Сашко и Катя стали бы видны здесь как на ладони.

Мягкий снег бесшумно сдавал под ногами, слышно было только, как шуршат по стерне валенки. Потом стерня кончилась. Сашко оглянулся, сделал рукой знак подойти. Когда Катя приблизилась к нему, он присел на корточки и показал, что она должна сделать то же. Она просто села на снег в своем полушубке. Сашко

быстро указал пальцем на нее и на себя и провел по снегу черту направлением на восток. Кисти рук его были скрыты рукавами кожушка, он выпростал их и быстро нагреб острую грядку из снега поперек только что проведенной им линии. Катя поняла, что он начертил линию их пути и препятствие, которое им предстояло преодолеть. Потом он убрал жменьку снега из грядки в одном месте и жменьку в другом, сделав как бы два прохода в грядке, отметил костяшками пальцев пункты укреплений по обеим сторонам проходов и провел линию сначала через один проход, потом через другой. Катя поняла, что он показывает две возможности их пути.

Катя усмехнулась, вспомнив суворовское изречение: каждый солдат должен понимать свой маневр. В глазах этого десятилетнего Суворова она, Катя, была его единственным солдатом. Она кивнула головой, что поняла «свой маневр», и они пошли.

Они совершали теперь обходное движение в северо-восточном направлении. Так дошли они до густой повители колючей проволоки. Сашко сделал знак, чтобы Катя легла, а сам пошел вдоль проволоки. Вскоре его не стало видно.

Перед Катей тянулась линия проволочных заграждений примерно рядов в двенадцать. Линия была старая. проволока уже заржавела,— Катя даже пощупала ее. Здесь не было никаких следов работы «илов». Должно быть, эту линию заграждения немцы вывели против партизан: она защищала холм с тыла и расположена была далеко от главных укреплений.

Давно уже не испытывала Катя такой муки ожидания. Время шло, а Сашко все не было. Прошел час, другой, а мальчик все не возвращался. Но почему-то Катя не волновалась за него: это был мальчик-воин, на которого можно было положиться.

Она так долго лежала без движения, что ее начал пробирать озноб. Она ворочалась с боку на бок, наконец не выдержала и села. Нет, пусть маленький Суворов осудит ее, но если уж он оставил ее так надолго, она попробует хотя бы разобраться в местности. Если мальчик пошел, а не пополз, то она тоже может немножко походить согнувшись.

Едва она отошла шагов пятьдесят, как вдруг увидела нечто такое, от чего ее в дрожь бросило — от радост-

ной неожиданности. Перед ней была неровная воронка от свежеразорвавшегося снаряда. Снаряд разорвался совсем недавно, вывернув черную землю и разбрызгав ее по снегу. Это была воронка именно от снаряда, а не от бомбы, сброшенной с самолета. Это сразу можно было понять по тому, как легла вывороченная земля — больше на одну сторону, как раз на ту сторону, откуда пришли Сашко и Катя. И, видно, Сашко тоже обратил внимание на это, он обошел воронку, прежде чем идти дальше,—так показывали следы.

Катя блуждала взором по снегу, ища других воронок, их не было — во всяком случае в непосредственной близости от Кати. Непередаваемое, совсем особого рода волнение овладело ею: это могла быть воронка только от нашего снаряда. Но это не была воронка от снаряда дальнобойной тяжелой артиллерии, это был выброс земли, произведенный снарядом орудия среднего калибра,— наши стреляли не с такого уж дальнего расстояния. Должно быть, это был след — один из следов той ожесточенной артиллерийской стрельбы, что слышали они втроем в Галиной хатенке перед вечером.

Наши близко! Они — рядом! Какими словами передать чувства этой женщины, пять месяцев проведшей вдали от детей своих, в борьбе непрестанной, страшной, с непокидающей мечтою о той минуте, когда окропленный кровью Человек в шинели вступит на поруганную врагом родную землю и раскроет свои братские объятия? С какой силой рванулась измученная душа ее к нему, к Человеку, который был ей в эту минуту ближе, чем муж или брат!

Она услышала мягкий звук валенок по снегу, и Сашко подошел к ней. В первое мгновение она даже не обратила внимание на то, что его кожушок спереди, и колени, и валенки не в снегу, а в земле,— мальчик шел, сунув руки в рукава, должно быть ему пришлось долго ползти и он замерз. С жадностью вперила она взор свой в его лицо — что же несет он ей? Но лицо мальчика под этим большим, опустившимся на уши картузом было бестрепетно. Он только выпростал из рукавов кисти рук и сделал жест отрицания: «Здесь пройти нельзя».

Жест этот сразил ее. Мальчик посмотрел на воронку, а потом на Екатерину Павловну,— глаза их встретились, и мальчик вдруг улыбнулся. Должно быть, вид

этой воронки раньше произвел на него такое же впечатление, как теперь на нее. Он понял все, что происходит с Екатериной Павловной, и улыбка его сказала: «Ничего, что здесь пройти нельзя, мы пройдем в другом месте».

Их отношения вступили в новую фазу,— они поняли друг друга. Они по-прежнему не говорили ни слова, но они подружились.

Она представляла себе, как он там ползал, упираясь в мерзлую землю голыми тонкими руками. Но мальчик не дал себе отдохнуть ни единой минуты. Он поманил Катю за собой и пошел в обратном направлении по их старому следу.

Трудно было бы определить чувство, какое Катя испытывала к этому мальчику. Это было чувство товарищества, чувство доверия, подчинения, уважения. В то же время это было чувство материнства. Это были все эти чувства, слитые вместе.

Она не стала расспрашивать, что помешало им пройти здесь. Она ни на мгновение не усомнилась в том, что он повернул не домой, а ведет ее обходным путем ко второму проходу через укрепления. Она не предложила ему своих рукавиц согреть руки, потому что знала — он не возьмет.

Через некоторое время они опять свернули на север, потом на северо-восток и опять вышли к проволочным заграждениям, опоясывавшим основание уже другого холма. Сашко ушел, а Катя опять ждала и ждала его. Наконец он появился, еще больше вымазавшийся в земле, с этим напущенным на уши картузом и засунутыми в рукава кистями рук. Катя поджидала его, сидя на снегу. Он приблизил свое лицо к ее лицу, подмигнул ей одним глазом и улыбнулся.

Она все-таки предложила ему свои рукавицы, но он отказался.

То, что ей представлялось наиболее трудным, оказалось на деле, как это часто бывает в жизни, даже не легким, а незаметным. Да, она просто не заметила, как они прошли между двумя укрепленными пунктами. Это было самое простое из всего, что ей пришлось пережить за этот поход. И только потом она поняла, почему это было так просто. Она даже не могла вспомнить, долго ли они шли, а потом ползли. Она помнила только, что вся эта местность была вывернута наизнанку в резуль-

тате дневной работы «илов», и помнила она это потому, что ее полушубок, валенки и рукавицы, когда Сашко и Катя вышли в поле, были тоже запачканы землей, как у Сашко.

Потом они еще довольно долго шли по этому обширному мелкохолмистому полю, по чистому снегу. Наконец Сашко остановился и обернулся, поджидая Катю.

— Дорога ось де буде. Бачишь, чи ни? — шепотом сказал он и вытянул руку.

Он показывал ей, как выйти на проселок, связывавший деревню, из которой они вышли, с хутором, через который лежал ее дальнейший путь. Теперь она попала в ту полосу, где, по карте Ивана Федоровича, было мало немецких укрепленных пунктов, но где в связи со стремительным отступлением немцев должна была царить, по выражению Ивана Федоровича, страшная мешанина. Отступающие разрозненные части могли возводить в этой полосе временные укрепления и вести арьергардные бои. В любом месте можно было наткнуться на отступающие немецкие подразделения или на случайно отбившихся солдат. И любой из населенных пунктов мог неожиданно оказаться на переднем крае немецкой обороны. Этот участок пути Иван Федорович считал наиболее опасным.

Однако, если не считать все той же возни отступающих частей по грейдерным дорогам и продолжающейся канонады на юго-востоке, под Миллеровом, ничто здесь не указывало на обстановку, обрисованную Иваном Федоровичем.

— Счастливо вам,— сказал Сашко, опустив руку.

Вот тут материнское чувство к нему возобладало над всеми остальными. Ей захотелось подхватить его на руки, прижать к сердцу и держать так долго-долго, укрыв от всего света. Но, конечно, это могло вконец испортить их отношения.

— Прощай. Спасибо тебе.— Она сняла рукавицу и подала ему руку.

— Счастливо,— снова повторил он.

— Да, забыла,— сказала Катя с легкой улыбкой.— Почему тем проходом нельзя пройти?

Сашко сурово потупился.

— Фрицы хоронили своих. Большу-у-ую яму выкопали!..

И жестокая, недетская улыбка появилась на лице его.

Некоторое время Катя шла, оглядываясь, чтобы подольше не выпускать мальчика из виду. Но Сашко ни разу не оглянулся и скоро исчез во тьме.

И тут случилось самое сильное потрясение, которое на всю жизнь осталось в ее памяти. Катя прошла не более двухсот метров, и по ее ощущениям она должна была уже вот-вот выйти на дорогу. Как вдруг, поднявшись на бугор, она прямо перед собой увидела стоящий за бугром громадный танк с устремленным наискось ее пути длинным стволом орудия. Странное, темное, увенчанное чем-то шарообразным сооружение на башне танка, прежде всего бросившееся ей в глаза, вдруг зашевелилось и оказалось стоящим в открытом люке танкистом в ребристом шлеме.

Танкист так быстро направил на Катю автомат, что казалось, будто он уже поджидал ее с наведенным автоматом, и сказал очень спокойно:

— Стоять!

Он сказал это тихо и одновременно громко, сказал повелительно и в то же время вежливо, поскольку имел дело с женщиной. Но главное — он сказал это на чистом русском языке.

Катя уже ничего не была в силах ответить, и слезы хлынули у нее из глаз.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Танки, к которым вышла Екатерина Павловна,— их было два, но второго, стоявшего по ту сторону дороги, тоже за бугром, она в первое мгновение не заметила,— представляли собой головной дозор передового танкового отряда. А танкист, остановивший ее, был командир танка и командир головного дозора, о чем, впрочем, нельзя было догадаться, так как офицер был в обычном комбинезоне. Все это Катя узнала позднее.

Командир приказал ей спуститься, выпрыгнул из танка, а за ним выпрыгнул танкист. Пока командир выяснял ее личность, она рассматривала его лицо. Командир был совсем еще молод. Он был смертельно утомлен и, видно, так давно не спал, что веки сами собой опускались на глаза его, он подымал эти набухшие веки с видимым трудом.

Катя объяснила ему, кто она и зачем идет. Выражение лица у офицера было такое, что все, о чем она говорит, может быть и правдой, а может быть и неправдой. Но Катя не замечала этого выражения, а только видела перед собой его молодое, смертельно усталое лицо с набухшими веками, и слезы снова и снова навертывались ей на глаза.

Из темноты по дороге вынырнул мотоциклист, застопорил у танка и спросил обыкновенным голосом:

— Что случилось?

По характеру вопроса Катя поняла, что мотоциклист вызван из-за нее. За пять месяцев работы в тылу врага у нее выработалась привычка подмечать такие мелочи, которым в обычное время люди не придают значения. Даже если бы из танка радировали на тот пункт, где находился мотоциклист, он не мог бы прибыть так скоро. Каким же способом он был вызван?

В это время подошел командир другого танка, бегло взглянув на Катю, и двое командиров и мотоциклист, отойдя в сторону, некоторое время поговорили между собой. Мотоциклист умчался во тьму.

Командиры подошли к Кате, и старший с некоторым смущением спросил, есть ли у нее документы. Катя сказала, что документы она вправе предъявить только высшему командованию.

Некоторое время они постояли молча, потом второй командир, еще более молодой, чем первый, спросил баском:

— В каком месте вы прошли? Укреплены они здорово?

Катя передала все, что знала об укреплениях, и объяснила, как прошла сквозь них с мальчиком десяти лет. Она рассказала и о том, как немцы хоронили своих и как она видела воронку от нашего снаряда.

— Ага! Вон где один приложился! Видал? — воскликнул второй командир, взглянув на старшего с детской улыбкой.

Только теперь Катя поняла, что артиллерийская стрельба, то приближавшаяся, то стихавшая, которую она слышала днем, а потом перед наступлением темноты в хате у Гали, это была стрельба наших головных танков, атаковавших укрепления противника.

С этой минуты отношения с командирами у Кати установились более дружеские. Она даже осмелилась спросить у командира головного дозора, каким способом он вызвал мотоциклиста, и командир объяснил ей, что мотоциклист был вызван световым сигналом, включением лампочки в кормовой части танка.

Пока они так беседовали, примчался мотоциклист с коляской. Мотоциклист даже откозырял Кате,— чувствовалось, что он относится к ней уже не только как к своему человеку, а и как к человеку важному.

С того момента, как она села в коляску, Катей овладело совершенно новое чувство, которое она продолжала испытывать и еще несколько дней после того, как попала к своим. Она догадывалась, что попала всего лишь в танковое подразделение, вырвавшееся вперед на территорию, где еще господствует противник. Но она уже не придавала силам противника никакого значения. И противник, и вся та жизнь, какой она, Катя, жила эти пять месяцев, и трудности ее пути — все это не только осталось позади, все это вдруг далеко-далеко отодвинулось в ее сознании.

Великий моральный рубеж отделил ее от всего того, что только что ее окружало. Мир людей с такими же, как у нее, чувствами, переживаниями, характером мышления и взглядом на жизнь обнимал ее. И он был так огромен, этот мир, что по сравнению с тем миром, где она жила до сих пор, он казался просто бесконечным. Она могла ехать на этом мотоцикле еще день и еще год, и всюду был бы он, этот свой мир, где не нужно таиться, лгать, делать неестественные моральные и физические усилия. Катя снова стала сама собой и — навсегда.

Морозный ветер обжигал ей лицо, а в душе у нее было такое чувство, что она могла бы запеть.

Мотоциклист мчал ее не день, даже не час,— он мчал ее не более двух минут. Он чуть притормозил, въезжая на мосток через припорошенную снегом и, должно быть, высохшую за лето речушку. И в низкой, с пологими краями балке, образованной этой речушкой, Катя увидела сразу около десятка танков и несколько грузовых машин, вытянувшихся дальше по дороге. В машинах и возле них сидели и стояли наши автоматчики

из так называемой мотопехоты — самые обыкновенные автоматчики в зимних шапках и ватниках.

Здесь Катю уже ждали. Едва мотоцикл съехал с мостика, как к ней подошли два танкиста в комбинезонах и, подхватив под руки, помогли вылезть из коляски.

— Извините, товарищ...— Танкист, человек уже пожилой, взяв под козырек, назвал Катю по фамилии той учительницы из Чира, на которую был выписан фальшивый документ,— извините, я должен выполнить эту формальность...

Он сверху вниз осветил ее паспорт карманным фонариком и тут же вернул.

— Все в порядке, товарищ капитан! — Он обернулся к другому танкисту с лицом, рассеченным наискось через лоб, переносицу и левую щеку,— шрам был свежий, только что зарубцевавшийся.

— Замерзли? — спросил капитан, и по интонациям его голоса, ласкового, вежливого, с бархатными перекатами, и по всей повадке его, скромной и в то же время повелительно-смелой, Катя догадалась, что имеет дело с командиром танкового отряда.— И отогреть вас некогда,— выступаем. Впрочем... Если не побрезгуете...— Он неловким движением тяжелой своей руки передвинул из-за поясницы наперед висевшую через плечо флягу и вынул пробку.

Катя молча взяла флягу обеими руками и сделала глубокий глоток

— Спасибо.

— Еще!

— Нет, спасибо...

— Есть распоряжение немедленно доставить вас в штаб корпуса, доставить в танке,— сказал капитан с усмешкой.— Противника на пути мы, правда, подавили, да зона такая,— черт его знает!

— Откуда вы узнали мою фамилию? — спросила Катя, чувствуя, как огнем прожигает ее этот глоток разведенного спирта.

— Вас ждут.

Значит, все это подготовил Иван Федорович, ее Ваня. Ей стало жарко.

Пришлось снова рассказать все, что она знала об укреплениях впереди деревни. Катя догадывалась, что танки пойдут сейчас брать эти высотки. И действитель-

но, пока ей помогали подняться на башню и спуститься в холодный танк, громадность которого она ощутила, только оказавшись в непосредственной близости от него,— танки вокруг заревели со страшной выразительностью, а автоматчики бросились по машинам.

Экипаж танка, в котором ей предстояло совершить свой путь, состоял из четырех человек. У каждого из них было свое место,— Екатерину Павловну они посадили прямо на днище боевого отделения. В танке было тесно, она сидела у ног командира. Из всей команды только один водитель не был ранен.

Командир танка был ранен в голову. Обмотанная бинтом поверх толстого слоя ваты голова его не могла принять на себя шлем,— командир был в обыкновенной солдатской шапке. Он был ранен еще и в руку: она покоилась на перевязи, и он, сам того не замечая, очень оберегал ее, чтобы не задеть за что-нибудь, и иногда морщился от толчков.

Ему и его экипажу очень не хотелось уезжать от товарищей, и вначале они холодно отнеслись к Кате, как к виновнице того, что их отправляют в тыл. Как выяснилось, только командир и водитель танка были из основного экипажа, двое других были высажены — при невероятном их сопротивлении — из других танков и заменены здоровыми ребятами из этого экипажа. В момент, когда Катю подвели к танку, между командиром танка и капитаном произошла небольшая перепалка — в тонах, правда, вполне корректных, но у обоих было ужасное выражение на лицах. Однако капитан с этим не вполне зажившимся шрамом через все лицо настоял на своем. Он использовал отъезд Кати, чтобы освободить отряд от раненых.

Однако, когда танк тронулся и танкисты рассмотрели, что с ними едет молодая женщина, они изменили отношение к ней. Выяснилось к тому же, что Катя только что прошла сквозь те укрепления, которые предстояло взять танковому отряду. Танкисты оживились. Все это были молодые ребята, лет на пять, на семь моложе Кати.

Командир танка тут же велел открыть «второй фронт» — так называлась американская консервированная тушенка. Стрелок-радист в одно мгновение открыл «второй фронт» и нарезал хлеба богатырскими ломтями,

и командир левой рукой предложил Кате свою флягу. От фляги она отказалась, но с аппетитом отведала и тушенки и хлеба. Танкисты по очереди приложились к фляге командира, и в танке установились вполне дружеские отношения.

Они двигались так быстро, как только могли. Катю мотало из стороны в сторону. Вдруг стоявший в открытом люке башенный стрелок присел и, почти прижавшись губами к уху командира, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, не слышите?

— Началось? — хрипло спросил командир танка и тронул ногой плечо водителя.

Водитель затормозил. И в наступившей тишине все услышали частую артиллерийскую стрельбу. Звуки эти, наполнившие ночь, доносились с той стороны, откуда Катя пришла.

— Эге, нету у фрицев осветительных ракет! — удовлетворенно сказал башенный стрелок, снова высунувший голову из танка.— Наши здорово идут, я вспышки вижу...

— Дай посмотреть!

Старший лейтенант поменялся местом с башнером и бережно высунул свою забинтованную голову. Пока он смотрел, танкисты, забыв о присутствии Кати, строили разные предположения о ходе дела и снова выражали досаду на то, что они не в своих танках.

Командир бережно втащил свою забинтованную голову обратно в танк,— выражение лица у него было просто болезненное. Однако он не мог забыть о присутствии Кати и немедленно прекратил весь этот разговор. Все же Катя видела по его лицу, как горько ему, что он не может принять участие в бою. Он даже вынужден был позволить всем по очереди посмотреть, что там происходит, прежде чем они тронулись дальше.

В общем все они немножко пали духом. Но Екатерина Павловна была женщина находчивая и сразу стала расспрашивать танкистов о боевых делах. Из-за скрежета машины очень трудно было разговаривать — они все время кричали. Воспоминания снова разогрели их. По сбивчивым их рассказам Екатерина Павловна составила себе первую приблизительную картину о боевых действиях в той полосе, куда она попала.

Советские танковые части форсировали железную дорогу Воронеж — Ростов на большом участке между Россошью и Миллеровом и выбили немцев с их оборонительного рубежа на речке Камышной, а севернее, в районе деревни Ново-Марковки, вышли даже на верховья реки Деркул. Отступавшие немецкие части спешно превращали водораздел между Камышной и Деркулом, в частности те высотки, мимо которых удалось пройти Кате, в передний край обороны. Новый рубеж шел через Лимаревку, Беловодск, Городищи — места, где оперировали сейчас отряды под руководством Ивана Федоровича, и до самого Донца, где находилась база Митякинского отряда. Катя, хорошо знавшая эти места, только теперь могла оценить всю мощь удара советских войск. В то же время она видела и все трудности, стоявшие на пути наших войск. Им предстояло преодолеть укрепленные берега рек Деркул, Евсуг, Айдар, Боровая, железную дорогу Старобельск — Станично-Луганская, наконец самый Донец.

Передовой танковый отряд, в который вышла Катя, уже двое суток был оторван от своей части, следовавшей за ним километрах в пятнадцати. Двигаясь в западном направлении, отряд подавил все встречавшиеся на пути пункты сопротивления противника, занял несколько хуторов и деревень, в том числе и ту самую деревню, куда, по указанию Ивана Федоровича, должна была выйти Катя.

Танк, в котором следовала Катя, днем был в головном дозоре и участвовал в атаке на известные ей высотки. Головной дозор, внезапно наткнувшись на вражеское укрепление, открыл орудийный и пулеметный огонь и вызвал на себя весь огонь противника. В этой атаке танк был поврежден, а командир был ранен в голову и в руку.

Они так отдалились от места боя, и это уже было так явно непоправимо, что постепенно на всех, кроме Кати и водителя танка, напала усталость и жажда сна, какая нападает на бойцов, вырвавшихся на отдых после боевой страды. Катя испытывала к ним нежность и жалость.

Так миновали они несколько населенных пунктов. Вдруг водитель обернулся к Кате и крикнул:

— Наши идут!

Они ехали все время по дороге, а теперь свернули на поле, и водитель остановил машину.

Стояла глубокая ночь, тишину которой прерывали только звуки дальних и ближних боев — такие привычные для слуха военного человека. И в этой тишине, все нарастая и приближаясь, слышались гудение и скрежет движущихся навстречу металлических масс. Водитель посигналил приглушенными огнями фар. Командир танка и башенный стрелок вылезли из машины, а Катя выпрямилась в башне.

Мотоциклисты промчались мимо, показались надвигавшиеся по дороге и по степи танки и бронемашины. Они наполнили ночь своим грохотом. Катя закрыла рукавицами уши поверх платка. Танки, скрежеща, с резкими выхлопными звуками ползли мимо, массивные и грузные, с темными хоботами пушек,— они производили впечатление могучее и страшное, еще усиливающееся тьмою.

Маленькая бронемашина остановилась возле их одинокого танка, из нее выбралось двое военных в шинелях. Некоторое время они переговаривались с командиром танка, крича в уши друг другу, изредка поглядывая на Катю, стоявшую в танковой башне. Потом военные в шинелях снова влезли в бронемашину, и она помчалась по степи, обгоняя танковый поток.

Движение танков чередовалось с движением грузовых машин с мотопехотой. Машины плавно катились по дороге. Автоматчики смотрели в сторону одинокого танка в степи, из которого на них глядела женщина, прикрывшая уши рукавицами.

Катю ошеломило это движение тяжелых масс металла и масс людей во тьме, точно слившихся с металлом. И, должно быть, именно с этой минуты к тому чувству внутреннего освобождения, которое Катя испытывала, примешалось еще новое чувство, от которого она долго не могла освободиться. Ей казалось, что все это видит, переживает не она, Катя, а кто-то другой. Она видела себя со стороны и видела так, как видят себя во сне. Она впервые почувствовала, что отвыкла от этого мира, ворвавшегося в ее душу с такой неимоверной силой. И в охватившем ее калейдоскопе лиц, событий, разговоров, наконец человеческих понятий, среди которых были и совсем новые и такие, которых она давно

не употребляла,— она долго не могла найти самое себя.

С тем большей силой хотелось ей видеть Ивана Федоровича, чувствовать его близость. Ее беспокойство о нем граничило со страданием. Чувство любви, тоски ранило ее сердце и было тем более безысходно, что она давно уже забыла, что такое слезы.

Красная Армия, с которой встретилась Екатерина Павловна,— это была армия, уже знавшая о том, что она армия-победительница.

Спустя полтора года войны армия-победительница не только не оскудела в своем оснащении,— она предстала перед Екатериной Павловной в такой мощи вооружения, которая превосходила мощь врага даже в те навеки запомнившиеся дни унижения, когда враг, вооруженный всем, что могли ему дать лучшие заводы порабощенной Европы, сметая все, катился неумолимый по раскаленной донецкой степи. Но еще более того потрясали Катю люди, с которыми свела ее теперь судьба. Да, люди, с которыми в калейдоскопической смене сталкивалась, соприкасалась Екатерина Павловна, это были уже люди новой складки. Они не только овладели мощностью новой техники, они по духовному облику своему как бы перешли в новый, высший класс истории человечества.

Кате мучительно казалось порой, что они, эти люди, настолько опередили ее, что ей уже никогда их не догнать.

Танк с этим чудесным «сводным» экипажем под командованием старшего лейтенанта, раненного в голову и в руку, доставил Катю в штаб танковой бригады, встреченной ими на походе. Собственно, это был не штаб,— здесь были только командир бригады с оперативной группой. Они помещались на хуторе, сильно разбитом в бою с противником не далее как вчера утром.

Молодой огненноглазый полковник с лицом таким же черным от бессонницы, как и у штабных, следовавших вместе с ним, принял ее в единственном непострадавшем домике. Он извинился, что не может принять ее лучше: он сам заскочил сюда на минутку и должен сейчас выступать. Все-таки он предложил Кате задержаться здесь и поспать.

— Скоро сюда прибудет наш второй эшелон, найдется кому присмотреть и поухаживать за вами,— говорил он.

В домике было жарко натоплено. Офицеры заставили Катю снять полушубок и обогреться.

Как ни разбит был хутор, в нем оказалось еще много жителей — большей частью женщин, детей и стариков. Советские военные люди, да еще танкисты, были им и в радость и в новинку. Жители набивались всюду, где появлялись военные, особенно — командиры. Связисты уже вели и в этот домик и в соседние полуразбитые домики телефонный провод, подготовляя все для штаба и его учреждений.

Катя выпила чаю,— это был настоящий чай. А через полчаса закрытый вездеход командира мчал ее в штаб корпуса. Сопровождал ее теперь только один сержант-автоматчик. И лица старшего лейтенанта-танкиста с забинтованной головой, и черного полковника с огненными глазами, и еще десятки других лиц исчезли из памяти Кати.

Занялось морозное утро, туман окутывал всю местность. Но где-то там, за туманом, вставало солнце,— Катя двигалась прямо на солнце.

Ехали они по большой грейдерной дороге, навстречу шли войска. Если бы не вездеход, беспрестанно съезжавший в степь, покрытую неглубоким снегом, Кате не скоро удалось бы добраться до штаба корпуса. Вскоре машина переправилась вброд через мелкую здесь и сильно замутненную речку Камышную, волочившую крошево снега, льда и песка, истолченных беспрерывно переходившими через речку, и должно быть во многих местах, танками и пушками.

Туман немного поредел, солнце, на которое можно было смотреть, висело низко над горизонтом. По всему протяжению реки, в обоих берегах ее Катя видела немецкие укрепления, занятые теперь нашими войсками. Местность вокруг была сильно покорежена снарядами и передвижением танков и тягачей, выводивших на новые позиции тяжелые орудия.

За рекой движение по дороге стало еще более затрудненным из-за обилия войск, двигавшихся на юго-запад, и обратного движения пленных солдат оккупационных армий. Их вели и малыми группами и большими

партиями. В прожженных шинелях, небритые, грязные, они ползли по размешанной дороге или прямо по степи, придавленные позором поражения и плена. Местность, по которой их вели, несла на себе страшные следы причиненных ими разрушений. Плодородная степь, столетиями рождавшая хлеб, лежала истерзанная, деревни были сожжены и разбиты. Там и здесь чернели остовы обгоревших танков, исковерканных грузовиков, торчал хобот подбитого орудия или вывернутое косо крыло самолета с черной свастикой. Скрюченные морозом трупы вражеских солдат валялись по степи и прямо на дороге, их некому и некогда было убирать, и танки и тяжелые орудия ползли через них, расплющивая их в страшные оладьи.

Люди, шагавшие в наступающих колоннах, сидевшие в танках, в грузовиках, люди, утомленные и в то же время вдохновленные героическими тяжкими перипетиями сражения, длившегося около десяти суток, сражения, в котором они были победителями,— люди уже не обращали внимания на трупы врагов. И только Катя изредка покашивалась на них с брезгливым равнодушием.

А сражение, одно из крупнейших в истории, явившееся одним из звеньев великого разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, все шире и мощнее развертывалось в своем движении на юго-запад. В рассеивающемся тумане то там, то здесь вспыхивали воздушные бои, тяжелые орудия погромыхивали по всему простору степи, и всюду, куда хватал глаз, видны были картины гигантских передвижений войск и техники, продовольствия и снарядов, передвижений, сопровождающих большие военные операции.

В середине дня, который был бы уже совсем ясным, если бы не растворявшиеся в туманных испарениях дымы пожаров, Катя прибыла в штаб гвардейского танкового корпуса. Это опять-таки был не штаб, а временный командный пункт командира корпуса, разместившийся в случайно уцелевшем каменном железнодорожном здании одной из станций севернее Миллерова. Станционный поселок был разнесен в щепки. Но, как и во всех только что освобожденных пунктах, здесь прежде всего бросалось в глаза поразительное сочетание продолжающейся боевой страды с уже налаживающейся советской гражданской жизнью.

Первым, кого увидела Катя среди военных на командном пункте, был человек, сразу вызвавший в ее памяти мирную жизнь, и Ивана Федоровича, и всю их семью, и ее, Катин, труд учительницы, а потом скромной деятельницы народного образования.

— Андрей Ефимович! Милый вы мой!..— С этим невольным криком она кинулась к этому человеку и обняла его.

Это был один из руководителей украинского штаба партизан, который более пяти месяцев тому назад инструктировал Ивана Федоровича перед его уходом в подполье.

— Обнимайте тогда всех! — сказал худой моложавый генерал, глядя на нее твердыми серыми умными глазами в длинных ресницах.

Катя увидела загорелое жесткое лицо генерала, аккуратно подбритые, чуть начавшие седеть виски и вдруг смутилась, закрыла лицо руками и склонила голову в теплом темном крестьянском платке. Так она и стояла в полушубке и валенках среди этих подтянутых военных, закрыв лицо руками.

— Ну вот, смутили женщину! Обращения не знаете! — с улыбкой сказал Андрей Ефимович.

Офицеры засмеялись.

— Простите...— генерал чуть дотронулся своей тонкой рукой до ее плеча.

Она отняла руки от лица, глаза ее сияли.

— Ничего, ничего,— говорила она.

Генерал уже помогал ей снять полушубок.

Как и большинство современных командиров, командир корпуса был еще молод для своей должности, для своего звания. Несмотря на обстановку, в которой он сейчас находился, он был как-то не подчеркнуто, а естественно спокоен, точен в движениях и аккуратен, деловит, полон сдержанного грубоватого юмора и в то же время вежлив. И на всех военных людях, окружавших его, лежала печать такого же спокойствия, деловитости, вежливости и какой-то общей опрятности.

Пока расшифровывали донесение Ивана Федоровича, генерал аккуратно выложил поверх лежащей на столе большой военной карты листок папиросной бумаги с мелко вычерченной картой Ворошиловградской области, как это делал на глазах Кати Иван Федорович. (Труд-

но было представить себе, что это было всего лишь позапрошлой ночью!) Генерал разгладил листок тонкими пальцами и сказал с видимым удовольствием:

— Вот это работа, я понимаю!.. Черт возьми! — вдруг воскликнул он.— Они опять укрепляют Миус. Обратите внимание, Андрей Ефимович...

Андрей Ефимович склонился к карте, и на сильном лице его явственней обозначились мелкие морщинки, старившие Андрея Ефимовича. Другие военные тоже приблизили свои лица к маленькому листочку папиросной бумаги поверх военной карты.

— Нам-то уж не придется иметь с ними дело на Миусе. Но вы знаете, что это значит? — сказал генерал, вскинув на Андрея Ефимовича веселый взгляд из-под длинных своих ресниц.— Они не так уж глупы: им теперь действительно придется уходить с Северного Кавказа и с Кубани!

Генерал засмеялся, а Катя покраснела,— настолько слова генерала совпадали с предположениями Ивана Федоровича.

— А теперь посмотрим, что здесь нового для нас.— Генерал взял лежавшую поверх военной карты большую лупу и стал рассматривать значки и кружочки, расставленные точной рукой Ивана Федоровича на листке папиросной бумаги.— Это известно, это известно... так... так...— Он разбирал смысл значков Ивана Федоровича без объяснительной записки, которая еще не была расшифрована.— Что ж, значит ваш Василий Прохорович не так уж плох, а ты все — «разведка плоха, разведка плоха!» — с тонко скрытой иронией сказал генерал стоявшему рядом с ним массивному полковнику с черными усами, начальнику штаба корпуса.

Очень низенького роста, полный лысый военный, с лицом, лишенным бровей, с непередаваемой хитрецой в светлых живых глазах, предупредил ответ полковника:

— Эти сведения, товарищ командир корпуса, у нас из того же источника,— сказал он без смущения.

Это и был Василий Прохорович, начальник разведки штаба корпуса.

— О-о, а я думал, вы это сами узнали! — разочарованно сказал генерал.

Офицеры засмеялись. Но Василий Прохорович не придал значения ни насмешливому замечанию команди-

ра корпуса, ни смеху своих товарищей-сослуживцев,— как видно, он привык к этому.

— Нет, вы обратите внимание, товарищ генерал, вот на эти данные, вот здесь перед Деркулом. А ведь они отстают! Мы уже знаем здесь побольше,— спокойно сказал он.

Катя почувствовала, что реплика Василия Прохоровича как бы снижает значение сведений, собранных Иваном Федоровичем, сведений, ради которых она, Катя, проделала весь этот путь.

— Товарищ, который передал мне эти сведения,— сказала она резким голосом,— товарищ этот просил предупредить: все новые данные, связанные с отступлением противника, он будет передавать, и, я думаю, он их уже передает. А эта карта вместе с пояснениями к ней дает общую картину положения в области.

— Верно,— сказал генерал.— Она больше нужна товарищу Ватутину и товарищу Хрущеву. Мы им ее и перешлем. А сами воспользуемся тем, что нас касается.

Только поздней ночью Екатерина Павловна дождалась возможности поговорить по душам с Андреем Ефимовичем.

Они не сидели, а стояли в пустой, но натопленной комнате при свете трофейных немецких плошек, и Катя спрашивала:

— Как же вы попали сюда, Андрей Ефимович, милый?

— А чему вы удивляетесь? Ведь мы вступили на территорию Украины. Хоть она еще мала, да наша! Правительство возвращается на родную землю и наводит советские порядки.— Андрей Ефимович усмехнулся, и его мужественное лицо в мелких морщинках сразу помолодело.— Войска наши, как вам известно, вступили во взаимодействие с украинскими партизанами. Как же без нас тут обойтись? — Он сверху вниз глядел на Катю, глаза его лучились. Но вдруг лицо его снова стало серьезным.— Хотел дать вам отдохнуть, а уж завтра поговорить о деле. Да ведь вы человек мужественный! — Он немного смутился, но глаза его прямо глядели в глаза Кати.— Ведь мы хотим вас направить обратно — прямо в Ворошиловград. Нам нужно узнать многое такое, что только вы сможете узнать...— Он помолчал, потом сказал тихо и вопросительно: — Конечно, если вы очень измотались...

Но Катя не дала ему договорить. Сердце ее преисполнено было чувства гордости и благодарности.

— Спасибо,— едва выговорила она.— Андрей Ефимович, спасибо!.. И больше ничего мне не говорите. Вы не могли бы сказать ничего, что сделало бы меня такой счастливой,— взволнованно говорила она, и ее загорелое, резких очертаний лицо, оттененное белокурыми волосами, стало прекрасным.— И единственная просьба к вам: пошлите меня завтра же, не отсылайте меня в политуправление фронта, я не нуждаюсь в отдыхе!

Андрей Ефимович подумал, покачал головой, потом улыбнулся.

— Да ведь нам не к спеху,— сказал он.— Немножко будем выравниваться, закрепляться на занятых рубежах. Деркул, тем более — Донец с ходу не возьмешь. И Миллерово и Каменск держат нас. А вам есть что порассказать в политуправлении. Значит, нам пока не к спеху. Выступите дня через два-три...

— Ах, почему не завтра! — воскликнула Катя, и сердце ее облилось кровью от тоски и любви.

На третий день к вечеру Екатерина Павловна снова была в знакомой деревне, в хате у Гали. Екатерина Павловна была все в том же полушубке и в темном платке и с тем же документом учительницы с Чира.

Теперь в этой деревушке стояли наши. Но высотки в направлениях на север и на юг все еще были заняты противником. Линия немецких укреплений проходила по водоразделу между Камышной и Деркулом и в глубину на запад и по самому Деркулу.

Маленький Сашко, такой же аккуратный и безмолвный, ночью провел Катю тем самым путем, каким когда-то вел Катю старик Фома, и она попала в хатенку, где несколько дней назад напутствовал ее Иван Федорович.

Здесь один из многочисленных Корниенок передал ей, что Иван Федорович знает о ее выходе, сам жив-здоров, но повидать ее не имеет возможности.

Идя днем и ночью уже без всяких сопровождающих, давая себе отдыха не больше двух-трех часов в сутки, Катя добралась до Марфы Корниенко. И была сражена известием о гибели Маши Шубиной.

Была разоблачена явочная квартира на медпункте в селе Успенском. Сестры Кротовы, предупрежденные своим человеком в полиции, успели уйти и предупредить подпольные организации, связанные с ними, о провале квартиры. Но весть о провале пришла к Марфе Корниенко, когда Маша была уже в пути на Успенку.

Попытка перехватить Машу по дороге не привела ни к чему. Маша попала в руки жандармерии и была замучена там же, в Успенке. От того же своего человека удалось узнать, что Маша Шубина до конца отрицала какую бы то ни было связь с подпольем и никого не выдала.

Ужасная это была новость! Но Катя даже не имела права терзать себе душу: ей нужны были силы.

Через два дня она уже была в Ворошиловграде.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Даже самый отсталый человек в тылу у немцев, человек, ничего не смысливший в делах войны, понял: гитлеровцам пришел конец.

В таких отдаленных от фронта местах, как Краснодон, это прежде всего поняли по бегству младших компаньонов гитлеровцев, компаньонов по грабежу,— венгерских и итальянских наемников и остатков армии Антонеску.

Румынские офицеры и солдаты бежали по всем дорогам без автотранспорта и артиллерии. День и ночь тянулись они в своих будках на заморенных конях и шли пешком, засунув руки в рукава шинелей с обожженными полами, в высоких шапках из козьего меха или в пилотках с отмороженными щеками, подвязанными полотенцами или женскими шерстяными трусиками.

Одна из будок остановилась у двора Кошевых, из нее выскочил знакомый офицер и побежал в дом. Денщик, изогнув шею, чтобы спрятать отмороженное ухо, внес его большой чемодан и свой маленький.

Офицер был с флюсом и без золотых погончиков. Он вбежал на кухню и сразу стал греть руки у плиты.

— Ну, как дела? — спросил его дядя Коля.

Офицер не то чтобы задвигал кончиком носа,— он не мог двигать обмороженным носом,— он показал на лице то выражение, с каким он двигал носом, и вдруг изобразил лицом Гитлера, что ему хорошо удалось благодаря его усикам и безумному выражению глаз. Он изобразил Гитлера и, приподнявшись на цыпочках, сделал вид, что убегает. Он даже не улыбнулся, настолько он не шутил.

— Идем домой до хазайка! — добродушно сказал денщик, опасливо покосился на офицера и подмигнул дяде Коле.

Они отогрелись, закусили и едва вышли со своими чемоданами, как бабушка по какому-то наитию свыше приподняла одеяло на постели Елены Николаевны и не обнаружила обеих простынь.

Разгневавшись до того, что даже помолодела, бабушка кинулась за гостями и стала так кричать у калитки, что офицер понял, что он вот-вот станет центром бабьего скандала. Он приказал денщику открыть маленький чемодан. В чемоданчике денщика действительно оказалась одна простыня. Бабушка, схватив ее, закричала:

— А де ж друга?

Денщик свирепо вращал глазами в сторону хозяина, но тот, сам подхватив свой чемодан, уже влезал в будку. Так он и увез простыню к себе в Румынию, если только ею не воспользовался какой-нибудь партизан, украинец или молдаванин, отправивший на тот свет потомка древних римлян вместе с его денщиком.

Самые рискованные операции удаются подчас лучше самых тщательно подготовленных в силу неожиданности. Но чаще самые крупные дела проваливаются из-за одного неверного шага.

Вечером 30 декабря Сережка и Валя с группой товарищей по дороге в клуб увидели стоявшую у одного из домов немецкую грузовую машину, заваленную мешками, без всякой охраны и без водителя.

Сережка и Валя влезли на машину и ощупали мешки: судя по всему, в них были новогодние подарки. Накануне выпал небольшой снежок, подморозило, от снега было светло вокруг; люди еще ходили по улицам; все же ребята рискнули сбросить с машины несколько меш-

ков и рассовали их по прилегающим дворам и сарайчикам.

Женя Мошков — директор клуба — и Ваня Земнухов — художественный руководитель — предложили ребятам, как только молодежь разойдется, перенести подарки в клуб: там было много всяких укромных подвальных помещений.

Немецкие солдаты, столпившиеся возле машины, а особенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником и в эрзацваленках, ругались пьяными голосами, а хозяйка дома, неодетая, говорила, что она не виновата. И немцы видели, что она не виновата. В конце концов немцы полезли в машину, хозяйка убежала в дом, а немцы, свернув на съезд в балку, поехали в жандармерию.

Ребята перетаскали мешки в клуб и спрятали в подвал.

Утром Ваня Земнухов и Мошков, сойдясь в клубе, решили, что часть этих подарков, особенно сигареты, следовало бы сегодня, под Новый год, пустить на рынок: организация нуждалась в деньгах. Случайно в клубе оказался и Стахович, который поддержал это мероприятие.

Торговля немецким мелким товаром из-под полы не была необычным явлением на рынке: этим занимались прежде всего немецкие солдаты, менявшие сигареты, табак, свечи, бензин на водку, теплые вещи, продовольствие. Немецкое добро перепродавалось из рук в руки: полиция смотрела на это сквозь пальцы. И у Мошкова был уже целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся продажей сигарет за проценты.

Но в этот день полиция, произведшая с утра обыск в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившая подарков, специально следила, не будет ли кто-нибудь торговать на рынке. И один из мальчишек был пойман с сигаретами самим начальником полиции Соликовским.

На допросе мальчишка сказал, что он выменял эти сигареты у дяденьки на хлеб. Мальчишку выпороли кнутом. Но это был из тех уличных мальчишек, которые не раз в своей жизни были пороты; кроме того, он был воспитан в том духе, что товарищей нельзя выдавать, и избитого и наплакавшегося мальчишку вбросили в камеру до вечера.

Майстер Брюкнер, которому начальник полиции в ряду других дел доложил о поимке мальчишки с немецкими папиросами, поставил это в связь с другими хищениями с грузовых машин и пожелал допросить мальчишку лично.

Поздним вечером мальчишка, уснувший в камере, был разбужен и приведен в комнату майстера Брюкнера, где он предстал сразу перед двумя жандармскими чинами, начальником полиции и переводчиком.

Мальчишка гнусил свое.

Майстер, вспылив, схватил мальчишку за ухо и собственноручно потащил его по коридору.

Мальчишка очутился в камере, где стояли два окровавленных топчана, свисали веревки с потолка и на длинном некрашеном столе на козлах лежали шомпола, шилья, плети, скрученные из электрического провода, топор. Топилась железная печка. В углу стояли ведра с водой. В камере под стенками было два стока, как в бане.

У козел на табуретке сидел полный лысоватый немецкий жандарм в очках со светлой роговой оправой, в черном мундире, с большими красными руками, поросшими светлым волосом, и курил.

Мальчишка взглянул на него, затрясся и сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Мошкова, Земнухова и Стаховича.

В этот же день девушка с «Первомайки», Вырикова, встретила на рынке свою подругу Лядскую, с которой она сидела когда-то на одной парте, а с началом войны разлучилась: отец Лядской был переведен на работу в поселок Краснодон.

Они не то чтобы дружили,— но были одинаково воспитаны в понимании своей выгоды, а такое воспитание не располагает к дружбе,— они просто понимали друг друга с полуслова, имели одинаковые интересы и извлекали обоюдную пользу из общения друг с другом. С детских лет они перенимали у своих родителей и у того круга людей, с которым общались их родители, то представление о мире, по которому все люди стремятся только к личной выгоде и целью и назначением человека в жизни является борьба за то, чтобы тебя не затерли, а наоборот,— ты преуспел бы за счет других.

Вырикова и Лядская выполняли различные общественные обязанности в школе и привычно и свободно обращались со словами, обозначавшими все современные общественные и нравственные понятия. Но они были уверены в том, что и эти обязанности, и все эти слова, и даже знания, получаемые ими в школе, придуманы людьми для того, чтобы прикрыть их стремления к личной выгоде и использованию других людей в своих интересах.

Не проявив особенного оживления, они были все же очень довольны, увидев друг друга. Они дружелюбно сунули друг другу негнущиеся ладошки — маленькая Вырикова в ушастой шапке с торчащими вперед поверх драпового воротника косичками и Лядская, большая, рыжая, скуластая, с крашеными ногтями. Они отошли в сторонку от кишащей базарной толпы и разговорились.

— Ну их, этих немцев, тоже мне избавители! — говорила Лядская.— Культура, культура,— а они больше смотрят пожрать да бесплатно побаловаться за счет Пушкина... Нет, я все ж таки большего от них ожидала... Ты где работаешь?

— В конторе бывшей Заготскота...— Лицо у Выриковой приняло обиженное и злое выражение: наконец она могла поговорить с человеком, который мог осуждать немцев с правильной точки зрения.— Только хлеб, двести, и все... Они дураки! Совершенно не ценят, кто сам пошел к ним служить. Я очень разочарована,— сказала Вырикова.

— А я сразу увидела: невыгодно. И не пошла,— сказала Лядская.— И жила сначала, правда, неплохо. Там у нас была такая теплая компания, я от них все ездила по станицам, меняла... Потом одна из-за личных счетов выдала меня, что я не на бирже. Да я ей — фигу с маслом! Там у нас был уполномоченный с биржи, пожилой, такой смешной, он даже не немец, а с какой-тоЛарингии, что ли, я с ним пошла, погуляла, потом он мне даже сам доставал спирт и сигареты. А потом он заболел, и вместо него посадили такого барбоса, он меня сразу — на шахту. Тоже, знаешь, не мед — вороток крутить! Я с того и приехала сюда,— может, схлопочу что получше здесь на бирже... У тебя заручки там нет?

Вырикова капризно выпятила губы.

— Очень я ими нуждаюсь!.. Я тебе так скажу: лучше иметь дело с военными: во-первых, он временно, значит, рано или поздно уйдет, ты перед ним ничем не обязана. И не такие скупые,— он знает, что его могут завтра убить, и не так жалеет, чтобы ему погулять... Ты б зашла как-нибудь?

— Куда ж заходить,— восемнадцать километров, да еще сколько до вашей Первомайки!

— Давно ли она перестала быть вашей?.. Все ж таки заходи, расскажи, как устроишься. Я тебе кой-что покажу, а может, и дам кой-чего, понимаешь? Заходи! — И Вырикова небрежно ткнула ей свою маленькую негнущуюся ладошку.

Вечером соседка, бывшая в этот день на бирже, передала Выриковой записку. Лядская писала, что «у вас на бирже барбосы еще почище, чем в поселке», и что у нее ничего не вышло и она уходит домой «вся разбитая».

В ночь под Новый год в «Первомайке», как и в других районах города, проводился выборочный обыск, и у Выриковой была обнаружена эта записка, небрежно засунутая ею меж старых школьных тетрадей. Следователю Кулешову, производившему обыск, не пришлось проявить усилий, чтобы Вырикова назвала фамилию подруги и с невероятными прибавлениями от страха рассказала об ее «антинемецких» настроениях.

Кулешов велел Выриковой явиться после праздника в полицию и забрал записку с собой.

Первым об аресте Мошкова, Земнухова и Стаховича узнал Сережка. Предупредив сестер, Надю и Дашу, и друга своего Витьку Лукьянченко, он побежал к Олегу. Он застал здесь Валю и сестер Иванцовых, они каждое утро собирались у Олега, который давал им задания на день.

Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью сообщение Совинформбюро об итогах шестинедельного наступления Красной Армии в районе Сталинграда, об окружении всей гигантской группировки немцев под Сталинградом двойным кольцом.

Смеясь и хватая Сережку за руки, девушки обрушились на него с этим сообщением. И как ни крепок был

Сережка, губы его задрожали, когда он выговорил свою страшную новость.

Олег некоторое время сидел бледный, сцепив длинные пальцы больших рук, на лбу его легли продольные морщины. Потом он встал, и на лице его появилось выражение деятельности.

— Дивчата,— тихо сказал он,— найдите Туркенича и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан с штабом, скажите, чтобы все запрятали; что нельзя спрятать,— уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как быть дальше. Предупредите своих родных... Да не забудьте маму Любы,— сказал он (Любка была в Ворошиловграде).— А мне придется на некоторое время отлучиться.

Сережка тоже надел ватную курточку и кепку, в которой он ходил, несмотря на морозы.

— Ты куда? — спросил Олег.

Валя вдруг покраснела: ей показалось, что Сережка одевается ее сопровождать.

— Подежурю на улице, пока соберутся,— сказал Сережка.

И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ваней, Мошковым и Стаховичем, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас.

Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Сережка остановил Валю во дворе:

— Ты же смотри, аккуратней. Если нас уже здесь не будет, иди к Наталье Алексеевне в больницу, там я найду тебя; я без тебя никуда не уйду...

Валя молча кивнула головой и побежала к Туркеничу.

Олег, стараясь идти обычной своей походкой, пошел к Полине Георгиевне. Она жила на одной из улиц недалеко от биржи труда.

В тот момент, когда Олег зашел к ней, Полина Георгиевна занималась совершенно мирным делом — чистила картофель и бросала его в чугунок, дымившийся на плите. Эта спокойная, выдержанная женщина вдруг вся побелела, когда Олег сказал ей об аресте товарищей. Нож выпал из ее руки, несколько мгновений она не могла выговорить ни слова. Потом она справилась с собой.

День был нерабочий, первый день Нового года. Нехорошо было идти на дом к Филиппу Петровичу среди

бела дня, после того как утром она отнесла к нему молоко. Но и отложить нельзя было: многое могло решиться в течение не только часов, но и минут.

Полина Георгиевна, хотя она и была в курсе всех дел «Молодой гвардии», расспросила Олега, знает ли кто-нибудь из арестованных о связях Олега и Туркенича с районным комитетом. Конечно, все арестованные знали, что связь существует, но никто не знал, с кем персонально. Мошков был сам связан с районным комитетом, но на него во всех отношениях можно было положиться. Земнухов был связан с комитетом только через Полину Георгиевну. Она так хорошо знала Ваню, что мысль об опасности, угрожавшей лично ей, Полине Георгиевне, не заронилась ей в голову.

Плохо было то, что Стахович слишком много знал о «Молодой гвардии». Олег охарактеризовал его, как человека честного, но слабого характером.

Полина Георгиевна оставила Олега у себя дома и научила его, как отвечать, если зайдет кто-нибудь посторонний.

Можно было представить себе, как долго тянулся для Олега этот час! К счастью, никто так и не зашел в дом. Слышно было только, как соседи возятся за стеной.

Наконец-то она вернулась... Мороз освежил ее лицо. И, видно, Филипп Петрович нашел такие слова, которые влили надежду в ее сердце.

— Слушай меня,— она сняла платок и в расстегнутом пальто опустилась на табуретку против Олега.— Велел сказать, чтобы духом не падали. И велел вам уходить из города, уходить немедленно: всем членам штаба, всем, кто близок к штабу или близок к арестованным. Оставьте для руководства организацией двух-трех надежных ребят, старшего свяжите со мной и уходите... Если у кого-нибудь есть возможность спрятаться в деревне или в других городах подальше, пусть прячется. А членам штаба и тем, кто близок к штабу, он советует уйти в северные районы, за Донец,— там можно или через фронт перейти, или дождаться, пока наши придут... Обожди, это еще не все...— сказала она, предупредив вопрос Олега.— Он велел мне дать тебе один адрес. Слушай меня внимательно,— лицо Полины Георгиевны вдруг приняло каменное выражение: — Этот адрес ты имеешь право сообщить еще только Туркеничу. И толь-

ко вы двое имеете право воспользоваться им. Его нельзя давать больше никому, решительно никому, как бы дороги вам ни были другие ребята... или дивчата. Понял? — тихо сказала Полина Георгиевна и внимательно посмотрела на Олега. Он понял, о ком она думает.

Некоторое время он сидел, вобрав голову в плечи, и лоб его избороздили продольные морщины, как у взрослого.

— Мы об-бязательно должны идти по этому адресу — я и Туркенич? — тихо спросил он.

— Нет, конечно, нет... Но это самый надежный адрес: там вас не только спрячут, а и дадут вам дело...

Она видела по лицу Олега, какая мучительная борьба происходит в душе его. Но он задал совсем не тот вопрос, которого ждала Полина Георгиевна:

— А ребята в тюрьме? Как же мы уйдем и даже попытки не сделаем выручить их?

— Теперь вы им все равно не помощники,— с неожиданной строгостью сказала Полина Георгиевна.— Райком сделает все, что сможет. И ваших ребят, которые здесь останутся, мы тоже привлечем. Кого оставите старшим?

— Останется Попов Анатолий,— сказал Олег после некоторого раздумья.— Если с ним что-нибудь случится, тогда Коля Сумской. Знаете?

Они помолчали немного. Ему уже надо было идти.

— Куда же ты все-таки думаешь? — тихо спросила Полина Георгиевна. Она спросила его теперь просто как любящая его и всю его семью близкая женщина. Он чувствовал, как она волнуется.

Лицо Олега стало таким угрюмым и печальным, что она даже пожалела о своем вопросе.

— Полина Георгиевна,— выговорил он с мучительным трудом,— вы знаете, почему я не могу воспользоваться этим адресом...

Да, она знала: Нина! Он не мог оставить Нину.

— Мы вместе попробуем перейти через фронт,— сказал Олег.— Прощайте.

Они обнялись.

Пока Олег отсутствовал, к нему на квартиру пришел Ваня Туркенич, а через некоторое время без всякого вызова пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного погодя и Жора Арутюнянц. Он пришел без Ось-

мухина. Сегодня утром, первого января, Володе исполнилось восемнадцать лет, сестра, Людмила, подарила ему связанную ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они вместе ушли в гости к дедушке на село.

Туркенич выслал ребят дежурить по всем направлениям от дома.

Не дожидаясь Ули, которая жила далеко, они начали совещаться вдвоем: Туркенич и Сережка.

Как они должны теперь поступить? Это был единственный вопрос, на который они должны были дать ответ, и дать его немедленно. Они понимали, что дело идет не только о судьбе арестованных товарищей, а о судьбе всей организации. Ждать, как все это повернется? Их могли арестовать в любую минуту. Спрятаться? Им некуда было прятаться: их все знали.

Вернулась Валя, потом пришли Уля с Олей Иванцовой и Нина, встретившаяся с ними по дороге. Нина рассказала, что у клуба дежурят немецкие жандармы и «полицаи» и никого туда не пускают, и уже все вокруг знают об аресте руководителей клуба и о том, что в подвале клуба найдены немецкие новогодние подарки.

Туркенич и Нина высказали предположение, что это единственная причина ареста ребят. Как ни тяжело это само по себе, но это еще не провал организации.

— Ребята не выдадут,— говорил Туркенич со свойственной ему уверенностью.

Тут вошел Олег и, ничего не говоря, сел у стола с выражением тяжелой задумчивости. Потом он отозвал Туркенича в комнату бабушки. Олег передал ему адрес, данный Полиной Георгиевной. Они посовещались немного и вышли к девушкам и к Сережке, ожидавшим их в тяжелом молчании. Все вопросительно смотрели на Олега, смотрели со страданием и надеждой.

Лицо Олега стало даже жестоким, когда он заговорил.

— Мы д-должны отказаться от каких бы то ни было возможностей б-благополучного исхода для нас,— сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом.— К-как нам ни больно, к-как ни трудно, мы должны отказаться от мысли, что мы можем остаться здесь до прихода Красной Армии, оказать ей помощь с тыла, от всего, что мы хотели сделать даже завтра... Иначе мы

п-погибнем сами и п-погубим всех наших людей,— говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, неподвижные.— Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков, не знают и не узнают,— подчеркнул он,— они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба, и еще десятки невинных... Ч-что же делать? — Он помолчал.— Уходить... Уйти из города... Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребят из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев — тоже. Они смогут работать.— Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю.— За исключением Ули: она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта... Мы честно боролись,— сказал он,— и мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга... Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших — Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли...

Он замолчал. И никто не хотел и не мог больше говорить.

Пять месяцев шли они рядом друг с другом. Пять месяцев под властью немцев, где каждый день по тяжести физических и нравственных мучений и вложенных усилий был больше, чем просто день в неделе... Пять месяцев,— как пронеслись они! И как же все изменились за это время!.. Сколько познали высокого и ужасного, доброго и черного, сколько вложили светлых, прекрасных сил своей души в общее дело и друг в друга!.. Только теперь им стало видно, что это была за организация «Молодая гвардия», сколько обязаны они ей. И вот они должны были покинуть ее.

Девушки — Валя, Нина, Оля — тихо плакали... Уля сидела внешне спокойная, и страшный, сильный свет бил из ее глаз. Сережка, склонив лицо к столу, выпятив свои подпухшие губы, выводил ногтем узоры по скатерти. Туркенич молчал, глядя перед собой светлыми глазами; в тонком рисунке его губ явственней обозначилась суровая, волевая складка.

— Есть д-другие мнения? — спросил Олег.

Других мнений не было. Но Уля сказала:

— Я не вижу необходимости уходить мне сейчас. Мы, первомайцы, мало были связаны с клубом. Я подо-

жду, может быть я смогу работать дальше. Я буду осторожна...

— Тебе надо уйти,— сказал Олег и снова очень серьезно посмотрел на нее.

Сережка, все время молчавший, вдруг сказал:

— Ей обязательно надо уходить!

— Я буду осторожна,— снова сказала Уля.

С тяжелым чувством, не глядя друг на друга, они приняли решение оставить тройку из штаба в составе Анатолия Попова, Сумского и Ули, если она не уйдет. Если вернется Люба и выяснится, что она может остаться, она будет четвертой. Вынесли решение: уходить всем так скоро, как только будет возможно. Олег сказал, что он и девушки-связные не уйдут до тех пор, пока всех не предупредят и не установят связи с Поповым и Сумским. Но никто из членов штаба и близких к штабу сегодня уже не должен был ночевать дома.

Они вызвали Жору, Сергея Левашова и Степу Сафонова и сообщили им решение штаба.

Потом стали прощаться. Уля подошла к Олегу. Они обнялись.

— Сп-пасибо,— сказал Олег.— Спасибо, что ты была и есть...

Она нежно провела рукой по его волосам.

Но когда девушки стали прощаться с Улей, Олег не выдержал и вышел во двор. Сережка вышел за ним. Они стояли неодетые, на морозе, под слепящим солнцем 1943 года.

— Ты все понял? — глухо спросил Олег.

Сережка кивнул головой:

— Все... Стахович может не выдержать... Так?

— Да... И нехорошо было бы сказать об этом: нехорошо не доверять, когда не знаешь. Его уже, наверно, мучают, а мы на свободе.

Они помолчали.

— Куда думаешь идти? — спросил Сережка.

— Попробую перейти фронт.

— И я... Пойдем вместе?

— Конечно. Только со мной Нина и Оля.

— Я думаю, Валя тоже пойдет с нами,— сказал Сережка.

Сергей Левашов с угрюмым и неловким выражением подошел прощаться к Туркеничу.

— Обожди, ты что? — сказал Туркенич, внимательно глядя на него.

— Я останусь пока,— угрюмо сказал Левашов.

— Неразумно,— тихо сказал Туркенич.— Ты ей не помощь и не защита. Ты еще не дождешься ее, как тебя возьмут. А она девушка ловкая: или убежит, или обманет...

— Не пойду,— сказал Левашов.

— Пойдешь к нашим через фронт! — резко сказал Туркенич.— Я еще пока не сменен и приказываю тебе!

Левашов смолчал.

— Ну, товарищ комиссар, значит пойдешь через фронт? Это окончательно? — спросил Туркенич, увидев вошедшего Олега. Он был недоволен тем, что Олег отказался воспользоваться адресом, который был дан им обоим, но не считал возможным убеждать Олега в противном. Узнав, что образовалась уже группа в пять человек, он покрутил головой: — Многовато... Значит, до встречи здесь же — все будем в рядах Красной Армии...

Они взялись за руки, потянулись поцеловаться. Туркенич вдруг вырвался, махнул обеими руками и выбежал. Сергей Левашов поцеловал Олега и вышел за Туркеничем.

У Степы Сафонова была родня в Каменске: он решил ждать там прихода Красной Армии. А у Жоры в душе шла борьба, о которой он никому не мог сказать. Но он понимал, что ему нельзя оставаться. Должно быть, ему придется все-таки пойти в Новочеркасск к дяде, до которого они не дошли тогда с Ваней Земнуховым... Жора вспомнил вдруг весь их поход с Ваней, слезы брызнули у него из глаз, и он вышел на улицу.

Несколько минут они пробыли впятером: Олег, Сережка и девушки-связные. Было решено, что Сережке уже не стоит возвращаться домой, а Оля предупредит его родных через Витю Лукьянченко.

Потом Валя, Нина и Оля ушли оповестить кого надо было о принятом решении, а Сережка оделся и пошел караулить: он понимал, что Олегу надо побыть одному с семьей.

В то время, когда в столовой и в комнате бабушки происходили эти совещания, родные Олега уже знали об аресте Земнухова и других и знали, что дети совещаются об этом.

В доме хранилось оружие, красная материя для флагов, листовки,— все это Елена Николаевна и дядя Коля частью перепрятали, частью сожгли. Радиоприемник дядя Коля зарыл в подвале под кухней, обкатал землю и поставил на это место бочку с квашеной капустой.

Но вот все это было сделано, и родные, сойдясь в комнате дяди Коли и привычно и невпопад откликаясь на болтовню и шалости трехлетнего сынишки Марины, как приговоренные, ждали, чем кончится совещание.

Дверь захлопнулась за последним из товарищей, и Олег вошел в комнату. Все повернулись к нему. Следы душевной борьбы и деятельности сошли с лица его, но сошло и так часто возникавшее детское выражение. Лицо его выражало скорбь.

— Мама...— сказал он.— И ты, бабуся... И ты, Коля, и Марина...— Он положил свою большую руку на голову мальчика, с веселым криком обнявшего его за ногу.— Мне придется с вами проститься. Помогите мне собраться... А потом посидим напоследок вместе, как сиживали когда-то... Давно...— И отзвук улыбки, далекой, нежной, тронул его глаза и губы.

Все встали и окружили его.

...Снуют, снуют материнские руки! Снуют, как птицы, над нежнейшими из нежнейших одежек, когда еще и одевать-то некого, когда он еще только острыми, нежными до замирания сердца толчками стучится в материнском животе. Снуют, укутывая в первую прогулку, снуют, обряжая в школу. А там и в первый отъезд, а там и в дальний поход,— вся жизнь из проводов и встреч, редких минут счастья, вечных мук сердца. Снуют, пока есть над кем, пока есть надежда, снуют и когда нет надежды, обряжая дитя в могилу...

И всем нашлось дело. Еще перебрали с дядей Колей бумаги. Пришлось сжечь дневник. Кто-то зашил в тужурку его комсомольский билет, бланки временных комсомольских билетов. Зачинили белье — одну смену. Уложили все в вещевой мешок: продукты, мыло, зубную щетку, иголку с нитками, белыми и черными. Нашли старую меховую шапку-ушанку для Сережки Тюленина. И еще продукты — в другой мешок, для Сережки, ведь их же пятеро...

Не удалось только посидеть, как сиживали когда-то... Сережка то заходил, то уходил. Потом вернулись Валя,

Нина и Оля. И уже ночь спустилась. И надо было прощаться...

Никто не плакал. Бабушка Вера всех оглядела, у той застегнула пуговицу, тому поправила сумку. Судорожно прижимала к себе каждого и отталкивала, а Олега придержала долго, прижавшись к его шапке острым подбородком.

Олег взял мать за руку; они вышли в другую комнату.

— Прости меня,— сказал он.

Мать выбежала во двор, и мороз ударил ей в лицо и в ноги. Она уже не видела ребят, она только слышала, как они хрустят валенками по снегу,— едва слышен был этот звук, а вот уже и его не стало. А она все стояла и стояла под темным звездным небом...

На рассвете так и не сомкнувшая глаз Елена Николаевна услышала стук в дверь. Она быстро накинула платье, спросила:

— Кто?

Их было четверо: начальник полиции Соликовский, унтер Фенбонг и двое солдат. Они спросили Олега. Елена Николаевна сказала, что он пошел по селам менять вещи на продукты.

Они обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку Веру Васильевну и Марину с трехлетним сыном. Бабушка едва успела предупредить соседей, чтобы присмотрели за домом.

В тюрьме их рассадили по разным камерам. Марина с мальчиком попала в камеру, где сидело много женщин, не имевших никакого отношения к «Молодой гвардии». Но среди них были Мария Андреевна Борц и сестра Сережки Тюленина — Феня, которая жила с детьми отдельно от семьи. От Фени Марина узнала, что старики — Александра Васильевна и даже скрюченный «дед» со своей клюшкой — тоже арестованы, а сестры Надя и Даша успели уйти.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Ваню Земнухова взяли на заре. Он собрался навестить Клаву в Нижне-Александровском, встал затемно, прихватил с собой горбушку хлеба, надел пальто и шапку-ушанку и вышел на улицу.

Необыкновенной чистоты и густоты ярко-желтая заря ровной полосой лежала на горизонте ниже серо-розовой дымки, растворявшейся в бледном ясном небе. Несколько дымков, розоватых и желтоватых, очень кучных и в то же время очень воздушных, стояло над городом. Ваня ничего этого не увидел, но он с детства помнил, что так это бывает в такое ясное раннее морозное утро, и на лице его, без очков,— он спрятал их во внутренний карман, чтобы они не отпотевали,— появилось счастливое выражение. С этим счастливым выражением он и встретил подошедших к дому четырех человек, пока не рассмотрел, что это немцы-жандармы и новый следователь полиции — Кулешов.

В тот момент, как они подошли вплотную к нему и Ваня узнал их, Кулешов уже что-то спрашивал его, и Ваня понял, что они пришли за ним. И в то же мгновение, как это всегда бывало у него в решающие минуты жизни, он стал предельно холодно-спокоен, и вопрос Кулешова дошел до него.

— Да, это я,— сказал Ваня.

— Достукался...— сказал Кулешов.

— Я предупрежу родных,— сказал Ваня. Но он уже знал, что они не дадут ему войти в дом, и, отвернувшись, постучал в ближнее окно — не по стеклу, а кулаком по среднему переплету рамы.

В то же мгновение Кулешов и солдат жандармерии схватили его за руки, и Кулешов быстро ощупал ему карманы пальто и сквозь пальто карманы брюк.

Открылась форточка, и выглянула сестра; Ваня не мог разглядеть выражение ее лица.

— Скажи папане и маме, вызвали в полицию, пусть не тревожатся, скоро вернусь,— сказал он.

Кулешов хмыкнул, покачал головой и в сопровождении немца-солдата взошел на крылечко: они должны были произвести обыск. А немец-сержант и другой солдат повели Ваню по узкой тропинке, протоптанной вдоль ряда домов в неглубоком снегу на этой малоезженной улице. Сержанту и солдату пришлось идти по снегу, они отпустили Ваню и пошли за ним в затылок.

Ваню, как он был в пальто и в шапке-ушанке и в потертых ботинках со стоптанными каблуками, втолкнули в маленькую темную камеру с заиндевевшими стенами и

склизким полом и заперли за ним дверь на ключ. Он остался один.

Утренний свет чуть пробивался в узкую щель под потолком. В камере не было ни нар, ни койки. Острый запах исходил из параши в углу.

Догадки, за что он взят, стало ли им известно что-нибудь о его деятельности, просто ли по подозрению, предал ли кто-нибудь, мысли о Клаве, о родителях, товарищах нахлынули на него. Но он привычным усилием воли, словно уговаривая себя: «Спокойно, Ваня, только спокойно», привел себя к единственной и главной для него сейчас мысли: «Терпи, там видно будет...»

Ваня сунул окоченевшие руки в карманы пальто и прислонился к стене, склонив голову в ушанке, и так с присущим ему терпением простоял долго, он не знал сколько,— может быть, несколько часов.

Тяжелые шаги одного или нескольких человек беспрерывно звучали вдоль по коридору из конца в конец, хлопали двери камер. Доносились отдаленные или более ближние голоса.

Потом шаги нескольких человек остановились у его камеры, и хриплый голос спросил:

— В этой?.. К майстеру!..

И человек этот прошел дальше, и ключ завизжал в замке.

Ваня отделился от стены и повернул голову. Вошел немецкий солдат, не тот, что сопровождал его, а другой, с ключом, наверно дежурный по коридору, и «полицай», лицо которого было знакомо Ване, потому что за это время они изучили всех «полицаев». Ваня был отведен «полицаем» в приемную майстера Брюкнера, где, под охраной другого полицейского, Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они посылали продавать сигареты.

Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся.

Ваня почувствовал некоторое облегчение. Но все равно ему придется все отрицать: если он признает хотя бы, что он, Земнухов, украл подарки для того, чтобы немного подработать, от него потребуют выдать соучастников. Нет, не следует думать, что дело может сложиться благоприятно...

Немец-писарь вышел из кабинета майстера и посторонился, придерживая дверь.

— Иди... иди...— с испуганным выражением торопливо сказал «полицай», подтолкнув Ваню к дверям. И другой «полицай» также подтолкнул мальчишку, взяв его сзади за шею. Ваня и мальчишка почти разом вступили в кабинет, и дверь за ними затворилась. Ваня снял шапку.

В кабинете было несколько человек. Ваня узнал майстера Брюкнера, сидевшего, откинувшись, за столом, с толстыми складками шеи над воротником мундира, и смотревшего прямо на Ваню округлившимися, как у филина, глазами.

— Ближе! Смирненький стал...— хрипло, словно голос его сквозь чащу продирался, сказал Соликовский, стоявший сбоку перед столом майстера с хлыстом в громадной руке.

Следователь Кулешов, стоявший с другого боку, протянув длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком подтащил его к столу.

— Он? — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани.

— Он...— едва выговорил мальчишка, втянул воздух носом и застыл.

Кулешов, довольный, взглянул на майстера, потом на Соликовского. Переводчик по ту сторону стола, почтительно склонившись к майстеру, пояснил, что здесь произошло. В этом переводчике Ваня признал Шурку Рейбанда, с которым он был хорошо знаком, как и все в Краснодоне.

— Понял?..— И Соликовский, прищурившись, посмотрел на Ваню узкими глазами, которые так далеко были спрятаны за его напухшими скулами, будто выглядывали из-за гор.— Расскажи господину майстеру, с кем трудился. Живо!

— Не знаю, о чем вы говорите,— прямо взглянув на него, сказал Ваня своим глуховатым баском.

— Видал, а? — с удивлением и возмущением сказал Соликовский Кулешову.— Такое им советская власть дала образование!

А мальчишка при словах Земнухова испуганно посмотрел на него и поежился, точно ему стало холодно.

— Не совестно тебе? Мальчишку бы пожалел, ведь он за тебя страдает,— сказал Кулешов с тихой укоризной.— Посмотри, это что лежит?

Ваня оглянулся, куда указывал взгляд Кулешова. Возле стены лежал вскрытый мешок с подарками, часть из которых высыпалась на пол.

— Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз,— сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным.

Майстеру Брюкнеру, которому Шурка Рейбанд переводил все, что они говорили, видимо, надоело это, и он, мельком взглянув на Рейбанда, пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам.

— Господин майстер требует рассказать, сколько раз ты нападал на машины, с какой целью, кто соучастник, что делали кроме,— все, все рассказать...— глядя мимо Вани, холодно говорил Шурка Рейбанд.

— Как я мог нападать на машины, когда я даже тебя не вижу, это же тебе известно! — сказал Ваня.

— Прошу отвечать господину майстеру...

Но господину майстеру, видно, все уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал:

— К Фенбонгу!

В одно мгновение все переменилось. Соликовский громадной рукой схватил Ваню за воротник и, злобно сотрясая его, выволок в приемную, повернул лицом к себе и с силой ударил его крест-накрест хлыстом по лицу. На лице Вани выступили багровые полосы. Один удар пришелся на угол левого глаза, и глаз сразу стал оплывать. «Полицай», приведший его, схватил его за воротник, и они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пиная коленями, поволокли его по коридору.

В помещении, куда его втолкнули, сидел унтер Фенбонг и два солдата службы СС; они сидели с утомленными лицами и курили.

— Если ты, мерзавец, сейчас же не выдашь своих...— страшным, шипящим голосом заговорил Соликовский, схватив Ваню за лицо громадной рукой с твердыми, железными ногтями на пальцах.

Солдаты, докурив и ногой притушив окурки, неторопливыми умелыми движениями сорвали с Вани пальто

и всю одежду и голого швырнули на окровавленный топчан.

Фенбонг красной рукой, поросшей светлыми волосами, так же неторопливо перебрал на столе линьки из скрученного электрического провода и подал один Соликовскому, а другой взял себе, опробовав его взмахом в воздухе. И они вдвоем по очереди стали бить Ваню по голому телу, оттягивая линьки на себя. Солдаты держали Ваню за ноги и за голову. Кровь выступила по его телу после первых же ударов.

Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стона.

И так он молчал все время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал:

— Вошел в разум?

Ваня лежал молча, не подымая лица, и его начинали бить снова.

Не более чем за полчаса до него на том же топчане так же били Мошкова. Мошков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие свое в хищении подарков.

Стахович, который жил далеко на окраине, был арестован позже них.

Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни — самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить истерически-героический поступок на глазах у людей, особенно людей, ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один на один он был трус.

Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить свое положение.

При очной ставке с мальчишкой Стахович сразу понял, что новогодние подарки — единственная улика против него и его товарищей, которые не могут не быть арестованы. И мысль перевести все это в уголовное дело, чистосердечно признаться, что они сделали это втроем, пустить слезу о страшной нужде и голоде и обещать искупить все честным трудом,— мысль эта мгновенно пришла ему в голову. И он с такой искренностью проделал

все это перед майстером Брюкнером и другими, что они сразу поняли, с кем имеют дело. Его стали бить тут же в кабинете, требуя назвать и других сообщников: они же, трое, были вечером в клубе и не могли сами разгрузить машину!

На его счастье, подошло время, когда майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер обедали. И Стаховича оставили в покое до вечера.

Вечером с ним обошлись ласково и сказали, что его сразу же отпустят, если он назовет, кто похитил подарки. Он снова сказал, что они сделали это втроем. Тогда его отдали в руки Фенбонга и терзали до тех пор, пока не вырвали фамилию Тюленина. Про остальных он сказал, что не разобрал их в темноте.

Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.

Его мучили, и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб «Молодой гвардии» вместе со связными. Он не назвал только Ульяны Громовой,— неизвестно почему. В какую-то сотую мгновения он увидел ее прекрасные черные глаза перед собой и не назвал ее.

В эти дни была доставлена из поселка Краснодон в жандармерию Лядская, и ей дали очную ставку с Выриковой. Каждая считала другую виновницей своих злоключений, и они на глазах невозмутимого Балдера и потешавшегося Кулешова стали браниться, как базарные торговки, и разоблачать друг друга.

— Извини-подвинься, ты была пионервожатая!..— красная до того, что не стало видно веснушек на ее скуластом лице, кричала Лядская.

— Ох ты, вся Первомайка помнит, кто ходил с кружкой на Осоавиахим,— сжав кулачки, кричала Вырикова, так и пронзая ненавистную острыми косичками.

Они едва не полезли в драку. Их развели и подержали сутки под арестом. Потом их порознь снова вызвали к вахтмайстеру Балдеру. Схватив за руку сначала Вы-

рикову, а потом точно так же Лядскую, Кулешов каждой шипел одно и то же:

— Будешь еще ангела из себя строить? Говори, кто состоит в организации!

И Вырикова, а потом Лядская, заливаясь слезами и клянясь, что они не только не состоят в организации, а всю жизнь ненавидели большевиков, так же как большевики их, назвали всех комсомольцев и всех видных ребят, которые остались на «Первомайке» и в поселке Краснодон. Они прекрасно знали своих товарищей по школе и по месту жительства, кто нес общественную работу, кто как настроен, и каждая назвала десятка по два фамилий, которые довольно точно определяли круг молодежи, связанной с «Молодой гвардией».

Вахтмайстер Балдер, свирепо вращая глазами, сказал каждой из них, что он не верит в ее непричастность к организации и должен предать ее наряду с выданными ею преступниками страшным мучениям. Но он жалеет ее, есть выход из положения...

Вырикова и Лядская были выпущены из тюрьмы одновременно, каждая не зная, но предполагая, что другая тоже не вышла чистенькой. Им положено было жалованье по двадцать три марки в месяц. Они сунули друг другу деревянные руки, как если бы между ними ничего не было.

— Дешево отделались,— сказала Вырикова.— Заходи как-нибудь.

— Уж правда, что дешево, как-нибудь зайду,— сказала Лядская.

И они разошлись.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Была какая-то странная закономерность в арестах, каждый из которых немедленно становился известным всему городу. Арестовали сначала родителей тех членов штаба, кто ушел из города. Потом арестовали родителей Арутюнянца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, близких к штабу, кто тоже ушел из города.

Вдруг арестовали Тосю Мащенко, и еще кое-кого из рядовых членов «Молодой гвардии». Но почему именно этих, а не других?

Никто из оставшихся на свободе не мог предположить, что эти новые аресты, их приливы и отливы зависят от страшной стихии признаний Стаховича. После того как он выдавал кого-нибудь, ему давали отдых. Начинали мучить снова, и он опять кого-нибудь выдавал.

Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Мошкова, Земнухова и Стаховича. Все оставалось по-прежнему и в Центральных мастерских.

Володя Осьмухин, проведший три дня нового года в деревне у дедушки, четвертого января вышел на работу. Он еще с вечера узнал от матери об арестах и об указании штаба «Молодой гвардии» уходить из города. Но он отказался уйти.

— Ребята не выдадут,— сказал он матери, перед которой не было теперь смысла таиться.

Было много причин, по которым Володя не хотел уходить из города. Жалко ему было оставить мать и сестру — особенно когда он вспоминал о том, что они-то не эвакуировались в свое время из-за него. Но главной была та причина, что Володя, не участвовавший в совещании на квартире Олега, не только не представлял себе опасности, угрожавшей ему, а даже считал в душе, что ребята из штаба поторопились. Все трое арестованных были из числа ребят, наиболее близких Володе, он им верил. В удалой душе Володи («Я — как Васька Буслай!») зародились даже планы освобождения ребят, планы, один фантастичней другого.

Но едва Володя появился в мастерских, Лютиков вызвал его под каким-то предлогом к себе в конторку. По старой связи с домом Осьмухиных, а также потому, что из всех молодых людей Лютиков ближе всего знал Володю, Филипп Петрович очень любил его. Не только опыт и разум, а и сердце подсказывали старику, какая страшная угроза нависла над его юным другом и воспитанником. Филипп Петрович предложил Володе немедленно уйти. Филипп Петрович не пожелал даже выслушать объяснений Володи, был жесток и неумолим, не советовал, а приказывал.

Но было уже поздно. Володя не успел даже обдумать, когда и куда ему идти, как был арестован тут же в мастерских на своем рабочем месте.

Усилия палачей, пытавших Стаховича, были направлены не только на то, чтобы он разоблачил всех членов «Молодой гвардии», а и на то, чтобы он дал нити, ведущие к подпольной большевистской организации в городе. Многие данные, да и простой здравый смысл давно уже подсказывали большим и малым чинам жандармерии, что молодежь работает под руководством взрослых, что центр краснодонского заговора — в подпольной организации большевиков.

Но Стахович действительно не знал, каким путем Олег осуществляет связь с райкомом, Стахович мог только сказать, что связь эта существует. Когда стали допытываться, кто из взрослых наиболее часто посещает квартиру Кошевых, он, перебрав всех в памяти, назвал Соколову. В первый период работы, когда он был еще членом штаба, и позже, когда он бывал у Олега по делам организации, Стахович действительно чаще всего встречал на квартире Кошевых Полину Георгиевну. Раньше он не ставил присутствие Полины Георгиевны в какую-нибудь связь с деятельностью «Молодой гвардии». Но теперь ему вспомнилось, что Олег иногда уединялся и перешептывался с Полиной Георгиевной, и Стахович назвал ее имя.

Нити от Соколовой вели в первую очередь к тяжелому, молчаливому, загадочному человеку — Лютикову. Не случайным показалось майстеру Брюкнеру и то обстоятельство, что арестованные Мошков и Осьмухин работали в цехе у Лютикова. Были сведены воедино все данные его биографии, все факты диверсий и аварий в Центральных мастерских.

Пятого января, на заре, Полина Георгиевна, как всегда, принесла Филиппу Петровичу молоко и унесла под кофточкой на груди листовку, написанную Филиппом Петровичем от имени «Молодой гвардии». В листовке ничего не говорилось об арестах молодежи. Филипп Петрович хотел показать этой листовкой, что враг не попал в цель,— «Молодая гвардия» живет и действует.

Вечером, вернувшись с работы, он застал в кухне у Пелагеи Ильиничны жену, Евдокию Федотовну, и дочку Раю, пришедших с хутора его навестить. Воистину радость посетила его дом! Филипп Петрович переоделся во все чистое, надел свежую белую сорочку, темно-синий галстук в серую полоску и парадный костюм, вычищен-

ный Пелагеей Ильиничной. В этом праздничном костюме, спокойный, ровный, добрый, он просидел с самыми близкими ему людьми до темноты и шутил так, как если бы ничего не случилось.

Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже нависла и над ним? Нет, он не знал и не мог знать этого. Но он всегда допускал эту возможность, всегда был готов к ней, а в последнее время он чувствовал, что опасность возросла.

Все чаще молчаливый Швейде набрасывался на Баракова, в припадке неудержимого бешенства обвиняя его в саботаже. Кто мог поручиться, что немец не напал на верный след?

Несколько дней тому назад четыре подводы с углем ушли в ближайшие деревни якобы для обмена угля на хлеб. Вывоз угля с территории мастерских сам по себе был уже неслыханным нарушением «нового порядка». Но другого выхода из положения у Филиппа Петровича и Баракова не было, а ждать они права не имели: под углем было спрятано оружие для краснодонской партизанской группы, влившейся в Митякинский отряд. Кто мог поручиться, что дерзкое это предприятие так и пройдет незамеченным?

Враг арестовывал членов «Молодой гвардии» одного за другим. Кто мог знать, какие скрытые пружины вызывали провал целых звеньев этой организации?

Все это понимал и чувствовал старый Филипп Петрович. Но у него не было оснований и возможности для отступления. Могучий дух его был не здесь, он шествовал через реки и степи, через стужу и снега вместе с великой армией освобождения. Все, о чем бы он ни говорил с женой и дочкой, все возвращалось к этому гигантскому наступлению наших войск. Как мог он на основании одних предположений оставить пост свой как раз в ту минуту, когда требовалось наибольшее напряжение всех его сил! Остались считанные недели, а может быть дни, когда он сможет наконец сбросить угнетающее душу рабье притворство и открыть людям честное лицо свое!.. Ну, а если уж не приведет судьба дожить до этого светлого часа, останутся люди, которые и без него доведут дело до конца. Еще с того памятного разговора в кабинете Баракова был создан второй, «запасной» райком из новых верных людей, которым были переданы все явки и связи.

Филипп Петрович сидел празднично одетый, веселый, немножко, может быть, более добрый и разговорчивый, чем к этому привыкли. И дочка смотрела на отца смешливыми глазами. И только Евдокия Федотовна, прошедшая с мужем долгий путь жизни, умевшая улавливать даже самые малые оттенки его состояния, нет-нет да и останавливала на нем беспокойный, испытующий взгляд, который словно говорил: «Уж больно ты наряден, уж больно ты весел, не нравится мне это».

Улучив минуту, когда жена снова отлучилась на кухню и занялась своим женским разговором с Пелагеей Ильиничной, Филипп Петрович все-таки рассказал дочери об арестах в организации «Молодая гвардия». Рае только что исполнилось тринадцать лет, она знала по рассказам о существовании «Молодой гвардии», догадывалась о занятиях отца, мечтала о том, что будет помогать ему, но не смела просить об этом.

— Вы у меня не засиживайтесь, ночевать не оставлю. Идти вам отсюда все равно степью, никто вас не увидит ночью,— говорил Филипп Петрович, понизив голос.— Маме скажи, что так, мол, лучше. Ей ведь не объяснишь,— сказал Филипп Петрович с насмешливой улыбкой.

— Тебе грозит опасность? — спросила Рая и побледнела.

— Определенного ничего нет. А опасность всегда грозит нашему брату, да я к ней привык. Я отдал свою жизнь на это. Хотел бы, чтобы и ты была такая,— спокойно сказал он.

Дочь призадумалась, потом обняла шею отца тонкими руками и прижалась лицом к его лицу. Мать вошла, удивленно посмотрела на них. Филипп Петрович стал шутливо выпроваживать жену и дочку. Они не раз встречались за время оккупации. Евдокия Федотовна привыкла к тому, что муж ее бывает суров, когда семейные дела становятся ему помехой в работе, не могла судить, когда он прав, а когда не прав, уступала ему, даже если ей бывало больно.

Евдокия Федотовна точно новыми глазами увидела мужа в этом хорошо сохранившемся, отглаженном пиджаке на его большом теле и вдруг стала целовать его гладко выбритое и все-таки колючее лицо, поцеловала его даже куда-то в галстук и припала головой к его гру-

ди. Тяжелая нижняя часть его лица дрогнула, он бережно отстранил жену, сказал что-то шутливое. На глазах дочери показались слезы, она отвернулась и потянула мать за рукав.

Полина Георгиевна была арестована этой ночью. А утром шестого января были арестованы — не на дому, а в мастерских — Филипп Петрович и Бараков. Вместе с ними из мастерских взяли несколько десятков человек. Как и предполагал Филипп Петрович, врагу не важны были улики: большинство арестованных не имело никакого отношения к организации.

Толя «Гром гремит» не был арестован ни в тот день, когда взяли Володю, ни в этот день массовых арестов в мастерских. Едва-едва дотянул он до конца работы и пошел к Елизавете Алексеевне и к Люсе. Они уже знали о случившемся.

— Что же ты делаешь? Ты же губишь себя! Уходи немедленно!..— в порыве материнского отчаяния воскликнула Елизавета Алексеевна.

— Не пойду я,— тихо сказал Толя.— Чего же я пойду? — И он махнул шапкой.

Нет, он не мог никуда уйти, пока Володя в тюрьме.

Его уговаривали остаться ночевать. Но он ушел. Он ушел к Витьке Лукьянченко посоветоваться, что можно сделать для освобождения ребят. Он шел ночью, привычно обходя полицейские посты. Каким одиноким чувствовал он себя в родном городе, когда нет Володи, когда нет Земнухова, Мошкова, Жоры Арутюнянца и других... Чувства отчаяния и мести мешались в душе его.

Под самое утро раздался сильный стук в дверь дома Осьмухиных. Елизавета Алексеевна со свойственной ей бесстрашной решимостью отворила дверь не спрашивая. И едва не отпрянула. В дверях опять стоял Толя Орлов, сильно промерзший, осунувшийся до того, что его нельзя было узнать, с запавшими глазами, горевшими мрачным огнем.

— Читайте...— сказал он и протянул Елизавете Алексеевне и Люсе скомканную бумажку.

Пока они читали, он страстно говорил:

— Нет, вам можно, вам нужно сказать всю, всю правду... Витя получил ее от одного военного, бывшего раненого, которого он когда-то спрятал. Я и Витя, мы всю

ночь расклеивали ее по городу. Это поручение от райкома партии. Ее клеили сегодня десятки людей; весь город, все хутора и поселки читают теперь эту листовку!—говорил Толя с ожесточением и не мог остановиться, потому что ему все казалось, что он говорит не самое главное.

Но Елизавета Алексеевна и Люся не слушали его, они читали:

«Граждане Краснодона! Шахтеры, колхозники, служащие! Все советские люди! Братья и сестры!

Враг раздавлен могучей Красной Армией и бежит! В бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повинных людей, предает их нечеловеческим пыткам. Пусть же помнят выродки: мы — здесь! За каждую каплю крови советского человека они заплатят нам всей своей подлой жизнью. Пусть содрогнутся сердца врагов от нашей мести! Мстите врагу, уничтожайте врага! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Наши идут! Наши идут! Наши идут!

Краснодонский подпольный райком ВКП(б)».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Первые дни после того, как начались аресты, Уля не ночевала дома. Но аресты, как предсказывал Олег, не затронули «Первомайку» и поселок Краснодон. И Уля вернулась домой.

Проснувшись в своей постели после того, как она столько ночей провела где ни приведется, Уля по внутренней потребности отвлечь себя от тяжелых мыслей с рвением занялась домашними делами, вымыла пол, собрала завтрак. Мать, посветлев от того, что дочка дома, даже встала к столу. Отец был угрюм и молчалив. Все дни, что Уля не ночевала дома, а только днем забегала на час-другой проведать родных или взять что-нибудь, все эти дни Матвей Максимович и Матрена Савельевна только и говорили об арестах в городе, избегая смотреть в глаза друг другу.

Уля попробовала было заговорить о посторонних делах, мать неловко поддержала ее, но так фальшиво это прозвучало, что обе смолкли. Уля даже не запомнила, когда она вымыла и перетерла посуду и убрала со стола.

Отец ушел по хозяйству.

Уля стояла у окна, спиной к матери, в простом темно-синем с белыми пятнышками домашнем платье, которое она так любила. Тяжелые волнистые косы ее покойно, свободно сбегали по спине до гибкой сильной талии; ясный свет солнца, бивший в оттаявшее окно, сквозил через вившиеся у висков неприглаженные волосы.

Уля стояла и смотрела в окно на степь и пела. Она не пела с той поры, как пришли немцы. Мать штопала что-то, полулежа в постели. Она с удивлением услышала, что дочь поет, и даже отложила штопку. Дочь пела что-то совсем незнакомое матери, пела свободным грудным голосом:

...Служил ты недолго, но честно
Во славу родимой земли...

Никогда Матрена Савельевна даже не слышала этих слов. Что-то тяжелое, скорбное было в пении дочери.

...Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней...

Уля оборвала песню и все стояла так, глядя в окно на степь.

— Что это ты пела? — спросила мать.

— Так, не думаючи, что вспомнилось,— сказала Уля не оборачиваясь.

В это время распахнулась дверь, и в комнату, запыхавшись, вбежала старшая сестра Ули. Она была полнее Ули, румяная, светлая, в отца, но теперь на ней лица не было.

— К Поповым жандармы пришли! — сказала она задыхающимся шепотом, будто ее могли услышать там, у Поповых.

Уля обернулась.

— Вот как! От них лучше подальше,— не изменившись в лице, сказала Уля спокойным голосом, подошла к двери, неторопливо надела пальто и накрылась платком. Но в это время она уже услышала топот тяжелых ботинок по крылечку, чуть откинулась на цветастый полог, которым занавешена была зимняя одежда, и повернула лицо к двери.

Так на всю жизнь она и запомнилась матери на фоне этого цветастого полога, выделившего сильный профиль ее лица, с подрагивающими ноздрями и длинными полуопущенными ресницами, словно пытавшимися при-

тушить огонь, бивший из глаз ее, и в белом платке, еще не повязанном и ниспадавшем по ее плечам.

В горницу вошли начальник полиции Соликовский и унтер Фенбонг в сопровождении солдата с оружием.

— Вот она и сама, красотка! — сказал Соликовский.— Не успела? Ай-я-яй...— сказал он, окинув взглядом ее стройную фигуру в пальто и в этом ниспадавшем платке.

— Голубчики! Родимые мои! — запричитала мать, пытаясь подняться с постели. Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее тряслась.

Начался обыск. Отец толкнулся в дверь, но солдат не впустил его.

В это время обыск шел и у Анатолия. Его производил следователь Кулешов.

Анатолий стоял посреди комнаты в распахнутом пальто, без шапки, немецкий солдат держал его сзади за руки. «Полицай» наступал на Таисью Прокофьевну и кричал:

— Давай веревку, тебе говорят!

Таисья Прокофьевна, рослая, красная от гнева, кричала:

— Очумел ты,— чтоб я дала тебе веревку родного сына вязать?..

— Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал,— говорил Анатолий, раздувая ноздри,— их же шестеро, как же им вести одного несвязанного?..

Таисья Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына.

Улю поместили в ту большую общую камеру, где сидели Марина с маленьким сыном, Мария Андреевна Борц, Феня — сестра Тюленина, а из «молодогвардейцев» Аня Сопова из пятерки Стаховича, белая, рыхлая полногрудая девушка, которая была уже так сильно избита, что едва могла лежать. Камеру освободили от посторонних, и в течение дня она заполнилась девушками с «Первомайки». Среди них были Майя Пегливанова, Саша Бондарева, Шура Дубровина, сестры Иванихины — Лиля, Тоня и другие...

Не было ни нар, ни коек, девушки и женщины размещались на полу. Камера была так забита, что начала оттаивать, и с потолка все время капало.

Соседняя, тоже большая, камера, судя по всему, была отведена для мальчиков. Туда все время приводили арестованных. Уля стала выстукивать: «Кто там сидит?» Оттуда ответили: «Кто спрашивает?» Уля назвала себя. Ей отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство мальчиков-первомайцев: Виктор Петров, Боря Главан, Рагозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой — Вася,— их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам все-таки стало теплее от того, что мальчишки с «Первомайки» сидят рядом.

— Я очень боюсь мучений,— чистосердечно призналась Тоня Иванихина, стоя перед группой сидевших у стенки девушек, со своими детскими крупными чертами лица и длинными ногами.— Я, конечно, умру — ничего не скажу, а только я очень боюсь...

— Бояться не нужно: наши близко, а может быть, мы еще устроим побег! — сказала Саша Бондарева.

— Девочки, вы совсем не знаете диалектики...— начала вдруг Майя, и, как ни тяжело было у всех на душе, все вдруг рассмеялись: так трудно было представить, что такие слова можно произносить в тюрьме.— Конечно! Ко всякой боли можно притерпеться! — говорила нерастерявшаяся Майя.

К вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под потолком тусклая электрическая лампочка, оплетенная проволокой, углы камеры лежали во мраке. Иногда доносился какой-нибудь дальний окрик по-немецки и кто-то пробегал мимо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило по коридору, и слышно было звяканье оружия. Однажды они все вскочили, потому что донесся ужасный звериный крик,— кричал мужчина, и от этого было особенно страшно.

Уля простукала в стенку к мальчикам:

«Это не из вашей камеры?»

Оттуда ответили:

«Нет, это у больших...» — Так они по внутреннему коду называли взрослых подпольщиков.

Девушки сами услышали, когда повели из соседней камеры. И тотчас же послышался стук:

«Уля... Уля...»

Она отозвалась.

«Говорит Виктор... Толю увели...»

Уля вдруг явственно увидела перед собой лицо Анатолия, его всегда серьезные глаза, которые обладали такой особенностью вдруг просиять, точно одарить,— и содрогнулась, представив себе, что ему предстоит. Но в это время щелкнул ключ в замке, дверь их камеры отворилась и развязный голос произнес:

— Громова!..

Вот что осталось в ее памяти... Некоторое время она стояла в приемной Соликовского. В кабинете кого-то били. В приемной на диване сидела жена Соликовского, с завитыми бледно-русыми пакляными волосами, с узелком в руке, и, зевая, ожидала мужа. А рядом сидела маленькая девочка с такими же пакляными волосами и сонными глазами и ела пирожок с яблочной начинкой. Дверь открылась, и из кабинета вывели Ваню Земнухова с неузнаваемо опухшим лицом. Он чуть не натолкнулся на Улю, и она едва не вскрикнула.

Потом она вместе с Соликовским стояла перед майстером Брюкнером, и тот, должно быть, не в первый уже раз, совершенно равнодушно задал ей какой-то вопрос. И Шурка Рейбанд, с которым она танцевала в клубе перед войной и который пытался за ней ухаживать, теперь, делая вид, что ее совершенно не знает, перевел ей этот вопрос. Но она не расслышала того, что он ей сказал, потому что она, еще будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее арестуют. И она с холодным выражением лица сказала это:

— Я не буду отвечать на вопросы, потому что не признаю за вами права судить меня. Делайте со мной, что хотите, но вы больше ничего от меня не услышите...

И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверно, много раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сделал движение пальцами и сказал:

— К Фенбонгу!..

Ужасна была не боль от мучений,— она могла перенести любую боль, она даже не помнила, как били ее,— ужасно было, когда они кинулись ее раздевать, и она, чтобы избавиться от их рук, вынуждена была сама раздеться перед ними...

Когда ее вели назад в камеру, навстречу ей пронесли на руках Анатолия Попова с запрокинутой светлой головой и свесившимися до полу руками, из угла его рта струйкой текла кровь.

Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру, и, может быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а «полицай», сопровождавший ее, крикнул:

— Иванихина Антонина!..

Уля разминулась в дверях с Тоней, взглянувшей на нее кроткими, полными ужаса глазами, и дверь за Улей закрылась. Но в это время на всю тюрьму прозвучал пронзительный детский крик, не Тонин, а просто какой-то девочки.

— Они взяли мою младшую! — вскричала Мария Андреевна Борц. Она, как тигрица, кинулась на дверь и стала биться в нее и кричать: — Люся!.. Они схватили тебя, маленькую! Пустите! Пустите!..

Маленький сынишка Марины проснулся и заплакал.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Эти дни Любку видели в Ворошиловграде, в Каменске, в Ровеньках, однажды она попала даже в осажденное Миллерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров сильно вырос. Карманы ее были набиты дареным печеньем, конфетами, шоколадом, и она простодушно угощала ими первого встречного.

С отчаянной отвагой и беспечностью кружилась она по самой кромке пропасти, с детской улыбкой и сощуренными голубыми глазами, в которых иногда проскальзывало что-то жестокое.

В эту поездку в Ворошиловград она снова связалась с тем человеком, который был ее прямым начальником. Человек этот сказал ей, что немцы сильно свирепствуют в городе. Сам он менял квартиры чуть ли не ежедневно. Он был немыт, небрит, с глазами, красными от бессонницы, но очень возбужден новостями с фронта. Ему нужны были сведения о ближних резервах немцев, о снабжении, об отдельных частях,— целый ворох сведений.

Любке снова пришлось связаться с интендантским полковником, и был момент, когда ей показалось, что вряд ли она сможет выкарабкаться. Все интендантское управление, во главе с этим полковником с несвежим лицом и обвисающими брылями, покидало Ворошиловград, покидало с неслыханной торопливостью. Поэтому и у са-

мого полковника, который, чем больше он пил, становился все стеклянней, и у других офицеров было отчаянное настроение.

Любка выкарабкалась только потому, что их было слишком много. Они мешали друг другу и ссорились, и в конце концов она все-таки очутилась на квартире, где жила девочка гриб-боровик. Любка даже унесла с собой банку чудного варенья, подаренного ей лейтенантом, который все еще на что-то надеялся.

Любка разделась и легла в постель в холодной, нетопленной комнате с высоким потолком. В это время раздался страшный стук в дверь. Любка приподняла голову. В соседней комнате проснулись гриб-боровик и ее мама. В дверь так стучали, будто хотели ее выломать. Любка быстро вскочила из-под одеяла,— от холода она спала в лифе и в чулках,— сунула ноги в туфли и влезла в платье. В комнате было совсем темно. Хозяйка испуганно спрашивала в сенях, кто это, ей отвечали грубые голоса,— это были немцы. Любка подумала, что это перепившиеся офицеры приехали к ней, и сильно растерялась.

Она еще не успела сообразить, что ей предпринять, как в комнату к ней, стуча тяжелыми ботинками на толстой подметке, вошли три человека, и один из них осветил Любку электрическим фонарем.

— Licht! [1] — вскричал чей-то голос, и Любка узнала лейтенанта.

Да, это был он и два жандарма. У лейтенанта было перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой ночник, поданный ему из-за двери хозяйкой, всматривался в Любку. Он передал ночник жандарму и изо всей силы ударил Любку по лицу. Потом растопыренными пальцами он разбросал лежавшие на столе у изголовья мелкие предметы туалета, будто искал что-то. Губная гармоника, лежавшая под носовым платком, упала на пол, лейтенант со злобой наступил на нее и смял каблуком.

Жандармы произвели обыск во всей квартире, а лейтенант уехал. И Любка поняла, что это не он привез жандармов, а они нашли Любку через него: где-то что-то открылось, но что — этого она не могла знать.

---

[1] Свет! *(нем.)*

Дама, хозяйка квартиры, и девочка гриб-боровик оделись и, ежась от холода, наблюдали за обыском. Вернее, дама наблюдала, а гриб-боровик с жгучим интересом и любопытством неотрывно смотрел на Любку. В последний момент Любка порывисто прижала гриб-боровик к себе и поцеловала его прямо в крепкую щечку.

Любку привезли в ворошиловградскую жандармерию. Какой-то чин просмотрел ее документы и с помощью переводчика расспросил ее, действительно ли она Любовь Шевцова и в каком городе она проживает. При допросе присутствовал, сидя в углу, какой-то паренек, лица его Любка не рассмотрела. Паренек все время дергался. У Любки забрали чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных мелких предметов, банки с вареньем и пестрого большого платка, которым она повязывала иногда шею и который попросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее осталось.

Так она и появилась, в оставшемся на ней ярко-пестром крепдешиновом платье и с этим узелком с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья, в камере первомайцев — днем, когда шел допрос.

«Полицай» открыл дверь камеры, впихнул ее и сказал:

— Принимайте ворошиловградскую артистку!

Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами оглядела, кто в камере, увидела Улю, Марину с мальчиком, Сашу Бондареву, всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились, румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым.

К тому времени, когда Любка была привезена в краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми и «молодогвардейцами» с их родными до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон.

В городе происходили все новые и новые аресты, попрежнему зависевшие от стихийных признаний Стаховича. Доведенный до состояния измученного животного, он покупал себе отдых, предавая своих товарищей, но каждое новое предательство сулило ему все новые и новые мученья. То он вспоминал всю историю с Ковалевым и Пирожком. То вспоминал о том, что у Тюленина был приятель, он даже не знал его фамилии, но он помнил его приметы и помнил, что тот живет на «Шанхае».

Вдруг Стахович вспоминал, что у Осьмухина был друг Толя Орлов. И вот уже истерзанный Володя и мужественный «Гром гремит» стояли друг перед другом в кабинете вахтмайстера Балдера.

— Нет, я первый раз его вижу,— тихо говорил Толя.

— Нет, я его совсем не знаю,— говорил Володя.

Стахович вспоминал о том, что у Земнухова в Нижне-Александровском живет любимая девушка. И через несколько дней перед майстером Брюкнером стояли уже не похожий на самого себя Земнухов и Клава со своими косящими глазами. И она говорила чуть слышно:

— Нет... Когда-то учились вместе. А с начала войны не видела. Ведь я жила в деревне...

Земнухов молчал.

Всю группу поселка Краснодон содержали в местной поселковой тюрьме. Лядская, выдавшая группу, не могла знать, кто из них какую роль играл в организации, но она знала, например, об отношениях Лиды Андросовой с Колей Сумским, в которого Лида была влюблена.

Лиду Андросову, хорошенькую девушку с остреньким подбородком, похожую на лисичку, избивали ремнями, снятыми с винтовок: от нее требовали рассказать о деятельности Сумского в организации. Лида Андросова вслух считала удары, но отказалась говорить хоть что-нибудь.

Чтобы старшее поколение не могло оказывать влияния на младшее, их содержали отдельно и следили за тем, чтобы между ними не было никакой связи.

Но даже для палачей в их зверской деятельности существует предел возможного. Не только никто из закаленных большевиков, но и никто из арестованных «молодогвардейцев» не признавался в своей принадлежности к организации и не показывал на товарищей. Эта беспримерная в истории стойкость почти ста юношей и девушек, почти детей, постепенно выделила их среди невинно арестованных и среди родных и близких. И, чтобы облегчить свое положение, немцы стали постепенно выпускать всех, кто попал случайно, и тех из родных, кого взяли в качестве заложников. Так были выпущены родные Кошевого, Тюленина, Арутюнянца и других. Выпущена была и Мария Андреевна Борц. Маленькую Люсю отпустили за день до нее, и Мария Андреевна только дома смогла в слезах проверить, что материнский

слух не обманул ее и младшая дочь была в тюрьме. Теперь в руках палачей осталась только группа взрослых подпольщиков во главе с Лютиковым и Бараковым и члены организации «Молодая гвардия».

Родные арестованных с утра до ночи толпились у здания тюрьмы, хватая за руки выходивших и входивших «полицаев» и немецких солдат с просьбой дать весточку или пронести передачу. Их разгоняли, они собирались снова, обрастали прохожими и просто любопытными. Из-за дощатых стен иногда слышны были вопли избиваемых, и, чтобы заглушить их, в тюрьме с утра заводили патефон. Город било, как в лихорадке: не было человека, который не побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И майстер Брюкнер вынужден был дать распоряжение принимать передачу для заключенных. Так Филипп Петрович и Бараков смогли узнать, что райком, созданный ими, живет и действует и изыскивает способы, чтобы освободить и «больших» и «маленьких».

Как ни противоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской из зверских немецкой оккупационной тюрьмы, они жили в ней уже около двух недель, и постепенно у них образовался свой, особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви, дружбы и даже привычками развлечения.

— Девочки, хотите варенья? — говорила Любка, усевшись посредине камеры на пол и развязывая свой узелок.— Балда! Раздавил мою губную гармошку! Что я буду здесь делать без гармошки?..

— Обожди, сыграют они на твоей спинке, отобьют охоту к гармошке! — в сердцах сказала Шура Дубровина.

— Так ты знаешь Любку! Думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, кричать. Вот так: «А-а-а!.. Дураки! За что вы бьете Любку?» — завизжала она.

Девушки засмеялись.

— И то правда, девушки, на что нам жаловаться? А кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами. Да то ли им еще придется пережить!..— говорила Лиля Иванихина.

Круглолицая, светленькая, она, должно быть, ко многому привыкла в концентрационных лагерях, она ни на что не жаловалась, за всеми ухаживала и была добрым духом всей камеры.

Вечером Любку вызвали на допрос к майстеру Брюкнеру. Это был необычайный допрос: присутствовали все начальники жандармерии и полиции. Любку не били, с ней были даже вкрадчиво-ласковы. Любка, вполне владевшая собой и не знавшая, что им известно, по привычке своего общения с немцами, кокетничала и смеялась и выражала полное непонимание того, что они от нее хотят. Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр.

Это была с их стороны только догадка, у них не было прямых улик, но они не сомневались в том, что это так и есть. Достаточно было узнать о принадлежности Любки к организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка имела данные о том, что в области работает несколько тайных радиопередатчиков. А тот парень, который присутствовал при допросе Любки в ворошиловградской жандармерии, был парень из компании Борьки Дубинского, ее приятеля по курсам, он подтвердил, что Любка училась на этих секретных курсах.

Любке сказали, чтобы она подумала, не лучше ли ей сознаться, и отпустили в камеру.

Мать прислала ей полную кошелку продуктов. Любка сидела на полу, зажав ногами кошелку, извлекала оттуда то сухарь, то яичко, покачивала головой и напевала:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...

Полицейскому, принесшему передачу, она сказала:

— Передай маме, что Любка жива и здорова, просит, чтобы побольше передавала борща! — Она обернулась к девушкам и закричала: — Дивчата, налетай!..

В конце концов она все-таки попала к Фенбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание: она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю:

— Балда!.. Плешивый дурак!.. Сучья лапа!..— Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фенбонга.

В последующий раз, когда Фенбонг в присутствии майстера Брюкнера и Соликовского избил ее скрученным проводом, Любка, как ни кусала губы, не смогла удержать слез. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица.

Уля в светлой вязаной кофточке, присланной ей из дому и шедшей к ее черным глазам и волосам, сидела в углу камеры и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, «Тайну монастыря святой Магдалины». Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением: они прослушали уже «Овод», «Ледяной дом», «Королеву Марго».

Дверь в коридор была открыта, чтобы проветрить камеру. Полицейский из русских сидел напротив двери на табурете и тоже слушал «Тайну монастыря».

Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули, потом перевела взгляд на Майю Пегливанову, который день лежавшую не вставая. Вырикова выдала, что Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Майю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода.

— Саша... Саша...— тихо позвала она Бондареву, сидевшую в группе, окружавшей Улю.— Что-то наши мальчишки притихли...

— Да...

— Уж не повесили ли они носы?

— Все-таки их, знаешь, больше терзают,— сказала Саша и вздохнула.

В Саше Бондаревой, с ее резкими мальчишескими ухватками и голосом, только в тюрьме раскрылись вдруг какие-то мягкие, девические черты, и она точно стыдилась их оттого, что они так запоздало проявились.

— Давай мы их малость расшевелим,— сказала Любка, оживившись.— Мы сейчас на них карикатуру нарисуем.

Любка быстро достала в изголовье листок бумаги и маленький карандашик — с одной стороны синий, с другой красный,— и обе они, Любка и Саша, улеглись на животе лицами друг к другу, стали шепотом разрабаты-

вать содержание карикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг у друга карандаш, изобразили худенького, изможденного паренька с громадным носом, оттягивавшим голову паренька книзу так, что он весь изогнулся и ткнулся носом в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили белым, а нос покрасили красным и подписали ниже:

Ой вы, хлопцы, что невеселы,
Что носы свои повесили?

Уля кончила рассказывать. Девушки вставали, потягивались, расходились по своим углам, некоторые обернулись к Любке и Саше. Карикатура пошла по рукам. Девушки смеялись:

— Вот где талант пропадал!

— А как передать?

Любка взяла бумажку, подошла к двери.

— Давыдов! — вызывающе сказала она полицейскому.— Передай ребятам их портрет.

— И откуда у вас карандаши, бумага? Ей-богу, скажу начальнику, чтоб обыск сделал! — хмуро сказал полицейский.

Шурка Рейбанд, проходивший по коридору, увидел Любку в дверях.

— Ну как, Люба? Скоро в Ворошиловград поедем? — сказал он, заигрывая с ней.

— Я с тобой не поеду... Нет, поеду, если передашь вот ребятам, портрет мы их нарисовали!..

Рейбанд посмотрел карикатуру, усмехнулся костяным личиком и сунул листок Давыдову.

— Передай, чего там,— небрежно сказал он и пошел дальше по коридору.

Давыдов, знавший близость Рейбанда к главному начальнику и, как все «полицаи», заискивавший перед ним, молча приоткрыл дверь в камеру к мальчикам и вбросил листок. Оттуда послышался дружный смех. Через некоторое время застучали в стенку:

— Это вам показалось, девочки. Жильцы нашего дома ведут себя прилично... Говорит Вася Бондарев. Привет сестренке...

Саша взяла в изголовье стеклянную банку, в которой мать передавала ей молоко, подбежала к стенке и простучала:

— Вася, слышишь меня?

Потом она приставила банку дном к стенке и, приблизив губы к краям, запела любимую песню брата — «Сулико».

Но едва она стала петь, как все слова песни стали оборачиваться такой памятью о прошлом, что голос у Саши прервался. Лиля подошла к ней и, гладя ее по руке, сказала своим добрым, спокойным голосом:

— Ну, не надо... Ну, успокойся...

— Я сама ненавижу, когда потечет эта соленая водичка,— сказала Саша, нервно смеясь.

— Стаховича! — раздался по коридору хриплый голос Соликовского.

— Начинается...— сказала Уля.

Полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ.

— Лучше не слушать,— сказала Лиля.— Улечка, ты же знаешь мою любовь, прочти «Демона», как тогда, помнишь?

...Что люди? — что их жизнь и труд? —

начала Уля, подняв руку.

Они пришли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень,—
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

О, как задрожали в сердцах девушек эти строки, точно говорили им: «Это о вас, о ваших еще не родившихся страстях и погибших надеждах!»

Уля прочла и те строки поэмы, где ангел уносит грешную душу Тамары. Тоня Иванихина сказала:

— Видите! Все-таки ангел ее спас. Как это хорошо!

— Нет! — сказала Уля все еще с тем стремительным выражением в глазах, с каким она читала.— Нет!.. Я бы улетела с Демоном... Подумайте, он восстал против самого бога!

— А что! Нашего народа не сломит никто! — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах.— Да раз-

ве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может?.. Может быть, мы погибнем, мне не страшно. Да, мне совсем не страшно,—с силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка.— Но мне бы не хотелось... Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими! Да песен попеть,— за это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших! Подумайте только, прожили шесть месяцев при немцах, как в могиле просидели: ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы,— с силой говорила Любка.

— А мы и сейчас заспиваем, ну их всех к чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой своей рукой, запела:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки.

Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский, с злым, испуганным лицом, зашипел:

— Да вы что, очумели? Замолчать!..

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда,—
Партизанские отряды
Занимали города...

Полицейский захлопнул дверь и убежал.

Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складками шеи, стоял в дверях, в руке его тряслась дымившаяся сигара.

— Platz nehmen! Ruhe!.. [1] — вырвалось из него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача.

...Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни...—

пели девушки.

---

[1] По местам! Молчать! *(нем.)*

Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере, у мальчиков, завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры.

Любка, одна оставшись посредине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собою жестокими невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку.

— А! Дочь чумы! — вскричал Брюкнер задыхаясь. Схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры.

Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи.

— Verdammt noh mal! [1] — взревел Брюкнер и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове. Но она не отпускала его руки.

Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору.

Солдаты держали ее, а майстер Брюкнер и унтер Фенбонг били ее электрическими проводами по только что присохшим струпьям. Любка злобно прикусила губу и молчала. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества.

—А, сучьи лапы! А!.. Бейте, бейте! Вон наши голосок подают! — закричала она.

Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбонг прекратили истязания. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку.

— А! Трусы! Подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков! Ага-а!..— кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчане и яростно стуча ногами.

Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город.

С этого дня в жизни «молодогвардейцев» в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, изде-

---

[1] Проклятье! *(нем.)*

вались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку.

И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения, уже непредставимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Олег, наиболее осведомленный о передвижении на фронте, повел группу почти на север, с тем чтобы где-то в районе Гундоровской перейти замерзший Северный Донец и выйти к станции Глубокой на железной дороге Воронеж — Ростов.

Они шли всю ночь. Мысли о родных и товарищах не оставляли их. Почти всю дорогу они шли молча.

К утру, обойдя Гундоровскую, они беспрепятственно перешли Донец и хорошо укатанной военной дорогой, проложенной по старой грунтовой, пошли направлением на хутор Дубовой, ища глазами по степи какого-нибудь жилья, чтобы согреться и закусить.

Погода была безветренная, взошло солнце, начало пригревать. Степь со своими балками и курганами сияла чистой белизной. Укатанная дорога начала оттаивать, по обочинам обнажились края канав, пошел парок и запахло землею.

И по дороге, по которой они шли, и по далеко видным, особенно с холмов, боковым и дальним проселкам то и дело двигались навстречу им разрозненные остатки немецких пехотных, артиллерийских подразделений, служб, интендантских частей, не попавших в великое кольцо сталинградского окружения и разбитых в последующих боях. Это были немцы, не похожие на тех, какие двигались на тысячах грузовиков пять с половиной месяцев тому назад. Они шли в расхлыстанных шинелях, с обмотанными головами и ногами, чтобы было теплее, обросшие щетиной, с такими грязными, черными лицами и руками, будто они только что вылезли из печной трубы.

Однажды, проселком с востока на запад, ребятам пересекла дорогу группа итальянских солдат, в большин-

стве без ружей, а некоторые несли ружья, положив их на плечи, как палки, вверх ложем. Офицер в летней накидке, с головой, обмотанной поверх покосившейся полуфуражки-полукепки детскими рейтузами, ехал среди своих солдат верхом на ишаке без седла, едва не бороздя дорогу громадными башмаками. Он был так смешон и так символичен с замерзшими под носом соплями, этот житель теплой, южной страны в снегах России, что ребята, переглянувшись, захохотали.

На дорогах попадалось немало мирных жителей, сорванных войной со своих мест. И никто не обращал внимания на двух юношей и трех девушек, идущих по зимней дороге с вещевыми мешками.

Все это подняло их настроение. С беспечной отвагой юности, не имеющей реального представления об опасности, они видели себя уже по ту сторону фронта.

Нина в валенках и шапке-ушанке, из-под которой тяжелые завитки ее волос падали на воротник теплого пальто, вся разрумянилась от ходьбы. Олег все время поглядывал на нее. И они, встретившись глазами, улыбались друг другу. А Сережка и Валя в одном месте даже завязались играть в снежки и далеко оставили позади своих товарищей, перегоняя один другого. Оля, старшая среди них, одетая во все темное, спокойная и молчаливая, держалась по отношению к этим двум парам, как снисходительная мамаша.

На хуторе Дубовом они провели около суток, исподволь выспрашивая о фронтовых делах. Какой-то инвалид, без руки, должно быть из осевших «окруженцев», посоветовал им идти дальше на север, в деревню Дячкино.

В этой деревне и в ближайших к ней хуторах они прослонялись несколько суток среди смешавшихся тылов немецких частей и прятавшихся по подвалам жителей. Они находились теперь в непосредственной близости от линии боев, с которой доносился беспрерывный гул орудий и ночами, как зарницы, вспыхивали огни их жерл. Авиация бомбила немецкие тылы, и, видно, фронт подавался под напором советских войск, потому что все немецкое вокруг сдвигалось и текло на запад.

На них косился каждый прохожий солдат, а жители боялись впустить, не зная, что это за люди. Не только

переходить фронт впятером, а просто бродить или оставаться здесь было опасно. В одном из хуторков хозяйка, очень недружелюбно поглядывавшая на них, ночью вдруг тепло оделась и вышла. Не спавший Олег разбудил своих товарищей, и они ушли с хутора в степь. Ветер, поднявшийся с прошлого дня, сильно донимал их после сна, и прислониться некуда было. Никогда они не чувствовали себя такими беспомощными и заброшенными. И тогда заговорила Оля, старшая среди них.

— Не обижайтесь на то, что я скажу,— так начала она, ни на кого не глядя, прикрывая рукавом щеку от ветра.— Нам не перейти фронта такой большой компанией. И, должно быть, очень трудно перейти фронт женщине или девушке...— Она взглянула на Олега и Сережку, ожидая возражений, но они молчали, потому что это была правда.— Нам, девушкам, надо освободить своих мальчишек,— твердо сказала она. Нина и Валя поняли, что говорят о них.— Нина, может быть, будет возражать, но твоя мама поручила мне тебя, мы пойдем в деревню Фокино, там живет моя подружка по институту, она нас приютит, и мы у нее дождемся фронта,— сказала Оля.

Олег впервые не нашелся, что ответить, Сережка и Валя молчали.

— Почему же я буду возражать? Нет, я не буду возражать,— сказала Нина, чуть не плача.

Так они постояли еще молча все пятеро, томясь и не решаясь сделать последний шаг. Тогда Олег сказал:

— Оля права. Зачем подвергать девушек риску, когда у них есть более простой выход. И правда, нам будет легче. И в-вы ид-дите,— сказал он, вдруг начав заикаться, и обнял старшую, Олю.

Потом он подошел к Нине, а все остальные отвернулись. Нина порывисто обняла его и стала покрывать поцелуями все его лицо. Он обнял ее и поцеловал в губы.

— П-помнишь, как я один раз пристал к тебе, все п-просил разрешения поцеловать в щеку, п-помнишь, как я говорил: «Только в щеку, ну, понимаешь, п-просто в щеку?» И вот аж когда пришлось поцеловаться. Т-ты помнишь? — шептал он ей с детским счастливым выражением.

— Я помню, я все помню, я помню больше, чем ты думаешь... Я всегда буду помнить тебя... Я буду ждать тебя,— шептала она.

Он снова поцеловал ее и высвободился.

Отойдя немного, Оля и Нина еще окликнули их, а потом их сразу не стало ни видно, ни слышно, только поземка мела по тонкому насту.

— Как вы? — спросил Олег у Вали и Сережки.

— Мы все-таки попробуем вместе,— виновато сказал Сережка.— Мы пойдем вдоль фронта, может где и проскочим. А ты?

— Я все-таки здесь попробую. Здесь я по крайней мере уже местность знаю,— сказал Олег.

Снова наступила тягостная минута молчания.

— Милый друг ты мой, не стыдись, не вешай голову... Н-ну? — сказал Олег, понимая все, что творится в Сережкиной душе.

Валя порывисто обняла Олега. А Сережка, который не любил нежностей, пожал Олегу руку и потом чуть толкнул его ладонью в плечо и пошел не оглядываясь, а Валя догнала его.

Это было седьмого января.

Но они тоже не могли перейти фронт вдвоем. Они все ходили из деревни в деревню и так дошли до Каменска. Они выдавали себя за брата и сестру, отбившихся от семьи в районе боев на Среднем Дону. И люди жалели их и стелили им где-нибудь на холодном земляном полу, и они спали обнявшись, как брат и сестра в беде. А утром снова вставали и шли. Валя требовала, чтобы они сделали попытку перейти фронт в любом месте, но Сережка был человек реального склада и все не хотел переходить фронт.

И, наконец, она поняла, что Сережка и не сделает попытки перейти фронт, пока она, Валя, будет ходить с ним: Сережка мог перейти фронт в любом месте, но он боялся погубить ее. И тогда она сказала ему:

— Ведь я одна всегда могу пристроиться где-нибудь тут в деревне и переждать, пока фронт перейдет через нашу местность...

Но он не хотел и слышать об этом.

И все-таки она его перехитрила. Во всей их деятельности, особенно когда они стали все делать вдвоем, он

всегда был коноводом, и она подчинялась ему. Но в личных делах она всегда брала верх над ним, и он сам не замечал, как шел за ней в поводу. Так и теперь она сказала ему, что он сможет попасть в часть Красной Армии и рассказать, что в Краснодоне гибнут свои ребята, и вместе с этой частью спасти ребят от гибели, а заодно и выручить Валю.

— Я буду ждать тебя где-нибудь тут поблизости,— сказала она.

Валя, уставшая за день, крепко заснула, а когда она проснулась перед зарей, Сережки уже не было: он пожалел будить ее, чтобы проститься.

И она осталась одна.

Елена Николаевна на всю жизнь запомнила эту морозную ночь, это была ночь с одиннадцатого на двенадцатое января. Вся семья уже спала, когда кто-то тихо постучал в оконце с улицы. Елена Николаевна сразу услышала этот стук и сразу поняла, что это он.

Олег с помороженными щеками опустился на стул, от усталости даже не сняв шапки. Все проснулись. Бабушка зажгла коптилку и поставила под стол, чтобы свет не виден был с улицы: полиция навещала их по нескольку раз в день. Олег сидел, освещенный снизу, шапка его заиндевела вокруг лица, на скулах у него были черные пятна. Он похудел.

Он сделал несколько попыток перейти фронт, но он совсем не знал современной системы огня и расположения подразделений и групп в обороне. И был слишком большой и темно одет, чтобы незаметно переползти по снегу. Мысль о том, что же с ребятами в городе, все время преследовала его. В конце концов он убедил себя, что может незаметно проникнуть в город, когда уже прошло столько времени.

— Что о Земнухове слыхать? — спрашивал он.

— Все то же...— сказала мать, избегая смотреть на него.

Она сняла с него шапку, тужурку. Не на чем было даже чаю согреть, но домашние и так переглядывались, боясь, чтобы его вот-вот не захватили здесь.

— Уля как? — спросил он.

Все молчали.

— Улю взяли,— тихо сказала мать.

— А Любу?

— Тоже...

Он изменился в лице и, помолчав, спросил:

— А в поселке Краснодон?

Нельзя было так мучить его по капле, и дядя Коля сказал:

— Легче назвать тех, кто еще не взят...

И он рассказал об аресте большой группы рабочих Центральных мастерских вместе с Лютиковым и Бараковым. Теперь уже никто в Краснодоне не сомневался, что это были свои люди, оставленные в немецком тылу со специальным заданием.

Олег поник головой и больше ни о чем не спрашивал.

Посоветовавшись, они решили отправить его в село к родне Марины, сейчас же, ночью. Дядя Коля взялся проводить его.

Они шли по дороге на Ровеньки, по степи безлюдной, видной на большое пространство под звездами, струившими тихий синеватый свет по снегу.

Несмотря на то, что он почти не отдохнул после стольких дней скитаний, часто без пищи и крова,— после всего, что обрушилось на него дома, Олег уже вполне владел собой и по дороге расспросил у дяди Коли все подробности, связанные с провалом «Молодой гвардии» и арестом Лютикова и Баракова. Он рассказал дяде Коле свои злоключения.

Они не заметили, как кончился длинный, пологий подъем дороги, и они достигли его высшей точки и круто стали спускаться с холма метрах в пятидесяти от окраины большого села, темневшего перед ними.

— В село премся, надо бы обойти,— сказал дядя Коля.

И они свернули с дороги и пошли левым краем, все так же метрах в пятидесяти от села,— снег был глубок только в сугробах.

Они пересекли было одну из боковых дорог, ведущих в село, как из-за крайнего дома, наперерез к ним, кинулось несколько серых фигур. Они бежали и кричали по-немецки очень сипло.

Дядя Коля и Олег, не сговариваясь, бросились от них по дороге.

Олег чувствовал, что у него нет сил бежать, слышал, что его нагоняют. Он напряг последние силы, но поскользнулся и упал. На него навалились и заломили назад руки. Двое еще гнались за дядей Колей и несколько раз выстрелили ему вслед из револьвера. Через некоторое время они вернулись, ругаясь и посмеиваясь, что не удалось поймать.

Олега привели в большой дом, где раньше была, должно быть, сельрада, а теперь канцелярия старосты. На соломе на полу спало несколько солдат жандармерии. Олег понял, что нарвались на жандармский пост. На столе стоял полевой телефон в темной коже.

Ефрейтор поднял фитиль в лампе и, сердясь и крича на Олега, начал обыскивать его. Не найдя ничего подозрительного, он сдернул с Олега тужурку и пядь за пядью стал прощупывать ее. Большие пальцы его рук были плоские и расширенные у ногтя, и он методично и ловко работал ими.

Так пальцы его добрались до картона комсомольского билета, и Олег понял, что все кончено.

Ефрейтор, прикрывая рукой выложенные на стол комсомольский билет и бланки временных комсомольских билетов, надрываясь, сипло говорил по телефону. Потом он положил трубку и что-то сказал солдату, который привел Олега.

Только к ночи следующего дня Олег, сопровождаемый этим ефрейтором и солдатом вместо кучера, на розвальнях подъехал к зданию жандармерии и полиции в городе Ровеньки и был сдан на руки дежурному жандарму.

Олег сидел один в камере, в полной темноте, обхватив руками колени. Если бы можно было видеть его лицо,— выражение его было спокойное и суровое. Мысли о Нине, о матери, о том, как глупо он попался,— на все это у него было много времени, пока он сидел в канцелярии старосты и пока его везли, и все это уже отошло от него. И не о том он думал, что ожидает его: он это знал. Он был спокоен и суров, потому что он подводил черту под всей своей недолгой жизнью.

«Пусть мне шестнадцать лет, не я виноват в том, что мой жизненный путь оказался таким малым... Что может страшить меня? Смерть? Мучения? Я смогу

вынести это... Конечно, я хотел бы умереть так, чтобы память обо мне осталась в сердцах людей. Но пусть я умру безвестным... Что ж, так умирают сейчас миллионы людей, так же, как и я, полные сил и любви к жизни. В чем я могу упрекнуть себя? Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда был легкомыслен,— может быть, слаб от излишней доброты сердца... Милый Олежка-дролежка! Это не такая большая вина в шестнадцать лет... Я даже не изведал всего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив! Счастлив, что не пресмыкался, как червь,— я боролся... Мама всегда говорила мне: «Орлик мой!..» Я не обману ее веры и доверия товарищей. Пусть моя смерть будет так же чиста, как моя жизнь,— не стыжусь сказать себе это... Ты умрешь достойно, Олежка-дролежка...»

Черты его лица разгладились, он лег на подмерзшем склизком полу, подмостив под голову шапку, и крепко уснул.

Он открыл глаза, почувствовав, что кто-то стоит над ним. Было утро.

Почти закрыв собой дверь в камеру, перед Олегом стоял в казачьей шинели, в польской конфедератке, едва налезавшей на крупную рыжую голову, плотный старик с большим сизым носом, в крупных рыжих веснушках по всему лицу, с слезящимися безумными глазами.

Олег сел на полу, с удивлением глядя на него.

— А я думаю, какой он такой, Кошевой?.. А он, вон он какой... Гаденыш! Прохвост этакий!.. Жалко, что тебя гестапо будет учить,— у меня б тебе лучше было. Я бью в исключительных случаях... Так вон ты какой! Про тебя слава, как про Дубровского. Читал, небось, Пушкина? У, гаденыш!.. Жалко, что ты не у меня,— старик нагнулся к Олегу, прищурил один безумный слезящийся глаз и, дыша на Олега водкой, таинственно зашептал: — Ты думаешь, я почему так рано? — Он подмигнул уже совсем интимно и доверительно.—Сегодня отправляю партию туда...— он покрутил набухшим пальцем куда-то в небо.— Пришел с парикмахером всех побрить, я всегда брею перед этим,— шептал он. Он выпрямился, крякнул, поднял большой палец руки и сказал: — Культурненько!.. А ты пойдешь по линии гестапо, не завидую тебе. Оревуар! — Он поднес

набухшую старческую руку к козырьку конфедератки и вышел, и кто-то захлопнул дверь камеры.

Когда Олег был переведен уже в общую камеру, где сидели совсем неизвестные ему люди из дальних мест, он узнал, что это был начальник ровеньковской полиции Орлов, из бывших деникинских офицеров, страшный палач и истязатель.

Спустя два-три часа его повели на допрос. Им занимались только одни гестаповцы, переводчик тоже был немец-ефрейтор.

Их было много, немецких жандармских офицеров, в кабинете, куда его ввели. Все они с открытым любопытством, удивлением, а некоторые даже так, как смотрят на лицо значительное, смотрели на него. По своему, во многом еще детскому восприятию мира он не мог предполагать, насколько широко разошлась слава о «Молодой гвардии» и насколько он сам благодаря показаниям Стаховича и тому, что его так долго не могли поймать, превратился в фигуру легендарную. Его допрашивал гибкий, точно был без костей, как минога, немец, с лицом, которому страшные фиолетовые полукружья под глазами, исходящие из-под углов темных, почти черных век, огибающие скулы и растворяющиеся на худых щеках в трупные пятна, придавали вид сверхъестественный,— такой человек мог присниться только в страшном сне.

На требование раскрыть всю деятельность «Молодой гвардии» и выдать всех ее членов и сообщников Олег сказал:

— Я руководил Молодой гвардией один и один отвечаю за все, что делали ее члены по моему указанию... Я мог бы рассказать о деятельности Молодой гвардии, если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для организации рассказывать о ее деятельности людям, которые убивают и невинных...— Он помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: — Да вы и сами уже мертвецы...

Этот немец, действительно похожий на мертвеца, все-таки еще спросил его что-то.

— Эти мои слова — последние,— сказал Олег и опустил ресницы.

После того Олег был брошен в застенок гестапо, и для него началась та страшная жизнь, которую не то

что выдержать, о которой невозможно писать человеку, имеющему душу.

Но Олег выдерживал эту жизнь до конца месяца, и его не убивали, потому что ждали фельдкоменданта области генерал-майора Клера, который хотел лично допросить главарей организации и распорядиться их судьбою.

Олег не знал, что сюда же, в ровеньковское гестапо, привезен на допрос фельдкоменданта и Филипп Петрович Лютиков. Врагам не удалось узнать, что Лютиков был главою подпольной большевистской организации Краснодона, но они чувствовали и видели, что это самый крупный человек из всех захваченных ими.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Ручные пулеметы с трех точек, как из углов треугольника, били по ложбине меж холмов, похожей на седло двугорбого верблюда, и пули шмякали по кашице из снега и грязи и издавали на излете звук: «Иу-у... иу-у...» Но Сережка был уже по ту сторону седловины. Сильные руки, схватив его повыше кисти, втащили в окоп.

— Не стыдно тебе? — сказал маленький сержант с большими глазами на чистом курском наречии.— Что это такоича! Русский паренек, а поди ты... Пристращали они тебя или посулили чего?

— Я свой, свой,— сказал Сережка, нервно смеясь,— у меня документы в ватнике зашиты, отведите меня к командиру. У меня важное сообщение!

Начальник штаба дивизии и Сережка стояли перед командиром в единственной неразбитой хате на хуторке неподалеку от железной дороги. Хуторок был весь когда-то обсажен акациями, теперь их побили авиация и артиллерия. Здесь был командный пункт дивизии, здесь не проходили части и запрещалось ездить на машинах, и в хуторке и в хате было очень тихо, если не считать все время перекатывавшегося за холмами на юге многоголосого гула боя.

— Сужу не только по документам, а и по тому, что он говорит. Мальчишка все знает: местность, огневые

позиции тяжелой, даже огневые точки в квадратах двадцать семь, двадцать восемь, семнадцать...— начальник назвал еще несколько цифр.— Многое совпало с данными разведки, кое-что он уточнил. Кстати, берега эскарпированы. Помните? — говорил начальник, кудрявый молодой человек с тремя шпалами на петлицах, то и дело втягивая одной стороной рта воздух и морщась: у него болел зуб.

Командир дивизии осмотрел комсомольский билет Сережки и рукописное удостоверение с примитивным печатным бланком за подписью командира Туркенича и комиссара Кашука, выданное в том, что Сергей Тюленин является членом штаба подпольной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Он осмотрел билет и это удостоверение и вернул их не начальнику штаба, от которого их получил, а в руки Сережке и с грубоватой наивностью осмотрел Сережку с головы до ног.

— Так...— сказал командир дивизии.

Начальник штаба сморщился от боли, втянул воздух одной стороной рта и сказал:

— У него есть важное сообщение, которое он хочет сказать только вам.

И Сережка рассказал им о «Молодой гвардии» и высказал соображение, что дивизия, несомненно, должна тотчас же выступить на выручку ребят, сидящих в тюрьме.

Начальник штаба, выслушав тактический план движения дивизии на Краснодон, улыбнулся, но тут же тихо простонал и взялся рукой за щеку. Но командир не улыбнулся, как видно не считая марш дивизии на Краснодон таким невероятным делом. Он спросил:

— Каменск-то ты знаешь?

— Знаю, только не отсюда, а оттуда, с той стороны. Я оттуда пришел...

— Федоренко! — крикнул командир таким голосом, что где-то зазвенела посуда.

Никого, кроме них, не было в комнате, но в то же мгновение Федоренко, самозародившись из воздуха, вырос перед командиром и так щелкнул каблуками, что всем стало весело.

— Есть Федоренко!

— Парнишке обутки — раз. Покормить — два. Пусть отоспится в тепле, пока не вызову.

— Есть обутки, есть покормить, пусть спит, пока не вызовете.

— В тепле...— И командир наставительно поднял палец.— Как баня?

— Будет, товарищ генерал!

— Ступай!

Сережка и сержант Федоренко, приятельски обнявший его за плечи, вышли из хаты.

— Командующий приедет,— с улыбкой сказал командир.

— Да ну-у? — весь просияв и на мгновение забыв даже боль зуба, сказал начальник штаба.

— Придется ведь в блиндаж переходить. Вели, чтоб подтопили, а то ведь Колобок, он, знаешь, задаст! — с веселой улыбкой говорил командир дивизии.

В это время командующий армией, которого командир дивизии назвал любовным солдатским прозвищем «Колобок», еще спал. Он спал на своем командном пункте, который помещался не в доме и вообще не в жилой местности, а в бывшем немецком блиндаже в роще. Хотя армия наступала очень быстро, командующий придерживался принципа останавливаться не в населенных пунктах, а на каждом новом месте занимать немецкие блиндажи, а если они были разрушены, рыть новые блиндажи для себя и для всего штаба, как в первые дни войны. Этого принципа он стал придерживаться после того, как в первые дни войны погибло немало крупных военных, его товарищей, от вражеской авиации: они не считали нужным рыть блиндажи.

Командующий армией в недалеком прошлом командовал дивизией, в которую вышел Сережка Тюленин. Это была та самая дивизия, с которой ровно полгода тому назад должен был взаимодействовать партизанский отряд, руководимый Иваном Федоровичем Проценко. А командующий армией, в прошлом командир этой дивизии, был тот генерал, с которым Иван Федорович лично договаривался в помещении райкома в Краснодоне и который так отличился в обороне сначала Ворошиловграда, потом Каменска и последующими умелыми арьергардными боями во время памятного отступления в июле и августе 1942 года.

У командующего была простая, доставшаяся ему от отца и деда крестьянская фамилия. После этих боев

она выделилась среди фамилий других военачальников и сохранилась в памяти жителей Северного Донца и Среднего Дона. А теперь, за два месяца боев на Юго-Западном фронте, фамилия эта стала известной всей стране, как и фамилии других военачальников, прославивших себя в великой Сталинградской эпопее. «Колобок» — это было его новое прозвище, о котором он сам и не подозревал.

Прозвище это в известном отношении отвечало его внешности. Он был низкий, широкий в плечах, грудастый, с полным, сильным по выражению и очень простым русским лицом. При этой тяжеловатой внешности он был очень легок на подъем, подвижен, глаза у него были маленькие, умные, веселые, а движения ловкие и круглые. Однако он был прозван «Колобком» не за эту свою внешность.

По стечению обстоятельств он наступал теми же местами, по каким отступал в июле и в августе. Несмотря на тяжесть боев в те памятные дни, он тогда довольно легко оторвался от противника и укатился в неизвестном направлении так, что противник и следу его не мог найти.

Влившись в состав частей, образовавших впоследствии Юго-Западный фронт, он вместе с ними зарылся в землю и так и просидел в земле вместе со всеми, пока исступленная ярость противника не разбилась о их каменное упорство. А когда пришел момент, он вместе со всеми вылез из-под земли и — покатился сначала во главе этой же дивизии, потом армии, по пятам противника, беря тысячи пленных и сотни орудий, обгоняя и оставляя у себя в тылу на доделку разрозненные части противника, сегодня одной ногой еще на Дону, а другой уже на Чиру, завтра одной на Чиру, а другой уже на Донце.

И тогда из самой потаенной солдатской гущи выкатилось это круглое сказочное слово «колобок» и прилепилось к нему. И впрямь, он катился, как колобок.

Сережка вышел к своим в те переломные дни середины января, когда развертывалось колоссальное наступательное движение Воронежского, Юго-Западного, Донского, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, Волховского и Ленинградского фронтов, приведшее к окончательному разгрому и пленению немецко-фашист-

ских войск, окруженных под Сталинградом, к прорыву более чем двухлетней ленинградской блокады и к освобождению за полтора лишь месяца таких городов, как Воронеж, Курск, Харьков, Краснодар, Ростов, Новочеркасск, Ворошиловград.

Сережка вышел к своим как раз в те дни января, когда началось новое мощное танковое наступление на немецкие оборонительные укрепления по линии рек Деркул, Айдар, Оскол — северных притоков Донца,— когда на участке железной дороги Каменск — Кантемировка ликвидировано было последнее сопротивление немецкого гарнизона в осажденном Миллерове, а за два дня до этого занята станция Глубокая и наши части готовились форсировать Северный Донец.

В то время, когда командир дивизии беседовал с Сережкой, командующий армией еще спал. Как и все командующие, он все самое важное, имеющее отношение собственно к командованию, подготавливал и проделывал ночью, когда люди, не имеющие отношения к этим вопросам, не мешали ему и он был свободен от повседневной текучки армейской жизни. Но старший сержант Мишин, ростом с Петра Великого, Мишин, который при генерале, командующем армией, занимал то же место, что сержант Федоренко при генерале, командире дивизии, уже посматривал на дареные трофейные часы на руке — не пора ли будить.

Командующий всегда недосыпал, а сегодня он должен был встать раньше обычного. По стечению обстоятельств, столь нередких на войне, дивизии, которая в июле под его командованием обороняла Каменск, предстояло теперь взять этот город. Правда, в ней уже мало было «стариков». Ее командир, недавно произведенный в генералы, в те дни командовал полком. Таких, как он, «старожилов» еще можно было найти среди офицеров, а среди бойцов их было совсем мало: дивизия на девять десятых состояла из пополнения, влившегося в нее перед наступлением на Среднем Дону.

В последний раз взглянув на часы, старший сержант Мишин подошел к полке, на которой спал генерал. Это была именно полка, так как генералу, который опасался сырости, всегда делали ложе на втором этаже, как в вагоне.

Мишин, как обычно, вначале сильно потряс генерала, спавшего на боку с детским лицом здорового человека с чистой совестью. Но, конечно, это не могло нарушить его богатырского сна, это была только подготовка к тому, что Мишин должен был проделать в дальнейшем. Он просунул одну свою руку под бок генералу, а другой обнял его сверху, под мышку, и очень легко и бережно, как ребенка, приподнял тяжелое тело генерала в постели.

Генерал, спавший в халате, мгновенно проснулся, и глаза его взглянули на Мишина с такой ясностью, как будто он и не спал.

— Вот и спасибо,— сказал он, с неожиданной легкостью соскочил с полки, пригладил волосы и уселся на табурет, оглядываясь, где парикмахер. Мишин подбросил генералу туфли под ноги.

Парикмахер в огромных юфтовых сапогах и белоснежном переднике поверх гимнастерки уже крутил мыло в отделении блиндажа, где помещалась кухня. Неслышно, как дух, он оказался возле командующего, заправил ему салфетку за ворот халата и зефирными касаниями мгновенно намылил ему лицо с выбившейся за ночь жесткой и темной щетинкой.

Не прошло и четверти часа, как генерал, уже вполне одетый, в застегнутом кителе, массивно сидел у столика и, пока ему подавали завтрак, быстро просматривал бумаги, которые одну за другой, ловко выхватывая их из папки с кожаным верхом и красной суконной изнанкой, подавал адъютант генерала. Первым он подал только поступившее сообщение о взятии нашими Миллерова, но это уже не было новостью для генерала, он знал, что Миллерово обязательно падет ночью или утром. Потом пошли разные повседневные дела.

— Черт их не учил, оставить им этот сахар — раз они уже его захватили!.. Переставить Сафронова с медали «За отвагу» на боевое Красное Знамя: они там, в дивизии, думают, наверное, что рядовых можно представлять только к медалям, а к орденам только офицеров!.. Еще не расстреляли? Не трибунал, а прямо редакция «Задушевного слова»! Расстрелять немедленно, не то самих под суд отдам!.. Ух, черти его не учили: «Требуется приглашение на замещение...» Я хотя и из солдат, а по-русски нельзя так сказать, право слово.

Скажи Клепикову, который подписал это, не читая, пусть прочтет, выправит ошибки синим или красным карандашом и придет ко мне с этой бумагой лично... Нет, нет! Ты мне сегодня подносишь какую-то особенную муру. Все, все подождет,—говорил генерал, очень энергично принимаясь за завтрак.

Командующий уже допивал кофе, когда небольшого роста генерал, ладно скроенный, с большим белым лбом, казавшимся еще больше оттого, что генерал спереди лысел, с аккуратно подстриженными на висках светлыми волосами, спокойный, точный и экономный в движениях, возник с папкой возле стола. Внешность у него была скорее ученого, а не военного.

— Садись,— сказал ему командующий.

Начальник штаба пришел с делами, более важными, чем те, какие подсовывал командующему его адъютант. Но прежде чем приступить к делам, начальник штаба с улыбкой подал генералу московскую газету, самую последнюю, доставленную самолетом в штаб фронта и утром сегодня разосланную по штабам армий.

В газете был очередной список награжденных и повышенных в званиях офицеров и генералов, в том числе некоторых представленных по его армии.

С живым, веселым интересом, присущим военным людям, командующий быстро читал списки вслух и, натыкаясь на фамилии людей, знакомых по академии и по Отечественной войне, поглядывал на начальника штаба то со значительным, то с удивленным, то с сомневающимся, а то и просто с детски сияющим — особенно когда дело касалось его армии — выражением лица. В списке был уже много раз награжденный командир той дивизии, которой раньше командовал «Колобок» и из которой вышел также теперешний начальник штаба армии. Командир дивизии был награжден за давнишнее дело, но пока это проходило по инстанциям и только теперь попало в печать.

— Вот не вовремя узнает, когда Каменск брать! — сказал командующий.— Еще размагнитится!

— Наоборот, подтянется,— с улыбкой сказал начальник штаба.

— Знаем, знаем все ваши слабости!.. Сегодня буду у него, поздравлю... Чувырину — поздравительную телеграмму. Харченко — тоже. А Куколеву прямо что-

нибудь человеческое, понимаешь, не казенное, а что-нибудь ласковое. Рад, рад за него. Я уж думал, не выправится он после этой Вязьмы,— говорил командующий. Вдруг он хитро заулыбался.— Когда ж погоны?

— Везут! — сказал начальник штаба и опять улыбнулся.

Совсем недавно был опубликован приказ о введении в армии для рядового и офицерского состава и для генералов погон, и это занимало всю армию.

Достаточно было командиру дивизии сказать начальнику своего штаба о приезде командующего, как весть эта мгновенно прошла по всей дивизии. Она дошла даже до тех, кто в это время лежал в мокрой каше из снега и грязи на открытой степной стороне Донца, откуда виден был крутой правый берег реки и здания города Каменска, дымившиеся во многих местах, и силуэты наших штурмовиков, бомбивших в тумане город.

Когда командующий еще на машине подъезжал ко второму эшелону дивизии, где встретил его сам командир, а потом они вместе пешком прошли на командный пункт,— по всему пути его следования как бы невзначай возникали одиночные фигуры и целые группы бойцов и офицеров, и всем хотелось не только увидеть его, но чтобы и он их увидел. Все с особенным шиком и удальством щелкали каблуками, и на всех лицах было выражение старанья или приветливые улыбки.

— Признавайтесь, час тому назад влезли в блиндаж, черт вас не учил, еще стены не пропотели! — сказал командующий, мгновенно разоблачив маневр командира дивизии.

— Так точно, два часа назад. Больше не вылезем, пока Каменск не возьмем,— говорил командир дивизии, почтительно стоя перед командующим, с хитрым выражением в глазах и со спокойной, уверенной складкой в нижней части лица, говорившей: «Я у себя в дивизии хозяин и знаю, за что ты будешь ругать меня всерьез, а это так, пустяки».

Командующий поздравил его с награждением. И командир дивизии, воспользовавшись подходящим моментом, сказал как бы небрежно:

— Пока до дела не дошли... здесь поблизости банька в деревне уцелела, топим. Тоже, поди, давно не мылись, товарищ генерал?

— Ну-у?..— сказал генерал очень серьезно.— А готова?

— Федоренко!

Выяснилось, что баня будет готова только к вечеру. Командир дивизии наградил Федоренко таким взглядом, что было понятно: будет ему за это!

— Вечером...— Командующий подумал, нельзя ли то-то передвинуть, а то-то отменить, но вдруг вспомнил, что по дороге сюда вклинилось еще то-то.— Придется в другой раз,— сказал он.

Командир дивизии по совету начальника штаба армии, который считался во всей армии непререкаемым военным авторитетом, разработал свой план захвата Каменска и начал излагать этот план командующему. Командующий послушал и стал проявлять признаки недовольства.

— Тут же какой треугольник: река, железная дорога, окраина города — это же все укреплено...

— Я высказал те же сомнения, но Иван Иванович справедливо заметил...

Иван Иванович был начальником штаба армии.

— Ты форсируешь ее, а потом тебе некуда расшириться по фронту. Они все время будут избивать тебя на подходе,— говорил командующий, тактично обходя вопрос об Иване Ивановиче.

Но командир дивизии понимал, что его позицию укрепляет авторитет Ивана Ивановича, и он снова сказал:

— Иван Иванович говорит, что они не могут ждать лобового удара отсюда, примут за демонстрацию, и данные разведки нашей это подтверждают.

— Только вы ворветесь отсюда в город, как они начнут поливать вас вдоль по улицам и отсюда, с вокзала...

— Иван Иванович...

Командующий понял, что они не сдвинутся с места, пока он не устранит препятствие в лице Ивана Ивановича, и он сказал:

— Иван Иванович ошибся.

После того он в довольно мягких выражениях, ловкими круглыми движениями широкой кисти с короткими пальцами показал по карте и по воображаемой местности план обхода и штурма города с совершенно другого направления.

Командир дивизии вспомнил о мальчишке, который утром перешел фронт из окрестностей города, со стороны которых командующий наметил направление главного удара. И вдруг план штурма города сам собою очень легко и свободно улегся в его голове.

К ночи все главное и решающее было закончено в штабе дивизии и передано полкам. И командиры пошли в баньку, случайно уцелевшую в соседней бывшей деревушке.

А в пять часов утра командир дивизии и его заместитель по политической части выехали в полки — проверить их готовность.

В блиндаже майора Кононенко, командира полка, не спали всю ночь, потому что всю ночь отдавались приказания и разъяснения от все бо̀льших ко все меньшим командирам, применительно к их маленьким, частным, а на деле главным и решающим задачам.

Несмотря на то, что все уже было приказано и разъяснено, командир дивизии с необыкновенной методичностью и терпением еще раз повторил то, что уже было сказано накануне, и проверил, что сделано майором Кононенко.

И майор Кононенко, молодой командир, типичный военный труженик, с выбивающимся из-под ворота гимнастерки свитером, в стеганом ватнике и ватных штанах, без шинели, чтобы легче было двигаться, с отважным, худым, энергичным лицом и тихим голосом, так же терпеливо и не очень внимательно, потому что он все это уже знал, выслушал командира и отрапортовал, что он уже сделал.

Это был полк, в который попал Сережка. Он прошел обратно всю лестницу от штаба дивизии до командира роты, получил автомат и две гранаты и был зачислен в штурмовую группу, которая должна была первой ворваться на разъезд возле Каменска.

В течение последних дней над всей окружающей Каменск холмистой, в редких кустарниках, открытой местностью крутила теплая метель. Потом ветер с юга нагнал туман. Снег, на открытых местах еще не глубокий, начал таять, развезло поля и дороги.

Села и хутора по обоим берегам Донца были сильно разбиты бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Бой-

цы расположились в старых блиндажах и землянках, в палатках и просто под открытым небом, не разводя костров.

Весь день накануне штурма им виден был в тумане расположенный по ту сторону реки довольно большой город с пустынными пересеченными улицами и возвышающимися над крышами жилых домов станционной водокачкой, уцелевшими кое-где трубами заводов и разбитыми колокольнями церквей. Простым глазом можно было видеть на холмах перед городом и по окраинам его немецкие дзоты.

Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в солдатскую шинель, перед сражением за освобождение такого вот населенного пункта. Чувство нравственного подъема оттого, что он, человек в шинели, наступает, освобождает свое, кровное. Чувство жалости к городу и к жителям его, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мокрые щели. Ожесточение на противника, который — это известно по опыту — будет сопротивляться с удвоенной, утроенной силой от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты. Чувство невольной душевной заминки от понимания, что смерть грозит и задача трудна. А сколько сердец сжимается от естественного чувства страха!

Но ни один из бойцов не проявлял этих чувств, все были возбужденно веселы и грубовато шутили.

— Колобок, раз уж он взялся, он вкатится,—говорили бойцы так, точно и впрямь не им самим, а сказочному колобку предстояло вкатиться в этот город.

Штурмовой группой, в которую попал Сережка, командовал тот самый сержант, к кому он вышел, перейдя линию фронта,— маленький, подвижной, веселый человек, с лицом, испещренным множеством мелких морщинок, и с большими глазами, синими, но такими искристыми, что казалось, будто они беспрерывно меняют цвет. Фамилия его была Каюткин.

— Так ты из Краснодона? — переспросил сержант с выражением одновременно и радости и как бы даже недоверия.

— Бывал, что ли? — спросил Сережка.

— У меня был друг — девушка оттуда,—сказал Каюткин, немного пригрустнув,— да она эвакуирова-

лась. Я с ней в дороге и познакомился. Очень хорошая девушка... Проходил я через Краснодон,— сказал он, помолчав.— И Каменск я оборонял. Все, кто обороняли, тот погиб, тот в плену, а я вот снова тут. Слыхал стишки?

И он прочел с серьезным лицом:

Был задет не раз в атаке,—
Зажило, чуть видны знаки.
Трижды был я окружен,
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно,
Оставался невредим
Под косым и под трехслойным,
Под навесным и прямым...

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был «рассеян» я частично
И частично «истреблен»...

— Про таких, как я, сложены,— сказал Каюткин, посмеялся и подмигнул Сережке.

Так прошел день и наступила ночь. В то время, когда командир дивизии повторял майору Кононенко его задачу, бойцы, которым предстояло решить эту задачу, спали. Спал и Сережка.

В шесть часов утра их разбудили дневальные. Бойцы выпили по чарке водки, съели по полкотелка мясного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной каши. И под прикрытием тумана, ложбинками и кустарниками, стали накапливаться на исходных для атаки рубежах.

Под ногами передвигавшихся группами бойцов образовалась грязная кашица из мокрого снега и глины. Метрах в двухстах уже ничего не было видно. Загудели тяжелые пушки, а последние группы бойцов еще подтягивались к берегу Донца и залегали в этой мокрой каше.

Орудия били размеренно, методически, но их было так много, что звуки выстрелов и разрывов снарядов сливались в непрерывный гул.

Сережка лежал рядом с Каюткиным и видел перелетающие в тумане через реку, справа от них и прямо над ними, то круглые, то с огненными хвостами красные

шары, слышал их скользящий шелест, резкие разрывы на той стороне и гул дальних разрывов в городе, и эти звуки возбуждающе действовали на него, как и на его товарищей.

Немцы только подбрасывали мины в места, где они предполагали скопление пехоты. Иногда из города отвечал шестиствольный миномет. И Каюткин с некоторой опаской говорил:

— Ишь, заскрипел...

И вдруг издалека, из-за спины Сережки, накатились громовые гулы. Они все нарастали, распространялись по горизонту. И над головами залегших на берегу бойцов загудело, запело, и страшные огненные разрывы, окутываемые густым черным дымом, закрыли весь противоположный берег.

— Катюши заиграли,— сказал Каюткин, весь подобрался, и его лицо, испещренное морщинками, приобрело ожесточенное выражение.— Сейчас Иван-долбай еще даст, тогда уж...

И еще не смолкли гулы позади них, и еще продолжались разрывы на том берегу, когда Сережка, не слышавший, была ли какая-нибудь команда или нет, а только увидевший, что Каюткин высунулся вперед и побежал, тоже выскочил из окопчика и побежал на лед.

Они бежали по льду, казалось, в абсолютной тишине. На деле по ним били с того берега, и люди падали на льду. Черный дым и серный запах волнами накатывались на бегущих сквозь движущуюся массу тумана. Но ощущение того, что все вышло правильно и все будет хорошо, уже владело всеми бойцами.

Сережка, оглушенный этой внезапно наступившей тишиной, пришел в себя, когда уже лежал рядом с Каюткиным на том берегу в воронке развороченной дымящейся земли. Каюткин со страшным лицом бил во что-то прямо перед собой из автомата, и Сережка увидел не далее как шагах в пятидесяти от них высунувшийся из полузасыпанной щели сотрясающийся хобот пулемета и тоже стал бить в эту щель. Пулемет не видел ни Сережки, ни Каюткина, а видел что-то более дальнее, и мгновенно захлебнулся.

Город был далеко справа от них, по ним уже почти не стреляли, и они всё дальше и дальше отходили от

берега в глубь степи. Спустя уже много времени на степь, по всему направлению их движения, стали ложиться снаряды, посылаемые из города.

У невидных в тумане, но хорошо знакомых Сережке хуторков их снова встретил сильный огонь пулеметов и автоматов. Они залегли и лежали так довольно долго, пока их не нагнали легкие пушки, которые почти в упор стали бить по хуторкам. В конце концов группы бойцов ворвались на хуторки вместе с этими пушками, которые катили и катили перед собой рослые, веселые и подвыпившие артиллеристы. Здесь сразу же появился командир батальона, и связисты уже тянули провод в подвал разбитого каменного домика.

Так все шло хорошо до этого продвижения к разъезду, конечной цели их маленькой, частной операции. Если бы у них были танки, они давно были бы уже на этом разъезде, но танки на этот раз не были пущены в дело, потому что их не выдерживал лед на Доние.

Теперь бойцы наступали в полной темноте. Командир батальона, который лично возглавлял эту операцию, как только противник открыл огонь, вынужден был пойти в атаку с теми группами, которые были у него под рукой, а главные силы были еще на подходе. Бойцы ворвались на этот хутор, группа Каюткина проникла довольно глубоко по улице и завязала бой за здание школы.

Огонь из школы открылся такой сильный, что Сережка перестал стрелять и уткнул лицо в кашу из грязи. Пуля прожгла ему левую руку повыше локтя, но кость была нетронута, и сгоряча он не почувствовал боли. А когда он решился наконец поднять голову, никого уже не было возле него.

Вернее всего было бы предположить, что товарищи его, не выдержав огня, отошли на окраину к своим. Но Сережка был еще неопытен, ему показалось, что все товарищи его убиты, и ужас вошел в его сердце. Он отполз за угол домика и стал прислушиваться. Двое немцев пробежали мимо него. Он слышал немецкие голоса уже и справа, и слева, и позади. Стрельба здесь смолкла, она все усиливалась на окраине, а потом и там стала стихать.

Далеко над городом, окрашивая не небо, а сгустившиеся черные клубы дыма, колыхалось огромное зарево, и оттуда доносился стозвучный рев.

Раненый Сережка один лежал в холодной каше из снега и грязи на хуторе, занятом немцами.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Друг мой! Друг мой!.. Я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе...

Если бы ты знал, какое волнение овладевало мной в те далекие дни детства, когда мы ездили с тобой учиться в город! Более пятидесяти верст разделяло нас, и, выезжая из дому, я так боялся, что не застану тебя, что ты уже уехал,— ведь мы не виделись целое лето!

Одна возможность такого горя невыразимой тоской сжимала мне сердце в тот час ночи, когда я за спиной у отца въезжал на подводе в ваше село и притомившийся конь так медленно брел по улице. Еще не доезжая вашей избы, я соскакивал с телеги, я знал, что ты всегда спишь на сеновале и уж если тебя там нет, значит тебя нет... Но разве был хоть один случай, чтобы ты не дождался меня,— я знаю, ты готов был бы запоздать в школу, лишь бы не оставить меня одного... Мы уже не смыкали глаз до рассвета, мы сидели, свесив босые ноги с сеновала, и всё говорили, говорили и прыскали в ладони так, что куры на насесте встряхивали крыльями. Пахло сеном, осеннее солнце, выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица, и только тогда мы могли видеть, как мы изменились за лето...

Я помню, как однажды мы, юноши, стояли в реке по колено в зеленой воде, с подвернутыми штанами, и ты мне признался, что ты влюблен... Скажу откровенно, она мне не нравилась, но я сказал тебе:

— Ты влюблен, не я! Будь же ты счастлив!..

И ты засмеялся и сказал:

— В самом деле, можно даже порвать отношения, чтобы удержать человека от дурного поступка, но разве можно дать совет в любви? Как часто самые близкие люди вмешиваются со своим опекунством в дела любви, сводят, разводят, передают дурное, что слышат о любимом тобой человеке... Если бы они знали, сколько они

причиняют этим зла, сколько отравляют чистых минут, которые не повторятся никогда в жизни!..

Еще я помню, когда пришел этот, я не хочу называть его имени, этот Н. и стал беспечно, с насмешливой улыбкой болтать о своих друзьях: «Этот по уши влюблен в такую-то, он просто пресмыкается перед нею, а у нее грязные ногти,— только это между нами... А этот, вы знаете, вчера так напился в гостях, его даже рвало,— только это между нами... А такой-то ходит в потасканной одежде, притворяется бедным, а на самом деле он просто скуп, я это точно знаю,— он не стыдится пить пиво на чужой счет,— только это между нами...»

Ты посмотрел на него и сказал:

— Вот что, Н., уйди отсюда вон да только поскорее...

— Как вон? — удивился Н.

— А просто вон... Что может быть презреннее человека, который ничего не может рассказать о лице своего товарища, потому что всегда смотрит на него сзади? И что может быть презреннее юноши-сплетника?..

С каким восхищением смотрел я на тебя! Я думал точно так же, но, может быть, я не смог бы поступить так резко...

Но лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, когда вдали от тебя я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол...

И вот мы, как всегда, встретились осенью все на том же сеновале, и я почувствовал с твоей стороны какую-то неловкость и отчужденность, и я сам испытывал это по отношению к тебе. Мы, как в детстве, сидели, свесив босые ноги, и молчали. Потом ты сказал:

— Может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь за то, что я решил так, не посоветовавшись с тобой, но я, живя тут один летом, понял, что иного пути у меня нет. Ты знаешь, я решил вступить в комсомол...

— Но у тебя появятся новые обязанности и новые друзья, а как же я? — сказал я, чтобы испытать нашу дружбу.

— Да,— грустно ответил ты,— это, конечно, так и будет. Я, конечно, понимаю, что это дело совести, но как было бы хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол!

И я уже больше не мог терзать тебя: мы прямо посмотрели в глаза друг другу и засмеялись.

Может быть, никогда уже не было у нас такого счастливого разговора, как в этот последний раз, на твоем сеновале, с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло из-за осин, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашейдружбе...

Дружба! Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга! А какое это отношение имеет к дружбе?

Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбия друг друга,— да, если мы были несогласны, мы наносили друг другу раны! А дружба наша от этого только крепла, она мужала, она точно наливалась тяжестью металла...

Я так часто бывал несправедлив к тебе, но, если я сознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ... А ты говорил:

— Не мучайся,—это бесполезно... Если ты все понял, забудь, то ли бывает,— это борьба...

А потом ты ухаживал за мной лучше, чем самая добрая из добрых госпитальных сестер, и, может быть, даже лучше, чем мать, потому что ты был грубоватый, несентиментальный юноша...

А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя,— это было так давно, а мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту... Я тащил тебя через камыши от озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо, и там, на берегу, наверно, уже не осталось никого в живых, такой огонь был направлен на эту поросшую камышом узкую полоску земли. Я тащил тебя, потому что я не мог представить себе, что ты можешь не жить... И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал:

— Пить... Дай мне немножко попить...

Но здесь уже не было воды, и у нас не было ни кружки, ни котелка, ни фляжки, а то бы я сходил обратно к озеру. Тогда ты сказал:

— Сними с меня осторожно сапоги, они у меня еще совсем крепкие.

И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдатский сапог, истоптавший столько дорог,— мы столько дней были на походе, не меняли портянок, но я пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз,— я сам хотел пить невыносимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я сам успел напиться под таким огнем,— это было чудо, что мне удалось хоть зачерпнуть в сапог воды и доползти обратно.

Но когда я дополз до тебя, ты был уже мертв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой,—недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить, и я припал к твоему сапогу, к этой горькой чаше нашей солдатской дружбы, и, плача, выпил ее до дна...

Не чувствуя ни холода, ни страха, изнуренная, намерзшаяся, голодная, как волчица, бродила Валя вдоль фронта от хутора к хутору, ночуя иногда просто в степи. И волны отступавших немцев, после каждой новой передвижки фронта, заставляли и ее подаваться все ближе к родным местам.

Она бродила день, два, неделю, бродила, сама не зная зачем. Может быть, она надеялась еще перейти фронт, а потом сама поверила в то, чем обманула Сережку: а почему бы и в самом деле ему не прийти сюда с какой-нибудь частью Красной Армии? Он сказал: «Я обязательно приду». А он всегда выполнял то, что обещал.

В ночь, когда завязался бой в самом Каменске и огромное зарево на клубах черного дыма видно было на десятки верст окрест, Валя нашла приют на хуторе километрах в пятнадцати от Каменска. На хуторе не было немцев, и Валя, как и большинство жителей, не спала всю ночь, глядя на зарево. Что-то заставляло ее ждать, ждать...

Часов около одиннадцати дня на хуторе стало известно, что части Красной Армии ворвались в Каменск, и бой идет в самом городе, и немцы вытеснены уже из большей части города. Сейчас сюда хлынет самый страшный из врагов — враг, побитый в бою... Валя

снова взяла свой мешок, в который хозяйка из жалости бросила горбушку хлеба, и вышла из хутора...

Она шла, сама не зная куда. Все продолжалась оттепель, но ветер уже изменил направление, стал холоднее, туман сошел, и снежные тучи, лишенные резких очертаний, затянули все небо. Валя остановилась посреди дороги и стояла долго-долго, худая, с этим мешком за плечами, и ветер теребил мокрый, выбившийся из-под берета завиток ее волос. Потом она медленно побрела расплывшимся в снежной воде проселком в сторону Краснодона.

В это время Сережка с отвисшей рукой в окровавленном рукаве, без оружия, стучался в оконце крайней хаты с другого конца хутора.

Нет, судьба не судила ему погибнуть на этот раз... Он долго лежал в грязном, мокром снегу, посреди того хутора у разъезда, пока не угомонились немцы. Нельзя было надеяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. Надо было уходить, уходить в сторону от фронта. Он был в штатском, оружие можно было оставить здесь. Не впервой ему пробираться сквозь вражеское расположение!

Стояла неясная предутренняя муть, когда он с трудом, волоча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой час в избе уже встает добрая хозяйка и зажигает светец до рассвета. Но добрые хозяйки сидели в подвалах со своими детишками.

Сережка отполз от железной дороги метров сто, потом встал и пошел. Так он добрел до этого хутора.

Девушка с русой косою, только что принесшая воду в ведре, сделала ему перевязку, распоров что-то из старья, замыла окровавленный рукав и затерла золой. Хозяева так боялись, что вот-вот нагрянут немцы, даже не накормили Сережку горячим, а только дали ему коечто с собой.

И Сережка, не спавший всю ночь, пошел по хуторам вдоль фронта — искать Валю.

Как это часто бывает в донецкой степи, погода опять переломилась на зиму. Повалил снег, он уже не таял. Потом ударил мороз. В последних числах января Феня, сестра Сережки, жившая своей отдельной семьей, пришла как-то с рынка и застала дверь запертой.

— Мама, ты одна? — спросил из-за двери ее старший сынишка.

Сережка сидел у стола, облокотившись одной рукой, другая висела. Он всегда был худ, а теперь и вовсе спал с лица, ссутулился, только глаза его встретили сестру с прежним, живым и деятельным выражением.

Феня рассказала ему об аресте в Центральных мастерских и о том, что бо̀льшая часть «Молодой гвардии» в тюрьме. Она знала уже от Марины и об аресте Кошевого. Сережка сидел молча, глаза его страшно блестели. Через некоторое время он сказал:

— Я уйду, не бойся...

Он чувствовал, что Феня беспокоится и за него и за своих детей.

Сестра сделала ему перевязку. Переодела его в женское платье, а то, что было на нем, сложила в узелок и в сумерках проводила его домой.

Отца после лишений, перенесенных в тюрьме, так скрючило, что он почти все время лежал в постели. Мать еще крепилась. Сестер не было — ни Даши, ни любимой Нади: они тоже ушли куда-то в сторону фронта.

Сережка стал расспрашивать: не слыхали ли, где Валя Борц?

За это время родители «молодогвардейцев» сблизились между собой, но Мария Андреевна ничего не говорила матери Сережки о своей дочери.

— А там ее нет? — мрачно спросил Сережка.

Нет, в тюрьме Вали не было: это они знали наверное.

Сережка разделся и впервые за целый месяц лег в чистую постель, в свою постель.

Коптилка горела на столе. Все было такое же, как во времена его детства, но он ничего не видел. Отец, лежа в соседней горенке, кашлял так, что стены тряслись. А Сережке казалось, что в горенке неестественно тихо: не было привычной возни сестер. Только маленький племянник ползал в горенке у «деда» по земляному полу и лепетал про что-то свое.

Мать вышла по хозяйству. В горенку «деда» вошла соседка, молодая женщина. Она заходила почти каждый день, а родители Сережки по своей душевной наивности и чистоте никогда не задумывались над тем,

почему она так зачастила к ним. Соседка зашла и разговорилась с «дедом».

Ребенок, ползавший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Сережке, лепеча:

— Дядя... дядя...

Женщина мельком заглянула в горницу, увидела Сережку, потом еще поговорила с «дедом» и ушла.

Сережка свернулся на койке и затих.

Мать и отец уже спали. Темно и тихо было в доме, а Сережка все не спал, томимый тоскою...

Вдруг сильный стук раздался в дверь со двора:

— Отворяй..

Еще секунду тому назад казалось, что та неугомонная сила жизни, которая вела его через все испытания, уже навсегда оставила его, казалось, он был сломлен. Но в то же мгновение, как раздался этот стук, тело его сразу стало гибким и ловким и, бесшумно выскочив из постели, он подбежал к оконцу и чуть приподнял уголок затемнения. Все было бело вокруг. Все было залито ровным сиянием луны. Не только фигура немецкого солдата с автоматом на изготовку, стоявшего у окна, даже тень солдата были словно вырезаны на снегу.

Мать и отец проснулись, испуганно переговорили спросонья и притихли, прислушиваясь к ударам в дверь. Сережка одной рукой, как он уже привык, надел штаны, рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнуры красноармейских ботинок, выданных ему в дивизии, и вышел в горницу, где спали мать и отец.

— Откройте кто-нибудь, света не зажигайте,— тихо сказал он.

Мазанка, казалось, вот-вот рассыплется от ударов.

Мать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя.

Отец тихо встал с постели, и по его молчаливым движениям Сережка чувствовал, как старику тяжело двигаться, как ему тяжело все это.

— Нечего делать, придется открывать,— сказал отец странным тонким голосом.

Сережка понял, что отец плачет.

Отец, стуча клюшкой, вышел в сени и сказал:

— Сейчас, сейчас...

Сережка неслышно выскользнул за отцом.

Мать грузно выбежала в сени и что-то там тронула металлическое, и вроде пахнуло морозным воздухом.

Отец открыл наружную дверь и, придерживая ее, отступил в сторону.

Три темные фигуры, одна за другой, вошли в сени из прямоугольника лунного света. Последний из вошедших прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожектором сильного электрического фонаря. Луч упал сначала на мать, которая стояла в глубине, у двери, ведущей из сеней в пристройку — сарай для коровы. Сережка из своего темного угла увидел, что крючок на двери в сарай откинут и дверь полуоткрыта, и понял, что мать это сделала для него. Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на Сережку, спрятавшегося за его спиной: Сережка не думал, что они осветят сени фонарем, и надеялся выскользнуть во двор, когда они пройдут в горницу.

Двое схватили его за руки. Сережка вскрикнул, такою болью отозвалась раненая рука. Его втащили в горницу.

— Зажги свет! Чего стоишь, как молодая роза! — закричал Соликовский на мать.

Мать трясущимися руками долго не могла зажечь коптилку, и Соликовский сам чиркнул зажигалку. Сережку держали солдат-эсэсовец и Фенбонг.

Мать, увидев их, зарыдала и упала в ноги. Большая, грузная, она ползла, перебирая по земляному полу круглыми, старческими руками. Старик стоял, согнувшись до земли, опершись на клюку, и его всего трясло.

Соликовский произвел поверхностный обыск,— они уже не раз обыскивали квартиру Тюлениных. Солдат вытащил из кармана штанов веревку и стал скручивать Сережке руки позади.

— Сын один... пожалейте... возьмите все, корову, одежду.

Бог знает, что она говорила... Сережке так до слез было жаль ее, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не расплакаться.

— Веди,— сказал Фенбонг солдату.

Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногою.

Солдат, подталкивая Сережку, пошел вперед, Фенбонг и Соликовский за ним. Сережка обернулся и сказал:

— Прощай, мама... Прощай, мой отец...

Мать кинулась на Фенбонга и стала бить его своими все еще сильными руками, крича:

— Душегубцы, вас убить мало! Обождите, вот придут наши!..

— Ах ты... опять туда же захотела,— взревел Соликовский и, несмотря на хриплые срывающиеся просьбы «деда», поволок Александру Васильевну в старом платье-капоте, в каком она всегда спала, на улицу. «Дед» едва успел выбросить ей пальто и платок.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Сережка молчал, когда его били, молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу, молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом, Сережка заскрипел зубами.

Все же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком,— нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы: он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не раненая рука!.. Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах.

Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко.

— Нет... слыхал, что живет рядом, а никогда не видал,— говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Сережки темными бархатными глазами, которые только одни и жили на его лице.

Сережка молчал.

Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько минут в камеру, в сопровождении Соликовского, вошла мать.

Они сорвали одежды со старой женщины, матери одиннадцати детей, швырнули ее на окровавленный

топчан и стали избивать проводами на глазах у ее сына.

Сережка не отворачивался, он смотрел, как бьют его мать, и молчал.

Потом его били на глазах матери, а он все молчал. И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола железный ломик, перебил Сережке в локте здоровую руку. Сережка стал весь белый, испарина выступила на его лбу. Он сказал:

— Это — все...

В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из поселка Краснодон. Большинство из них уже не могло ходить, их волокли по полу, взяв под мышки, и вбрасывали в переполненные и без того камеры. Коля Сумской еще двигался, но один глаз у него был выбит плетью и вытек. Тося Елисеенко, та самая девушка, которая когда-то так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо турмана, Тося Елисеенко могла только лежать на животе: перед тем как ее отправить сюда, ее посадили на раскаленную плиту.

И только их привезли, как в камеру к девушкам вошел жандарм за Любкой. Все девушки и сама Любка были уверены, что ее ведут на казнь... Она простилась с девушками, и ее увели.

Но Любку повели не на казнь. По требованию фельдкоменданта области генерал-майора Клера ее увезли в Ровеньки на допрос к нему.

Был день передачи, морозный, тихий, ни дуновения; стук топора, звон ведра у колодца, шаги пешеходов далеко разносились в воздухе, искрившемся от солнца и снега. Елизавета Алексеевна и Людмила — они всегда носили передачу вместе,— связав узелок провизии и захватив подушку, которую Володя просил в последней записке, подходили тропинкой, проторенной в снегу через пустырь, к продолговатому зданию тюрьмы, которая со своими белыми стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим синевою, сливалась с окружающей местностью.

Обе они, и мать и дочь, так похудели, что еще больше стали походить друг на друга, их можно было принять за сестер. Мать, всегда порывистая и резкая, теперь вовсе казалась сотканной из одних нервных жил.

И уже по звуку голосов женщин, столпившихся у тюрьмы, и по тому, что все женщины были с узелками и не было никакого движения к дверям тюрьмы, Елизавета Алексеевна и Люся почувствовали недоброе. У самого крылечка, не глядя на толпу женщин, стоял, как всегда, немецкий часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел «полицай» в желтом полушубке. Но он не принимал передач.

Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было разглядывать, кто здесь стоит: они встречались здесь каждый день.

Мать Земнухова, маленькая старушка, стояла перед ступенями крыльца, держа перед собой узелок и сверток, и говорила:

— Возьми хоть что-нибудь из продуктов...

— Не нужно. Мы его сами накормим,— говорил полицейский не глядя.

— Он простынку просил...

— Мы дадим ему сегодня хорошую постель...

Елизавета Алексеевна подошла к крыльцу и сказала своим резким голосом:

— Почему передачу не принимаете?

Полицейский молчал, не обращая на нее внимания.

— Нам не к спеху, будем стоять, пока не выйдет кто-нибудь, кто ответит,— сказала Елизавета Алексеевна, оглядываясь на толпу женщин.

Так они стояли, пока не услышали шагов многих людей во дворе тюрьмы и кто-то завозился, отпирая ворота. Женщины всегда пользовались таким случаем, чтобы заглянуть в выходящие на эту сторону окна тюрьмы,— иногда им удавалось даже увидеть своих детей, сидевших в этих камерах. Толпа женщин хлынула на левую сторону ворот. Но из ворот, под командой сержанта Больмана, вышло несколько солдат, и они стали разгонять женщин.

Женщины отбегали и вновь возвращались. Многие начали голосить.

Елизавета Алексеевна и Люся отошли в сторону и молча смотрели на все это.

— Сегодня их казнят,— сказала Люся.

— Нет, я только об одном молю бога, чтобы до самой смерти не сломали ему крыльев, чтобы не дрожал он перед этими псами, чтобы он плевал им в лицо! —

говорила Елизавета Алексеевна с низким хриплым клокотаньем в горле и страшным блеском в глазах.

А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю.

Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером, кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но Ваня все время старался поднять ее и все-таки поднял и в первый раз за эти четыре недели молчания заговорил.

— Что, не можете?..— сказал он.— Не можете!.. Столько стран захватили... Отказались от чести, совести... а не можете... сил нет у вас...

И он засмеялся.

Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами и швырнули к стене.

Уля, застонав, перевернулась на живот.

— Лилечка...— сказала она старшей Иванихиной.— Подыми мне кофточку, жжет...

Лиля, сама едва двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами, как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую в крови кофточку, в ужасе отпрянула и заплакала: на спине Ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда.

Никогда, пока не сойдет в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере по всему протяжению Донца вспыхивали зарницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боев.

Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали: все знали, что в эту ночь казнят «молодогвардейцев». Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте в своих нетопленых квартирах и хибарках, а кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса, или урчание машин, или выстрелы.

Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из «молодогвардейцев», которых водили на пытки последними, видели,

что в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре...

В камерах тоже слышны были величественные гулы, перекатывавшиеся по Донцу.

Уля, полулежа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам:

— Ребята, слышите, слышите?.. Крепитесь... Наши идут... Все равно наши идут...

В коридоре послышался топот солдатских ботинок, захлопали двери камер. Заключенных начали выводить в коридор и на улицу не через двор, а прямо через главный вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или в теплых жакетах, помогали друг другу надеть шапки, повязаться платками. Лиля одела лежавшую неподвижно Аню Сопову, а Шура Дубровина — свою любимую подругу Майю. Некоторые из девушек писали последние записки и запрятывали в брошенном белье.

С прошлой передачей Уле передали чистое белье, она начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слезы стали душить ее, она была не в силах совладать с ними и, схватив окровавленное белье и закрыв им лицо, чтобы ее не было слышно, уткнулась в угол камеры и некоторое время так посидела.

Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок Стаховича и, раскачав, бросили в грузовик. Многие «молодогвардейцы» не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рагозин и Женя Шепелев. У Володи Осьмухина была отрублена правая рука, но он шел сам. Ваню Земнухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукьянченко. За ними, шатаясь как былинка, шел Сережка Тюленин.

Их посадили в разные грузовики — девушек и юношей.

Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузовиков, влезли через борта в переполненные машины. Унтер Фенбонг занял место рядом с водителем на переднем грузовике. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь мимо зданий детской больницы и

школы имени Ворошилова. Передней шла машина с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля запели:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил...

Девушки присоединились к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном неподвижном воздухе.

Грузовики, оставив слева последний дом, выехали на дорогу, ведущую к шахте № 5.

Сережка, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух... Вот грузовики уже миновали поворот на выселки, скоро они должны были пересечь балку. Нет, Сережка знал, что он не в силах сделать это. Но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалев со связанными за спиной руками. Он был еще силен, недаром ему связали руки. Сережка толкнул его головой. Ковалев обернулся.

— Толька... Сейчас балка...— прошептал Сережка и кивнул головой вбок.

Ковалев, покосившись за плечо себе, пошевелил связанными руками. Сережка припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалева. Сережка был так слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу. Но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел был развязан. Ковалев, по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими.

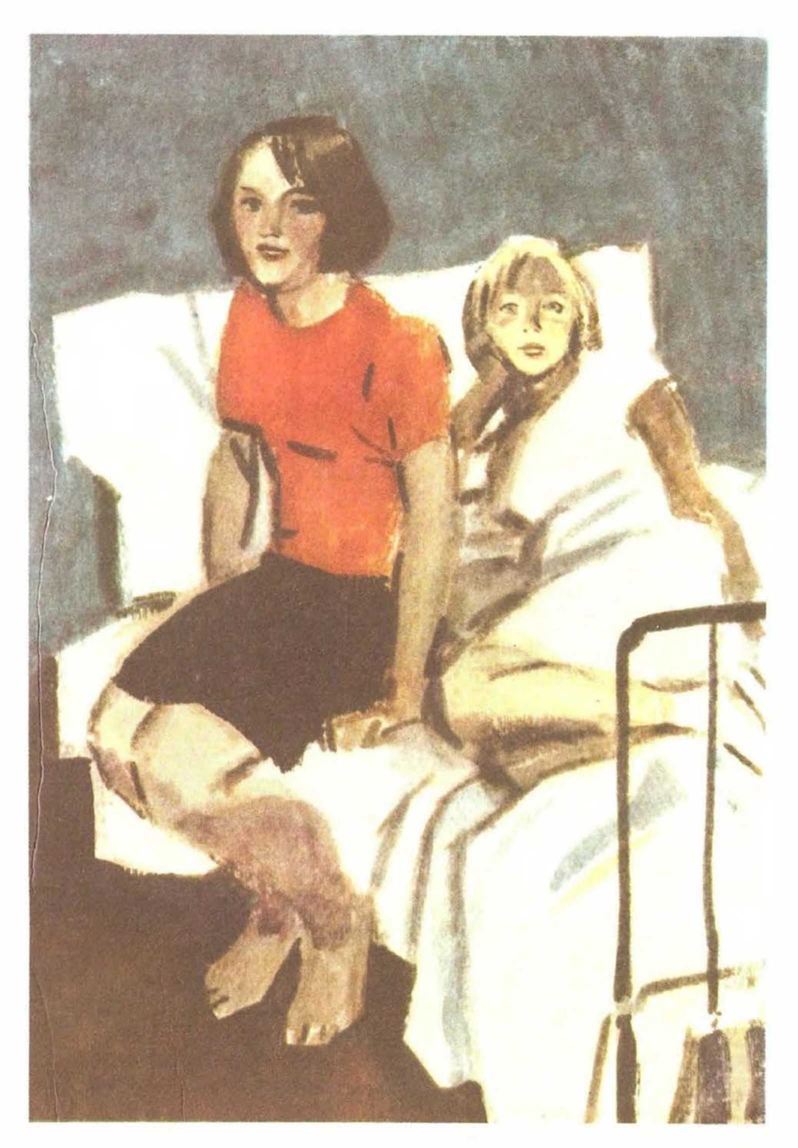
...Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней...—

пели девушки и юноши.

Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем. Второй, рыча и буксуя, тоже начал въезжать. Ковалев, став ногой на заднюю стенку, спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег.

Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалева не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные, начали наугад стрелять из грузовика. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом.

— Ушел!.. Ушел!..— с невыразимой силой торжест-



«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

ва кричал Сережка тонким голосом и ругался самыми страшными словами, какие только знал. Но эти ругательства звучали сейчас в устах Сережки, как святое заклятие.

Вот уже виден был косо свалившийся набок после взрыва копер шахты № 5.

Юноши и девушки запели «Интернационал».

Их всех сгрузили в промерзшее помещение бани при шахте и некоторое время продержали тут: поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь.

«Молодогвардейцы» получили возможность проститься друг с другом. И Клава Ковалева смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб и уже не разлучаться с ним.

Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру.

Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили несколько десятков тел, немцы спустили на них две вагонетки. Но стон из шахты слышен был еще на протяжении нескольких суток.

Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связанные за кисти рук, Филипп Петрович Лютиков и Олег Кошевой. Все время, пока их держали в Ровеньках, они не знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели и связали вместе и повели на очную ставку в надежде заставить их указать след всего подполья — не только в районе, а и во всей области.

Зачем они их связали? Они боялись их не связанных. Враги хотели также показать, что им известно, какую роль играли эти двое в организации.

Седые волосы на голове Филиппа Петровича слиплись в засохшей крови, истерзанная одежда прилипла к ранам на его большом теле, и каждое движение доставляло ему мучительную боль, но он ничем не выдавал этого. Тяжкие муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, и на лице его резче обозначились те черты силы, которые делали его лицо таким приметным в молодости и говорили о великой душевной его мощи. Вы-

ражение глаз у него было спокойное и строгое, как всегда.

Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом, почти не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые. Большие глаза его из-под темных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением.

Так стояли они перед фельдкомендантом Клером, народные вожаки — старый и молодой.

И Клер, закосневший в убийствах, потому что ничего другого он не умел делать, подверг их новым страшным испытаниям, но можно сказать, что они уже ничего не чувствовали: дух их парил беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух человека.

Потом их разлучили, и Филипп Петрович был снова отвезен в краснодонскую тюрьму. Дело Центральных мастерских все еще не было доследовано.

Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать помощь заключенным не только потому, что тюрьма сильно охранялась, но и потому, что теперь весь город был переполнен отступающими вражескими войсками.

Филиппа Петровича Лютикова, Николая Баракова и его товарищей постигла та же участь, что и «молодогвардейцев»: их сбросили в шурф шахты № 5.

Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках тридцать первого января днем, и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме.

А Любу Шевцову мучили еще до седьмого февраля, все пытаясь добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери:

«Прощай, мама, твоя дочь Люба уходит в сырую землю».

Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен:

На широких московских просторах...

Ротенфюрер СС, ведший ее на расстрел, хотел поставить ее на колени и выстрелить в затылок, но Люба не стала на колени и приняла пулю в лицо.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Филипп Петрович, передавая через Полину Георгиевну адрес, которым, он полагал, воспользуются Олег и Ваня Туркенич, из предосторожности не велел говорить им, что это за адрес. Филипп Петрович знал, что Марфа Корниенко, к которой он их направлял, сообщит об их приходе Проценко или жене его. А там уже сумеют использовать руководителей «Молодой гвардии».

То, что Филипп Петрович решился сообщить этот самый потаенный адрес Олегу и Туркеничу, само по себе говорило, насколько он доверял им, ценил их и как тревожился за их судьбу.

Но хотя Полина Георгиевна и не объяснила Олегу, куда Лютиков направляет его и Туркенича, Ваня сразу догадался, что это путь к партизанам.

Среди всех участников «Молодой гвардии» только он и Мошков были уже сформирвавшимися, взрослыми людьми. Ваня Туркенич, как и его товарищи, тяжело переживал арест друзей своих. Все силы души его были сосредоточены на том, как их выручить. Но в отличие от товарищей своих Туркенич видел события в их реальном свете. И мысль о помощи друзьям носила у него характер вполне практический.

Наиболее близкий путь к освобождению друзей — это был путь в партизаны. Туркенич знал, что советские войска находятся уже на территории Ворошиловградской области и идут вперед, а в Краснодоне готовится вооруженное выступление. Он нисколько не сомневался, что ему, человеку с военным опытом, дадут отряд или, во всяком случае, дадут возможность сформировать отряд. И Туркенич без колебаний воспользовался адресом, переданным ему Олегом.

Он допускал, что фамилия его уже может быть известна во всех жандармских управлениях и полицейских пунктах, и не рискнул взять с собой документы, подтверждающие его личность. Документов на чужое имя он не имел, и добывать их некогда было. Ваня двинулся в путь, на север, без всяких документов. На левой кисти его руки с детства была вытатуирована заглавная буква его имени. Поэтому имя он себе оставил прежнее, а фамилию придумал — Крапивин.

Положение его было тяжелое. И выправкой своей, и просто по возрасту он никак не подходил к той категории людей, которые могут слоняться с места на место без документов и без дела в немецком тылу, да еще в непосредственной близости от фронта. Объяснения, которые он мог бы дать, попав в руки гестапо или полиции,— скажем, бежал от красных из Ольхового Рога Ростовской области, когда их танки ворвались на хутор, даже документов не успел захватить,— эти объяснения в лучшем случае могли сохранить ему жизнь. Но они, эти объяснения, с неизбежностью обрекали его на тыловые работы в немецких войсках или на угон в Германию.

Ваня шел и днем и ночью, обходя такие населенные пункты, где, по его расчетам, можно было наскочить на полицейских, шел то дорогами, то степью, выбирая более укрытые места. Если он чувствовал, что слишком виден со всех сторон, он днем отлеживался, а ночью шел. Он сильно мерз в сапогах, особенно когда нельзя было двигаться, и почти ничего не ел. Душевные страдания ожесточили его дух. Физически он был так вынослив, как только может быть вынослив русский рабочий, да еще молодой, да еще прошедший школу Отечественной войны.

Так добрался он до Марфы Корниенко.

В деревне, где она жила, даже в ее доме, во всех соседних хуторах — Давыдова, Макарова Яра и других — стояли вражеские войска. По правой стороне Северного Донца так же, как и по левой, возводились мощные оборонительные укрепления. Этот рубеж немецкой обороны настолько отделил северную часть Ворошиловградской области от южной, что связь между Марфой и Иваном Федоровичем стала почти невозможной. А если бы она и была возможна, эта связь, в ней не было теперь надобности. Отряды северных районов области вступили в непосредственное взаимодействие с частями Красной Армии и воевали по указаниям командования этих частей, а не по указаниям Ивана Федоровича. Отряды южных районов, к которым фронт приблизился только в середине февраля, действовали сейчас по обстановке. Проценко, отделенный от них десятками и сотнями километров, не мог учесть этой обстановки и не мог руководить отрядами.

Беловодский отряд, в котором непосредственно находился Иван Федорович, покинул свою базу в селе Городищи, где теперь стояли немцы, и уже не имел постоянной базы, а действовал в тылу немецких войск по указаниям советского командования. Марфа не имела связи ни с Иваном Федоровичем, ни со своим мужем. Она не имела связи и с Корнеем Тихоновичем и вообще ни с кем из Митякинского отряда, тоже покинувшего свою базу: в районе Митякинской стояли немецкие войска и возводились укрепления. К тому времени, когда Туркенич попал к Марфе, Екатерина Павловна давно уже была в Ворошиловграде, и всякая связь с ней прекратилась.

Самая встреча Марфы и Туркенича смогла состояться только благодаря его находчивости и смелости. И счастье еще, что Марфа поверила ему,— поверила так, без документов, просто на слово: никакой возможности проверить слова Туркенича у нее не было. Она с деланным равнодушием встретила его спокойный, очень серьезный взгляд; ей сразу бросилось в глаза его усталое худое лицо с мужественными складками, исподволь она уловила его военную выправку, скромную манеру держаться и вдруг поверила ему так, как могут верить только женщины-славянки — сразу и без ошибки. Правда, она не сразу показала, что поверила ему, но тут случилось еще одно чудо. После того как она подтвердила, что она действительно Марфа Корниенко, Ваня вспомнил о Гордее Корниенко, об освобождении которого из лагеря военнопленных он знал от тезки своего, Вани Земнухова, и от участников операции, и спросил, не родственник ли это Марфы?

— Ну, нехай родственник,— сказала Марфа с внезапно скользнувшим в ее черных молодых глазах живым выражением.

— Это наши ребята из Молодой гвардии освободили его...— И он рассказал, как это произошло.

Марфа не раз слышала этот рассказ от мужа. И вся благодарность ее женского, материнского сердца, которую она не могла выразить ребятам, освободившим ее мужа, излилась на Ваню Туркенича, излилась не в словах, не в жестах: она просто дала Ване адрес своей родни под Городищами.

— Там фронт близще, дадут вам допомогу через фронт перейти,— сказала она.

Ваня кивнул головой. Через фронт он не стремился, но ему нужны были партизаны, взаимодействующие с нашими частями, и, конечно, он мог найти их скорее всего там, куда его направляла Марфа.

Они разговаривали не в деревне, а в степи за курганом. Уже начинало темнеть. Марфа сказала, что пришлет человека, который проведет его через Донец этой же ночью, и ушла. Из скромности и гордости он не попросил ее принести ему поесть. Но не такова была Марфа, чтобы забыть об этом. Маленький дед — тот самый, с которым Иван Федорович обменялся когда-то одеждой,— принес Ване сухарей в шапке и кусок сала. Словоохотливый дед зловещим шепотом пояснил Ване, что не поведет его через Донец, потому что нет такого человека, который рискнул бы сейчас не то чтобы провести партизана, а и сам перейти через реку. Но он, дед, покажет ему путь, где легче и ближе всего перейти Донец.

И Туркенич перешел Донец. Через несколько суток он достиг глухой деревни Чугинки, километрах в тридцати южнее Городищ. Он шел теперь по местности, где часто попадались вражеские укрепления и наблюдались крупные передвижения немецких войск. От местных жителей Ваня узнал, что в Чугинке помещается небольшой полицейский пункт и что через деревню часто проходят отряды то немецкие, то румынские. Ваня узнал также, что Чугинка — самый близкий населенный пункт от занятой нашими деревни Волошино на речке Камышной, неподалеку от ее впадения в реку Деркул. И он решил во что бы то ни стало проникнуть в Чугинку: у местных жителей могли быть связи с нашими войсками.

Здесь ему не повезло: под самой деревней его схватила полиция. Он был приведен в помещение «сельской управы», где происходило неподдающееся изображению — по мерзости человеческого падения — пьянство русских полицейских чинов на немецкой службе.

Туркенича раздели до белья, связали руки и ноги и бросили в подвал с насквозь промерзшими стенками. Ваня был так изнурен походом, всеми переживаниями и этим последним потрясением, что, невзирая на страшный холод, бросавший его в дрожь, заснул на вонючей

подстилке, обнаруженной им в углу после того, как он выползал по земляному полу все это гнусное помещение.

Проснулся он от выхлопных звуков машины, со сна показавшихся ему выстрелами. Тут же он услышал взревывание нескольких тяжелых машин, застопоривших на улице за стеной. Пол загрохотал над головой его. Через некоторое время дверь в подвальное помещение открылась, и в свете зимнего утра Ваня увидел входивших в подвал советских автоматчиков в темных ватниках. Сержант впереди навел на Ваню электрический фонарик.

Туркенича освободила наша разведка, ворвавшаяся в деревню на трех трофейных немецких бронемашинах. Кроме полицейских, которые были уже все повязаны, в деревне размещалась еще рота немецких солдат, насчитывавшая всего семь бойцов вместе с офицером и поваром. При появлении немецких бронемашин повар, только что принявшийся за стряпню, не проявил никакого смятения, а даже на всякий случай вытянулся: в машинах могло оказаться начальство. А через несколько минут, будучи уже пленным, он очень охотно показывал, где спит командир роты. Ведя за собой советских автоматчиков, он ступал на цыпочки в чудовищных эрзацваленках из соломы, хитро подмигивал, прикладывал палец к губам и говорил: «Тс-сс!..»

Старший лейтенант, командир разведки, которая по недостатку горючего должна была уже возвращаться в свою часть, предложил Туркеничу ехать вместе с ними. Но Ваня отказался. Разговор этот происходил уже в тот час, когда бронемашины были окружены местными жителями, обласкавшими красноармейцев, а теперь умолявшими их не покидать деревни. И тут оказалось, что найдется человек, который их не покинет... Люди? Вот они! Он найдет и еще столько людей, сколько надо будет! Оружие? Дайте ему для начала оружие пленной немецкой роты, остальное он добудет сам! И не откажите связать его с нашими частями на Камышной...

Так положено было начало прогремевшему на всю область партизанскому отряду Ивана Крапивина. Уже через неделю отряд насчитывал свыше сорока бойцов и был вооружен всем современным вооружением, кроме орудий. Отряд базировался на бывшей молочнотоварной

ферме в селе Александрове, а оборонял район нескольких деревень в непосредственном тылу немецкого фронта. И до самого прихода наших войск немцы не могли вышибить партизан Ивана Крапивина из этого района.

Но так и не удалось Ване выручить «Молодую гвардию». Фронт стабилизировался на этом участке до двадцатых чисел января. Северный Донец на значительном протяжении был форсирован советскими войсками только в феврале, причем вначале форсировали Донец части, действовавшие значительно выше по реке — в районе Красного Лимана, Изюма, Балаклеи.

Ваня не знал о трагической судьбе большинства своих друзей по «Молодой гвардии». Но чем дальше оттягивалось время похода на Краснодон, тем больше мучилась и страдала душа его. И тем выше, чище, благородней вырастали в глазах его юноши и девушки, вместе с которыми он совершил столько славных дел, которым отдана была лучшая часть его сердца.

Однажды девушки, доярки молочнотоварной фермы, заколебались в выполнении одного его приказа, откровенно сознавшись, что боятся немецких фашистов. Крапивин, он же Ваня Туркенич, вместо того чтобы рассердиться на девушек, с горечью сказал:

— Эх вы, девушки! Разве такие наши девушки?..

И, забыв обо всем, он начал рассказывать девушкам про Улю Громову, про Любу Шевцову и их подруг. Девушки замерли, пристыженные и в то же время завороженные внезапным счастливым блеском его глаз. Вдруг Ваня осекся, махнул обеими руками и ушел не договорив.

Только в феврале Туркенич, влившийся со своим отрядом в регулярную часть Красной Армии, в рядах этой части, с боями форсировавшей Северный Донец, подошел к Краснодону.

Жители Краснодона пережили за это время все бедствия, какие несла с собой бегущая германская армия. Отступающие части СС грабили и сгоняли со своих мест жителей, взрывали в городе и по всему району шахты и предприятия и все крупные здания.

Люба Шевцова не дожила неделю до того, как Красная Армия вошла в Краснодон и в Ворошиловград. Пятнадцатого февраля советские танки ворвались в Красно-

дон, и сразу вслед за ними вернулась в город Советская власть.

В течение многих и долгих дней, при огромном стечении народа, шахтеры извлекали из шурфа шахты № 5 тела погибших большевиков и «молодогвардейцев». И в течение всех этих дней не отходили матери и жены погибших от ствола шахты, принимая на руки изуродованные тела своих детей и мужей.

Елена Николаевна ушла в Ровеньки еще в те дни, когда Олег был жив. Но она не смогла ничего сделать для сына, и он не знал, что мать находится вблизи от него.

Теперь в присутствии матери Олега и всех его родных жители города Ровеньки извлекли из ям тела Олега и Любы Шевцовой.

Трудно было узнать в маленькой постаревшей женщине с темными ввалившимися щеками, с глазами, выражавшими то глубокое страдание, какое с особенной силой поражает цельные натуры,— трудно было узнать в ней прежнюю Елену Николаевну Кошевую. Но то, что она все эти месяцы была помощницей сына, а особенно гибель его, обрекшая ее на эти страдания, раскрыли в ней такие душевные силы, которые подняли ее над ее личным горем. Словно спала завеса будней, скрывавшая от нее большой мир человеческих борений, усилий и страстей. Она вошла в этот мир вслед за сыном, и перед ней открылась большая дорога общественного служения.

В эти дни раскрылись подробности еще одного преступления немцев: была разрыта в парке могила шахтеров. Когда их начали отрывать, они так и стояли в земле: сначала обнажились головы, потом плечи, туловища, руки. Среди них были обнаружены трупы Валько, Шульги, Петрова и женщины с ребенком на руках.

И «молодогвардейцев» и взрослых, извлеченных из шурфа шахты № 5, похоронили в двух братских могилах в парке.

В похоронах участвовали все оставшиеся в живых члены краснодонской подпольной организации большевиков и члены «Молодой гвардии»: Иван Туркенич, Валя Борц, Жора Арутюнянц, Оля и Нина Иванцовы, Радик Юркин и другие.

Туркенич получил отпуск из части, уже выступившей из Краснодона на реку Миус, чтобы проститься с погибшими друзьями.

Валя Борц из-под Каменска добралась домой, и Мария Андреевна направила ее к близким людям в Ворошиловград, где Валя и встретила Красную Армию.

Не было среди живых Сергея Левашова — при переходе линии фронта он был убит.

Погиб и Степа Сафонов. Он находился в той части города Каменска, которая была занята Красной Армией в первую ночь штурма, участвовал в составе одного из подразделений в боях за город и был убит.

Анатолия Ковалева укрыл рабочий на выселках. Могучее тело Ковалева было так иссечено, что представляло собой сплошную рану. Перевязать его не было никакой возможности, его просто обмыли теплой водой и завернули в простыню. Ковалев скрывался у них несколько дней, но опасно было его держать дальше, и он ушел к родне. Он жил в той части Донбасса, которая еще не была освобождена.

Иван Федорович Проценко с отрядом все время двигался впереди отступавших немцев, сражаясь с ними в их непосредственном тылу, пока Красная Армия не заняла Ворошиловград. Только там Иван Федорович впервые встретился с женой Катей после их разлуки под Городищами.

По поручению Ивана Федоровича группа партизан во главе с Корнеем Тихоновичем извлекла из заваленного карьера под станицей Митякинской знаменитый «газик», который стоял себе целехонек, полный бензина, даже с запасным баком, вечный, как время, которое его породило.

На этом «газике» Иван Федорович и Катя поехали в Краснодон, а по пути завезли на побывку к Марфе ее мужа Гордея Корниенко. И здесь им довелось услышать рассказ Марфы о последних днях немцев в ее селе.

За день до того, как село было занято советскими войсками, Марфа в сопровождении того деда, который когда-то вез родню Кошевого и который снабдил Ивана Федоровича своей одеждой, пошли к помещению сельрады, где остановились на время чины немецкой жандармерии и полиции, бежавшей из-за Донца. Много жителей села толклось у сельрады, желая услышать невзна-

чай, чи далеко, чи близко Красная Армия, и просто чтобы получить удовольствие от вида бегущих фашистов.

Пока они тут стояли, Марфа и дед, примчался на розвальнях еще какой-то полицейский чин. Соскочив с розвальней возле самого деда и оглядевшись безумными глазами, он обратился к деду с торопливым вопросом:

— Где господин начальник?

Дед прищурился и сказал:

— Господин-то господин, а видать, товарища догоняют?..

Полицейский чин выругался, но он так торопился, что даже не ударил деда.

Немцы, жуя на ходу, выбежали из хаты и вскоре умчались на нескольких санях, только снежная пыль завилась за ними.

А на другой день в село вошла Красная Армия.

Иван Федорович и Катя прибыли в Краснодон почтить память погибших большевиков и «молодогвардейцев».

У Ивана Федоровича были тут и другие дела: надо было возрождать трест «Краснодонуголь», восстанавливать шахты. Кроме того, он хотел лично узнать подробности гибели взрослых подпольщиков и «молодогвардейцев» и узнать, что сталось с их палачами.

Стаценко и Соликовскому удалось бежать со своими хозяевами, но следователь Кулешов был опознан жителями, задержан и предан в руки советского правосудия. И через него стало известно о показаниях Стаховича и какую роль в гибели «Молодой гвардии» сыграли Вырикова и Лядская.

Над могилами павших большевиков и «молодогвардейцев» их товарищи, оставшиеся в живых, дали клятву отомстить за своих друзей. На могилах были сооружены временные памятники — простые деревянные обелиски. На том из них, что воздвигнут над взрослыми подпольщиками, написаны их имена во главе с Филиппом Петровичем Лютиковым и Бараковым, а на гранях обелиска «Молодой гвардии» написаны имена всех ее участников-бойцов, погибших за родину.

Вот они, эти имена:

Олег Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Анатолий Попов, Николай Сумской, Владимир Осьмухин, Анатолий Орлов, Сергей Левашов, Степан Сафонов, Виктор Петров, Антонина Елисеенко, Виктор Лукьянченко, Клавдия Ковалева, Майя Пегливанова, Александра Бондарева, Василий Бондарев, Александра Дубровина, Лидия Андросова, Антонина Мащенко, Евгений Мошков, Лилия Иванихина, Антонина Иванихина, Борис Главан, Владимир Рагозин, Евгений Шепелев, Анна Сопова, Владимир Жданов, Василий Пирожок, Семен Остапенко, Геннадий Лукашев, Ангелина Самошина, Нина Минаева, Леонид Дадышев, Александр Шищенко, Анатолий Николаев, Демьян Фомин, Нина Герасимова, Георгий Щербаков, Нина Старцева, Надежда Петля, Владимир Куликов, Евгения Кийкова, Николай Жуков, Владимир Загоруйко, Юрий Виценовский, Михаил Григорьев, Василий Борисов, Нина Кезикова, Антонина Дьяченко, Николай Миронов, Василий Ткачев, Павел Палагута, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин.

1943—45—51 гг.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

(Главы из романа)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Она медленно, словно бы еще раздумывая, приподняла над ведром тряпку со стекающей с нее грязной водой, постояла так одно мгновение и вдруг шлепнула тряпкой об пол, выпустив ее из рук. Звонкая лучистая лужа расплеснулась по крашеному полу, и брызги попали Павлуше на сапоги. Павлуша стоял у двери на лестницу, весь освещенный ранним утренним солнцем. Оно врывалось в переднюю через распахнутые двери комнаты, которую он называл своим кабинетом,— оттуда доносился тяжелый храп отца.

Павлуша понял, что жена рассердилась, рассердилась, как никогда за пять лет их совместной жизни, и в больших серых глазах его, светившихся добродушным мальчишеским лукавством, появилось выражение удивления и жалости к жене.

Даже в этом ее жесте, когда она так вспылила, было что-то беспомощное. Она не швырнула эту тряпку ему под ноги, а точно постелила перед ним. Несмотря на ее двадцать четыре года и на двух ребят, характер ее все еще не мог сформироваться. Чувствам ее всегда не хватало полноты выражения. Гневные слова, вот-вот готовые вырваться из ее полуоткрытого рта с изогнутыми губами, не могли найти себе формы, как и чувства. Она молча стояла перед мужем, отставив кисти рук, с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки, чтобы не замочить застиранный розовый халатик в сиреневых цветочках, наброшенный на голое тело.

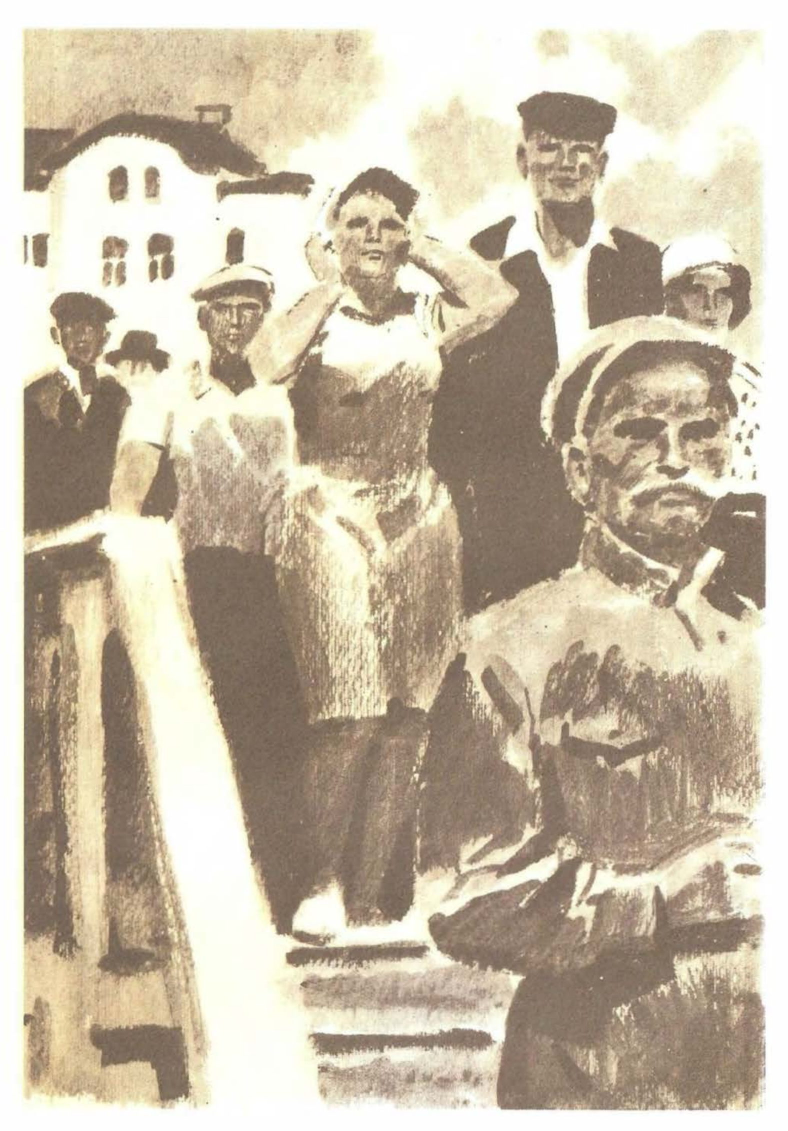
Глаза ее, густой синевы, смотрели на Павлушу, казалось, без всякого выражения. Ни одна морщинка не бороздила ее чистого лба. Даже румянец выступил на ее детских скулах не от того, что она рассердилась, а от того, что в эти последние минуты, перед тем как Павлуше уйти, пока они ссорились, она, не разгибаясь, мыла пол в передней.

Поразительно, как сразу легли на место ее волосы: стоило ей только выпрямиться, они вмиг подобрались волосок к волоску. Это была природная особенность ее волос, как и цвет их — не совсем еще спелого льна, но когда его уже пора убирать, когда в осенний погожий денек по нему волнами гуляет ветер и он переливается то тенями, то глянцем, то серебром, то золотом.

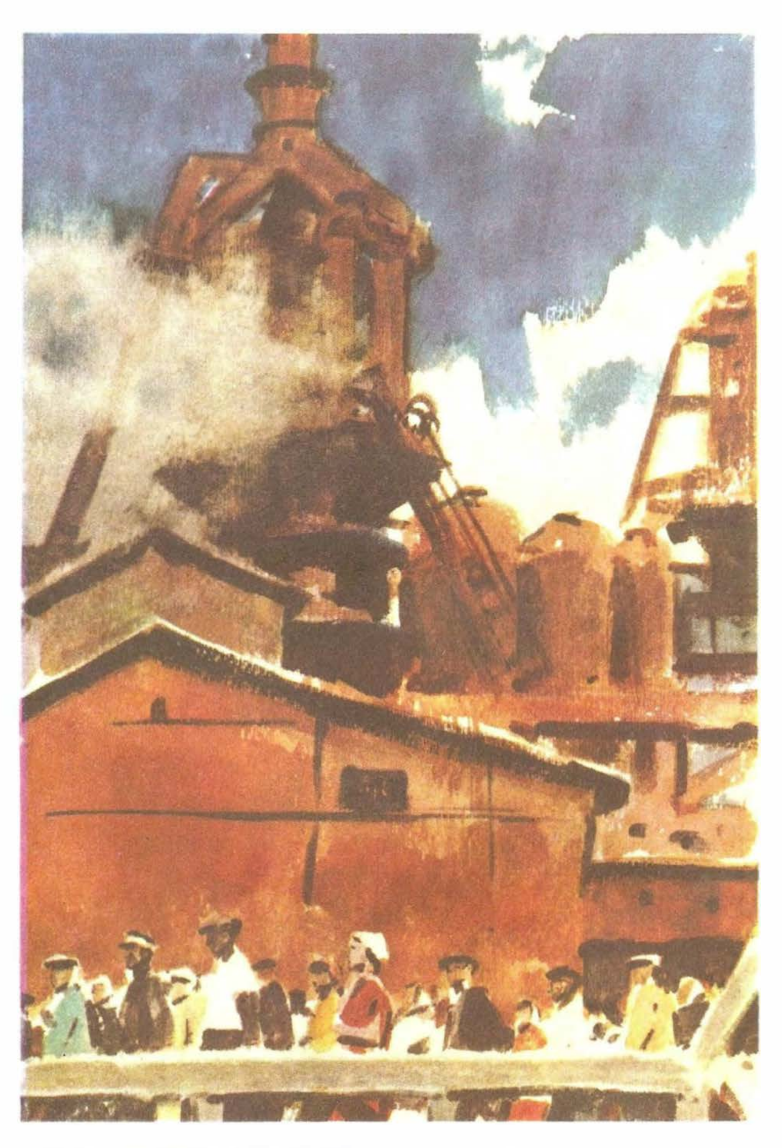
Дома, в деревне на Витебщине, она носила косы; они были тогда почти совсем белые, и люди удивлялись, как долго сохраняется их ребячий цвет. Ей исполнилось четырнадцать, когда отец вывез ее с матерью и младшей сестрой сюда, в Большегорск — случилось это в первые дни войны,— но еще весь первый год ученья в ремесленном училище косы ее сохраняли этот свой ребячий цвет. А потом, сама не зная почему, она пошла в парикмахерскую — не своего общежития в «Шестом западном», где ее могли увидеть свои ребята и девушки, а в парикмахерскую в «Соснах», где жили тогда ее родители, и попросила отрезать косы по шейку. И когда их отрезали, и вымыли ей голову шампунем, и причесали волосы большим дюралюминиевым гребнем, они сразу легли так, как сейчас.

В ту пору она совсем не думала, что найдутся ребята, которым будет жалко этих кос. Ей просто показалось, что волосы начинают желтеть,— возможно, от воды,— и всегда так трудно было вымыть такие длинные, густые волосы. Но волосы вовсе не желтели, а с возрастом приобретали тот непередаваемый словами золотисто-серебряный, переливчатый цвет недоспелого льна, которому суждено было стать их натуральным цветом.

Потом Павлуша рассказывал, что ему очень жалко было ее кос, потому что он будто бы уже в те дни заглядывался на нее. Может быть, это была и правда. Но еще больше он любил ее с этими подстриженными волосами, которые причесывала, казалось, сама природа.



«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»



«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Когда жене приходилось нагнуться, а потом выпрямиться, и волосы вот так же сами собой подбирались один к одному, Павлуша вдруг обхватывал ее голову своими большими ладонями и говорил:

— Ох ты ж, головушка моя!

И целовал ее в полуоткрытый рот.

А теперь ему, должно быть, все равно было, как складно улеглись ее волосы после того, как она, перегнувшись через какую-то невидимую перевязь под животом, словно поддерживавшую ее тонкий стан в подвешенном положении, с невиданной легкостью и быстротой вымыла полы в столовой и в спальне, и уже кончала переднюю, и вдруг выпрямилась перед мужем. Должно быть, он привык теперь к этим ее необыкновенным волосам и к ее тонкому, девичьему стану, который он мог держать в руках своих, и уже не замечал, как выглядит этот ее прелестный стан среди предметов и людей.

И ей даже не в чем было упрекнуть его. Они сошлись такими юными, когда никто из них не помышлял понуждать другого к выбору того или иного рода жизненного поведения; она сама пошла на то, что стало теперь главной причиной ее душевной неустроенности. А Павлуша по-прежнему был добр и ласков, делился с ней всем, что широким потоком вливалось в его жизнь, и даже в минуты размолвок с женой никогда не повышал на нее голоса. Когда она могла поспеть за Павлушей и внешние обстоятельства не препятствовали их желаниям, он охотно вовлекал ее в круг своих новых знакомств, занятий, развлечений.

И долгое время она была довольна своей судьбой, пока не увидела, что Павлуша привык к удобствам, которые предоставляет ему избранный ею род жизни, и не хочет и не умеет думать о ее жизни, как она течет безотносительно к его или их совместному существованию. «У всех так»,— говорил он теперь, если говорил серьезно. Но она видела, что он считает возможности, отпущенные его жене, бо́льшими, чем «у всех», благодаря завоеванному им положению.

А чаще всего он отшучивался.

Она давно уже подметила в нем эту черту добродушного мальчишеского лукавства, позволявшую ему обходить в жизни многое, что он считал более удобным для

себя обойти. В этой его душевной ловкости, легкости, удивительной в человеке, который ежедневным трудом своим доказывал всей стране, на какие усилия он способен, так мало было расчета и столько желания не омрачать радости жизни, что эта его черта нравилась людям, нравилась и жене его. Тем безоружнее она оказалась перед мужем, когда это свойство обернулось против нее же.

Кто больше, чем она, знал, что за последний год он уже не имел возможности учиться, как учился раньше, и только самолюбие мешало ему признаться даже самому близкому другу Коле Красовскому, признаться даже ей, жене, каким беспокойством отражается это в его душе! Но Павлуша так много вращался теперь среди людей более опытных и образованных, столько бывал на разных пленумах, съездах, конференциях, так часто его вызывали в областной центр и даже в Москву, что он набрался всякой всячины, дававшей ему возможность выглядеть более знающим человеком, чем он был, даже перед женой.

В то время когда она, не подымая головы, своими тонкими белыми руками размашисто и сильно водила мокрой тряпкой справа налево и слева направо по полукругу и жаловалась Павлуше на унизительность своего положения, он вдруг сказал ей:

— Ей-богу, Тинка, ты рассуждаешь, как жена Егора Булычева! Как это она говорила? «Не за того приказчика я замуж вышла»... Может, и ты не за того приказчика замуж вышла? Ты еще молодая, не поздно переменить...

Он сказал это, как всегда, не вкладывая в свои слова никакого жизненного значения, а только, чтобы отшутиться и получить возможность уйти. И тогда жена шлепнула этой мокрой тряпкой у его ног, и они остановились друг против друга.

Младший сынишка, полутора лет, такой же белоголовый, как мама в детстве, должно быть удирая от старшего брата, внезапно выбежал на тонких беленьких ножках из столовой, сиявшей утренним солнцем, выбежал на влажный пол передней, поскользнулся, упал на попку и на затылок и пронзительно громко заплакал.

Из рук его выпала продолговатая коробка, и белые клюковки в сахаре раскатились по полу.

Как это часто бывает в рабочих семьях, где взрослые когда-то сами росли без родительского глаза и вот этак падали и привыкли не придавать значения тому, что дети падают, ни мать, ни отец не бросились к ребенку. Мать не столько услышала, сколько всем своим сердечным опытом почувствовала, что ребенок упал не опасно для него, и даже не оглянулась. А отец на одно мгновение перевел взгляд на раскатившиеся по полу белые клюковки.

Он стоял перед женой с мальчишеским, виноватым и добрым выражением, немного медвежеватый и в то же время ловкий, весь какой-то уютный, круглый — в плечах и особенно по манере держать сильные руки, округлив их в локтях.

Выцветшая от солнца, когда-то темно-серая двойка в то время, когда они поженились, была его парадным костюмом. Теперь это была обычная его одежда, в которой он летом ходил на работу, заправив брюки в порыжелые сапоги с короткими широкими голенищами. Единственный вид щегольства, какой он себе позволял, когда шел на работу,— это обязательно свежая, совершенно свежая, на этот раз голубая рубашка с отложным воротничком, расстегнутая на две пуговички у шеи. В открытом треугольнике груди так обильно курчавились волосы, что даже закрывали отстегнутые краешки рубашки. Кепка, еще более выцветшая, чем костюм, была по манере Павлуши немножко больше, чем положено, надвинута на лоб. Жена не могла видеть, но она увидела и даже точно коснулась его круглого затылка, обросшего мягкими русыми волосами, чуть рыжеватыми и чуть курчавившимися. Это было самое юное и самое мальчишеское из всего юного и мальчишеского, сохраненного им почти нерушимо с тех самых пор, как они познакомились, когда он учился в пятнадцатом ремесленном училище, а она — в четвертом.

Она снова увидела мужа таким, каким его любила, и все, что так мучило ее, опять ничем не разрешилось.

— Ах, Павлуша!..— сказала она голосом, полным невыразимой печали.

— Ну что ты, Тинка, право, разве же я серьезно! — сказал он, поняв, что она отступила.

Валька, ловкий круглый увалень, весь в отца, вка-

тился в переднюю, подхватил младшего брата под мышки и молча поволок его, ревущего, в столовую.

— Эй вы, артисты! Некогда мне сапоги снимать, а не то добрался бы я до ваших ушей,— не повышая голоса, сказал Павлуша.— Тинка, ну видишь? — И он, еще больше округлив руки в локтях, указал жене на свои сапоги и на вымытый пол передней.— Посмотри, в самом деле, не зашибся ли?

Она инстинктивно боялась коснуться мокрыми руками розового халатика, но ей вовсе было не жалко этого халатика, и теперь она обтерла о него руки, проведя по бедрам, снизу вверх и сверху вниз, лицевой и тыльной сторонами ладоней. Она сделала это уже на ходу, она уже была возле детей.

Она подхватила младшего, Алешку, на руки, утерла ему нос углом халатика, обнажив на солнце белую ногу, тонкую у щиколотки и неожиданно полную, женственную у бедра. В этом наивном материнском движении сказалась и привычка к мужу, человеку настолько близкому, кого и в голову не может прийти стесняться. Он и в самом деле не обратил внимания на жест ее. Он удовлетворенно смотрел, как жена легко перенесла Алешку на левую руку и, присев на корточки, подняла с полу коробку, вложила эту коробку в пальцы левой руки, а правой начала собирать конфетки, приговаривая:

— А! А!.. Какие ладненькие!.. А! А!..

Алешка продолжал реветь, и мать сунула ему в рот клюковку в сахаре.

В своей семье, семье Борозновых, Тина с детства была приучена к чистоте и опрятности. В ремесленное училище она, как и Павлуша, поступила уже с семилетним образованием. Но никто и никогда не учил Тину, как обращаться с детьми и как их воспитывать. И она не видела ничего предосудительного в том, чтобы сунуть в рот плачущему ребенку конфетку с пола. Не видел в этом ничего предосудительного и Павлуша.

Алеша засосал конфетку и замолчал. Мать спустила его на пол, продолжая собирать белые клюковки.

Валька, полные загорелые ноги и руки которого несли на себе следы ушибов разной степени давности, следы глубоких засохших царапин и царапин легких, прочертившихся белым по загару, внимательно наблюдал за

руками матери, иногда с опаской, лукаво взглядывая на отца и воинственно — на младшего брата.

— То-то, артисты! — сказал Павлуша.— Смотрите мне, слушаться матери и не реветь!.. Я пошел, Тина!

Он опять легко обошел все самое трудное, что встало между ними; Тина, сидевшая в другом конце передней на корточках, взглянула на мужа растерянно и скорбно, по-детски. Он сделал вид, что не заметил ее взгляда. Он смотрел в распахнутые двери в кабинет. И вдруг лицо его изменилось.

Теперь, когда смолкли голоса детей и взрослых, тяжелый храп Федора Никоновича господствовал над всеми звуками в квартире и над теми, что доносились с улицы.

После вчерашней выпивки, после буйных песен, излюбленных отцом, после верчения на радиоле пластинок с джазом Утесова и подпевания Утесову, в чем отцу больше помогал Захар, после того как отец и брат несправедливо обвиняли Павлушу и кричали на него хриплыми голосами,— после всего этого отец крепко спал теперь на диване в кабинете Павлуши. Он спал на спине, в несвежем грубом белье, со сползшей на пол простыней,— ночью было так душно, что его укрыли только простыней,— спал с открытым ртом, выставив рыжеватые жесткие усы.

Из растворенного окна лились в кабинет потоки света, еще не жаркого, но ослепительного света раннего июньского утра, и в этом чистом свете громадное лицо отца с закрытыми глазами и открытым ртом, изрезанное морщинами по каким-то немыслимым диагоналям, выглядело страшным.

У Павлуши задрожала нижняя челюсть. Сильными, поросшими волосами пальцами от крутнул ручку дверного замка и, не взглянув на жену, вышел на лестницу.

II

Отец приехал вчера. Он уже лет шесть как не работал, хотя был еще силен, а жил тем, что поочередно ездил гостить ко всем сыновьям и дочерям. После того как Павлуша, четвертый и самый младший из сыновей, прославил фамилию Кузнецовых и в дом Павлуши пришел достаток, отец особенно часто ездил к нему. Федор

Никонович бывал неизменным гостем младшего сына в те дни зимы, когда производилась ежегодная выплата за выслугу лет, тем более что в эти дни и третий сын, Захар, представлял такой же интерес для родителя, но Павлушу Федор Никонович не забывал и в другие времена года.

Не столько по родственному чувству, сколько по привычке быть добрым, когда есть возможность, а еще больше по тому самому свойству, подмеченному женой,— с естественной легкостью обходить трудности жизни, которые удобней обойти,— Павлуша старался не вдумываться в отношения, складывавшиеся между ним и отцом.

И впервые за эти пять лет жизни с Тиной Павлуша почувствовал, какая страшная связь была между тем, что он только что увидел на диване в кабинете, и тем, как жена Тина своими тонкими руками возила по полу набухшую водой тряпку и вдруг бросила эту тряпку под ноги Павлуше.

Закрыв за собой дверь, Павлуша остановился на площадке лестницы.

Скоро отец проснется и, в нижнем белье, босой, нечесаный, протащится в ванную, долго будет рычать под холодным душем; потом придет Захар, у которого сегодня выходной день,— они потребуют опохмелиться и уже не выйдут из-за стола до прихода Павлуши. А Тина будет их поить, кормить, молча снося двусмысленные шутки Захара и помыкательство властного, взбалмошного свекра.

И Павлуше стало нестерпимо жалко жену.

Он видел ее синие глаза с этим растерянным и скорбным детским выражением, и ясное, чистое видение дней дальних, дней совсем еще юных встало перед ним. Оно возникло на одно лишь мгновение, это далекое видение дней ранней юности,— оно и тогда, в жизни, длилось одно мгновение, а все остальное было обычным, житейским.

...Он — первый, за ним — Коля Красовский, за Колей все ребята их группы, все будущие подручные сталеваров, все с заплечными мешками или чемоданчиками, все преисполненные восторга даже не оттого, что их переводят из барака в настоящее общежитие, а из извечной мальчишеской страсти к переменам, ворвались в де-

вятый подъезд знаменитого «Шестого западного» и с гоготом и свистом помчались вверх по лестнице.

Ему и Коле, конечно, хотелось первыми очутиться в комнатке, в которой они будут жить теперь вдвоем. Они не взбежали, а вознеслись на верхний этаж; Павлуша, полуобернув голову, едва успел спросить:

— Какая, он сказал, четвертая слева?

— Четвертая! — вскричал Коля, утративший всю свою скромность.

Павлуша уже был у двери и дернул за ручку и тут же отпустил ее. Дверь не то что распахнулась, она загрохотала, ударившись ручкой о стену, и вся сотряслась, а со стены посыпалась штукатурка. Павлуша шагнул в комнатку...

Комнатка была уже занята. Дом оправдывал свое название — одного из домов западной группы: солнце, склонявшееся к закату, стояло в открытом окне, занавешенном понизу белыми занавесками. Запах одеколона, а может быть душистого мыла, чувствовался в воздухе, пронизанном горячим светом летнего вечера.

Подушки, взбитые так воздушно, как может взбить их только женская рука, покоились одна на другой на кровати, примыкавшей к окну,— целых три подушки, если считать «думку», хотя всем известно, что ремесленнику полагается только одна подушка. А на ближней кровати у стены, разложив подушки по ширине изголовья, спали две девушки: одна — крупная темная шатенка в яркой оранжевой кофточке и черной юбке, а другая — тоненькая, почти девочка, вся беленькая — в белом платье, белых носочках и с длинными белыми косами, волнисто изогнувшимися по байковому одеялу за ее спиной. Изящная головка тоненькой девушки покоилась на плече старшей подруги. Нежной рукой своей она доверчиво обнимала старшую подругу за талию, другая же ее рука была очень уютно поджата под грудь. А старшая, в оранжевой кофточке, свободной полной рукой, с крупной красивой кистью, бережно укрывала младшую, как крылом.

Павлуша сразу узнал этих девушек, из четвертого: они учились на токарей. Он представил себе, как часам к пяти они пришли с работы в громадных, похожих на цех завода мастерских своего училища, где, должно быть, точили мины,— пришли, освежились под душем,

переоделись, наскоро поели в столовой так хорошо знакомого и Павлуше военного супа, а потом вернулись в свою комнатку и впрыгнули обе в кровать: им не терпелось поделиться чем-нибудь, набежавшим за день, что не имело отношения ни к ученью, ни к производству, ни к общественным обязанностям. Они разговаривали вполголоса или шепотом, хотя были только вдвоем; иногда то одна, то другая припадала губами к уху подруги, и лица их принимали то смущенное, то любопытствующее, то загадочное выражение; а то вдруг обе прыскали смехом в подушку. Они даже разрумянились от этого разговора. А потом одна и другая начали зевать и не заметили, как уснули обнявшись.

В тот момент, когда Павлуша шагнул в комнатку, девушка в оранжевой кофточке сняла с младшей подруги полную руку и повернула на Павлушу и на Колю, часто дышавшего над плечом товарища, черные глаза, в которых за какие-нибудь две-три секунды сменились выражения удивления, гнева, насмешки и, наконец, издевки.

Павлуша представил себя глазами этой девушки — и его всего обдало жаром, как из мартена, даже плечи и руки его побагровели.

Он и Коля принадлежали к поколению учеников второго года войны, поколению, на которое уже не хватало ни форменных фуражек, ни курточек с металлическими пуговицами, ни ремней с бляхами «РУ». Оно училось не за партами, не в мастерских, оно училось, работая наравне со взрослыми у рудных дробилок и промывочных машин, на шихтовке материалов для агломерата, кокса, чугуна, стали, у грохотов и транспортеров, на кранах и под бункерами, у печей всех родов и видов, в литейных дворах, пролетах, канавах и у прокатных станов. Все самое черное — пыльное, мокрое, грязное, жаркое, дымное,— вся преисподняя величественного производства была уделом этого поколения прежде, чем оно получило свою квалификацию. Вступая в смену, оно надевало одежду, не гнущуюся от кристаллов, застарелого пота, и достойно носило эту одежду свои восемь, а то и шестнадцать, и, если нужно было, все двадцать четыре часа, и уже на десятой минуте пот сочился из одежды, как из губки. А у себя в общежитии это поколение одевалось кто во что горазд.

На Павлуше был вылинявший гимнастический тельник, прилипавший к телу,— полуобнаженная грудь, уже начавшая обрастать волосами, вздымалась и опускалась после стремительного бега. Голые, увлажненные руки с чрезмерно развитыми мышцами Павлуша держал на весу, как борец,— в одной руке был чемоданчик. Кепка, столько вобравшая в себя всего на производстве, что сама казалась металлической, была по манере Павлуши насунута на лоб.

А девушка в оранжевой кофточке говорила с непередаваемой издевкой в голосе:

— Вставай, Тинка, женихи приехали — уже с чемоданами! Этого, волосатого, ты бери себе, а я возьму того, скромненького, ой, как он запыхался, бедненький!

Теперь, девять лет спустя, стоя на площадке лестницы, Павлуша видел только покоившуюся на плече подруги белую головку, видел строгую линию, отделявшую волосы от тронутого нежным загаром лба и виска, видел длинные косы, вольно струившиеся по одеялу за плечами девушки. Когда она проснулась, она шевельнула золотистыми ресницами и осталась недвижима, будто замерла. А потом медленно повернула голову, и подняла ресницы, и посмотрела на Павлушу синими глазами. Она не испугалась. Глаза были ясные, спокойные и смотрели на Павлушу с доверчивым выражением...

Если бы близкие люди в дни размолвок умели угадывать все, что происходит в душе одного и другого, сколько уловили бы они под житейским мусором глубоких, чистых душевных движений, идущих навстречу, словно ищущих друг друга! Если бы люди умели понимать эти глубокие встречные движения и не боялись доверяться им, сколько было бы сбережено на свете душевных сил, растрачиваемых понапрасну, сколько правды, добра, так часто бесследно умирающих в непонятом человеческом сердце, было бы излито, сколько счастливых и простых решений нашли бы близкие люди в положениях, кажущихся порой безвыходными!..

Павлуша поднял руку — постучать в дверь — и посмотрел на часы: они показывали семь.

Как ни поздно он лег вчера, он предупредил жену, чтобы она разбудила его на час раньше обычного: ему хотелось внезапно появиться у печи в тот самый момент,

когда Муса Нургалиев, товарищ Павлуши и Коли Красовского, старший по возрасту и наиболее опытный, хотя и наименее грамотный в их прославленной тройке, будет готовить плавку к выпуску. По состоянию печи, какою Павлуша все чаще принимал ее от Нургалиева, он подозревал, что Муса, поддавшись недоброй игре, начал втихомолку работать на показное выдвижение себя за счет товарищей: смена Павлуши уже не раз работала на сниженном ходу, исправляя баловство Нургалиева — для Красовского. Самолюбивый и хитрый Муса, сталевар старой выучки, был неуязвим, когда дело касалось одних только подозрений да объяснений. И Павлуша хотел сегодня исподволь, не допуская и малейшего зазора в их дружбе, пригнанной годами и столь же прославленной, как их мастерство, проверить работу Мусы.

Жена знала, почему он так торопится, но не удержалась и еще на кухне, пока кормила Павлушу, начала свой трудный семейный разговор. И вот Павлуша опоздал к плавке Мусы; он едва успеет на «сменно-встречный», и то, если поедет на трамвае.

И Павлуша не постучал в дверь, как ему хотелось и как, он чувствовал, должен был поступить, а быстро побежал вниз по лестнице, слегка прихватываясь на поворотах за перила.

III

Но было бы лучше, если бы он вернулся, хотя бы на два слова.

Конечно, она была еще не на пределе возможного навинчивания, эта струна, которую они исподволь подвинчивали и подвинчивали весь последний год,— она была еще не на пределе, но была уже так туго натянута, что почти не звенела.

Машинально Тина добрала конфетки с пола и несколько секунд еще посидела так, на корточках. Алешка дососал свою клюковку и потянулся руками к коробке; прозрачные пальчики ребенка шевелились, как лепестки подводного цветка. Валька терпеливо ждал, когда коробка снова окажется у Алешки и можно будет повторить попытку овладеть ею. Мать, не глядя, сунула ее в шевелившиеся пальчики Алешки, и они так и вцепились в эту чудесную коробку. Но на лице Алешки появилось не

выражение жадности, а очень человеческое выражение чистой радости. Солнце освещало и эту невинную радость ребенка, сиявшую в его синих глазенках, в улыбке, показавшей первые зубки, и уныло ожесточенное лицо матери, сидевшей на полу на корточках.

И вдруг выражение страдания прошло по лицу Тины; она вскочила и, не обращая внимания на детей, пронеслась через столовую на открытый балкон. Сплошной поток света, мчавшийся навстречу Тине по сверкающим крышам, ударил ей в лицо. Загущенные волосы ее цвета льна и меда вспыхнули и расплавились,— она остановилась ослепленная.

Новый четырехэтажный дом, в котором они жили, угловой в квартале 16 В, восточной своей стороной выходил на улицу Короленко, а южной — на широкий пустырь, где должен был пройти проспект Металлургов. С балкона открывалась сквозная — от ворот с улицы Короленко до ворот на улицу Чехова — анфилада дворов противоположного квартала с зелеными скверами и детскими площадками с кучами желтого песка. И сквозь эту анфиладу дворов можно было видеть вдалеке, на той стороне улицы Чехова, в четвертом этаже углового дома, точно такую же квартиру с балконом, как и та, в которой жили Тина с Павлушей,— в ней жил председатель Большегорского исполкома Воронин. На углу того дома возвышалась такая же, как и на их доме, прямоугольная башенка с круглой беседкой, но из-за крыш зданий отсюда видна была только верхняя половина беседки с ослепительно белым куполом,— казалось, в небесной голубизне кто-то опускается среди зданий на парашюте.

Но Тина ничего этого не видела. Ей нужно было успеть увидеть его, увидеть хотя бы со спины, чтобы его еще можно было окликнуть. Быстрым взглядом она окинула уходившую полого вверх просторную асфальтированную улицу, обсаженную молодыми карагачами.

Обычно часов с восьми утра и до позднего вечера улица Короленко, как и все улицы этого нового города на Заречной стороне, были усыпаны ребятами всех возрастов: им больше нравились эти просторные асфальтированные улицы, чем разбитые на скверики и площадки квартальные дворы, где ползали по песку меж клумб с цветами совершеннейшие крошки под наблюдением старших сестренок или бабушек, еще державших на руках

спеленатого грудного или возивших его, спящего с соской во рту, в коляске взад и вперед по песчаной дорожке.

Но сейчас было еще рано для уличных игр детей, сейчас вверх по улице Короленко — больше по середине, чем по боковым пешеходным дорогам за карагачами,— шли на работу взрослые мужчины и женщины, шли в этой ближней части улицы по одному, по двое, по трое, а дальше уже цепочками, группами, а ближе к площади имени Ленинского комсомола, где была остановка трамвая,— сливающимися потоками.

Муж еще не вышел из ворот под домом; Тина перегнулась через перила и стала ждать. Но еще раньше, чем она его увидела, она услышала его сильный грубовато-веселый голос и смеющиеся голоса женщин. Один из женских голосов она не только узнала,— было удивительно и больно, что именно его она усышала сейчас. И в самом деле, первой из ворот вышла ее бывшая подруга по ремесленному училищу Васса Иванова. Полуобернув голову в сдвинутом немного на затылок темно-малиновом платке, Васса — по уже сложившейся привычке обращения с молодыми мужчинами — смелым, резковатым и все-таки немножко заигрывающим голосом насмешливо выговаривала что-то Павлуше и, надо полагать, попала в самую точку: Павлуша, подняв к плечам согнутые руки, отмахивался одними ладонями, как ластами, крутил головой и все повторял:

— Не говори, не говори, не говори!..

Другую вышедшую из ворот женщину, Соню Новикову, Тина тоже знала. По окончании ремесленного училища Тина и Васса зачислены были в вальце-токарную группу при цехе, объединявшем три прокатных стана — мелкосортный, штрипсовый и проволочный,— и приданы были к проволочному стану. У токарей не было там даже отдельного помещения, они работали сбоку, в пролете, где расположен был этот необыкновенно изящный автоматический стан-красавец, и работа девушек по обработке валков неотрывна была от всей работы прокатчиков.

Соня Новикова, старший оператор этого стана, теперь уже тридцатилетняя вдова, не шла, а плыла на полкорпуса впереди Павлуши и смеялась, закинув голову и косясь не на смешные движения Павлуши, а чтобы пере-

хватить его взгляд. Тонкий, как из молочного крема, шерстяной платок-паутинка был вольно повязан, точно небрежно накинут на ее светлые волосы,— ох, Тина могла бы рассказать, сколько секунд отнимает у Сони эта небрежность перед зеркалом!

Удивительно было не то, что Павлуша и обе женщины, идя на работу, сошлись во дворе: Васса и Соня жили в этом же квартале 16 В. И не только то было больно Тине, что Павлуша мог смеяться с чужими женщинами после всего, что произошло между ним и Тиной. Удивительно и больно было, что Павлуша столкнулся во дворе с когда-то самой любимой подругой Тины в такой момент, когда воспоминания, связанные с их девичьей дружбой, и послужили главным толчком к сегодняшней ссоре.

Летом сорок шестого года, после того как Тина и Павлуша зарегистрировались в загсе Кировского района и свадьба была уже отпразднована, Тина должна была перейти в комнатку к Павлуше, а Коля Красовский, по добровольному его согласию,— в общую, на двенадцать человек, комнату общежития все в том же «Шестом западном».

Васса помогала Тине уложить платья, белье, все ее «доброе», как называли это на родине Тины, и обе они, боясь, чтобы не прорвалось слезами все, что томило их души, не глядя друг на друга, деловито сновали по комнатке, а их аккуратные руки действовали с такой необыкновенной спростью, какая в подобные переломные минуты жизни возможна только у женщин.

Тина все еще находилась в том возбужденно-счастливом состоянии, которое сопровождало ее все эти дни. Но странно ей было, что она в последний раз ходит по этой комнатке, как одна из ее хозяек, а завтра уже будет приходить сюда, как гостья. Тина смутно чувствовала, что они не просто укладывают ее вещи, белье, а что и она и любимая подруга, с которой они прожили душа в душу четыре года, выделяют из того, что казалось общим, ее — Тины — более счастливую долю. Впервые так наглядно Тина сознавала значительность перемены, совершавшейся в ее жизни, и испытывала волнение, похожее на страх. Ей было жаль этой жизни, которую они так деловито, безмолвно разрушали сейчас своими руками, жаль было и себя и Вассу и невозможно было изба-

виться от мучительного чувства какой-то своей вины перед подругой.

Чем ближе подходила минута прощания,— а Тина знала, что, хотя им предстоит еще вместе работать и жить под той же родной крышей «Шестого западного», они все-таки должны будут как-то проститься,— тем больше Тина страшилась этой минуты. И никогда не могла она потом простить себе, как, не выдержав душевной муки, она, Тина, вдруг заговорила в том же тоне неестественной деловитости, в каком они говорили об укладываемом белье, платьях:

— Васса, а подумала ли ты, кого взять в комнату вместо меня? А то вселят такую, знаешь, что и не рада будешь; найдутся любительницы, наверно уже в очереди стоят!

Васса выпрямилась всем корпусом и повернула на Тину свое немного асимметричное броско красивое лицо, затемнившееся несвойственным ему мрачным выражением. Но Тина не замечала этого выражения и продолжала все тем же деловитым голосом:

— Сейчас, знаешь, какая нужда в жилье, никто с тобой не посчитается! А ты пойди к Бессонову — к нашему-то не ходи, он все равно не поможет, а пойди к Бессонову, он нас знает, попроси, чтобы переселили к тебе нашу подсменщицу,— она, знаешь, намекала. А хочешь, я скажу Павлуше, он к Сомову пойдет,— Сомов, знаешь, как Павлушу ценит!..

Было даже удивительно, как Тина, такая скромная, уверенно называла эти большие фамилии — главного инженера, в прошлом начальника их цеха, даже фамилию самого директора комбината, а теперешнего начальника цеха называла просто «нашим». Это говорила уже не она, это Павлуша говорил ее устами.

Если бы Васса услышала только это, она сразу подметила бы в этом смешное, и не уйти бы подружке от ее острого языка. Но Васса расслышала в словах Тины то самое, что они и означали: что ее, Вассу, покидают и жалеют. И с прозорливостью любящей и брошенной женщины Васса вдруг сказала:

— Разве ты уйдешь с работы?

Тина смутилась. Она никогда не краснела, если смущалась,— смутились ее чистые синие глаза, она даже не нашлась, что ответить.

Все эти дни, пока крутилась свадебная карусель, как-то само собой подразумевалось между подругами, что работа их будет идти по-прежнему. И как же могло быть иначе: они настолько связаны были в работе, что уход одной из них неизбежно подводил другую.

Большинство подруг, окончивших, как и они, четвертое ремесленное по токарной группе, работало на малых станках обычного типа, так называемых «дипах» — «ДИП-200», «ДИП-300». Из молодежи, работающей и ныне на этих станках, мало кто задумывается над тем, что означает это «дип», звучащее, как название иностранной фирмы. Означает же оно «догнать и перегнать».

Тина и Васса и их третья сменщица-подружка, единственные среди женщин-токарей на заводе, освоили станок по обработке валков прокатных станов и в соревновании вышли на первое место среди токарей, хотя вальце-токарные станки до сих пор считаются физически непосильными для женщин.

Но как ни велико было удовлетворение, получаемое Тиной от соревнования, оно не могло принести ей, девятнадцатилетней девушке, такого счастья, как выпавшее ей счастье любить и быть любимой. Вся ее жизнь теперь была отдана Павлуше. И так сладка была Тине ее зависимость от счастья жизни с Павлушей, что ей казалось совсем неважным и ненужным думать о том, как сложится ее трудовая жизнь. Но она понимала, что этим невозможно поделиться ни с кем из людей, а сказать так Вассе, которая еще не испытала этого счастья, хотя была на год старше, было бы просто бесчеловечно. Вот почему Тина смутилась и не нашлась, что ответить.

И большая душа Вассы, скрытая от людей под ее, Вассы, резковатой, насмешливой манерой, вдруг прорвалась слезами. Все четыре года, что они дружили, Тина не видела ее плачущей,— впервые Васса заплакала при большом стечении народа, когда справляли свадьбу у родителей Тины, а теперь это опять приключилось,— слезы так и брызнули из ее черных глаз.

— Лучше бы уж ты молчала! — говорила она со страстью.— Думаешь, я не знаю, на что повернулись твои мысли? Говоришь, будто оправдываешься! Ты думаешь, я тебя осуждаю? Молчи, потому что я тебя не осуждаю! Я не раз думала — думала уже давно, а как же

мы будем жить, если кто из нас выйдет замуж? Я думала: а вдруг это случится со мной первой? Я сама себе никогда не могла ответить, как же я буду жить замужем. И я тебя не осуждаю... Что ж, тебе выпал первый черед,— сказала она, с видимым усилием преодолевая в себе чувство, которого не хотела бы показать Тине, и губы ее самолюбиво задрожали.— Теперь ты будешь при муже — и пойдут наши пути в разные концы, такие разные, что ни повидать, ни голоса услыхать! Так не сватай же мне, кого самой не нужно! Пусть вселяют ко мне кого хотят... По крайности я буду знать, что осталась сама по себе... если уж тебя нет и никогда не будет...— добавила Васса, и слезы опять залили ее смуглое лицо.

Если бы Тина в эти дни не была так полна собой, она догадалась бы, что не о ней одной плакала Васса, что не только к ней, Тине, относились слова «осталась сама по себе», «тебя нет и никогда не будет». Но Тина все это отнесла только к себе: она бросилась к Вассе, обняла ее и говорила о том, что никогда не оставит любимой подруги, что все, все у них пойдет по-прежнему.

Но они обе не знали, как это все будет на самом деле.

Тина ушла с работы через четыре месяца после этого разговора, в начале первой беременности. Она трудно переносила и первую и вторую беременность, но первая была для нее особенно тяжелой. По нескольку раз на день она бросала на соседа станок в ходу и бежала через подъездные пути в уборную, где, содрогаясь от рвотных спазм, обливаясь потом и слезами и еще бо́льшие испытывая муки стыда перед случайными женщинами, поддерживавшими ее под руки, выстаивала над осыпанным известкой глазком, боясь, что только отойдет от него, как все начнется сначала.

И она первая сказала мужу, что не в силах переносить это на глазах у людей.

— Конечно, зачем тебе мучиться, будто мы не обойдемся без твоих синеньких! — сказал Павлуша, очень ее жалевший. Он сказал «синеньких» — это было еще до денежной реформы.

И он, переговорив где нужно, устроил так, что ее отчислили с работы.

А Васса осталась в той же вальце-токарной группе при цехе, где катались проволока, штрипсы и мелкосорт-

ный металл. Васса все не выходила замуж, и это было даже удивительно: она всегда вращалась среди ребят. А потом она подружилась с Соней Новиковой, и та незаметно вошла в жизнь Вассы так глубоко и полно, что вытеснила даже память о Тине.

Раньше Соня с маленьким сыном жила в скученном бараке в Никитьевском поселке,— муж ее, лейтенант саперных войск, погиб в Курской битве. А потом подруги получили вместе двухкомнатную квартиру — тогда же, когда Павлуша с Тиной получили свою трехкомнатную. Это было памятное событие на Заречной стороне: квартал 16В первый строился не отдельными зданиями, а как цельный комплекс, и, едва его покинули маляры, все жильцы, несколько сот семейств с сонмом детей, въехали в свои квартиры почти в один день.

Павлуша и обе женщины, весело его атаковавшие, прошли под балконом. Павлуша шел своей развалистой, но легкой походкой, мягко загребая руками и оборачивая смеющееся лицо то к одной, то к другой женщине. Невозможно было окликнуть мужа, не унижая себя; Тина только смотрела ему вслед. Они нагнали вышедшего из ворот немного пораньше машиниста портального крана углеподготовки Александра Гамалея, и Соня Новикова сразу переключилась на пожилого Гамалея, более подходящего ей по возрасту. Дальше по улице к ним присоединились еще несколько мужчин, которых Тина тоже знала,— самый молодой из них, выбежавший из калитки в ограде вдогонку за товарищами, сзади закрыл Павлуше глаза и повис у него на плечах. Они весело здоровались между собой за руки, обменивались шутками, которые обратились на двух незамужних женщин, как только мужчины почувствовали свой перевес. Но ни Васса, ни Соня не только не смущались, а становились все свободней и оборотистей в окружении мужчин,— даже отсюда можно было догадаться, что они не дают спуска.

И долго еще, когда людской поток поглотил их, видела Тина круглый, мальчишеский затылок своего мужа. У нее все время подкатывало к горлу, но это были не слезы. Она давно уже не плакала: она пережила девичьи слезы и еще не обрела слез женщины. Но ей очень хотелось, чтобы Павлуша оглянулся.

Метрах в двухстах наверху, в глубине площади имени Ленинского комсомола, выступала верхняя половина фасада нового кинотеатра — очень легкого, воздушного здания, обнесенного белыми колоннами наподобие афинского Акрополя. И утреннее солнце, игравшее в капителях колонн, и отдаленная, но такая звонкая трель трамвая, вдруг прочертившего дугой по проводу поперек площади, и сильная, молодая фигура мужа, идущая навстречу этим веселым звонкам, и внезапный жалобный крик Алешки, донесшийся из столовой,— все это слилось у Тины в одно пронзительное, нежное, отчаянное, безнадежное чувство.

IV

И день, такой же, как сотни дней до него и тысячи после него, глянул на нее со всею тяжестью и скукой неуловимых, неисчислимых, опутывающих душу и страшных своей мелочностью забот, которые все укладываются в одно понятие, определяющее жизнь миллионов и миллионов женщин: домашняя хозяйка.

Но день, предстоявший Тине, как и неизвестно еще сколько следовавших за ним, должен был быть особенно, невыносимо тяжелым, потому что приехал Федор Никонович, отец Павлуши. А ее мать, мать Тины, уже не могла помочь дочери, как обычно, когда у них собирались гости. Мама не могла приехать именно потому, что это были не обычные гости, а Федор Никонович. Может быть, она и преодолела бы неприязненное чувство к свату: она любила дочь и способна была ради нее на жертвы; простая деревенская женщина, она умела прятать свои чувства под личиной молчаливого равнодушия, доведенного, если нужно, даже до тупости. Но отец Тины никогда не отпустил бы жену унижаться перед старым Кузнецовым.

Вчера, когда Павлуша и Захар и его жена Дуня отвели подвыпившего Федора Никоновича в кабинет, где Тина наскоро постелила ему на диване, они еще посидели некоторое время вчетвером в прокуренной столовой, в невыносимой духоте.

Стояли на редкость безветренные и потому особенно жаркие дни и душные ночи середины июня; дверь на балкон бывала открыта круглые сутки. Но в этот день, как только Кузнецовы начали пировать, Тина незамет-

но прикрыла дверь и задернула ее легкой солнечной шторкой.

Чего опасалась Тина?

Во всем квартале 16 В, как и во всем этом новом городе, жили рабочие люди с семьями, в большинстве металлурги или строители из числа постоянных, кто в годы первой пятилетки прибрел сюда, может быть, так, на время — попытать счастья, а потом сам не заметил, как утвердился навечно. За шесть послевоенных лет десятки тысяч семейств были переселены в новый город, переселены из бараков, общежитий, из более тесных квартир старого города на той стороне озера.

Старый город когда-то тоже был новым, одним из первых новых городов в стране, и по привычке его называли «соцгородом». Назвали его так в легендарные времена, когда люди только что вылезли из нужды и никто не знал, каким же должен быть социалистический город, а всем хотелось, чтобы он уже был. Теперь в нем насчитывалось до ста пятидесяти тысяч жителей, и трубы комбината ежедневно выбрасывали на них четыреста тонн сажи и пыли, газовых отходов.

Благоприятное для Заречной стороны положение розы ветров навело строителей на мысль, что именно здесь должен быть создан новый социалистический город — будущий центр Большегорска. И теперь здесь строились кинотеатры, столовые, клубы, школы, дворцы культуры строителей и металлургов; и не только одновременно возводились все жилые и служебные здания в квартале, а сразу вслед за ними благоустраивались дворы, асфальтировались улицы, высаживались деревья, кустарники, цветы,— маляры покидали квартал одновременно с садовниками. Город рос с быстротой непостижимой, он насчитывал уже более пятидесяти тысяч жителей.

По традиционному навыку рабочих людей, сложившемуся за столетие, навыку к тому, что нет смысла скрывать свою жизнь в горе, а тем более в радости, а еще больше потому, что прежняя скученная жизнь в бараках и уплотненных квартирах поневоле приучала к откровенности, вся жизнь переселенных семейств на Заречной стороне протекала на виду друг у друга. В этих домах некрупной, строгой, стройной архитектуры, поражавшей взгляд разнообразно-простыми и гармоничными

ансамблями, в домах, где с каждым годом прочнее, чище и уютней пригонялось и увязывалось все для удобства людей, в городе, призванном, подобно «Магнитке» или Сталинску, стать одной из столиц металлургии востока, ослепительно сиявшем своей белизной и похожем на приморские южные города, особенно если смотреть на него от комбината из-за озера, образованного мощной плотиной на реке Каратемир,— в этом, действительно новом, белом, голубом, зеленом городе люди, в сущности, только еще учились жить, но они жили со вкусом и нараспашку.

Металлургическое производство — круглосуточное производство. Ночь за днем, месяц за месяцем, год за годом непрерывно люди порождают огненную стихию металла, могущую своим многотысячетонным, льющимся весом затопить и расплавить все, что ее порождает. Но люди непрерывно укрощают и организуют эту стихию на потребу человеку, к которому она приходит уже в виде балок, рельсов, брони, кровли, труб, колес, проволоки или в виде металлических заготовок, а потом уже и в виде блюмингов, турбин, экскаваторов, самолетов, микроскопов, детских поющих волчков, пружин для часов и нитей в электрической лампочке.

Чему же удивляться, если в любой час дня и ночи, когда работает одна смена, могут найтись люди из двух других смен, которым пришла неотложная потребность погулять после своего могущественного труда!

И не редкостью было видеть на просторах нового города добрую компанию молодежи, развернувшую свою гармонь поперек улицы, или слышать рвущиеся из распахнутых окон разудалые песни и топот каблуков, в то время когда вокруг кипит обыденная уличная жизнь или в синей ночи дремлют тополи и выбеленные луной кристаллические массы города, озаряемые заревом спущенного в воду шлака, безмолвно покоятся на холмах среди степи, отражаясь в озере.

Если у Павлуши Кузнецова бывали гости — товарищи по работе, приезжие люди из других городов Урала, Сибири, из Москвы, с Украины,— и у него распахивались все окна настежь. Но не тогда, когда приезжал Федор Никонович...

Впрочем, старик, ослепленный великолепием жизни младшего сына, в этот вечер, как и в прежние, не при-

давал значения закрытым окнам и дверям; он кричал и пел своим все еще могучим голосом, и только Захар все понимал и сердился.

Когда старика уложили, у всех было такое ощущение, будто здесь только что буря прошумела, а теперь неестественно тихо, хотя Захар был уже сильно пьян и молол всякий вздор.

Казалось, кому бы, как не жене, увести подгулявшего мужа, когда он не понимает, что уже в тягость хозяевам, но Дуня равнодушно относилась к тому, был ли Захар пьян, здоров, болен, работал ли, гулял ли. В первое время, как они породнились, Тине казалось, что равнодушие Дуни напускное: не сумела подобрать узды на мужа и приучилась так держать себя на людях, чтобы не унижаться. Наверно, так оно и началось когда-то, но теперь Дуня была равнодушна ко всему на свете и прежде всего равнодушна к самой себе. Это сказывалось и на ее внешности: с годами она все больше расплывалась, одевалась абы как, ей все равно было, причесана она или растрепана, похоже было, она не всегда и умывается. Тина замечала, что Дуня равнодушна даже к болезням детей своих. Она призналась Тине, что и супружеские-то обязанности выполняет без удовольствия, а потому, что так надо.

Захар привел ее сюда, чтобы оказать отцу почет в первый день приезда,— обычно он никуда не брал ее с собой. Она ему ни в чем не была помехой, но оскучняла его жизнь — жизнь тридцатилетнего мастерового, люкового на коксовых печах, который пошел на эту тяжелую работу только из-за того, что она не требовала особой квалификации и хорошо оплачивалась. Он не собирался менять свою должность на лучшую, но не мог и ниже опуститься, так как был здоров, не изнашивался ни от работы, ни от пьянства. Но счастье своей жизни он видел не в работе, а в том, чтобы прожить до конца дней своих, получая все доступные по его заработку, и по заработку родных, и по заработку товарищей блага и удовольствия, заключавшиеся для него главным образом в вине, табаке, вкусной пище, а при случае, если этого можно было достичь без хлопот и без последствий, в удовольствии от женщин и в том шумном веселье, какое можно было получать от умелого сочетания первого, второго и третьего и, по возможности, четвертого.

По внешности братья были поразительно схожи, только старший крупнее и более силен. Но все, что у Павлуши было смягчено мальчишеской ухваткой, освещено умным и лукавым выражением больших серых глаз, все это у Захара было грубее, топорней, мутнее, лишено живинки. У Павлуши все говорило, что это человек-созидатель, у Захара, что это человек-потребитель.

Но если не предъявлять человеку требований духовного роста и приумножения способностей в труде, Захар Кузнецов был вовсе не плохим рабочим: не имел за двенадцать лет тяжелой работы на коксовых печах ни одного прогула и взыскания, что объяснялось отчасти его нечеловеческим здоровьем, а больше — пониманием собственной выгоды. Он был необыкновенно ловок и изворотлив, когда возникала возможность выпить и погулять за чужой счет, но и сам был не скуп, имея для этого тем большую возможность, чем легкомысленнее год от года смотрел на свои обязательства по отношению к семье, привыкшей крутиться на хвостах от его заработка.

Люди больше склонны судить друг о друге по бросающимся в глаза внешним признакам, чем доискиваться истинных мотивов человеческого поведения. И Захар Кузнецов числился не то чтобы на хорошем, а на обычном счету у начальства, то есть на таком счету, который открыт для многих рядовых тружеников, лишенных, может быть, недостатков Захара, но имеющих другие, свои недостатки. А в широком мужском кругу товарищей по цеху Захар слыл за «своего парня», то есть тоже, как многие. Про него говорили: «Любит хватить лишку, но умеет и поработать».

И это свое постоянное, закрепленное за ним в жизни положение как бы одного из представителей рядового, трудового множества, из которого вышли и выходят вперед и наверх люди, подобные Павлуше, Захар использовал так же, как и свое старшинство, для морального давления на младшего брата. Использовал в том смысле, чтобы Павлуша, как младший в семье и выбившийся в люди, всегда чувствовал себя обязанным перед Захаром, перед отцом, перед всей родней. А всякое проявление независимости Павла в том, чтобы уклониться от удовлетворения прихотей отца или брата, Захар истолковывал

не только как неблагодарность по отношению к родне, а как отрыв от массы, его породившей, как стремление выйти в «начальство».

Так было и в этот вечер.

Павлуша умел выпить вовремя, но пристрастия к вину у него не было. Тина любила, когда он выпивал, даже когда он «перебирал» немножко; он сразу добрел, начинал виновато улыбаться, крутить головой и все повторял: «Ох, я что-то закосел!» И был необыкновенно ласков, когда они оставались вдвоем. А теперь он хитрил перед отцом и братом, рассчитывая наутро успеть к плавке Нургалиева. Они заметили это и напали на Павлушу, будто он их стыдится. Захар все время тыкал пальцем в закрытую дверь на балкон.

Разговор сразу перешел на то, что Павлуша мало высылает денег отцу; что он не достал жившей замужем в Куйбышеве больной сестре, самой старшей, путевки в Кисловодск, хотя мог бы сделать это через обком металлургов, членом которого был избран весной; что он, Павлуша, используя для себя хорошее отношение начальника орса, не делает ничего, чтобы это хорошее отношение начальника орса распространилось и на Захара. И много еще обвинений предъявили они Павлуше, который отшучивался с той ловкостью, которая показывала, что в этих обвинениях есть доля правды.

Когда отца уложили, Захар все еще пытался укрепиться на излюбленном коньке, но Тина видела, что он хочет получить еще водки, чтобы подольше не уходить. Тина делала вид, будто не догадывается, тогда Захар начал издеваться над ее именем и над ее белорусским произношением.

— Христя, тащи свою пал-литровку! — кричал он.— Скупишься, Христя? Эх ты, Христя Борозна!..

Настоящее имя ее было Христина, и в родной семье ее звали Христей. Она сама не знала, где подхватила уменьшительное Тина, должно быть, оно как-то само собой зародилось из городского воздуха. В ремесленном училище многие из ее подруг, родом из деревни меняли свои имена: Васса тоже когда-то была Василисой.

Отец Тины, Лаврен Борозна, как и его отец и дед, смалу бродил с деревенскими плотницкими артелями по помещичьим фольваркам и малым городишкам, а после революции — по совхозам и вёскам, пока великое стро-

ительство не призвало и не поглотило всю их славную профессию, исконную на Великой и на Белой Руси, богатой лесами. На строительство Сталинградского тракторного Борозна забрал с собой двух сыновей-подростков, а когда его перебросили на «Большестрой», сыновья уже самостоятельно работали в бригадах. Здесь-то старого плотника при выдаче паспортов окончательно перевели с белорусского на русский — Лаврена на Лаврентия, а Борозну на Борознова: его давно уже писали так в ведомостях на заработную плату, и милиции так было удобней а ему все равно.

И все они стали Борозновы.

Их район на Витебщине граничил с Смоленской областью. Тина, как и все Борозновы, с детства равно говорила по-белорусски и по-русски. Но белорусское произношение было в ней неистребимо. При ее внешности, долго сохранявшей черты детскости, это придавало русской речи в ее устах особенную прелесть.

Захар же, нарочито огрубляя ее говорок, сочинял замысловатые фразы, сводившиеся все к тому же требованию водки.

— Эх, памог бы я табе, Хрыстенька, пашов бы это я, пастаяв бы это я у очереди, да усе ж таки прыдется табе, Хрыстенька, самой узять нам пал-литровочки,— говорил он и, так как она молчала, добавлял с каким-то уже совсем бессмысленным вывертом: — Директарр! Секретарр! Знаэш? Панимаэш?.. Эх ты, Христя Борозна!..

Тине обидно было, что Павлуша, так ловко отбивавшийся от направленных на него нападок, теперь почти засыпал за столом и, вместо того чтобы прогнать Захара, насильственно улыбался его шуткам над ней.

Все-таки она не дала водки Захару, но он сам прошел на кухню и отыскал в стенном шкафчике под окном остатки от уже третьего пол-литра.

Боже мой, как безобразно выглядело все вокруг, когда они наконец разошлись!

Тина отдернула шторку, распахнула дверь на балкон, и как ни душна была ночь, она хлынула в комнату, пропитанную запахами табачного дыма, водки и пищи, внезапной свежестью с озера, сильным ароматом цветов с клумб во дворах, дальними, просторными запахами южноуральской степи. Тина собрала консервные банки, столовую, чайную, винную посуду с воткнутыми куда ни

попало окурками, вымыла, перетерла, убрала посуду, сняла скатерть, залитую борщом и портвейном, начисто вытерла клеенку и подмела пол. И на все это ушло еще около часа времени.

Но она знала, что даже при распахнутой на всю ночь двери на балкон запах табака не выветрится до утра. А когда проснется Федор Никонович, он и еще добавит. А Захар, который будет приходить теперь каждый день, и уже без жены, тот будет посылать Тину за папиросами, потому что он ни за что не станет в Павлушином «богатом» доме курить папиросы, купленные на его, Захаровы, деньги. Так и будут стоять эта столовая, и кабинет, и кухня, пропахнувшие табаком, пока Федор Никонович, погостив у младшего сына, не переедет еще к одному из своих четырех сыновей или к одной из своих пяти дочерей, разбросанных по разным концам советской земли.

V

Она всегда спала крепко, недвижимо, не видела снов. Тоненькая, она становилась тяжелой во сне, сразу уходила под воду на дно, как драгоценный камешек.

Едва она заснула, как ее разбудил Алешка. Он давно уже напустил в кроватку, а перед утром, при открытом окне, ему стало холодно, и он заплакал. Тина, не в силах проснуться, убрала со своей груди руку мужа, заставила себя открыть глаза и, выпростав ноги из-под простыни, вынула Алешку из кроватки, сменила ему рубашонку и подставила горшочек. Старший мирно спал на боку, слегка закинув голову, выпятив сильную, не по возрасту выпуклую грудь,— этого уже ничто не разбудит до шести.

Пока Алешка, сопя и похныкивая, справлялся со своими делами, Тина перевернула ему перину — пусть уж так побудет до утра — и переменила простынку. Алешке стало хорошо в кроватке, он разгулялся и начал поигрывать на губах и издавать более или менее сложные возгласы, заменявшие ему человеческую речь. Но Тина уже не слышала его, мгновенно ушла в сон.

Как ни крепко она спала, она не нуждалась в будильнике; должно быть, ее заботы и обязанности продолжали жить с ней во сне. Было ровно без четверти пять, когда она вскочила. По материнской выучке, она

с детства не давала себе утром ни минуты поблажки. Тина сняла, аккуратно свернула и положила под подушку рубашку, в которой спала, набросила розовый халатик в сиреневых цветочках и, уже на ходу завязывая сбоку кончики пояска бантом, прошла на кухню.

Тина никогда не убегала от всех этих однообразных дел, незаметно ставших за пять лет содержанием ее жизни,— нет, она все делала быстро, ровно, споро. Она сразу же включила газовую конфорку и поставила чайник, неполный, чтобы быстрее вскипел. Еще с вечера, пока они там пели и пили, она подсушила полную сковородку гречневой крупы; теперь Тина высыпала крупу в кастрюлю, промыла в нескольких водах и, когда чайник вскипел, включила вторую конфорку, поставила вариться кашу и долила чайник. Достала из шкафчика в стене под подоконником, заблаговременно, еще вчера перед обедом, отлитые в расчете на утро и только для Павлуши, полкастрюльки густого, жирного, с большим куском мяса борща и кусок сырой баранины, завернутый в глянцевую бумагу.

Вчера вечером, когда Тина второй раз ходила за водкой, она увидела, что в гастрономе продают расфасованную баранину. И так удачно получилось: только Тина вошла, как баранину стали выкладывать на прилавок, и Тина одна из первых попала в очередь.

Тина поставила кастрюльку с борщом на третью конфорку, а кусок баранины выложила на кухонный столик и накрыла перевернутой глубокой тарелкой, чтобы увивавшийся у ее ног сибирский кот Прошка, с пушистым хвостом — отрадой детей — не утащил мяса.

Как Тина и рассчитала, в ее личном распоряжении еще оставалось десять минут — принять душ и умыться.

Она прошла в ванную комнатку, включила газ, и пламя зашумело под колонкой. Ранним утром всегда бывал хороший напор воды. Тина надела синий резиновый шлем, скинула халатик и сразу забыла, что она недоспала. Она вдруг почувствовала, какая она еще молоденькая, гибкая, а не хрупкая, и ей вспомнилось, что привычку принимать душ по утрам она усвоила еще в ремесленном училище. В дни войны штатная должность инструктора по физическому воспитанию редко бывала замещена, и девушки проделывали утреннюю зарядку всем коллективом, без руководителя. Когда Тина вышла

замуж, ей показалось неловким делать утреннюю зарядку перед мужем, тем более что она скоро забеременела, но душ она принимала каждое утро.

Быстрыми сильными движениями ладоней она растирала гибкие руки свои и груди, сильно развитые по ее тонкой фигуре, и живот, с двумя симметричными родинками как раз пониже перехвата талии, и ноги, которые казались тонкими, как у девочки, пока выглядывали из-под халатика, а теперь видно было, что это ноги вполне развитой женщины, матери двух ребят, но еще очень, очень молодой. Тина изгибалась под душем, тепловатая вода обрушивалась на ее головку в резиновом шлеме, и на лицо с зажмуренными глазами, и на все ее белое сильное тело.

Каким прекрасным казалось ей такое далекое, далекое время до замужества, когда она училась в ремесленном, когда жизнь так много сулила ей всего, всего!.. Сейчас, конечно, что уж об этом думать, но мальчишки заглядывались на нее. Ей даже казалось, будто Коля Красовский... конечно, об этом не стоило сейчас и вспоминать. В ученье она шла впереди многих, не только девушек, а и ребят. Она отставала в теории, а на производстве шла одной из первых. Мастер говорил, что у нее все данные стать отличным токарем-универсалом.

Из училища ее выпустили по пятому разряду, в то время как обычным для выпускников был четвертый, но очень скоро она получила шестой. Ее и Вассу поставили не на грубую работу по обдирке новых валков, а на восстановление калибров, или, как их обычно называют, ручьев на срабатывающихся валках, и нарезание ручьев на новые валки — работу, требовавшую особенной точности и тонкости именно для проволочного стана.

Семен Ипполитович, старший калибровщик, любил смотреть, как Тина работает, и добродушно подшучивал над ее молчаливой и серьезной старательностью. Хорошо еще, что Тина не краснела от природы; ей казалось, будто Семен Ипполитович знает ее историю в парикмахерской в «Соснах» — от жены, Олимпиады Ивановны...

Тина вспомнила, с каким чувством обреченности сидела она тогда в парикмахерской, а теперь все это казалось смешным.

Тетя Соня, в несвежем халате, грузная, отрезала Тине косы и, подравнивая волосы ножницами и гребнем, сказала своим решительным голосом:

— Хочешь перманент-полугодовик? Или цвет изменить?

Тина с ужасом представила, как она входит в общежитие с черными волосами.

— Нет-нет! — сказала она испуганно.

— И я тебе не советую. У тебя такие волосы — мальчишки будут без ума. Давай я просто вымою тебе шампунем!

— А с мылом нельзя? — робко спросила Тина.

— Не будь дурочкой! — без гнева сказала тетя Соня, схватив розовой рукой, так близко отразившейся в зеркале, что видны стали поры кожи, склянку с красивой этикеткой.— Шампунь — это и есть мыло, только жидкое.

— Я не хочу шампунем, я лучше дома вымою...

— Смотрите, чудачка! — сказала тетя Соня, обращаясь к другим женщинам-парикмахерам и клиенткам, сидевшим с тюрбанами на голове или с торчащими во все стороны витыми рожками.

И все в парикмахерской посмотрели на Тину. А полная дама, уже в возрасте, холеная, белая, белокурая, с умными веселыми глазами, сказала очень широко, нараспев, очень по-русски:

— А правда, хорошо иногда самой вымыть волосы, я ей просто завидую, я уже лет десять как этого не делала!

Вокруг засмеялись. А маленькая, пожилая молодящаяся мастерица перестала делать полной даме маникюр и склонила голову на руку, будто не могла даже работать, так ей стало смешно:

— Ох, уж вы скажете, Олимпиада Ивановна!

Тетя Соня, обдав Тину жаром большого своего тела, сказала так, как говорят о присутствующих знаменитостях — пониженным голосом, только фамилию:

— Короткова...

Все так называемые простые люди всегда отлично знают все о жизни своих начальников. Тина, будущая работница на вальце-токарном станке, знала, что старший калибровщик проката во времена стародавние, когда учился в институте, женился на молоденькой девуш-

ке — уборщице студенческого общежития. Это и была Олимпиада Ивановна, самая нарядная и самая известная дама в Большегорске.

В те стародавние времена Семен Ипполитович помог жене получить среднее, а потом высшее образование, но Олимпиада Ивановна нигде не работала; детей у них не было: похоже было, что Семен Ипполитович образовывал жену для самого себя.

Вся их история, как ни давно это случилось, вызывала в людях живой интерес, в особенности потому, что Семен Ипполитович продолжал любить свою жену, а люди любили Семена Ипполитовича. Его любили за то, что он был добр и прост в обращении. А вальцовщики и токари, нарезавшие калибры на валки, любили его еще и за то, что, будучи выдающимся специалистом в своей области и не обладая никакой административной властью, он охотно помогал любому работнику из одной лишь любви к делу.

Каким недостижимо высоким, как будто с тех пор Тина сползла в темный, вязкий низ жизни, встал в ее памяти день ее торжества, когда она и Васса пробились наконец к Бессонову! Валентин Иванович Бессонов, бывший начальник их цеха, выделялся среди инженеров глубоким пониманием роли тех незаметных специальностей, которые призваны обслуживать металлургическое производство. Став главным инженером завода, он стал главным покровителем работников всех этих специальностей, и они потянулись к нему.

— Кто из нас, металлургов, всегда ходит в именинниках? Кому присуждают лавры? О ком пишут газеты? Кем козыряют на конференциях секретари горкомов, обкомов? — говорил Бессонов.— Конечно, сталевары, доменщики! Эффектные специальности! Нас, прокатчиков, и то прославляют пореже. А об остальных молчат, либо ругают... Как бы мы жили, например, без фасонно-литейного, кузнечного, механического, котельного цехов? Без заводов огнеупора, доломитовых печей, известковых карьеров? А доводилось ли хоть кому-нибудь прочесть об этих работниках хоть одно доброе слово в газете?.. Хорошо нашим энергетикам: о них в печати молчат, зато и дома не ругают. А, например, об агломератчиках, рудообогатителях, коксовиках в газетах не пишут, а дома их ругают бесперечь. Кто же доволен сво-

ей рудой, агломератом, коксом? На них можно валить все на свете, ими можно прикрыть все свои пороки. А транспортники! На заводах их всегда и безусловно только ругают. Или ремонтники! Нет им ни славы, ни забвения! Все их костят, а слава... О них молчат! Молчат газеты, молчат даже секретари парткомов на заводах. Почему? Уж больно дело-то привычное, русское: чинить то, что другие ломают, и все с помощью ломика и кувалды!.. А ведь есть еще водоснабженцы, водопроводчики, целое водное хозяйство — о них и вспоминают-то только во время аварии!

Про Бессонова говорили: «Чем больше кипит, тем меньше руками болтает». И правда, большое лицо его всегда спокойно, жесты полных рук всегда скупы. Одет он всегда безукоризненно чисто. Он говорил: «Чем чище инженер одет на производстве, тем лучше следит за чистотой в цехе». Но он был горяч, и его выдавал голос — не тихий, не бархатистый, какого можно бы ожидать по внешности, а громкий, резкий, точно осуждающий, даже когда Бессонов хвалил.

Девушки пробились к Бессонову летом первого послевоенного года — самого трудного года для большегорского проката.

Горы слитков росли перед блюмингами, но еще больше отставали сортовые станы,— склады уже не вмещали заготовок. Участились вынужденные простои станов из-за поломок и аварий, ремонтные бригады не справлялись в отпущенные им сроки.

В каждом вынужденном простое прокатчики обвиняли ремонтников в «некачественном» ремонте, литейщиков и токарей — в нестойкости валков, а те, в свою очередь, обвиняли прокатчиков в неумении настраивать станы и ритмично работать на них.

И вот в то время Тина и Васса пришли к Бессонову со своим предложением.

Почему плохо работают станы? Потому что за ними плохо ухаживают. Надо, чтобы за станами с одинаковой старательностью ухаживали и те, кто на них работает, и те, кто обслуживает станы. Нельзя ли объявить соревнование между станами, чтобы не было вынужденных простоев, такое соревнование, в котором социалистические обязательства приняли бы на себя и прокатчики, и

ремонтники, и токари и все другие специальности, обслуживающие станы?

Тина вдруг увидела, каким светом брызнули черные глаза Бессонова.

— Вы, девушки, даже не понимаете до конца, что вы надумали! — сказал он.— Только что Иннокентий Зосимович (так звали директора комбината Сомова), только что Иннокентий Зосимович кричал на меня: «Прокатчики! Если не найдете выхода из положения, смоем вас с лица земли лавиной жидкой стали!..» Он же сталеплавильщик!.. Мы сейчас совершенствуем наши станы, внедряем автоматику, ищем стойкие чугуны для валков. И вы как раз ко мне на выручку. И вы правильно сказали: «Ухаживать...» Вот именно, ухаживать, всем, всем ухаживать!.. Мысль эта не случайно родилась среди женщин,— вдруг сказал Бессонов.— Женщина-хозяйка, с ее аккуратностью, выработала в себе многовековой опыт, как ухаживать за вещью, когда вещь в ходу,— вовремя ее чистить, чинить, заделывать любой изъян, когда он еще еле заметен, не допускать преждевременного износа. И я даже знаю, кому из вас первой пришла в голову эта мысль,— сказал он с тонким выражением в черных живых глазах.— Конечно, вы это вместе обмозговали, я понимаю, но она первая это придумала,— и он кивнул на Тину,— правда?

— Правда! — сказала Васса, показав в улыбке белые сплошные зубы, и насмешливо покосилась на подругу.— Откуда вы узнали?

Он улыбнулся и ничего не ответил. Тина поняла: он не хотел обидеть Вассы.

Оттого, что Васса была постарше, общительней, а главное, во всех трудных случаях жизни вырывалась вперед, многие думали, что в их успехе на производстве тоже повинна Васса. На самом же деле при неистощимой энергии Васса была изменчива в настроении, все делала рывками, многое вертелось в ней самой и вокруг нее без ясной цели.

А о характере Тины многие судили ошибочно только потому, что и в жизни и в работе решения, поступки вызревали в ней медленно, незаметно. У нее был природный здравый смысл, привитый с детства, но она не умела взвешивать, обдумывать со всех сторон, это совершалось в ней само собой, больше в чувствах, чем в мыслях.

А когда это вызревало, она действовала последовательно и не отступала от того, что нашла.

В работе ей присуща была спорость, именно спорость, а не скорость, то есть методичность, тот отчасти природный, отчасти выработанный в сноровку расчет, при котором дело идет ровно, ритмично, всегда завершается вовремя и успешно,— этакая не суетливая, не броская, но постоянная удачливость. При расчете на большое время работники такой складки, как Тина, дают неизмеримо больше, чем скоростники на час. Спорость в производстве — это наиболее организованный, наивысший вид скорости.

Но Тина могла так работать, если условия труда не менялись. При срывах, авариях она не была находчивой, терялась. И она не умела постоять за себя: могла не уступить, но и не добиться.

И вот тут-то в дело вступала Васса. Васса выполняла обязанности профорга вальце-токарной группы всего проволочно-штрипсового цеха. Когда она находилась в движении,— а она всегда находилась в движении,— ее резко обозначенные черты лица и тела так ловко увязывались самой природой, что все казалось в ней гармоничным.

Стремительная, она не идет, а несет себя через весь цеховой пролет, сквозь его дымчатый синий воздух, несет сверкающие свои глаза, выставленную грудь, красивые руки, мощные бедра, оставляя за собой вихрь от одежды, и все мужчины невольно оглядываются на нее. И вот она уже наступает на обер-мастера,— а на него можно наступать,— это не старый мастер с очками на носу, какого в наши дни можно встретить чаще в художественных произведениях, это современный молодой мастер с высшим образованием. Васса теснит его своими черными глазами, громким голосом, и у молодого обер-мастера на лице примерно такое же выражение, какое могло бы быть и у старого: «Нет, ты не девка, ты дьявольское наваждение, и если не пойти тебе навстречу... нет, нельзя не пойти тебе навстречу!..»

А потом с женщинами в душевой Васса хохочет так, что только ее одну и слышно, и белые зубы ее сверкают среди падающего дождя...

Тина выключила газ и воду, сняла шлем и вытерлась насухо большим мохнатым полотенцем. Но она уже не

испытывала того чувства молодости и обновления, с каким вступала под душ. Воспоминание о том времени, когда ей было всего лишь девятнадцать лет, когда она была независима и полна надежд, получила признание и уважение людей, говорило ей о том, какой она могла бы быть теперь, если бы не бросила все ради мужа и семьи. Дружба ее распалась, лучшая подруга нашла новых друзей и вместе с ними идет по большой дороге жизни в то время, когда она, Христина Борознова, убирает объедки за свекром и Захаром.

Тина надела халатик и пошла будить Павлушу, не в силах преодолеть смутного враждебного чувства к нему. Да, давно ушли те времена, когда она, прильнув всей грудью, почти навалившись на Павлушу, будила его частыми, мелкими поцелуями на все его доброе заспанное лицо, а он просыпался с улыбкой, и большие руки его брали ее в плен,— ей нужно было отбиваться, чтобы закончить стряпню. Теперь она всегда чувствовала себя такой занятой и озабоченной, а он тоже больше уставал, позже ложился, просыпался с трудом.

Тина положила ему руку на плечо и несколько раз мягко позвала его, пока он не начал приоткрывать то один глаз, то другой и не потянулся. Как большинство мужчин, он никогда не мог встать сразу, а минут десять еще обманывал себя, и эти минуты Тина включала в свой утренний расчет времени.

Она вернулась на кухню, сдвинула кипевший чайник, поставила сковородку, чтобы подогрелась, сдвинула закипевший борщ и поставила молоко. Потом отсыпала манной крупы для ребят и начала жарить баранину. Попутно она выставила на кухонный столик для Павлуши столовый и чайный приборы и полную на полтораста граммов стопку портвейна.

Тина слышала, как Павлуша одевался, бренчал чашечкой для бритья, мылся,— она все время помнила, что ему нужно успеть к плавке Мусы. Но когда он вошел на кухню, еще без пиджака и в туфлях, немного озабоченный, но свежий и, как всегда, расположенный к домашнему разговору, Тина вдруг спросила:

— Не можешь мне узнать, не в отпуску ли Рубцов? Хочу зайти, поговорить...

Рубцов был начальником недавно созданного объединенного вальце-токарного цеха, где работала теперь Васса.

Павлуша сразу понял, почему Тина заговорила о Рубцове, угрюмовато взглянул на нее, молча выпил портвейн и принялся за борщ.

— Я знаю, чего ты боишься,— сказала Тина.

— Не того, что ты думаешь, а я тебя жалею,— сказал он.— Не хочу, чтобы ты походила на Шурку Красовскую.

Жена Красовского Шура, секретарь комсомольской организации своего цеха, работала диспетчером на коксохиме и вела весь дом Красовских. На Шуре лежали заботы о ребенке — девочке восьми месяцев,— о матери Коли, которая уже года полтора как не могла ходить, а только сидела или лежала, и о младшей сестренке Шуры, ученице четвертого класса, жившей вместе с ними. Красовские были женаты всего лишь два года, и за это время Шура заметно для всех подалась и подурнела. Но она и слышать не хотела, чтобы оставить работу в диспетчерской, хотя секретарь комсомола в цехе полагался освобожденный, платный.

У Тины было двойственное отношение к жене Красовского. В глаза ее жалела, а Павлуше часто говорила, что Шура — гордячка, хочет показать себя. Поэтому, когда Тина заводила речь о работе, Павлуша охотно приводил в пример Шуру Красовскую. На этот раз он получил ответ неожиданный.

— Конечно, тебе бы больше хотелось, чтобы я походила на Захарову Дуньку,— сказала Тина.— Вам, Кузнецовым, видно, это больше нравится!

В первый раз она пошла на то, чтобы затронуть родню Павлуши.

— А ты разве не Кузнецова? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Кузнецова прислуга! Если бы мы оба работали, могли бы няньку взять...

— Чтобы над нами смеялись? Мы с тобой рабочие люди, нам нянек не положено. И попробуй найти няньку у нас в Большегорске!

— Ты так прославился, что у тебя и в детский сад возьмут.

— А ты отдашь?

Так началась их ссора...

Никогда еще Тина не испытывала такого щемящего чувства любви к мужу, как теперь, когда видела его ухо-

дящим по улице в толпе вместе с Вассой и Соней Новиковой. И никогда с такой силой отчаяния не сознавала она своего ужасного поражения в жизни.

Перед Тиной в будничной простоте проходило ежедневное и доступное всем торжество людей, которое можно было определить словами, тоже простыми: люди идут на работу. А она, Тина, уже не могла быть участницей этого торжества. Она не только не была равной среди женщин, где когда-то была среди первых, но все эти женщины и мужчины, которые шли на работу с ее мужем, становились в положение более высокой близости к нему, чем она, Тина. Отдав и подчинив ему себя, она уже не могла быть так близка к нему, как те, кто был равен с ним и независим от него.

Тина вернулась в столовую, разняла ссорившихся детей и увела их на кухню. Но она не видела, хорошо ли они едят, не слышала их лепета.

«Как все это получилось? Как я пошла на это? С чего это началось?» — спрашивала она себя и боялась и стыдилась ответить.

И в это время она услышала в передней низкий кашель и мокрый, тяжкий звук босых ступней Федора Никоновича.

День домашней хозяйки входил в свои права.

VI

С того момента как Павлуша столкнулся во дворе с Вассой и Соней Новиковой, он сразу вступил в тот открытый шумный мир многообразных интересов, который был и его миром.

— Кого мы видим, Сонечка? Надолго ли к нам? Все разъезжаешь? Речи произносишь? А печь-то поди вздыхает по тебе? — говорила Васса, с удивительной проницательностью, вскрывая самое больное место Павлуши.— Читаем, читаем речи твои! Видим, не сам писал,— сказала она, и ноздри ее язвительно весело дрогнули.

Эту манеру насмешливого отношения к Павлуше Васса усвоила еще в те времена, когда Павлуша начал ухаживать за Тиной. Если бы он умел тогда читать в девичьих глазах и слушать не то, что говорят слова, а что говорит голос, много неожиданного для себя открыл бы

Павлуша под этой насмешливой манерой Вассы. Но он и в юности и теперь был простодушен в этого рода отношениях с девушками, с женщинами. Он даже не прикладывал усилий к тому, чтобы быть находчивым, остроумным, он разоружал насмешниц своей открытой, смелой, мужественной покорностью. После того как он женился, встречи его с Вассой стали случайными, редкими, и в насмешках ее над ним все меньше можно было обнаружить доброй женской игры, а все больше разящей издевки, будто Васса мстила ему за что-то. Но Павлуша даже не замечал этого.

— Не говори, не говори, не говори! — весело отмахивался он.— Уже два раза на меня писали. Знаешь, что говорят? «В теперешнем твоем положении от тебя ждут политических выступлений!..» — И большие смеющиеся глаза Павлуши лукаво сверкнули на Вассу, а потом на Соню.— Политических так политических! На конференции металлургов я все-таки вкатил кое-что насчет охраны труда, а на партийной конференции меня никто и не спросил. «Надо, говорят, выступить, и вот тебе в помощь редактора газеты». Я гляжу, а он уже и речь мою из-за пазухи тащит!

Соня Новикова, в яркой пестрой кофточке и в этом небрежно повязанном, идущем к ее светлым волосам платке-паутинке, покосилась на Павлушу темно-зелеными глазами и засмеялась, показав нежный подбородок. Но Васса вовсе не хотела выпустить Павлушу из неприятного положения так запросто, не израненным.

— Учись, Сонечка, как коллективно прославиться,— говорила Васса.— Нургалиев и Красовский у печи, а Павлуша за всех троих на трибуне!..

Но Павлуша, оказывается, и не склонен был скрывать, что у него это самое больное место. Конечно, было бы неправдой сказать, будто эти поездки ему неинтересны, будто он ездит против своего желания,— нет, эти поездки приносят ему большую пользу, он сам чувствует, как вырос за это время. Но печь... Конечно, теперь она уже не может быть первой на комбинате. Если она все-таки идет среди передовых, в этом заслуга Мусы и Коли, его друзей.

— Тебе надо еще за границу съездить, тогда у вас дела лучше пойдут! — сказала Васса, подрагивая тонкими ноздрями.

Александр Гамалей, услышав их громкие голоса и смех Сони, похожий на воркование, оглянулся, чуть улыбнулся в пшеничные свои усы и, когда молодые люди поравнялись с ним, вежливо приподнял фуражку, показав лысеющее темя, сильно загоревшее от того, что Гамалей любил работать в саду с непокрытой головой.

По окончании Отечественной войны Гамалей вышел в запас в звании старшего лейтенанта и по привычке к военной форме продолжал ее носить, правда уже без погон и без звезды на фуражке. Но он уже не чувствовал себя военным человеком; он был мастеровым с детства, как и отец его, и при встречах с людьми не брал под козырек, а снимал военную фуражку так же, как когда-то отец снимал свой картуз.

— Ах, Саша, люблю, когда мужика в твоем возрасте, когда он уже привык к заботе, к ласке, жена вдруг оставляет на его собственное попечение! — притворно-грустным голосом, которому противоречили ее заискрившиеся темно-зеленые глаза, заговорила Соня, по праву многолетней дружбы с женой Гамалея называя его не Александром Фаддеевичем, как его называли все, а просто Сашей.— Наверно, ты поворочался сегодня на жесткой-то постели! Чайку-то хоть попил перед работой? Дети, наверное, голодные в школу пойдут? Маленький-то как?

Жена Гамалея Мария работала, как и Соня, старшим оператором проволочного стана и всю эту неделю работала в ночной смене. Соня, которая должна была ее сейчас сменить, подшучивала над Гамалеем, что ему пришлось всю ночь провести в одиночестве и некому с утра покормить его и детей.

Гамалей спокойно улыбался в усы, темно-голубые глаза его, выделявшиеся на загорелом лице, как чистые озера, смотрели на Соню с понимающим добрым выражением, будто говорили: «Не потому ты смеешься надо мной, что я один, а потому, что ты одна, давно уже одна и, может быть, весь век останешься одна».

Соня поняла его взгляд, и что-то тяжелое обозначилось в складке ее полных губ с опущенными углами, казалось, даже тень легла под нижней губой. В то же время необъяснимая улыбка играла в глазах ее, умная женская улыбка, словно говорившая: «Да, я знаю, что я на всю жизнь одна, но я могу дать еще столько счастья,

так не судите же меня, если я все еще кого-то жду, зову...» Соня чуть коснулась руки Гамалея и с некоторой излишней экзальтацией начала хвалить его жену Марию.

Сорокалетний Гамалей и жена его, моложе его лет на шесть, были известны на комбинате не только как хорошие работники, а и по их удивительно сложившейся личной судьбе.

В тридцать пятом году Маша Акафистова, восемнадцатилетняя девушка, дочь поселенца из раскулаченных, к тому времени уже восстановленного в правах и работавшего на Большой горе на рудообогатительной фабрике, вышла замуж за лучшего друга Гамалея Сергея Тришина. Оба родом из Краматорска, с одной улицы, из одной школы, сыновья слесарей, начавшие свой трудовой путь тоже слесарями, они и в Красной Армии служили в одной части, оба одновременно демобилизовались в должности командира взвода и оба попали на Большегорский комбинат, где вскоре стали работать на портальном кране углеподготовки, импортированном из Германии.

Семья Сергея Тришина стала единственной семьей и Гамалея. Правда, он не соглашался столоваться у Тришиных, а тем более отдавать Маше белье в стирку, сколько она ни настаивала. Маша нигде не работала, но Гамалей говорил, что не хочет обременять ее нахлебником: к началу войны у Тришиных были две дочки-дошкольницы и сынок, делавший первые свои шажки. Сергей, после того как женился, получил комнату в квартире на три семьи в так называемом «немецком» доме. А Гамалей по-прежнему жил в «Шестом западном» и пользовался всеми благами этого молодежного общежития, хотя был здесь единственным молодым человеком, которому уже подкатывало к тридцати.

Когда Александр и Сергей не были в вечерней смене (а они всегда были в одной смене: их кран углеподготовки имел две кабины и работал на два грейфера), Гамалей проводил свои вечера в семье друга. Спокойный, сильный, голубоглазый, с большими добрыми руками, он оказался незаменимой нянькой при детях Тришина. Маленькими они охотно шли на руки к Гамалею, он мог возиться с ними часами. Он знал сотни народных сказок и, рассказывая их девочкам, незаметно переходил

на украинский язык, но девочки понимали Гамалея. А когда дети ложились спать, он молча усаживался у подоконника, с которого свисали путаные бледно-зеленые плети растения, называемого в народе «бабьи сплетни», и, глядя прямо перед собой, все сосал, сосал свою короткую кривую трубку с обгоревшим чубуком, выпуская дым из-под пшеничных усов удивительной мягкости.

Друг его и ровесник всегда что-нибудь рассказывал смешное или страшное,— о свадьбах с похищениями, о пробуждении мертвых в могилах, о невероятных аферах с удачным исходом. А то вдруг брал гармонь с порыжевшими мехами, вывезенную еще из Донбасса, и, свесив набок русый чуб свой, точно прислушиваясь, не врет ли старая, пел грустным сиплым баритоном старинные русские и украинские песни.

В такие минуты жена его, которая даже самую мелкую работу по дому выполняла с таким неистовством, будто хотела что-то заглушить, забить, умертвить в себе, вдруг замирала, замирала на том самом месте, где заставала ее песня. С лицом иконописной красоты, она слушала песню — чернявая, худая, нервная, палимая вечным внутренним огнем — и вдруг говорила:

— Женились бы вы, Александр Фаддеевич, ей-богу!..

— А зачем мне жениться, когда мне и так хорошо?..— отвечал Гамалей и все дымил и дымил на «бабьи сплетни».

Похоже было, что так и пройдет жизнь Гамалея до самой старости. Но с началом войны и Гамалея и Тришина призвали как младших офицеров запаса. И впервые в жизни они были разлучены: Гамалей попал под Киев, а Тришин на западный фронт, где и погиб в бою под Ельней. Гамалей узнал о гибели друга почти год спустя, после выхода из окружения, узнал из письма Марии, в котором она ничего не писала ни о себе, ни о детях.

В ответном письме Гамалей писал:

«Знаешь ли ты, что Сергей был моим братом? Ты знаешь! Старики мои давно померли, и все мы, Гамалеи, братья и сестры мои, все люди самостоятельные, я среди них меньший. О ком же, как не о тебе и детях твоих, как не о семье погибшего брата моего Сергея, может

сейчас болеть моя душа? Понимаешь ты это? Ты понимаешь. Я здесь всем обеспечен, а пенсия, что получаешь ты за Сергея, мала. Я буду высылать тебе, пока жив буду, свое офицерское жалованье. Ты женщина умная, добрая, так не обидь же меня отказом».

И стал Гамалей высылать ей свое жалованье, и она не обидела его отказом. Но не знал Гамалей, что с первых же дней, как ушел ее муж на фронт, Мария пошла работать на завод, а все жалованье Гамалея откладывала она на открытую для него сберегательную книжку.

Когда вернулся Гамалей с войны, больше года еще пришлось ему, окруженному детьми погибшего друга, дымить трубкой в знакомой комнате, где, как и раньше (как и впредь!), украшали стену фотографии Сережи Тришина — одного, и вдвоем с Машей, и вдвоем с Гамалеем, и в кругу товарищей,— прежде чем согласилась Мария выйти замуж за Александра Фаддеевича.

И казалось, ничто не изменилось в их жизни: Гамалей давно был неотделим от этой комнаты; дети давно его приняли как старшего друга; Маша продолжала работать на заводе, как работал и Гамалей. Изменилось только то, что появился на свет маленький Гамалей, и семья получила, наконец, квартиру на Заречной стороне, и то, что Маша стала спокойней и чаще смеялась, и, когда смеялась, в лице ее появлялось что-то застенчивое, девичье.

Улица в часы, когда рабочие люди идут на работу или возвращаются с работы, похожа на перемещающийся клуб, превосходящий масштабом своим настоящие клубы, не говоря уже о таких временных клубах, как «забегаловки», раздевалки при цехах или очереди в магазинах.

— А, Павлуша!.. Здоров, Павлуша!.. Как жизнь, Павлуша?! — слышалось то и дело из уст молодых и старших.

Да, его любили здесь. Любили за то, что он тут вырос, выучился, стал знаменитым и остался таким же общительным, веселым, каким его знали еще в ремесленном.

Парень, закрывший Павлуше глаза и повисший у него на плечах, оказался его младшим товарищем, Гришей Шаповаловым. В прошлом году он был у Павлуши вторым подручным, а после того как Сеня Чепчиков,

первый подручный, ушел сталеваром на комсомольскую печь, Гриша занял его место. Но на свою беду Гриша на всех собраниях вылезал с критикой неполадков во втором мартеновском цехе, и в конце концов его избрали цеховым комсомольским секретарем.

— Слушай, Павлуша,— сказал Гриша, стискивая его руку своими жесткими ладонями, одинаковыми в длину и в ширину.— Надеюсь, ты сохранил на Сеню Чепчикова какое-то влияние? Что случилось с человеком? Мы поручили ему как члену бюро всю физкультурную работу, а он даже на бюро не ходит!

— Какой же ты секретарь, если власти на него не имеешь! — смеясь сказал Павлуша.— Как дела? Материально тебя не поджало?

— Очень поджало,— признался Гриша с некоторым смущением.

В самом деле его заработок как секретаря цеховой комсомольской организации оказался значительно ниже заработка первого подручного.

В группе мужчин, окруживших Вассу и Соню, шли доменный мастер Крутилин, внешностью своей опровергавший привычное представление о доменщиках, такой он был сухой и маленький, и недавно приехавший из Запорожья старший вальцовщик тонколистового стана горячей прокатки Синицын, длинный, худой, прямой, с выгнутой шеей, в светлом модном пиджаке с неестественно широкими плечами.

Они обсуждали политические новости дня, злобой которого было созванное в Париже для подготовки встречи министров иностранных дел четырех держав совещание заместителей министров. Совещание находилось как раз на том этапе, когда заместители министров трех держав отказывались включить в предполагаемую повестку дня вопросы об Атлантическом пакте и об американских военных базах, внесенные Громыко. Крутилину очень хотелось, чтобы заместители министров трех держав все-таки как-нибудь уступили и чтобы все было хорошо.

— Сорвут?..— спрашивал он, с надеждой глядя на Синицына.

Синицын, узкая голова которого была как бы продолжением его выгнутой шеи, делал неопределенный жест костлявой кистью руки и отвечал жестоко:

— Сорвут!

— А что значит — «они заседают в розовом дворце», почему он розовый? — спросил очень молодой, но известный уже и за пределами Большегорска каменщик Кораблев.— Нет, ведь может быть изнутри отделка розовая, так в этом хитрости нет, а если снаружи, так это вряд ли штукатурка, наверно, мрамор особый?

— Нет, пусть лучше товарищ Синицын скажет, почему наш новый листопрокатный так долго листа не дает? — с улыбкой сказал Гамалей.

Синицын, техник по образованию, вдруг ужасно обиделся на вопрос Гамалея.

— Спрашивайте не у меня, а у строителей-монтажников! — вскричал он.— Из-за них мы все еще решаем ребусы и загадки, а стан настроить не можем. Посмотрели бы вы, как работает он у нас, на «Запорожстали»! Там труд вальцовщика давно уже стал интеллектуальным трудом. И роль операторов выше, чем у вас,— сказал Синицын, покосившись на Соню.

Мужчины, в обществе которых шли Соня и Васса, шутливо нападали на них, будто они потому до сих пор не замужем, что ведут себя как разборчивые невесты. В самом деле, женщины красивые, известные, портреты их постоянно висят на Доске почета у главных ворот,— не может быть, чтобы никто к ним не сватался. Видно, отшивают женихов!

— Вы, молодые бабы,— привереды! — вмешался в этот разговор мастер Крутилин.— Как это так, замуж не выскочить у нас в Большегорске! Вы больше на доменщиков, на сталеплавильщиков поглядывайте,— там одни мужики!..

— Нужны они нам, чумазые! — сказала Васса.

— Ишь аристократия какая!

— А она права, Алексей Петрович: она не против доменщиков или сталеплавильщиков, а она — девушка, перед ней все пути открыты,— сказала Соня, женским чутьем понимая, как больно бьет по самолюбию Вассы то, что ее могут считать уже засидевшейся и ищущей жениха.— Это у нас, вдов, положение безвыходное.

— Почему безвыходное? — наивно спросил Синицын, которому Соня очень нравилась.

— Потому, что... мир уже поделен! — сказала Соня с необъяснимой своей улыбкой.— Хотите, чтобы мы его

переделили? Тогда берегитесь, если вы человек семейный! — сказала она под общий хохот мужчин.

Они уже были вовлечены в пестрый поток людей, все более сгущавшийся по мере приближения к залитой солнцем площади, через которую один за другим проносились битком набитые, с висящими на подножках людьми трамвайные вагоны.

Маленькая немолодая женщина, с лицом в сети преждевременных морщинок, но с необыкновенно жизнелюбивым выражением, которое придавали ее лицу острые, подвижные глаза и вздернутый носик,— как говорят, «с лукавинкой»,— одетая в такое поношенное платье и повязанная таким старым платком, как будто она специально выбрала все самое негодное, вывернулась из толпы и, лихо продев тонкую руку под руку Соне, зашагала рядом с ней.

— Здравствуй, Прасковьюшка, здравствуй, милая! — ласково сказала Соня, прижимая руку женщины к груди своей.

Это была работавшая в одном цехе с Соней увязчица бунтов проволоки-катанки, одна из последних представительниц тяжелого ручного труда, сохранившегося даже на таком совершенном стане, как проволочный.

Бунты поступают с моталок, когда проволока еще раскалена, и двое рабочих или работниц в специальной одежде и рукавицах, обдуваемые холодным воздухом, перевязывают бунты с двух сторон обрезками холодной проволоки, чтобы бунты не рассыпались перед тем, как их подцепит медленно движущийся крюковой транспортер охлаждения.

Прасковья Пронина, женщина малограмотная и многодетная, потерявшая в войне мужа, вот уже восемь лет стояла на этом горячем посту. Всего ребят у нее было шестеро. Два старших сына уже работали, но матери не помогали: они были известны на Заречной стороне как неисправимые хулиганы, уже не раз имевшие дело с милицией.

Несмотря на тяжелый труд свой, жизнь без мужа и неудачу со старшими сыновьями, Пронина отличалась редкой жизнестойкостью и тем особенным юмором, в котором есть и что-то детское и какая-то неуловимая «подковырка». За это ее свойство, а возможно, и потому, что она была такая маленькая, ее никто не называл по фа-

милии или по имени и отчеству, а все звали ее Прасковьюшкой.

У выхода к трамвайной остановке, на противоположном углу улицы, несмотря на ранний час, бойко торговал ларек.

— Чертяки! — сказал Гамалей, увидев возле ларька молодых ребят, державших в руках стопки.— Так мы их воспитываем!..

— А кто их воспитывает, они сами такие лезут,— сказала Прасковьюшка, взглянув на него острыми веселыми глазами.

— Как такие лезут? — улыбнулся Гамалей.

— А поперёчные, боком лезут! — сказала Прасковьюшка.

И вся их компания, в центре которой были теперь Соня и Прасковьюшка, с веселым хохотом волной выкатилась на площадь.

VII

Только что партия проследовавших один за другим сдвоенных вагонов подобрала народ, скопившийся на остановке, но от угла улицы Короленко, вдоль по проспекту Строителей, пересекавшему площадь, уже нарастала новая длинная очередь.

Те, кому нужно было попасть в цехи, близко отстоявшие от ворот по ту сторону озера, или люди молодые, больше надеявшиеся на свои ноги, чем на городской транспорт, шли пешком по проспекту Строителей — прямо на солнце, бившее им в лицо.

В стороне от большой очереди построилась группа учеников ремесленного училища. Впереди стояли ребята первого года обучения, а позади к ним примкнуло несколько юношей-выпускников.

— Смотри, Павлуша, Лермонтов! — воскликнула Васса внезапно подобревшим голосом и даже схватила Павлушу за руку.

И он тоже сразу узнал возглавлявшего группу мастера производственного обучения Юру Гаврилова, когда-то учившегося в этом же пятнадцатом ремесленном вместе с Павлушей и Колей Красовским. Прозвище «Лермонтов» было дано Юре еще в то далекое время их ранней юности и теперь уже всеми было забыто. Но у Вассы и Павлуши вид Лермонтова сразу воскресил в памяти

все их славное поколение окончивших ремесленные училища в сорок третьем военном году.

— Подойдем? — живо спросила Васса.

Впрочем, она тут же отпустила руку Павлуши и вместе с ним подошла к группе ремесленников с таким видом, как будто оказалась здесь случайно.

Юра Гаврилов, молодой человек спортивной выправки, но роста скорее низкого, чем среднего, одетый с небрежностью, в задранной на затылок кепке, в легкой ковбойке с расстегнутым воротом — все это, однако, шло к нему,— смотрел в ту сторону, откуда должна была появиться новая партия трамвайных вагонов.

Он смотрел с выражением сосредоточенным и независимым, как будто даже не вагонов он ждал, как будто не было ему дела ни до воспитанников, ни до громадной очереди, извивавшейся по широкому тротуару, ни до пешеходов на проспекте. Не быстро, как бы снисходительно, даже горделиво он повернул голову и вдруг узнал Вассу и побледнел.

Этого она от него не ожидала, она даже растерялась немного и несколько мгновений ничего не могла сказать. Она чувствовала на себе его взгляд, невольно и сразу ей открывшийся, как это и раньше бывало. Взгляд отразил его волнение, может быть внезапную радость, оттенок надежды, а впрочем, было скорее что-то мужественно-печальное в этом его взгляде. Но Васса не могла уловить, что это было: она уклонилась от его взгляда.

Юра Гаврилов — за это его можно было уважать — овладел собой, и глаза его обрели обычное выражение независимости.

— Сам зайди и посмотри, коли совесть не потерял,— отвечал он на вопрос Павлуши, хорошо ли разместились мастерские и интернат в новом здании, предоставленном училищу на Заречной стороне.

Вассе вдруг показалось, что она обидела Юру Гаврилова.

— А ты почему никогда не зайдешь к нам с Соней? Ты же ее знаешь, теперь ведь мы с тобой почти соседи,— заговорила она с добрыми интонациями в голосе.— Как только тебя увижу, сразу молодость вспоминается... Такое время тяжелое, война, а кажется, я никогда так полно не жила...

Ей уже нельзя было остановиться, потому что Павлуша внезапно оставил их с глазу на глаз.

— Мне так нравится, что ты работаешь мастером в училище и кончаешь вечерний техникум,— какой это пример для всех нас! — говорила Васса.— Я сама так мечтаю учиться! Но станка я оставить не могу, у меня, как и у тебя, мама на иждивении, а меня так забили общественными обязанностями...

Она видела его высокий открытый лоб, русую прядь волос под задранным козырьком кепки, мягкий подбородок с неуловимой волевой складкой, нос с тонко вырисованными ноздрями, которые иногда чуть раздувались и опадали. Но глаза его в пушистых темных ресницах теперь все время смотрели мимо нее — с этим независимым выражением. Как видно, ему совсем не нужно было ни ее добрых интонаций, ни похвал, ни этой притворной искренности,— он был горд, Васса знала это давно. Она почувствовала облегчение, когда показался вдали вагон трамвая, и поискала глазами Павлушу.

Он стоял среди ремесленников-выпускников и разговаривал с одним из них, рослым, красивым, серьезным парнем с синими глазами и сросшимися на переносице густыми светлыми бровями — Илларионом Евсеевым, попросту Ларей. Евсеев был зачислен в бригаду Павлуши вторым подручным и должен был перед выпускными экзаменами выполнить пробную работу и получить от Павлуши производственную характеристику. Павлуша разговаривал с ним, не выпуская его руки из своей, и Ларя, польщенный тем, что это происходит на глазах товарищей, то вспыхивал, то бледнел: все знали, что у Кузнецова легкая рука, подручные у него не застаиваются, а быстро идут в гору: Чепчиков, Шаповалов, теперь будет Евсеев.

Сопровождаемая Павлушей, Васса шла вдоль очереди с высоко поднятой головой, как всегда, когда на нее смотрели люди, но сердце ее полно было жалости. Да, Лермонтов, Лермонтов... Его прозвали так не только за стихи, а больше за характер. Его мать, работавшая на торфоразработках где-то во Владимирской области, была оставлена отцом, когда сыну не исполнилось и года. Васса помнила, как он появился в «Шестом западном». Он сразу показал себя хорошим товарищем, но так никогда и никому не открыл своего сердца. Его трудно

было вывести из себя, но все знали, что лучше его не задевать. Он любил играть в карты на деньги и всех обыгрывал, а потом швырял деньги на стол и говорил:

— Разбирайте каждый свои!..

Он научил ребят завязывать на человеческом волоске узелки и развязывать их без помощи пальцев.

А потом это все схлынуло с него, никто даже не заметил, когда и почему совершилась в нем эта перемена; одна Васса догадывалась. Он вступил в комсомол почти вслед за ней.

Васса понимала, как ему не повезло, что она так и не смогла полюбить его. Иногда она так жалела его за эту неразделенную любовь к ней, что, казалось, готова была даже поступиться собой...

Она не выдержала и оглянулась. Конечно, Юра не смотрел ей вслед. Сдвоенные трамвайные вагоны подошли к остановке. Васса видела, как ремесленники ринулись на переднюю площадку прицепного вагона и втискивались между людьми или устраивались на подножке. Юра Гаврилов — все-таки ему следовало бы быть побольше ростом, например, как Евсеев,— повис последним, держась обеими руками за поручни; трамвай тронулся...

Васса шла и смеялась и что-то кричала людям, приветствовавшим ее из очереди.

Прежняя компания приняла Вассу и Павлушу с радостными возгласами, как членов семьи, едва не отставших от поезда, будто и в самом деле те полтораста метров, что они прошли вместе по улице Короленко, связали их какими-то особенными узами.

Очередь быстро продвигалась, но ясно было, что им-то удастся попасть только в третью, а то и в четвертую трамвайную двоешку.

— Только милиции не хватает! Нет, нет, я тебя люблю,— сказала Прасковьюшка, снизу вверх глядя на остановившегося возле нее майора милиции в белоснежном кителе.— Ах, Дёма, Дёма! Как бы мне добиться, чтобы тебя поставили на наше Заречье, а этого Порфирина, Просвирина, или как его там, на твое место? — спросила она наивно и, как всегда, не без «подковырки».

— Я так и подумал, что у тебя нужда во мне,— сказал майор, с улыбкой здороваясь за руку со всеми, кто

был возле Прасковьюшки, всех называя по имени и отчеству или просто по имени.— Что у тебя приключилось? — спросил он, бережно взяв Прасковьюшку за плечи большими сильными руками.

У него были руки каменщика, тяжелые, узловатые в суставах пальцев, и в то же время пропорционально сложенные красивые руки, сила которых была скульптурно отражена в сплетении сухожилий на внешней стороне кисти.

Сам он тоже был сильного, пропорционального сложения, богатырь с развитыми плечами и выпуклой грудью. Ничего лишнего не было в его теле, как и в загорелом лице его с резко выраженным рисунком лба, рта, носа, подбородка, с запавшими щеками, прорезанными двумя продольными морщинами. Глаза его выглядели бы совсем молодо, если бы их не окружала усталость, от которой нельзя освободиться хорошим сном после прогулки, усталость, накопленная годами бессонных ночей, душевного напряжения, усилий воли.

Даже трудно было сказать, сколько ему лет, но он принадлежал к тому же поколению, что и Прасковьюшка, чуть-чуть помоложе. Как и она и муж ее, он прибыл в Большегорск, когда здесь была голая степь, палатки, груды и штабели строительного материала, и в том месте, где кончалась только что проведенная сюда ветка железной дороги, стоял снятый с колес товарный вагон, над отодвижной дверью которого висела вывесочка: «Большестрой».

Как и муж Прасковьюшки, Дементий Соколов прибыл сюда вместе с бригадой каменщика Хаммата Шамсутдинова, впоследствии прославившегося на всю страну и являвшегося ныне такой же реликвией города, как плотник Лаврентий Борознов, отец Тины. Бригада Шамсутдинова состояла из русских и татар. Самыми младшими в бригаде были он, Дементий Соколов, и Муса Нургалиев, который тоже начинал свой путь каменщиком, а потом пошел третьим подручным на мартен.

Дементий Соколов проработал здесь три года, а всего он работал с Шамсутдиновым шесть лет. В это время проходил набор комсомольцев в школы милиции. Соколова вызвали в горком комсомола, и там представитель управления милиции области и секретарь горкома комсомола, которого Соколов хорошо знал, сказали ему, что

он, Дементий Соколов, создан для органов милиции. Соколов признался, что ему это все равно, но он хочет учиться.

В бараке на третьем участке, где было тогда общежитие молодых строителей, никто не понял Дементия. Его пугали тем, что никогда он, как работник милиции, не сможет столько зарабатывать, сколько заработает, если станет бригадиром каменщиков. Были и такие, что смеялись над ним: изображали, как он гонится за карманником и свистит, или уговаривает пьяного у киоска.

— Нет, по его росту его поставят регулировщиком,— говорили другие.— Просись по крайности, чтобы тебя поставили на Красной площади в Москве!

Они даже изображали все это в лицах, и он застенчиво улыбался, глядя на свое будущее.

Потом он исчез на десять лет. И появился в родном городе на третий год войны в звании капитана милиции. Его назначили начальником второго городского отделения.

В ведение Соколова входила «Гора» — рудник, питавший завод рудой,— с ютившимися у подножия горы землянками, так называемой «Колупаевкой», и входило «Поселение», где жили когда-то раскулаченные. Они давно уже получили все права граждан, имели индивидуальные домики, сады и работали на комбинате. Поселок их назывался Ключевским, по названию горы, на склоне которой он был расположен, а гора, по преданию, получила свое название по фамилии штейгера Ключевского, который жил тут в дореволюционное время, когда руду с Большой горы добывали только ту, что выходила на поверхность, и возили на телегах на уральские заводы. Но поселок редко называли Ключевским, а по-старому — «Поселением». Даже жители его, возвращаясь с работы, говорили по привычке: «Иду домой, на Поселение».

Ведению Соколова подлежал район рудообогатительных и агломерационных фабрик, к которым тянулись над городом на несколько километров черные трубы газопровода и водопровода и сложная линия электросети и от которых проложены были далеко за город подземные трубы отработанного шлама.

Ведению Соколова подлежал весь район старых бараков. Это были так называемые «участки», с которых ко-

гда-то и начался город и где до сих пор стоял тот барак, в котором жил юный Дементий. Они по-прежнему назывались: «Первый участок», «Третий участок», «Пятый участок», хотя не имели теперь никаких границ, каждый барак имел свой уличный номер.

Ведению Соколова подлежал также когда-то наиболее привилегированный район деревянных коттеджей, так называемые «Сосны», где в первые годы строительства жили иностранные специалисты, а теперь — инженеры и техники комбината и наиболее старые и заслуженные стахановцы. И, наконец, ведению Соколова подлежала та часть «соцгорода», с его благоустроенными домами, которая лежала левее улицы Ленина, главной магистрали старого города.

В районе деятельности второго отделения милиции, возглавлявшегося Соколовым, находились Горно-металлургический институт, клубы — горняков, строителей, трудовых резервов, поликлиника, отделение связи, главный универсальный магазин, ювелирный магазин, магазин «ТЭЖЭ», несколько гастрономов, ресторан «Каратемир», Парк культуры и отдыха метизного завода, кинотеатр «Челюскин», мясокомбинат, завод фруктовых вод, два винных погреба, два самых крупных гаража — комбината и строительного треста — и, как везде, множество ларьков и киосков.

Через этот район проходили также пути электровозов на «Гору» и к фабрике.

Это был район контрастов.

В этом районе больше всего было тех проявлений старой жизни, с которыми главным образом и имеет дело милиция,— от самых, казалось бы, невинных до самых страшных.

Дементий Федорович, теперь уже майор, был такой же достопримечательностью Большегорска, как Шамсутдинов, как Гамалей, как Павлуша и его товарищи Муса и Коля, как доменный мастер Крутилин, как Васса и Соня, как Прасковьюшка, которую Дементий Федорович называл просто Парашей: он знал ее еще очень молодой и миловидной.

Каждое утро Дементий Федорович совершал прогулку из дома до места службы, ему полагалась машина, но это была единственная возможность пройтись пешком по воздуху. Все остальное время,— большей

частью это были две трети или три четверти суток, а в случае чрезвычайных происшествий это могли быть круглые сутки или даже несколько суток,— он находился либо в отделении, либо в управлении городской милиции, либо на участках, на месте происшествий, куда уже не было времени идти пешком, а нужно было мчаться на машине.

Дементий Федорович совершал свою прогулку во все времена года и при любой погоде. Если лил проливной дождь, майор шел в плаще с капюшоном, если буран, на майоре был полушубок с поднятым воротником, бурки, подбитые кожей, и шапка-кубанка с кокардой. Он шел ровным военным шагом через весь проспект Строителей, через дамбу и через весь Ленинский район на той стороне реки.

Он любил эту утреннюю прогулку еще и потому, что это были часы, когда люди шли на работу, и у него всегда были интересные попутчики или неожиданные встречи.

— Что же там у тебя приключилось? — спрашивал он Прасковьюшку, держа ее за плечи своими большими руками.

— Опять второй мой... Ромка...

С лица Прасковьюшки сошло так выделявшее ее среди женских лиц ее особенное выражение жизнелюбия и появилось то общее, и для простых и для образованных женщин, материнское выражение, в котором было и что-то жалобное, и надежда на помощь, и готовность мгновенно солгать, если это может пойти на пользу родному детищу,— выражение, к которому Соколов привык за восемнадцать лет службы в милиции.

— Привод или похуже? — спросил он, отпустив плечи ее.

— Видать, похуже. Была я у нашего, как его, Просвирина, что ли, говорит: «Под следствием»...

— Так, так, Параша... А скажи, у него приятелей новых не объявилось? Не ночевал у него кто-нибудь из чужих? — спросил Соколов по внезапно возникшему ходу мысли, который он не пытался скрыть от Прасковьюшки.

Она, видно, могла бы сказать больше о своем сыне, но многолетняя близость с Дементием Федоровичем помешала ей сказать неправду и в то же время ей не хо-

телось откровенничать при таком стечении народа. Она пожала плечиком и посмотрела на Дементия Федоровича уже с обычным своим выражением, в котором мелькнула веселая хитринка.

— Хорошо, Параша, я позвоню Перфильеву,— сказал Соколов, правильно назвав фамилию начальника Заречного отделения милиции, которую Прасковьюшка нарочито перевирала.— А тебя я вызову, может быть, на квартиру, тебе поближе будет.

— На прицеп, на прицеп! — закричала Соня, подхватив под руку Прасковьюшку и одарив на прощание майора таким взглядом темно-зеленых глаз, который говорил, что она, Соня, умная, опытная, недоверчивая, но майор ей нравится, хотя и не будет к ней допущен.

— Спасибо, Демушка! — успела сказать Прасковьюшка и ткнула майору руку щепочкой.

— Дементий Федорович, с нами? — обернувшись, сказал Крутилин.

— Нужно ему с нами, у них машины! — сказал Синицын, самолюбиво поджав губы: как человек приезжий, он не знал привычек Дементия Федоровича.

Хохоча и давя друг друга, они лезли в прицепной вагон с обеих площадок.

— Павлуша! Как мой Муса? — спрашивал Соколов о друге своей юности Нургалиеве: ему так не хотелось расставаться с этой веселой компанией.

— Муса — хорошо! — смеясь кричал Павлуша с подножки.

Трамвай зазвенел, тронулся и вдруг высек дугой белую искру из провода, мгновенно исчезнувшую в море солнечного света. И трамвай, переполненный людьми, выпирающими из открытых окон, подвисшими на всех четырех подножках, со скрежетом и звоном двинулся по проспекту Строителей, обгоняя майора Соколова.

VIII

Трамвайный вагон, везущий на работу рабочий люд,— это филиал все того же уличного клуба. Как ни странно, но в эти часы наиболее устойчивый контингент именно в этом филиале. На большей части пути следования трамвая публика почти не сходит, а только вхо-

дит. Как же она размещается? Она уплотняется. Каков же предел уплотнения? Предела нет — по потребности!

Люди начинают сходить только у ближайших заводских ворот, потом они сходят уже у каждых ворот, и, когда остаются позади последние ворота, вагон почти пуст. Но этим уже некому воспользоваться, вагон идет обратно.

Трамвайный вагон, подобравший Павлушу, Вассу и всю их компанию, пересек площадь имени Ленинского комсомола и, пройдя еще несколько минут по этой возвышенной части города, начал спускаться к озеру.

На площадке говорили о болезни директора комбината Сомова.

— А вот Павлуша,— сказал Гамалей,— он, наверно, нам лучше скажет.— Всем известна была слабость директора комбината к мартеновским цехам — они были детищем Сомова и лучшим его детищем.— Где сейчас Иннокентий Зосимович, как он?

— Он в Кисловодске,— сказал Павлуша.— Если разрешили выехать, наверно, лучше ему.

— Что же с ним было все-таки? — спросил незнакомый Павлуше старый рабочий с лицом того темного цвета, который день за днем и год за годом незаметно откладывается на лицах людей, десятки лет работающих на горячем производстве.

— Сердце! — сказал Крутилин.

— У нас так рассказывают: он принимал очередной рапорт из цехов и вдруг опустился без сознания,— сказал Павлуша.— Хорошо, что Арамилев, парторг, был тут, не растерялся, сразу кнопку секретарю, а сам в трубку, спокойно, чтобы паники не поднимать: «Иннокентия Зосимовича срочно Москва вызвала, обождите, рапорт будет принимать Бессонов». И тут же по городскому — врача, а сам кинулся ему галстук снимать, освободил грудь, чтобы легче дышать. Правда, он скоро пришел в себя, хотел встать, но ему не дали, перенесли на диван.

— Переработка, конечно,— сказал Гамалей.

— Что у него определили, я этого не знаю,— продолжал Павлуша.— Ивашенко, главный сталеплавильщик, раньше ведь он был у нас во втором мартеновском, так рассказывал: его хотели специальным вагоном

отвезти в областную больницу, но он отказался и остался дома. Он не верил, что с ним что-нибудь серьезное, привык быть здоровым, да ведь силища-то какая! — сказал Павлуша с восхищением.— Один раз он всех обманул, оделся, хотел поехать на завод, а шофер у него ездит с ним уже лет пятнадцать, отказался везти. Он даже накричал на него. «Уволю тебя!..» — «Увольняйте, говорит, а я не повезу...»

— Нам его потерять нельзя,— сказал старый рабочий,— его печать на всем, что мы тут сделали...

Павлуша, который начал рассказывать только потому, что был вызван на это, почувствовал, что старый рабочий сказал правду. Павлуша подумал о том, что его личный путь на производстве и в жизни мог бы и не быть таким путем, если бы Сомов среди больших своих дел не помнил о нем. И все на площадке заговорили о том же и начали приводить примеры, каждый из своей работы и жизни.

Никогда так не проверяется ценность руководителя-работника, с деятельностью которого связана работа и жизнь десятков и сотен тысяч людей, как в то время, когда перед ними встает возможность по тем или иным причинам расстаться со своим руководителем.

Та оценка работника-руководителя, которую он чаще всего получает непосредственно или через чужие уста от сравнительно узкого круга окружающих и часто подчиненных ему людей, не может являться действительной оценкой его места в жизни. Как часто передвижение такого работника с одного места на другое долгое время остается даже неизвестным ни тем десяткам и сотням тысяч людей, которых он покинул, ни тем, которых он осчастливил.

Много уже времени спустя где-нибудь в таком же неофициальном клубе вдруг возникнет разговор между двумя или тремя:

— А у нас, оказывается, новый директор!

— А ты не знал?

— Куда же того-то дели?

— А кто же его знает, перевели куда-то.

Заслужить, чтобы заговорили о тебе десятки и сотни тысяч, можно только в двух случаях: если ты настолько дурно работал и так этим напортил, что люди не в силах удержаться от выражения удовлетворения

справедливостью той власти, которая тебя наконец убрала; и если ты работал так хорошо, что твоя деятельность оставила реальный след в жизни, когда каждый участник общего труда понимает, что без тебя это могло быть и не сделано или было бы сделано хуже.

Вот такое чувство было сейчас в душах людей, обсуждавших во многих и многих неписаных клубах болезнь Сомова.

Все, что на протяжении последних полутора десятков лет было создано в Большегорске усилиями десятков и сотен тысяч людей, во всем этом была доля Иннокентия Сомова. Да, ему до всего было дело!

Люди знали об этом и переживали его болезнь, как свою. Если бы он мог это слышать!

Скрежеща тормозами и вызванивая себе дорогу, трамвай развернулся по широкой петле и выехал с проспекта Строителей на Набережную улицу к остановке. Здесь уже не было такого напора людей, стремившихся попасть на трамвай: до завода было уже недалеко. По Набережной густо шел народ по направлению к дамбе, и среди народа медленно продвигались сдвоенные трамвайные вагоны — те, что прошли раньше.

Вагоны были обращены теперь к заводу той стороной, с которой садились люди. И хотя люди, заполнявшие вагоны, ежедневно совершали этот путь и ежедневно перед ними открывался все тот же вид, разнообразившийся только от времени дня или ночи да от погоды в разные времена года, не было человека, который не сделал бы усилий, чтобы поверх или между голов других снова и снова взглянуть на развернувшуюся перед глазами панораму завода.

Для здешних мест не редкость солнечные дни, тем более солнечные утра в средине лета. Но здесь редко не бывает ветров — они вздымают пыль над городом, над заводом, над рудником, особенно там, где ведутся разработки, строятся новые цехи или жилые здания. Ветер не уносит, а рассеивает и перемешивает дым, пыль, сажу над всей огромной территорией, и в пелене, затмевающей небо, движется мерклое круглое солнце, на которое можно смотреть.

Но утро этого дня было особенным утром. Завод был весь залит солнцем. Озеро отражало и завод с его дымами, и небо над ним.

Трудно назвать другое производство, которое производило бы такое мощное впечатление, как крупное металлургическое производство. Корпуса цехов поражают воображение своей громадностью и протяженностью.

Но особенность пейзажу придают черные великанши-домны с их беспрерывно работающими подъемными механизмами, с их куполами, оснащенными коленчатыми трубами газоотводов и пылеуловителей, напоминающими сочленения колец какого-то допотопного змея, и постоянные спутники домен — кауперы-воздухонагреватели, стройные, цилиндрические, увенчанные куполами гармонической формы. Округлые стены циклопических силосных башен с углем отливают на солнце. Надземные легкие галереи кажутся висящими в воздухе. Гигантские портальные краны углеподготовки и изящные башенные краны на строительстве новой домны ажурно вырисовываются своими конструкциями в голубом небе. Серая железобетонная труба на новом блоке коксовых батарей заканчивается строительством, и две девчонки, кажущиеся отсюда букашками, возятся на самом верху ее, свободно передвигаясь по деревянному подвесному помосту-ободу без всяких перил. Снуют поезда, и слышен зов паровозов. Синяя вспышка электросварки озаряет окна. И потоки шлака из опрокинутых вагончиков-чаш стекают по откосу берега, как золотые реки.

В безветренном воздухе дымы восходят столбами над десятками труб. Одни дымы извергаются мощными клубами, другие вздымаются тихо и медленно, как легкие испарения, третьи сочатся тонкими струями, как от сигар, четвертые можно заметить только по вибрации горячего воздуха. Дымы восходят к небу, сохраняя свою окраску, даже когда они смешиваются где-то там, в небесной вышине,— это целая симфония дымов — черных, темно-бурых, желтоватых, белых, коричневых, голубоватых. И вдруг среди них над тушильной башней кокса взлетает вспышкой веселое, ослепительно-белое, сверкающее на солнце облако пара!

Трамвайные вагоны, вытянувшиеся цепочкой, свернули с Набережной на дамбу и двигались через озеро в сплошном потоке мужчин, женщин, юношей, девушек, катившемся по направлению к заводу.

Есть что-то величественное и прекрасное в этом ежедневном проявлении воли, сознательности, организо-

ванности многих тысяч людей. К восьми, к четырем, к двенадцати, ранним утром, днем, ночью возникает на улицах этот поток рабочих и работниц. Все люди разные, все со своими слабостями и сильными сторонами, у всех свои неотложные заботы, беды, свои радости — у тебя умер близкий, ты не сможешь попасть сегодня с любимой в загс, тебе необходимо обшить и обуть детей, а ты просто с похмелья,— но все идут в свою смену в великом потоке трудового братства; в восемь, в четыре, в двенадцать ты встанешь на свое место и будешь выполнять свой долг, кто бы ты ни был.

Ежедневный поток тысяч людей, спешащих к труду,— там, где труд стал или становится владыкой мира,— это не только выражение дисциплины и организованности, это символ новой государственности. Каждый человек, попадая в этот поток, несет в себе ее частицу. Он совершает этот путь ежедневно и ежедневно чувствует себя частью государства. Правда, в эти минуты он редко думает об этом и еще реже говорит об этом. Чувство это выражается в неуловимом подъеме, в непринужденном остром веселье, во взаимном доброжелательстве, которые сопровождают ежедневное движение масс на работу.

Это чувство испытывал и Павлуша, совсем уже забывший о доме.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

(Заметки к плану)

Ноябрь — декабрь 1952.

К роману

Женщина-врач:
«Смотрите, сколько вам клетчатки принесли».

Акафистов — старый стяжатель, замаскировавшийся под рабочего (и действительно работает на рудообогатительной фабрике), скупщик краденого, хозяин уголовной квартиры. К председателю завкома: «Так ты уж устрой мне, Андреич, а то я, знаешь, такой застенчивый, сам никогда не попрошу». Все выклянчит! Одновременно ему присущи черты того самого старика писателя, лица вымышленного, о котором рассказывают так много анекдотов в писательской среде.

Больной Балышев все время просит «заячью» пищу: капустку, морковку, свеколку. Когда его вынесут на улицу, на мороз — в «мертвый час», все беспокоятся,— «не замерзнете?» «Нет, я, как кочан капустки, обернут в сотни одежек».

Женщина-врач, Сомова Галина Николаевна, смеется: «Опять капустка». Она — очень русская. Лицо — мягких очертаний, правильный овал, волосы русые, такие же брови и ресницы, глаза серые, умные, живые, ресни-

цы небольшие, нос чуть вздернут, не сильно, а точно как нужно, в губах — не толстых и не тонких, а очень соразмерных лицу и глазам, и в подбородке — волевая складка, но женщина-врач часто смеется, показывая очень ровные (аккуратные), сплошные, не крупные и не мелкие, а совсем такие, как надо, матово-белые зубы, и только между двумя верхними передними, более широкими, тоненькая щелочка, что придает улыбке и всему лицу необыкновенную милость. Лицо у нее моложаво для тридцатичетырехлетней женщины, а телом она женственно-статна, лицо очень здоровое, нет ни лишних морщинок, ни подглазиц, лицо спокойное, ясное по выражению, какое бывает у семейных женщин чистой, трудовой, организованной ими самими жизни, румянец мгновенно вспыхивает на щеках от природной застенчивости, с годами преодоленной в силу характера профессии. Кисти рук, ноги, может быть, чуть-чуть большеваты, а в общем тоже такие, как надо. Если взять все порознь, то трудно, кажется, и отметить что-нибудь приметное, особенное, а в сочетании все особенно, все приметно, все полно обаяния: и эта улыбка, и мгновенно вспыхивающий румянец, соединенный с этой живостью ясных, прямо смотрящих на тебя глаз, и неповторимые жесты полных рук, не широкие, а где-то на уровне груди, легкие и тоже живые, точно обнимающие ладонями и преподносящие вам в этих ладонях что-то круглое, что вылетело только что из раскрывшихся в улыбке природно-алых уст. И только указательный палец правой руки иногда отделится не то поясняюще, не то укоризненно, не то просто для того, чтобы показать, какой это милый палец. Но как они были точны в работе, ее пальцы, руки, как сразу выступали эти складки воли в ее сжатых губах и подбородке, когда она работала. И как она могла быть требовательна и строга! (Ввести эпизод с пресловутым посещением инструктора и деловым письмом вопреки ее приказу и вопреки воле больного. Больной желчно: «Если это еще раз повторится, я выпишусь». Она: «Если это еще раз повторится, я выпишусь вместе с вами».— «То есть?» — «То есть подам на увольнение...»)

И все-таки больной заметил, что и при входе к нему и при выходе она мгновенно кидала взгляд на лицо свое в зеркало, висевшее над умывальником у входа.

Однако и это было так же естественно и мило, как все, что она делала.

Молодая женщина (Голубева Агриппина) с двумя детьми-близнецами. Работала на экскаваторе по уборке строительного мусора на строительстве комбината. Потом начальник горнорудного управления выпросил ее (а еще лучше, это было сделано по настоянию женщины — секретаря правобережного райкома Паниной) на гору, на большой экскаватор «УМЗ», работающий на руде. Путь ее к мужу в ссылку и разочарование в муже. В бараке она живет там же, где живет доменщик Каратаев, отец артистки. У нее живет в комнате, приюченная ею, девушка татарка, работающая на строительстве железобетонных труб новостроящихся коксовых батарей комбината. А может быть, с ней живет более старшая, чем она, одинокая, лишившаяся мужа подруга,— одна из описанных мною во время поездки в Днепропетровск — беленькая.

В поезде на похороны Сомова в специальном вагоне едут зам. министра (или министр) Багдасаров и начальник строительства главка, в прошлом крупный инженер-строитель. Они говорят о Сомове. Споры о материальном факторе в вопросе о том, кто идет в проектные организации, в НИИ и в заводские лаборатории. Споры о роли профессоров и преподавателей в том, какие молодые инженеры выходят из вузов. (В связи с трудностью найти человека с широким горизонтом на место Сомова.)

В вагоне третьего класса, в одном купе того же поезда, не зная о смерти Сомова, едут на его комбинат два только что получивших диплом инженера-металлурга, один — только что получивший диплом архитектора (Лесота) и молоденькая артистка одного из крупных театров Москвы — Вера Каратаева. Она едет в Сталиногорск к отцу. Вначале студенты не знают, что она артистка. Их то яростные, то очень веселые споры обо всем. Она молчит. Они вначале не знают, что она артистка. Она нравится архитектору, но он не знает, кто она и как к ней подойти. Металлурги знают друг друга по институту, архитектор познакомился с ними, когда

они брали билеты на городской станции. Артисточка никому из них не знакома.

Здесь же вкатить длинное, веселое, лирическое, обличающее и очень бытовое обращение к себе и ко всем братьям-писателям о преимуществах езды в вагоне третьего класса перед спальным, а тем более специальным вагоном. А может быть, это произнести устами или в мыслях Балышева (в связи с тем, что он увидал прогуливающихся по перрону этих трех молодых людей и артисточку, вылезших из вагона третьего класса), сделать это устами Балышева, начальника строительства главка («Да здравствует третий класс, да здравствует юность, черт возьми!»).

Вдруг тоненькая артисточка, купившая на одной из крупных станций газету, говорит своим неожиданно сильным, низким, необыкновенного обаяния голосом:

— Боже мой, Сомов умер!

Разговор секретарей обкома — «старого» и «нового». Одного только что сняли, а другого только что назначили (на заседании в ЦК). Оба остановились в гостинице «Москва», обедают в ресторане вместе. «Новый», при всем его внутреннем такте и понимании положения «старого», не выдерживает, когда «старый» только и говорит о том, как другие работники обкома, «его» кадры, «завалили» его на заседании в ЦК, чуть ли не «предали» и т. п.

«Новый»: нельзя воспитать кадры на поощрении того, чтобы они поддакивали и угождали тебе, надо и подбирать людей прямых, смелых, способных на критику, пусть ошибающихся по неопытности, но вообще людей способных мыслить самостоятельно. И надо поощрять в людях эти черты, а ошибки умело исправлять и учить их на ошибках. Не надо бояться окружать себя людьми, которые смотрят на иные вещи не твоими глазами. Правда доходит до них в конце концов, а в ряде случаев они тебя поправят. Одно дело люди чуждой идеологии, другое дело — свои, не поддакивающие люди. Вот если их третировать, не замечать, а не то и глушить и «задвигать», их можно оттолкнуть и к чужим. А что касается поддакивающих, угодничающих, то они только кажутся ортодоксальными, а на самом деле в них выра-

батывается трусость мысли, они приучаются говорить неправду, а с другой стороны, поскольку это часто все же люди тоже свои и честные, только мелковатые, в них накапливается недовольство этим своим положением. И они не такие уж по существу «друзья» и «верные проводники» «линии» («твоей линии!»),— не удивительно, что вдруг почувствовали возможность освободиться от привычного гнета. А поскольку привыкли тебе говорить неправду, могли уже и о тебе сказать «с перегибом» тоже неправду, чтобы угодить людям еще более крупным, чем ты. От этого и в области вся работа плохо шла, что ты неправильно подбирал и воспитывал кадры,— выходит, ты сам в этом виноват и жаловаться тебе не на кого.

Министр Багдасаров посещает ремесленное училище в М., беседует с ремесленниками. Савка (на вопрос министра), как на экзамене или на показательном вечере: «Нам предоставлены все возможности выбирать себе профессию по душе. Я с детства мечтал стать сталеваром. И вот я учусь по этой профессии».

Министр. Нет, так у нас дело не пойдет... Где это ты рос, чтобы мог в детстве мечтать о профессии сталевара? Разве ты в деревне видел, как сталь варят?

Савка. Нет.

Савка — это тот парнишка, разговаривавший с знатным сталеваром Павлушей Кузнецовым, когда он вместе с ними, ремесленниками, ранним утром садился на трамвай на правобережной стороне, чтобы ехать на завод. Погожий, ясный осенний (или весенний?) денек. Величественный пейзаж огромного завода-комбината на той стороне озера.

Артисточка Вера дома у отца — доменщика Каратаева. Вечер. Пятьсот тонн пыли выбрасывает комбинат на город в сутки. Артисточка одна поет песню из «Кубанских казаков» — ту, где калина в ручей роняет цвет, а девушка не может рассказать парню о своей любви: «Милый мой, хороший, догадайся сам». Она поет одна, но в душе ее гремит оркестр и хор.

Так ее застает архитектор. Но нет, это не он герой этой песни!..

«Образование! Почему оно так называется: «о-бра-зо-ва-ние»... Вот ты, например, еще камень дикий, образа твоего еще нет, его надо «о-бра-зо-вать»; понял? А через что образовать? Через образование, чтобы в камне диком образ твой означился. Вот откуда это слово: «образование». Понял теперь?» — Слова мастера, обращенные к Павлу Кузнецову, а может быть, к Савке Черемных.

Еще о женщине-враче — Галине Сомовой. Уточнить жесты. Она говорила и смеялась и вдруг точно преподносила, протягивала, подавала вам, охватив ладошками, большой цветной мячик. Или уточняя, или поясняя что-то, она, держа кисти рук перед собой, на уровне груди, вниз ладонями, поочередно то опускала, то поднимала соединенные пальцы то одной, то другой руки. А если на правой руке пальцы поджимались к ладони и действовал только один указательный, это означало, что она хотела что-нибудь особенное внушить или укоряла или убеждала. Это от привычки во время работы не прикасаться руками к халату и вообще к посторонним предметам.

В дополнение к рисунку губ: впрочем, можно сказать, что нижняя губка была у нее чуть полнее, чуть-чуть вывернутая и как бы говорила, что в женщине этой есть и своевольство и каприз — все при известных обстоятельствах и все не слишком, а совсем так, как надо. Если она была обижена или сердилась, или просто была слишком утомлена, она редко проявляла это, обладая профессиональной выдержкой врача. Это проявлялось только в том, что она уже не смеялась и не краснела, а сжимала губы, и тогда в верхней, более тонкой, губе было уже что-то, делавшее лицо даже неприятным (что-то неприятное).

Можно все это показать глазами больного соседа Балышева, даже так: в веселую минуту он закрывает глаза и описывает ее вслух для нее самой. Он заканчивает описание такими словами: «Як казав мужик: «баба она — баба, в ней все есть!..» Женщина-врач хохочет, беспрерывно краснея, и все говорит: «Вы меня совсем в краску вогнали... Право, вы заставили меня даже покраснеть»...

Татарин — инструктор или инспектор по строительству. Лицо не вымышленное. Катаев изменил его фамилию в романе «Время, вперед!», когда он был еще бригадиром. В своем романе я укажу, что он воспет Катаевым в романе «Время, вперед!», возьму его фамилию такою, какую дал ему Катаев, и покажу, что с ним дальше сталось.

До Магнитки он был знаменитым по укладке бетона в Москве. Здесь он набрал бригаду частью из земляков-татар, частью из русских. С ним приехал Маннуров — тогда еще мальчишка. Он сам помог потом Маннурову переквалифицироваться. Маннуров пошел подручным сталевара, потом сталеваром. Потом образовалась тройка знаменитых сталеваров, получивших сталинскую премию,— Кузнецов, Красовский (эти двое из ремесленников, молодежь) и Маннуров.

Красовский — из колхозников Смоленской области. Мальчишка-пастух, он угонял скот из Смоленщины в глубину России. Родители остались в оккупации. Отец погиб от руки немецких фашистов. Дети умерли, старики тоже. Мать, согнанная с места (все было сожжено), скиталась в немецком тылу. Он не мог ее разыскать, когда немцев прогнали. Она сама нашла его. Когда скот вернулся, тех, кто его угонял, уже никого не было, но она узнала, где сохранялся скот в нашем советском тылу, и дошла до того села (надо по реальным материалам правдоподобно определить, где мог сохраняться скот из Смоленского колхоза). Здесь она нашла ниточку, в своем продолжении, однако, оборвавшуюся. Было известно, что мальчишку взяли в «трудовые резервы» и — все. Она осела в этом колхозе, одинокая, немолодая женщина.

Потом по газетам грамотный человек узнал о знаменитом сталеваре Красовском на Магнитке и обратил ее внимание. Все совпадало. Она написала письмо. Встреча Красовского с матерью должна быть очень драматичной. Встреча — там, на Магнитке. Он приводит ее в цех.

Концовка первой части: мой Кузнецов в числе лучших сталеваров Урала (среди них и сильно преобразованный мною Амосов) в Москве. Они приехали заключать договора по соцсоревнованию с москвичами. (Продумать, как связать их с ленинградцами.) Кузнецов у родни Маннурова в Москве. Сталевары-ленинградцы. Сталевары-москвичи. Кузнецов в гостях у московского металлурга — Челнокова или его сына Николая, представителя «династии» металлургов. Заносчивость Кузнецова не внешняя (внешне — он скромен, а внутренняя), как представителя новой, самой передовой техники, слетает с него перед величием традиций и более высокой культурой питерских и московских рабочих.

Восемьсот лет Москве и двадцать Сталиногорску (он сопоставляет это про себя). Семья Челноковых — олицетворение высокой культуры столичного пролетариата. При более отсталой технике — исключительное мастерство, тщательность в работе, изобретательство. И — общие знания. Сталиногорск в культурном отношении выглядит убого.

В гостях у Николая Челнокова подручные его, как сталевара,— испанцы, из тех, что детьми были вывезены из Испании в СССР во время освободительной войны. Они уже хорошо говорят по-русски, сдружились с нашими, здесь сталевары и их подручные, русские, других печей. Все они немножко подвыпили. В испанцах заговорила родная кровь, они поют песню: «Ай, Кармела», переход через Эбро, юноши, девушки из семьи Челноковых подпевают им. Лучше, если это будет не в квартире Николая Челнокова (она невелика, он женат на..., у них двое маленьких детей), а на квартире его старика отца, металлурга, прославленного на весь Союз. Мысли Кузнецова, изложенные выше, все впечатления поездки, проходят в мозгу его, возвышенные аккомпанементом этой песни «Кармела». Тут примешиваются еще соображения, что жена у Николая тоже с полным средним образованием, как и муж, и работает, а его, Павла, Христина недоучка, как и он, Павел, и не работает, а превратилась в домашнюю хозяйку и недовольна своим положением. Так отлетают в сторону ранее обуревавшие его горделивые мысли: «Они, мол, сталь варят здесь, как суп в кастрюльке, и суповой ложкой по-

мешивают, пусть-ка попробуют в наших большегрузных четырехсоттонных!»

Смутно шевелится в его голове сознание, что надо сочетать передовую технику с большой общей культурой, с великими традициями, со школой труда.

Потом калейдоскоп жизни опять на время все это заступает[?], но это — уже в следующих частях. И только после кризиса Кузнецов все это осознает и сам превращается в образованного человека.

На более высокой основе этот кризис проходит и новый директор комбината Шубин, назначенный после смерти Сомова, но у него это, с одной стороны, преодоление известной политической незрелости, превращение в большого политического и хозяйственного руководителя из просто талантливого инженера-новатора, а с другой — тоже отказ от пренебрежительного отношения ко всему «старому», как у Кузнецова, но на высшей основе.

Ленинград и Москву дать не иллюстративно, а прочно ввязать в сюжет и фабулу, через людей. Возможно, связующим звеном послужит артистка Вера, дочь рабочего с Магнитки, если сделать ее *ленинградской* артисткой. Или отец Бессонова — ижорец.

В конце первой части, когда Кузнецов находится в Москве и в Ленинграде, «обрушить» на его сознание всю красоту и мощь старой русской архитектуры (особенное впечатление она производит на него сравнительно со Сталиногорском). В то же время он, как и все сталиногорцы,— патриот своего города. И нельзя забывать, что, кроме юношеской «заносчивости», Кузнецов полон настоящей гордости и за свой с трехсоттысячным населением город, выросший за двадцать лет, и за передовую роль в области технического прогресса, которую играет для всей страны их металлургический комбинат.

Надо, чтобы моя артисточка *родилась* в Сталиногорске. В двадцать девятом или тридцатом году. *Тогда*

ее отец Каратаев не мог попасть в Сталиногорск, если это сталевар. Он мог быть доменщиком. Но не хочется делать его по типу П. А мне не нужно двух стариков доменщиков (особенно если учесть, что отец Сомова из Усть-Катовска (к примеру) тоже доменщик, старый уралец, представляющий в романе старую отжившую уральскую металлургию еще,— на древесном угольке!). И все-таки *возможно* сделать ее отца типа П. Теперь он женат вторым браком, детей нет, все дети его от первой жены, умершей. Он — прост[?], живет с средним сыном и новой женой, как прежде в бараке. Дочь-артистка останавливается у него. Она характером и общим физическим обликом вся в мать, только глаза отцовские. Его сыновья все вышли на самостоятельную дорогу. У него могут быть два сына живых и двое погибших в Отечественной войне. Двое живых сыновей — это хорошо для фабулы. Один — молодой доменщик (или сталевар, или прокатчик). Другой, средний, тот, что живет с отцом, может быть типа Ш., работает на экскаваторе, он еще не женатый, но ему лет двадцать шесть. Все это пока предположительно *(Федор)*.

Женщина, работающая на экскаваторе, Агриппина Голубева — сменщица Федора Каратаева. Должен быть еще третий сменщик (Басов). Работают они на «горé». Любовь этой женщины к Федору. Но... есть горный механик, девушка, с которой... и т. д.

Артистка, Вера Каратаева, с тремя молодыми людьми в вагоне третьего класса. После того как она вслух говорит о смерти Сомова, все обращают внимание на нее. Юный архитектор, хотя он едет в тот же город, даже не знает, кто такой Сомов, что вполне можно понять, поскольку он — «натура художественная». Но двое юных металлургов прекрасно знают, кто такой Сомов, и очень удивлены, что смерть его произвела такое впечатление на очень интеллигентную и очень тоненькую черненькую девушку с короткой толстой косой (или с двумя тоненькими, длинными? А лучше всего сказать, поскольку у девушки черненькие глазки с таким разрезом, как у китаянки, лучше сказать, что ей и по фигуре и по этим глазам очень пошли бы две длинных тонких косы, но у нее была короткая, толстая коса,

и это придавало ей вид очень своеобразный и безусловно русский).

— Я же там родилась... Я родилась, когда закладывали первую домну...

— Так сколько же вам лет?

— Разве вы не знаете, что такие вещи нельзя спрашивать? — наивно, без всякой улыбки, остановив свои китайские глаза на юном металлурге, сказала она. И, несмотря на всю серьезность обстоятельств, вызвавших этот разговор, смерть одного из крупнейших хозяйственных руководителей и инженеров в стране, в глазах ее одновременно появилось и выражение застенчивости и мелькнула искорка тайного удовольствия. Если бы металлург не был так юн, он мог бы понять, что он по меньшей мере этой девушке не неприятен. Но он не догадался об этом.

— Значит, вам уже двадцать один,— вот никогда бы не дал... Значит, вы едете на родину? К отцу?

— К отцу,— сказала она покорно.

— А сами вы кто? — сказал другой юный металлург (это третий из молодых людей) в той несколько грубоватой манере, которая, к сожалению, стала обычной между современными молодыми людьми.

— Я — артистка,— сказала она откровенно и улыбнулась, и китайские черные глаза ее поочередно остановились на всех троих, на одно лишь мгновение, с выражением простосердечным и вопросительным.

Вполне можно представить себе, что происходит в это время с архитектором.

Отец артистки — Андрей Лукьянович Каратаев — из забайкальских казаков. Работал на Петровском заводе в Забайкалье. Потом попал на завод Брянского общества, ныне имени Петровского, в Екатеринославе, ныне Днепропетровске. Он хорошо знает Балышева — представителя министерства по строительству, как инженера, участвовавшего в реконструкции домен на заводе имени Петровского. При посещении старого друга Балышев, крупный строитель, узнает тоненькую черненькую девушку, которую видел на станции с молодыми людьми,— это дочь его старого друга Каратаева.

Другой вариант — как отец артистки Каратаев попал на южный завод имени Петровского. Он мог быть на германском фронте в казачьей забайкальской части (по одному из последних военных призывов), еще не женатый. По ранению попал в госпиталь в Екатеринослав. Женился на няне — сиделке в госпитале, екатеринославской родом (с одной из Че́человок — улиц). Начались перипетии гражданской войны, смена властей, у него последствия ранения, она его прятала. Потом он поступил на завод Брянского общества — поступил сюда, так как уже работал до войны на Петровских заводах в Забайкалье. Он — из бедняцкой казачьей семьи. Наружность взять с еще не старого Степана Шилова.

Такой вариант удобен для фабульных связей. Отец артистки знает смолоду моего инженера-строителя (теперь начальника главка или заместителя начальника). С другой стороны, он знает женщину — секретаря райкома Дашу Панину, когда она была еще девушкой-работницей, комсомолкой, строительницей (надо определить ее квалификацию, очень еще низкую, примитивную в ту пору).

Дарья Никитовна Панина — женщина-секретарь Заречного райкома («Заречная сторона»), где живут многие инженеры и руководители строительного треста и передовые строительные рабочие, по приглашению директора треста посещает строительство прокатного цеха (тонколистового) и видит Агриппину Голубеву, женщину, работающую на экскаваторе, очень впечатлившую ее своей внешностью и манерой работать в этих тяжелых условиях. Узнает ее судьбу. (Сама несчастливая в личной жизни, секретарь райкома Панина очень понимает женщин такой же судьбы и помогает им,— помогает в манере, ей свойственной, очень незаметно, всегда сдержанная, суровая, даже жесткая.) Уговорила передать ее на «гору». Уговорила сына моего доменщика Каратаева (отца артистки), скажем, Федора, помочь женщине на экскаваторе на первых порах. Отсюда близость этой женщины к Федору. Но так как Федор любит девушку — горного механика Аню Борознову, Агриппина все-таки остается несчастной в этом смысле. С двумя детьми ей трудно работать по такой тяжелой профессии. В конце концов она идет к секретарю Заре-

ченского райкома, преодолев гордость (а может быть, гордость мешает ей все-таки, а секретарь райкома сама вспоминает о ней,— вспоминает, может быть, под впечатлением своей встречи с любовью юности, с инженером-строителем Балышевым). И Панина устраивает Агриппину воспитательницей в общежитии ремесленников. Балышев и Панина встречаются у Каратаева.

Нужен хороший директор или завуч, или просто учитель, или мастер ремесленной школы металлургов, как один из героев романа. Человек лет тридцати— тридцати двух (Гаврилов Николай Прокофьевич). Вот с ним и находит женщина свою судьбу. Он, правда, слегка попивает. Если дать женщине в подруги не только татарку молоденькую, а женщину еще постарше ее, тоже лет на тридцать, по типу моей белокурой героини из Днепропетровска, но замужней, живущей с запойным мужем в том же бараке, можно целиком использовать мотив моей ненаписанной пьесы в отношении двух подруг (см. старые записные книжки 1937—40 годов). Они вдвоем, поставив пол-литра, обсуждают — выходить ли младшей из них замуж.

Продумать наиболее выгодно, с точки зрения фабульного развития, *кто по специальности* эта старшая из подруг Агриппины.

Любовь между Федором и девушкой Аней — горным механиком. Твердость Федора — он не женится, пока не окончит учебу. Это непонятно девушке, горному механику, которая готова пожертвовать собой, всей судьбой своей ради любви.

Две подружки, девушки лет по восемнадцати — девятнадцати, живущие в одной комнате: либо они вальцовщицы, либо работают на РОФ. Одна хочет быть похожей на Любку Шевцову, другая на Улю Громову. Первой (она очень живая, но некрасивая) больше нравится кинокартина «Молодая гвардия» из-за того, что там Любка тоже не очень хороша собой, а всех покоряет. А другой больше нравится роман, потому что ей не нравится Уля Громова в фильме, а нравится в романе,— по наружности своей она надеется, что не уступит Уле. Их спор по этому поводу. Обе скрывают, кому они

подражают. Все должно быть окрашено прелестной, наивной, немножко эгоистической молодостью и соперничеством, а с моей стороны нужно найти краски очень тонкого, доброго юмора.

Если женщина, работающая на экскаваторе, Агриппина Голубева, потеряла мужа не на войне, а от того, что он сослан за уголовное преступление, тем более если она с неимоверными трудностями и лишениями в свое время пробралась к нему и там, убедившись в его гнилости и преступности, порвала с ним,— это ее прошлое может висеть над ней. Развертывая в романе уголовную линию, вероятно, придется привести ее мужа с «приятелем» в город, где живет эта женщина. Они еще надеются использовать ее доброту в своих преступных замыслах.

Это дает возможность для изображения исключительно сильных переживаний у такой натуры, как эта женщина. Муж подсылает к ней «приятеля» как раз в то время, когда она стала воспитательницей в общежитии ремесленников (лучше — молодых рабочих).

А в это время развертывается у секретаря Зареченского райкома именно *из-за нее*, из-за ее прошлого конфликт с неким Навурским (продумать, кто это должен быть). Секретарь райкома по служебным и бытовым делам «прижала» Навурского по партийной линии, прижала справедливо. Это тот самый Навурский, который говорит о секретаре райкома, что она «человек черствый», «бездушный», «бюрократка». Сам Навурский человек по общественному положению своему «крупный» и «сильный». Вот он-то и узнает о прошлом женщины с «горы». И, зацепившись за это, пытается свергнуть секретаря райкома (возможно, нужна районная партконференция).

В самый острый период этого конфликта, о котором «женщина с горы», то есть Голубева, знает, и появляется муж ее. Она решается выдать мужа. Гордость не позволяет ей предупредить начальника милиции, что преступники догадаются, что она их «предала», и будут мстить ей. Она действительно получает от мужа ножевое ранение. Его арестовывают.

Мать инженера-строителя Балышева — Лидия Владимировна, учительница, ставшая учительницей в старое время по соображениям идейным. Взять некоторые черты А. Ф. Колесниковой и некоторые черты мамы (см. также статью в «Комсомольской правде»).

Внешне с Константином Балышевым произошла та же метаморфоза, что с гадким утенком, превратившимся в лебедя. Сочетание демократизма, непосредственности, сдержанности, невнимания к своей внешности с какой-то природной элегантностью. Стройный красавец. Несчастлив в любви при исключительном «успехе» среди женщин. Моцартианская натура в инженерии. Все дается легко и в то же время — все подлинное, все основано на знании, опыте, неизвестно как приобретенных, все идет к нему, кажется, без всяких с его стороны усилий. Необыкновенная естественность манер, обаяние. Несмотря на его ярко выраженную интеллигентность (в строгом смысле), граничащую с артистизмом,— любимец рабочих. Сдержанность и темперамент в работе, в жизни; азарт не показной, скрытый. В минуты трудные, опасные — необыкновенная смелость, напор энергии; «бешеный в работе»,— говорят про него те, кто с ним работает, а со стороны он может показаться даже легкомысленным, так покойно, весело шутит, так «легко» живет.

Рассказать, как и почему он стал «несчастлив» в любви. (Он холост, хотя ему уже 46—47 лет.)

О поколении пятидесятилетних — поколении Багдасарова и Дорохина. В связи с воспоминаниями об общежитии Горной академии. Общежитии времен перелома от военного коммунизма к нэпу и на переломе от нэпа к наступлению на капиталистические элементы. На плечи этого поколения легли первые пятилетки, оно же шло во главе промышленности во время Отечественной войны, в значительной мере оно возглавляет строительство и в наши дни.

Начать роман можно с очередного заводского рапорта или графика. Принимает рапорт главный инженер комбината Бессонов, поскольку директор Сомов лечит-

ся на юге, в Кисловодске. И во время рапорта заходит парторг и сообщает о смерти Сомова, только что получено известие. Главный инженер, не выдержав, тут же в диспетчерской, в трубку, где на проводах все начальники цехов и начальник горнорудного управления, сообщает им трагическую новость. Она становится достоянием комбината.

В поезде, который везет зам. министра Багдасарова и всех, кто с ним, события развертываются таким образом. Сначала дается специальный вагон. Разговор перемежающийся: кроме уже намеченного, говорят о прогрессе техники. Но главная тема: кем заменить Сомова? (Именно в связи с ней идет речь о недостатках преподавания в наших технических вузах.) Конечно, лучшей кандидатурой была бы кандидатура Бессонова, как главного инженера, давно работающего на комбинате. Но дело в том, что буквально два дня назад, когда еще Сомов был жив и ничто не предвещало его скоропостижной кончины в Кисловодске, состоялось решение о назначении Бессонова на место директора металлургического завода в областном городе. Завод этот возник в дни войны, ему предстоит еще строиться и развертываться в мощнейший завод в Союзе. Он сложился из эвакуированных «Электростали», «Красного Октября» («Мюр и Мерелиз!»), в нем смешались разные кадры, старое и новое в технике, не сложился коллектив, завод весь в стройке,— нужен был сильный директор, и вот назначили Бессонова. Отменить решение нельзя, да и неудобно сознаться, будто так слабо с кадрами по этому министерству.

Потом на стоянке представитель строительного главка Балышев выходит из вагона и видит молодежь. Отсюда его мысли о преимуществах третьего класса, идущие, как продолжение его мыслей о днях молодости и о возможности встречи с Дашей Паниной,— той, которая впоследствии оказывается секретарем Заречного райкома. И мы переходим в вагон третьего класса — к молодежи.

Конфликтный, приличный по форме, горький по существу, разговор Бессонова с министром Багдасаровым.

Бессонов привык к комбинату — здесь все в основном сложилось, дело налажено. Он понимает, что теперь он должен был бы стать его директором,— он, конечно, не стремился к этому, но так судьба сложилась, и вдруг — его бросают на новое дело, сопряженное с переменой жизни, с трудными условиями работы! Линия Бессонова в романе — это тема *освоения нового предприятия.* И это — тема патриотизма в отношении к заводу. Показать, что пока патриотизма нет, дело не идет, показать, как рождается патриотизм и как дело сразу идет вперед. Вначале он видит только одни трудности, изъяны, недостатки и все сравнивает с комбинатом. Все первые месяцы комбинат не выходит из памяти, не сходит с уст. Ему, то есть Бессонову, вправляют мозги либо на коллегии министерства, либо в ЦК (это еще продумать), либо в обкоме.

———

Ввести через артистку и архитектора тему о необходимости введения антирелигиозной темы в изучение общественных наук в школе; о необходимости знать приобретшие религиозный характер мифы и легенды о Христе, о деве Марии, обо всем, что в старом «Законе божьем» называлось Новым и Старым заветом, потому что без этих знаний будет непонятно мировое искусство многих веков. Вместе с тем это искусство с его реализмом как раз опровергает религиозное истолкование этих легенд и мифов. Привести примеры итальянского Возрождения, фламандской школы (из записных книжек старых и 1952 года).

Вообще говоря, и архитектор и артистка дают возможность развить всесторонне мысли об эстетическом воспитании народа.

Старик рабочий (это должно быть не эпизодическое лицо), увлекающийся старинной русской архитектурой, эдакий въедливый дед-строитель,— нападает на моего архитектора за то, что книги, издаваемые Академией архитектуры, изобилуют непонятными терминами. «Для кого вы их издаете?»

Вместе с тем проблемы эстетики должны быть поставлены моими молодыми героями где-нибудь на конференции или в разговоре с большими руководящими людьми. На этой почве разворачиваются и их личные отношения.

— Архитектор, вы становитесь человеком.

Еще о личной жизни инженера-строителя Балышева. Почему он холостяк. Или неудачно женат и не может вновь жениться? Его мрачная шутка: «Мир уже поделен»[1]. В молодости его преследуют неудачи, а когда, казалось бы, счастье могло стать возможным, оно возможно за счет несчастья других, ибо — «мир уже поделен», женщины, нравящиеся ему, уже замужем, причем круг, в котором он вращается, в общем один и тот же, и женщины эти — жены его товарищей или подчиненных.

Артистка Вера в разговоре цитирует Флобера («Сентиментальное воспитание») о глубоких чувствах — проходящих, как порядочные женщины со склоненными головами.

Черная металлургия. Человек *организует* огненную стихию. Жаркое пламя в печах, в которых переплавляется, переделывается шихта — сырье, каким человек его получает от природы.

«Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества,— превращение его в человека коммунистического общества.

В романе надо хорошо развить тему о положении советской женщины в семье. Две стороны вопроса: что общество уже дало женщине и где она еще фактически связана больше, чем мужчина. Разоблачить, высмеять, бичевать эгоистические навыки мужчины в семье,— особенно, когда дело касается крупных работников, ибо они-то должны были бы показывать пример! Мужья «рады», когда их жены превращаются в домашних хозяек,— мужьям удобнее! Но сколько от этого семья теряет в духовном смысле! Работающая женщина одна несет бремя домашних забот. С другой стороны, улучшение материального положения семьи сразу влечет за собой увеличение числа неработающих женщин — в сре-

[1] Лучше Соня Новикова говорит: «Мир уже поделен».

де «ответственных работников». Они ведут паразитическое существование. Кто не видал этих жен, спускающихся по лестнице со свертками и авоськами в руках (которые не смог сразу захватить шофер, поджидающий внизу с машиной!), в то время как ответственный муж важно спускается в своей каракулевой шапке и каракулевом воротнике, заложив руки в карманы,— ему «не положено»! Во дворах, в скверах вы можете встретить не только нянь, но и жен «ответственных работников», толкающих перед собой коляску с дитятей,— если они работают, служат, они все-таки выкраивают время, чтобы понянчить дитя свое, но укажите хоть один случай, чтобы «ответственный работник» заменил свою жену у коляски,— как же, «смеяться будут»! Это мелочи, чтобы не говорить о вещах более серьезных,— это пена, плывущая по поверхности реки, но... «и пена есть выражение сущности».

В семьях рабочих и рядовых служащих (за многочисленными, правда, исключениями) мужья помогают своим женам в уходе за детьми, в воспитании детей. В семьях «ответственных» — очень редко.

В специальном вагоне зам. министра в числе прочего разговаривают и о вредителях — врагах народа конца двадцатых — начала тридцатых годов. Вспоминают некоего Ш., с которым учились вместе в Горной академии.

Я должен буду развить в романе три наиболее важных, острых и значительных темы в связи с развитием промышленности: 1) коллективизация сельского хозяйства, 2) действия врагов народа и их разгром, 3) Отечественная война и перебазирование значительной части промышленности на восток. В развитии второй из этих тем материалы о Ш. мне будут нужны. (Возможно, это не связывать с вагоном, в начале романа.)

Я должен использовать все свои знания быта студенческих общежитий начала двадцатых годов. В связи с инженером-строителем Балышевым это не удастся, не хочется делать его настолько пожилым. Это можно сделать в связи с зам. министра — армянином Багдасаровым. Это лучше всего сделать при встречах его со свои-

ми ровесниками на Магнитке, учившимися вместе с ним,— металлургами (*или с геологом* Дорохиным, что для меня было бы сюжетно важнее).

Во время одного из серьезнейших разговоров Багдасарова — либо в министерстве, либо на Магнитке с руководителями и инженерами предприятия — пустить одновременно радиопередачу для детей. Она идет параллельно, тихо, не мешая разговору, что-нибудь очень «современное», то есть далекое от жизни, сюсюкающее,—имеет видимость нового по содержанию и по форме, на деле повторяет и по методам подхода к детям, и по тону что-то очень старое, дореволюционное, точно передают не для наших, а для барских детей. Некоторое время разговор и радиопередача идут одновременно. Зам. министра, невольно прислушиваясь к радиопередаче, вдруг восклицает:

— Слушай, кому они это передают? Разве тебя, или его, или меня так воспитывали? Это и в старое время не подошло бы ни тебе, ни ему, ни мне. А теперь ведь таких детей совсем нет, а если есть, то их так мало и это—уродливые дети. Черт его знает, сколько десятилетий прошло, весь мир перевернули, а этот барский штамп подхода к детям все пережил! Ну кто это может слушать? Дети колхозников, рабочих? Твои дети, его дети или мои дети? — и он с возмущением выдергивает штепсель.

Кузнецов в Москве на конференции в защиту мира (это — в последующих частях). Дать конференцию в полный разворот. Дать современность, современников наших, живых, таких, какие они есть, и с настоящими фамилиями: Образцов, Российский, Ангелина, Эренбург, патриарх Алексий, девушка-охотница из Сибири, мусульманский муфтий, Несмеянов, Василевская, Лебедева, Тихонов, Амбарцумян, Кошевая, Яблочкина и пр.

Кузнецов в семье своего сменщика, татарина Маннурова, в Москве. Это дает еще одну фабульную нить для связи периферии с центром и притом по «низовой» линии. Родня татарина строит новый цех московского ме-

таллургического завода. Отсюда возможна увязка с Челноковым и вообще с людьми этого завода.

Зам. министра или член коллегии Багдасаров. Сын рабочего, бакинского армянина (откуда-нибудь из Сураханов). С юношеских лет в партии, пережил бакинское подполье при англичанах и муссаватистах, всю эпопею 26 комиссаров. X съезд партии, Кронштадт. Московская горная академия. «Электросталь».

Индустриализация, как основа перехода к коммунизму,— *политический* смысл романа *в этом.*

Врачи в больнице тянут жребий — кому дежурить в новогоднюю ночь. Одинаково сложенные бумажки из маленького блокнотика — в докторскую беленькую шапочку, на одной из бумажек «31». Галина Николаевна: «Не волнуйтесь, я, как всегда, вытащу его». И как это часто бывает в жизни, именно она и вытаскивает себе дежурство на новогоднюю ночь. Именно в эту ночь происходит ее *объяснение* с Балышевым.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Главные)

Сомов Иннокентий Зосимович — директор комбината, инженер-сталеплавильщик.

Сомов Зосим Филиппович — его отец, старый доменщик из Усть-Катовска.

Сомова Галина Николаевна — жена Иннокентия Зосимовича, урожденная Челнокова, врач.

Шубин Сергей Петрович — начальник доменного цеха, впоследствии директор комбината.

Шубина Надежда Степановна — его жена, инженер-доменщик.

Каратаев Андрей Лукьянович — старый доменщик, из забайкальских казаков.

Каратаева Степанида Сергеевна — его вторая жена.

Каратаев Федор — его сын, машинист экскаватора, студент Горно-металлургического института, без отрыва от производства,— 26 лет ему.

Каратаев Григорий — его сын, 28 лет, оператор блюминга (или слябинга).

Каратаева Вера — его младшая дочь, артистка, аспирантка Института истории искусств.

Голубева Агриппина — машинист экскаватора, сменщица Федора Каратаева.

Декабрь 1952 — январь 1953

В старое время требовались десятилетия, а не то и смена нескольких поколений, чтобы индустриальный рабочий, пришедший из деревни, или выходец из городских ремесленников, мещанства, обрел черты индустриального пролетария, тем более — социалистическое сознание.

В наше время процесс этот происходит необыкновенно быстро, а ребята, прошедшие школу трудовых резервов, в большинстве своем обретают эти черты вначале в школе и — буквально спустя несколько лет работы на заводе. Все-таки пережитки собственнической психологии, анархического индивидуализма, недостатки общего культурного развития сказываются еще долго, сказываются не так, как в старое время, а в специфических, очень разнообразных формах, типичных именно для нашего переходного времени.

Рост этого социалистического сознания показать у Кузнецова, когда он находится на вечеринке у московского сталевара Челнокова. Он сравнивает эту сознательную семью московской династии металлургов со своей, которая довольно ловко в тридцатом году увернулась от коллективизации (отец его не был кулаком, но «вышел» в город и стал служить в торговых, пищевых, складских учреждениях, где мог «поживиться» за счет государства). То, что Павлуша Кузнецов понимает это, любуется *династией* сталеваров, хочет походить на них, показывает, какой скачок, отделивший его от семьи с ее пережитками и предрассудками, он совершил, насколько сознанием своим он приблизился именно к передовым рабочим. Вся его линия в романе есть линия

преодоления пережитков индивидуализма — мелкого тщеславия, славолюбия в смысле приверженности к внешним проявлениям и «благам» славы, уступок семье (в дурном смысле), преодоления собственнического отношения к жене, очень сложного, где большая любовь сопровождается нежеланием, чтобы жена работала, и пр.

Этот же процесс становления социалистического сознания показать на мальчишках и на девочках — учениках и ученицах ремесленного училища, и прежде всего на Савке Черемных.

Лакшин. Рост профсоюзного работника в борьбе за улучшение бытового положения рабочих, улучшение охраны труда и пр., как необходимая и важнейшая сторона его деятельности по воспитанию и организации рабочих в смысле социалистического отношения к труду, в их производственной деятельности. Мой герой — профсоюзник (Лакшин), юношей работает подручным на приеме «недопала», возле печи обжига известняка, видит ужасные условия этого труда, делает первые выводы свои. Фабульно надо связать его в ту пору дружбой (с его стороны это тайная любовь) с молоденькой женщиной (Паниной Дашей), будущим секретарем Заречного райкома, которая, приехав с молодым мужем на Магнитку, попадает на строительство известкового завода — тоже пока рядовой, низовой строительницей. Впоследствии он выступает на той самой партийной конференции, где развертывается основной конфликт секретаря райкома с одним из руководителей торговой организации в городе. На этой конференции мой профсоюзник выступает с развернутой речью: как отражаются на здоровье рабочих эти пятьсот тонн пыли, выбрасываемой комбинатом на город... присутствующий на конференции секретарь обкома (или горкома) отмечает его и хочет выдвинуть моего героя на партийную работу. Мой герой сопротивляется. «Оттого и слабости в работе профсоюзов, что стоит человеку показать себя — его берут на партработу». В романе мой герой противостоит другому профсоюзнику — типичному чиновнику, воспитанному не в школе жизни, а на профсоюзных курсах и на аппаратной работе.

Первое столкновение моей героини, секретаря райкома (Даши Паниной), когда она еще совсем юная, со своим мужем происходит перед тем, как они должны пойти зарегистрироваться. Она не хочет менять свою фамилию,— это было типично для того поколения. А он настаивает. Все-таки она не изменила фамилии.

Инженер-строитель Балышев на вечеринке у инженера-коксовика Псурцева. Все жены увлечены моим героем. Он, подпив, в азарте ввязывается с ними в шутливую драку по поводу того, что они не работают и что у них мало детей. Перепалка, резкая по существу, скрашивается его юмором и юмором, который привносят женщины. Нельзя отказать в том, что в их позиции есть сильные стороны: объективная — недостаточная забота о быте женщины, отсутствие помощи со стороны мужей, поощрение мужьями такого положения оттого, что мужьям это выгодно; субъективная — мой герой или неженат или женат на неработающей жене и бездетен, а ему уже далеко за сорок! Однако он умен, талантлив и ранит их в самое сердце. Многим из женщин кажется: «Он одинок (или несчастлив), а ведь *я* могла бы сделать его счастливым!»

Мой герой, строитель-инженер Балышев, в областной больнице. Его лечит «та самая» женщина-врач — Сомова. А может быть, это происходит и на Магнитке. Продумать фабульно, где выгоднее показать *ее*, женщину-врача. В Сталиногорске хорошо, потому что покажет рост интеллигенции в новом городе. В областном центре — можно связать ее с медицинским институтом, дать ей перспективу стать врачом, ученым и воспитателем. Но эту перспективу — другим путем — можно ей дать и в Сталиногорске. Споры о профессии врача, как гуманистической профессии, и о тяжелых сторонах этой профессии. Через эту женщину-врача, труженицу, растущую, талантливую, с большой перспективой, человека с большой буквы, через ее быт, семейный уклад *осудить* личный жизненный путь Балышева. Она — жена, вдова покойного Сомова, оставшаяся работать после смерти мужа в той же больнице?

Жена инженера-коксовика Анна Ивановна, хотя и не работает по специальности, но большая общественница, человек, не примирившийся с долей домашней хозяйки, ищущий. Одновременно дать Олимпиаду Анастасьевну, жену инженера по водному хозяйству Кроткого,— «местную львицу» от скуки, и еще одну «жену» — Ольгу Гавриловну, ханжу с претензией на передовые идеи в быту, мнящую себя передовым педагогом и воспитательницей собственных детей, по существу лживую развратницу и мещанку.

Спор на квартире инженера-коксовика все-таки сильно взбудоражил хороших женщин. Разговор жены коксовика с мужем, ночью, после этой вечеринки,— добрый разговор, такие были у них еще в студенческие времена и после рождения первого ребенка и после того как она бросила работу, то есть как они все «исправят», но, в силу некоторых свойств человеческой натуры, и на этот раз разговор так и остается разговором.

Если женщина-врач — жена покойного Сомова, тогда возможен такой вариант «развязки». Когда инженер-строитель Балышев поправился, он не то что объясняется в любви, а «делает ход». И вдруг все становится ясным. «У детей Сомова не будет второго отца»,— говорит она как бы невзначай. И это — ее ответ на его «ход». Но в *этом* смысле и с точки зрения *воспитательной* (по отношению к людям с такими привычками, как у инженера-строителя Балышева) очень хотелось бы, чтобы женщина-врач не была вдовой, а была замужем, имела много детей и была счастливой во всех отношениях.

Непрерывное производство. Точно, в определенные часы, в 8, в 4, в 12, ранним утром, днем, ночью идет очередная смена, поток рабочих людей, тысячи и тысячи. Символ дисциплины, организации, сознательности, символ государственности. Все люди разные, все со своими слабостями — но в 8, в 4, в 12 они идут выполнить свой долг,— они научились преодолевать свои слабости к тому моменту, когда надо идти в смену и выполнять свой долг. Можно понять, почему партия комму-

нистов родилась в рабочем классе. Эту мысль, как финал симфонии, дать в конце романа, а в начале романа дать картину просто зрительно,— пейзаж комбината за озером, «симфонию дымов», потоки рабочих и работниц всех возрастов от «ремесленников» до стариков,— это запевка.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Продолжение)

Басов Виктор — машинист экскаватора, сменщик Федора Каратаева и Голубевой.

Попова Аня — горный мастер.

Кузнецов Павлуша
Маннуров Афзал
Красовский Коля — сталевары-сменщики одной печи.

Чепчиков Сеня
Паспарне Эдуард («Паспортный»)
Жигалин Миша — сталевары комсомольской печи, бывшие первые подручные Кузнецова, Маннурова, Красовского.

Черемных Савва
Сидойкина Таня
Степуренко Ваня
Шаторная Лида
Оганесов Тевадрос (Федя)
Беленькая Рита
Варламов Пантелей («Тюша-Матюша») — «ремесленники» и ФЗО.

Волглый Иван Степанович — директор ремесленного училища.

Гаврилов Николай Прокофьевич — мастер ремесленного училища (или ФЗО).

Лисовский Юлий Андреевич — преподаватель ремесленного училища, математик.

Арамилева Инна Феофановна — преподавательница школы рабочей молодежи (жена парторга ЦК на комбинате).

Арамилев Степан Евстафьевич — парторг ЦК на комбинате.

Бессонов Валентин Иванович — главный инженер комбината, впоследствии директор металлургического завода в областном центре.

Гуляев Максимилиан Фотиевич — главный механик горнорудного управления.

Чирков Михаил Михайлович — директор агломерационной фабрики.

Псурцев Илья Григорьевич — инженер-коксовик.

Псурцева Анна Ивановна — жена его.

Кроткий Семен Ипполитович — инженер по водному хозяйству комбината (или ремонтник, или энергетик, или транспортник).

Кроткая Олимпиада Анастасьевна — жена его.

Иваш енко Матвей Кириллович — инженер, начальник мартеновского цеха.

Шурыгин Алексей Петрович — инженер-прокатчик.

Шурыгина Ольга Гавриловна — жена его.

Григорьев Петр Иванович — инженер-доменщик.

Панина Дарья Никитовна — жена его, секретарь Заречного райкома ВКП(б).

Балышев Константин Витальевич — инженер-строитель, впоследствии работник Министерства черной металлургии по строительству или Министерства строительства.

Балышева Лидия Владимировна — его мать, учительница в крупном промышленном городе на Украине.

Орочко Максим Федорович — директор металлургического завода в том же городе.

Навотная Евгения Ивановна — инженер, начальник бессемеровского цеха на том же заводе.

Багдасаров Григорий Аветович — член коллегии Министерства черной металлургии.

Шур Ефим Яковлевич — директор строительного треста.

Галлиулин — укладчик бетона, теперь инструктор стахановских методов труда.

Исмаилова Куляш — работница на строительстве, казашка.

Новикова Соня } вальцовщицы или работницы
Иванова Васса } РОФ.

Гамалей Александр Фаддеевич — машинист портального крана на углеподготовке.

Надо продумать фигуру старого рабочего, теперь уже на пенсии, честного, немножко путаного, участника революционного движения, но где-то *при* партии (теперь он, конечно, уже в партии), самоучки, всезнайки, умного, но чудаковатого, всю жизнь пишущего свою биографию на фоне истории завода, но так и не могущего ее закончить... Это — для сопоставления с *современным*, вполне практическим, действенным массовым изобретательством — одним из условий технического прогресса.

Савка Черемных идет по главному проспекту города, идет спокойно, уверенной походкой рабочего человека и насвистывает песенку, очень громко, мелодично,— лицо у него спокойное и серьезное.

Авторское обращение к капиталистическому Западу.

Савка работает на стройке при двадцатиградусном морозе без рукавиц, и руки у него не мерзнут. Он — свободный, здоровый ребенок, он прежде всего никого не боится, а главное — он сыт.

Авторское обращение по тому же адресу.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Продолжение)

Доронин Арсений Дмитриевич — геолог, ровесник Багдасарова, учился в Горной академии на геологоразведочном факультете, когда Багдасаров учился на металлургическом (соседи по комнате). Впоследствии — главный геолог горнорудного управления.

Голубева Агриппина — Пеша, Пена, Пеночка, как зовут ее подруги.

Партийный руководитель — это воспитатель особого типа, способный учить на опыте и двигать в нужном на-

правлении не только личности, как это обычно изображают, а большие коллективы людей, массы, организации *и* — личности.

Инженеры, окончившие по металлургическому факультету Днепропетровский горный институт, вспоминают «былые дни» (вторая половина двадцатых годов). Профессор Маковский, ректор, крупный специалист по турбогенераторам, друг Г. И. Петровского по временам подполья, хотя сам и беспартийный, очень рассеянный человек. Во время посещения Петровским института, возражая на критику Петровского методов преподавания (отрыв от производства), в волнении и рассеянности налил воду из графина не в стакан, а в фуражку Петровского.

Рассматривая чертеж студента, сложил его готовальню и отправил себе в портфель. Перчил кофе. Исключительное внимание уделял рабочему факультету, где директором был его сын, а жена сына преподавала литературу. Все члены семьи Маковского оказывали охотно индивидуальную помощь в учебе рабфаковцам и студентам из рабочих.

Няня (сиделка) в больнице — Марфа Васильевна. Женщина под шестьдесят, прекрасный работник с чудесной улыбкой, красным носиком и склеротическими полными щеками (любит выпить), полная, спокойная, точная в работе, неторопливая, всеми уважаемая и любимая за доброту и какое-то детское лукавство.

«Производство потеряла». «Не идет, а пишет». «Погода несамостоятельная».

В современных, так называемых «производственных» романах парторг ЦК на предприятии всегда «крупнее» директора, наставляет, учит последнего. Если бы дело обстояло так в жизни, зачем бы просто не назначить парторга директором предприятия. На самом деле функция парторга *специфически партийная,* — он делает *все в области партийно-политической работы,* в сочетании с которой только и может быть успешной работа директора. В то же время функции директора — хозяй-

ственного, технического и в конечном счете тоже политического руководства предприятием (не случайно именно директора, а не парторги бывают членами бюро горкома) — функции их столь сложны, что в жизни, за редчайшими исключениями, *директора предприятий всегда более крупные характеры, чем парторги.* Особенностью Арамилева Степана Евстафьевича, парторга ЦК на комбинате, было как раз то, что он отлично понимал это.

Путь Сомовой как женщины-врача. Мечты об ученой степени в области физиотерапии. Работа в Усть-Катовске рядовым врачом-терапевтом. Болезнь старика Сомова. Знакомство с будущим директором комбината Сомовым. Учеба в институте физиотерапии (дополнительная). Ординатура в клинике московской. Замужество. Трое или четверо детей. Работа, поглощающая все время, в больнице и поликлинике на Магнитке. Смерть Сомова. Работа над диссертацией. Дружба с женщиной микробиологом и бактериологом, профессором в областном мединституте. Именно эта, последняя, оказала влияние на Сомову в том смысле, что она не осталась рядовым врачом, а завоевала ученую степень,— это в конце романа.

Артист-халтурщик Вере Каратаевой: «Как вас по отчеству?», «У вас все подходит для русской артистки: Вера Андреевна Каратаева». Вера — сначала бессознательно, потом все более осознанно — борется за новый тип артиста (артистки), всей жизнью своей связанного с народом, с партией, с современностью, идейного и образованного. Такова ее линия в романе. Кончается роман ее большой женской ролью в современной пьесе.

Я должен показать в романе современный советский театр и дать несколько типов старых и молодых поколений актеров и писателей.

Разговор Веры с архитектором о необходимости знания классической мифологии, а также различных легенд христианства, чтобы полностью разбираться в мировом искусстве за тысячелетия. Это не только не испортит

молодежь «религиозным» влиянием, а наоборот — это должно быть составной частью антирелигиозного воспитания в школах и вузах при прохождении наук общественных, гуманитарных. Лучшее в мировом искусстве (из того, что создано на «религиозные темы») реализмом своим опровергает религию (обратиться к записным книжкам 52—53 гг.).

Чтобы мне не расплыться, придется, очевидно, дать Ленинград только боком — через Веру,— которая учится заочно в Ленинградском институте истории искусств, и — может быть — через экскурсию магнитогорцев. А главное внимание, когда речь пойдет о великих революционных традициях рабочего класса, уделить рабочим Москвы, «Серпу и молоту», «династии» Челноковых.

Надо дать Октябрьскую московскую демонстрацию на Красной площади. Павлуша Кузнецов в колонне «Серпа и молота». Он видит Сталина. А после этого вечеринка на квартире старика Челнокова или его сына — с испанцами и «Кармела».

Как увязать фабульно южные заводы с металлургией востока? Тематически это увязывается коренными вопросами технического прогресса в металлургии. И по этой линии — через работников ЦНИИЧЕРМЕТ и Министерства черной металлургии — действующих лиц романа: Громадина и его работников, Багдасарова, Балышева. По бытовой линии через Каратаева, через Григорьева и Панину и опять-таки через Балышева. Но *драматической* увязки, необходимой для естественного развития романа, пока не видно.

Этот драматизм можно поискать в соревновании металлургии юга и востока по внедрению и освоению какого-нибудь крупного, общегосударственного значения, технического новшества или ряда новшеств, знаменующих решительный прогресс в металлургии.

Но тогда зачин *этой* темы должен быть конкретно, физически увязан не только с востоком, но и с югом *в первых же главах*. Возможно — в вагоне зам. министра.

Разговор Багдасарова и Доронина.

Д.— Ты знаешь, металлурги чем-то похожи на моряков. Им приходится преодолевать огненную стихию.

Б.— Но в отличие от моряков они сами ее вызывают и организуют.

Д.— Во всяком случае, эта борьба порождает людей с размахом, цельные характеры, и стихия все-таки накладывает на них свой отпечаток.

Б.— В чем ты его видишь?

Д.— Ты только не смейся, но заметил ли ты, что доменщику или сталевару после смены хочется напиться так же, как моряку, когда он ступил на сушу после плавания?

Б.— Твои представления устарели. Сейчас и моряк пошел подтянутый, дисциплинированный, а ты их знаешь по Станюковичу или, в лучшем случае, по Лавреневу. Что же говорить о металлургах с их современной технической вооруженностью?..

Д.— Слушай, с тобой невозможно разговаривать. С тобой только поделишься каким-нибудь свежим наблюдением, как ты сразу охолодишь его чем-нибудь глубоко правильным, средним и общим. А что мои представления не устарели, ты можешь убедиться, заглянув вот хотя бы в эту забегаловку...

Б.— Э, знаешь, пьяных людей всегда скорей замечаешь, потому что они шумят. Это не значит, что их на свете больше, чем трезвых, которые ведут себя тихо...

Д.— Оказывается, ты тоже не лишен наблюдательности!

Б.— Еще бы! Я даже вижу, что ты, хотя и не металлург, а не прочь завернуть в эту забегаловку. А?..

Крупный ученый Громадин, типа Бардина, либо тоже едет в вагоне министра, либо он приезжает на Магнитку, *которую он когда-то строил* (реальный Бардин строил Кузнецкий комбинат), на похороны *Сомова.*

Основной конфликт в вопросах технического прогресса лучше всего развернуть на проблемах и делах Романова.

Министерство не поняло. Ученый, Громадин, тоже не понял сначала. Оппозиция в научных кругах.

Все понял ЦК партии и повернул дело.

Этот конфликт можно и должно развертывать с самого начала.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Продолжение)

М. П. Павлов — академик, металлург.

Громадин Платон Карпович—академик, возглавляет Научно-исследовательский институт черной металлургии.

Кузнецова Христина (Тина — «по-новому», Христя — «по-старому») — жена Павлуши Кузнецова, в прошлом токарь, теперь домашняя хозяйка.

Челноков Николай Феофанович — старый мастер, сталеплавильщик Московского металлургического завода.

Челноков Николай — его внук, сталевар того же завода, окончил десятилетку, учится в Институте стали без отрыва от производства.

Челнокова Юля — жена Николая.

Челноков Алексей Николаевич — отец Челнокова Николая.

Акафистов Сидор — старик, чернорабочий РОФ, скупщик краденого, хозяин уголовной квартиры.

Голубев Семен — бывший муж Агриппины, сосланный по уголовному делу.

Шишигин — вор и бандит по прозвищу «Хряк».

«Гвоздь», он же «Зуй» — вор.

Линия старого Каратаева в романе кончается его переездом в новую квартиру на Заречной стороне. Это — целое событие. Отказ от старых привычек, от «собственности».

Все, что в тетради № 1 намечено, как отношения Балышева и Сомовой, нужно написать иначе.

Иннокентий Сомов приезжает в Усть-Катовск (название города условно) к отцу. И заболевает. В больни-

це его лечащим врачом является Галя Челнокова, недавно окончившая мединститут в Москве,— это первое место ее службы. Галей — именем украинским — ее назвали в семье, потому что ее отцу, Челнокову Николаю Феофановичу,— родоначальнику целой династии московских металлургов — очень нравилось это имя.

Почти все, что рассказано мною об отношениях больного Балышева и Сомовой, происходит на деле между Иннокентием Сомовым и Галей в то время — с соответствующей поправкой на молодость Иннокентия и юность Гали.

И вот два года спустя после смерти Иннокентия Сомова (это — уже к концу моего романа) почти такая же ситуация складывается у больного Балышева и тридцатичетырехлетней Сомовой. Ее потрясает, что Константин Витальевич видит ее такой же или почти такой же, какой видел ее Иннокентий Сомов, и видит именно те же черты ее, что и Иннокентий. Это вдруг так освещает ее жизнь светом юности, в ней возникает чувство к Балышеву гораздо более нежное и сильное, чем чувство благодарности за это *возрождение*, но в то же время это еще больше привязывает ее к умершему Сомову и к его детям.

Весь, изложенный выше, сюжетный поворот к юности Гали и молодости Сомова, дает мне возможность через отца Иннокентия, старого Зосима Филипповича Сомова, показать в начальных главах романа старый уральский завод и старинный быт уральских металлургов. И одновременно получить хорошую естественную возможность развить сложные отношения Гали Челноковой (Сомовой), представительницы семьи передового московского пролетария, с семьей Зосимы Сомова — очень традиционной и косной уральской семьей, куда она вошла как сноха и невестка. Тем больше она любила Иннокентия, что он, усвоив от отца черты некоторой тяжеловесности, больше чем кто-либо другой усвоил присущую всей этой семье неброскую, положительную русскую талантливость, тот размах, который у одних русских людей проявляется нараспашку, а у других, как у большинства Сомовых, а у Иннокентия в особенности,— проявляется только по результатам деятельности.

Уж только в самую критическую минуту можно увидеть этот русский размах в человеке, во всей красоте и силе его, когда человек сворачивает горы. Почувствовав в Иннокентии эту силу, Галя полюбила его со всей глубиной своей натуры, вначале по-девически даже идеализируя его и отчасти покоряясь ему, а потом увидела и его слабости и в чем она сильнее его и полюбила еще преданнее.

Дело Романова завязать в самых первых главах. Багдасаров везет письмо его и всю приложенную переписку, чтобы разобраться в дороге, а потом на месте. Академик Громадин не едет с Багдасаровым в поезде. Громадин в это время возвращается с большой поездки по Сибири и Дальнему Востоку. В вагоне Багдасаров говорит о том, что Громадин обязательно приедет на похороны Сомова в Сталиногорск: Громадину дали телеграмму. А кроме того, Большой Казымовский металлургический комбинат имени Сталина — детище Громадина — как он может миновать его! — а Иннокентий Сомов воспитан Громадиным, как инженер и директор.

Через поездку Громадина показать ресурсы металлургии и гигантские перспективы. Однако не все приготовила природа в таком виде, чтобы взять было легко. Огромные запасы руд, но бедных. Или — богатые руды, да топливо (уголь) далеко. Или близко и руды богатые и уголь, да уголь — не коксующийся. И т. д. и т. д. в различных сочетаниях (не говоря уже об огнеупорах, о флюсах, о формовочных, о присадочных, о легирующих материалах и пр.).

Громадин — один из последних могикан старой русской металлургии, инженерного склада — академик и практик одновременно, он ученик Курако, человек из «низов», вышедший, преодолев тягчайшие препятствия, в крупные инженеры еще в старое время,— могучий человек большого полета и практической мысли. «Нужна революция в металлургии»,— вот его вывод после поездки.

В Сталиногорске они встречаются с Багдасаровым, и, в числе прочего, Багдасаров советуется с ним по «делу Романова». Оказывается, оно проходило через

ЦНИИЧЕРМЕТ. Принимают Романова. Громадин, однако, настроен полускептически: «Не доказано на практике, технологически, пусть ищут, но вряд ли правильный взяли путь — дело туманное». Так Громадин прозевал ту самую «революцию», которую несет с собой предложение Романова. Объяснить, как и почему это произошло. Багдасаров, как политик, а не только инженер, делает все же вывод: «Надо помочь». Но помочь именно в лабораторных изысканиях. На этом успокаивается.

Когда докладывает министру, тот, как еще больший политик, дает возможность Романову делать опыты на заводе (возможно, на одном из передовых, *а возможно и отсталых заводов юга*, что мне было бы важно по фабуле). Однако все действия министерства и научного института так осторожны, отношение столь скептическое, что это не устраивает Романова,— тем более что на южном заводе он — «чужак», сбоку припека, обуза, и над ним просто посмеиваются.

Особенность *этого* конфликта в том, что в общем вполне прогрессивные люди, немало сделавшие в области нового в металлургии, не в силах понять открытия, несущего «революцию» в привычном производстве. Таким образом, Романов вырастает тоже в одну из главных фигур романа, а вместе с ним — его молодежь, его «орлята». Только Центральный Комитет партии дает в широком масштабе поистине *полный ход* открытию Романова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(Продолжение)

Романов Григорий Касьянович — научный работник, инженер, профессор Сталиногорского металлургического института.

Сложность положения Романова в дни приезда Багдасарова и Громадина в Сталиногорск. Он уже переведен из института в Пензу, в Пензенский индустриальный институт, переведен именно потому, что, по мнению

руководства института, «сворачивает набекрень головы своим ученикам» (формальная причина — склочник, неудачник, «не настоящий» ученый). Багдасаров говорит: «Надо помочь». Он в свойственной ему сдержанной манере «приободрил» Романова. Но отменить решение о переводе в Пензу он не может (в глубине души и не хочет вмешиваться, ибо — не верит в «открытие») — Металлургический институт не в ведении Министерства металлургии, а в ведении Министерства высшего образования. Но если *здесь* Министерство металлургии хотя бы шефствует над институтом, то в Пензе над Индустриальным институтом шефствует уже Министерство тяжелого машиностроения, которому «открытие» Романова вообще уже «ни к чему». Таким образом, фраза Багдасарова: «Надо помочь» — есть для Романова ничто.

Так, Романов едет в Пензу, а дело его «вертится» в министерстве и в научном институте, пока министр не дает «ход» открытию на южном заводе.

Романов не может бросить работу в Пензе, его выручают «орлята», они все делают по его указаниям. Но пока дело зависит от Министерства черной металлургии, очень большие трудности и с «орлятами», поскольку все они уже не в аспирантуре Романова, одни кончили и работают, другие прервали аспирантуру, ибо не могут перейти к другому профессору и не могут переехать в Пензу.

Трудность применения открытия на чужом, а не на «своем», не специальном заводе в том, что там свой налаженный конвейер выпуска продукции, там *план* с обязательством его перевыполнения, там *масштабы* и напряжение, а всякое новшество типа романовского, если его ставить *хотя бы минимально-производственно*, требует в какой-то части затраты времени, отвлечения лучших инженерских сил, реконструкции, хотя бы частичной, дополнительного напряжения. А открытие-то — туманное, кто его знает!

«Орлята» находят на заводе только одну сочувствующую душу — Евгению Ивановну Навотную. Как женщина, преодолевшая неимоверные трудности, чтобы в металлургическом производстве завоевать себе положение и стать начальником бессемеровского цеха, она их, «орлят», *жалеет*.

«Орлята» знакомятся на этом заводе с прожектерами и лжеизобретателями: «изобретает» пустяк, а шумит на весь Союз, оперирует [?] «заслугами», припугивает партийными органами (которые, бывает, только чтобы не прозевать «новое», поддерживают этих прожектеров). И «орлятам» становится ясным, почему к ним такое недоверие среди людей серьезных.

Можно сделать, что «орлята» — на заводе имени Буранова (вымышл.), а на «Запорожстали» — группа научного института, работающая по кислороду. «Орлята» мечтают перейти на «Запорожсталь» — передовое предприятие. Но «научная» группа, с которой они встречаются, отпугивает их. Здесь дать все двусторонне: критику и «научной» группы и критику руководства завода. Потом министерство *исправляет* это.

В романе сильно подать старую русскую школу металлургов.

Роль Павлова для поколения металлургов, к которому принадлежит Багдасаров.

Курако и Громадин.

Чернов — Байков — и нужен современный металло вед из поколения помоложе.

В связи со старыми уральскими делами, а также в связи с современными делами металловедения — *обязательно об Аносове.*

Когда обсуждается вопрос о назначении нового директора комбината, взамен умершего Сомова, и выдвигается кандидатура Шубина, последний долго не соглашается, потому что он не сталеплавильщик, а доменщик, он хорошо знает всю самую «черную» сторону черной металлургии — работу рудообогатительных и агломерационных фабрик, углеподготовку и производство кокса, усреднение доменной шихты и весь процесс производства доменного чугуна, то есть все, что касается процессов *до* производства собственно стали и продуктов проката стали. Ему напоминают, что Громадин, тоже доменщик, строил Большой комбинат.

Между прочим, Громадин в числе многих причин не понял, вернее недооценил открытие Романова тоже и потому, что он, доменщик, не мог сразу принять откры-

тия, ликвидирующего самый доменный процесс, усовершенствованию которого Громадин отдал всю свою жизнь.

Продумать вопрос, не едет ли в вагоне среди молодых инженеров вместе с Верой Каратаевой кто-нибудь из «орлят» Романова? И не лучше ли весь будущий роман Веры развернуть в направлении этого «орленка», а не одного из начинающих инженеров-металлургов? (Неразделенная любовь архитектора — это само собой. Но... все еще может повернуться в его пользу.)

Сомов Зосим Филиппович — уникальное порождение Урала,— он точно выскочил из сказов Бажова. Старый быт Урала, домны на древесном угольке, дремучие леса над синими озерами, камни-самоцветы, искрометный талант древних умельцев и устоявшийся полусобственнический уклад полурабочего, полукрестьянина, когда на время покосов останавливалось все металлургическое производство, талант и дикость, русский размах и нелюдимость, наивная светлая мудрость и власть темных инстинктов — все это отразилось в духовном и физическом типе его, в мощных узловатых руках, в курчавой бороде, в глазах, спрятанных под нависшими бровями, глазах, которые казались угрюмыми и даже страшными, а когда присмотришься к старику в спокойном состоянии, видишь в них наивную, светлую, детскую мудрость, как у врубелевского Пана. Крупная голова его обросла густым курчавым темным волосом, под старость он облысел, волосы его стали белыми и курчавым венцом обкладывали мощный череп со столь развитыми и хорошо обозначенными костями, что старика можно было бы демонстрировать в школе. Когда он стоял, казалось, что он навечно прирос к этому месту. Вылез здесь из земли, сотни лет назад, застарел, уже весь в узлах, а ноги все еще наполовину в земле, и так и будет он стоять здесь вечно,— даже удивительно было, когда туловище его начинало передвигаться!

Где-то в середине или в конце романа разговор молодых инженеров об открытии Романова. Они говорят о том, что это — тайна. «Как бы американцы не украли».

— Куда им! Если они и узнают секрет и украдут, они же не смогут перестроить производство на новых основах. Они, брат, не случайно первые открыли атомную бомбу, поскольку дело касается защиты и расширения их прибылей,— с ее помощью они думают мир подчинить... для своих максимальных прибылей. А революции в технике для блага людей они не в силах произвести, они — могила технического прогресса. Ведь такая революция потребовала бы отказаться от прибылей в интересах расширенного воспроизводства на новой технической базе, на это господа империалисты не способны. Нет, они уже ничего не способны дать для жизни, весь их технический «прогресс» направлен к тому, чтобы убивать...

Вернее всего, что это разговор в среде «орлят».

Еще раз продумать в отношении Балышева его семейное положение. Все-таки лучше, может быть, сделать его человеком женатым, но бездетным; он живет с претенциозной и неработающей женой. Правда, при такой ситуации пропадает вся юмористическая сторона его спора с женщинами на квартире у инженера-коксовика. Но вырастает до подлинного трагизма вся линия его отношений с Дашей Паниной, и образ самого Балышева освобождается от специфических черт «красавца холостяка».

Этот вариант в отношении Балышева дает мне возможность развить линию отца жены Балышева — рабочего-изобретателя, неудачника, оригинала, участника революционной борьбы, участника знаменитой стачки южных заводов, в молодости — друга Буранова (большевистского вожака рабочих металлургических заводов юга). Теперь — на пенсии, пишет мемуары, которые, очевидно, никогда не закончит, а в годы, когда Балышев женится на дочери его Юлии, он — рабочий ремонтник, токарь или автогенный сварщик на заводе имени Буранова.

Юлия Николаевна — «художественная натура». Претензии,— мятущаяся душа! — и ничего не свершено. Мечтая стать художником, измучила своего Костю смолоду тем, что, увлеченная «идеей», не захотела иметь детей. А потом уже не смогла их иметь. Попытка создать «салон». Бунт Константина Витальевича. Незаметно она стала обыкновенной потребительницей жизни, сохранив, однако, претензии и «порывы». Но даже на измену своему Косте у нее не хватило характера! Домашнего ухода, уюта она ему тоже не создала,— вот почему у Балышева ощущение бездомности. Талантливый, бешеный в работе, которая дается ему легко, сама идет в руки, он вечно в командировках, дом его — такой же очередной полустанок, как гостиница в городе, где осуществляется очередное строительство.

Мать Балышева воспитана на Чернышевском: свидетельство той *глубокой* идейной вспашки, которая так характерна именно для шестидесятников-революционеров. Детство и отрочество ее падает на восьмидесятые годы, которые принято считать «годами безвременья». На самом деле учение Чернышевского в это время шло в глубокие «низы» демократической интеллигенции, оно, в сущности, только начинало доходить до передовой молодежи из этих «низов» — в самые отдаленные углы, в самую глухую, необъятную российскую провинцию. Для поколения Балышевой учение революционеров-демократов *буквально сомкнулось* с марксизмом девяностых годов.

Спор Балышева с Дашей Паниной вокруг так называемой «несчастной любви», вокруг «несчастья» вообще, вокруг Гамсуна, и проч. и проч. Даша атакует Константина Витальевича Горьким. Здесь, между прочим, не называя, можно дать бой всей той части современной литературы, которая забывает, *какое* поколение растет, и пытается вопросы любви решать по старинке с достоевщинкой. Образ Даши здесь вырастает буквально в образ *новой* женщины. В сущности, после Чернышевского никто у нас не поднял на щит женщину нового типа, *нашу* женщину.

Вместе с тем надо с силой показать муки неразделенной любви через Голубеву. И дать резкую отповедь — через прямое публицистическое обращение «диккенсовского» стиля — тем «критикам», которые, обсуждая современные романы, где дается любовь и семейная жизнь, фальшиво вопят: «Почему столько неудачных личных судеб, столько несчастных любвей, столько несложившихся счастливо семейных жизней!» Надо показать, что это отражает объективные противоречия и трудности роста и формирования коммунистического человека, но что сегодня уже во многом это зависит от самих людей, от их воспитания, а воспитать людей в таком душевном смысле нельзя, если литература не покажет, откуда все это и где те внешние и внутренние «враги» современного человека, которые так часто мешают его полному личному счастью.

Спор между молодыми инженерами-мужчинами по поводу их товарища, молодого инженера-женщины. Она курит. Одни осуждают ее за это, говорят «неженственно». «Вообрази, она тебя целует, а от нее табаком разит!» — «А почему ты думаешь, что ей приятно тебя целовать, если от тебя табаком разит?» — «Я мужчина!» — «А почему все-таки тебе можно, а ей нельзя?» Спор запутывается. В конце концов куренье вредно и нельзя сказать, чтобы оно украшало и мужскую половину рода человеческого. Но поставить вопрос так, что никто не должен курить, а тем более пить — ханжество. Можно ли, однако, искать «равенства» между мужчиной и женщиной в том, чтобы женщины так же безобразно пили и курили, как мужчины?

Багдасаров со «свитой» осматривает РОФ. Производство пыльное и грязное, мокрое и грязное. Но отношение рабочих, инженеров — от низших до высших — к этой руде, проходящей все стадии дробления, сортировки, промывки, сухого и мокрого обогащения, агломерирования,— отношение к ней на всех стадиях ее прохождения такое же, как у хлебопеков к муке, тесту, потом хлебу. Потому что имеют дело с продуктом таким же насущно важным в жизни людей, как хлеб,—

отношение не брезгливое, заинтересованное, свободное, бережное. Когда она выходит из какого-нибудь реечного классификатора или осаживается в медленных осадочных машинах, люди ее берут в жменьку, перетирают между пальцев, щупают, взвешивают, едва не пробуют на язык. Все — даже те, кто пришел (как Багдасаров) в своем обычном во время командировок приличном костюме — ходят запачканные, вымазанные шламом, запыленные, как хлебопеки в муке или в тесте.

Строятся коксовые батареи. Строители возводят стометровую железобетонную дымовую трубу (новинка, строит «Союзтеплострой»). Она уже поднялась под самое небо, близка к концу. Балышев и Багдасаров, после того как осмотрели строящиеся коксовые батареи, остановились, смотрят, как две девчонки (одна из них — казашка, воспитанница Агриппины Голубевой) на дощатом, без всяких перил, узком помосте вокруг трубы, у самой ее вершины, под небом, сидят, закусывают, свесив ноги, болтают ногами. Девчонки веселые, в комбинезонах, измазанных цементом, лиц их хорошенько не видно, но видно, что им весело, что они оживленно обсуждают что-то свое и хохочут. Багдасаров и Балышев — старые приятели, «на ты».

Балышев. Видал?

Багдасаров. А им что на земле, что на небе! Такое поколение... Выросли в век авиации, высотных строек, не боятся высоты. Да и понятие высоты совершенно иное: по отношению к чему высота? Какие-нибудь их подружки водят самолеты или прыгают с парашютом с многокилометровой высоты, да еще, поди, летят почти до самой земли, не раскрывая парашюта, а нас с тобой заставь? Вот именно, разве что заставят!..— смеется.

Балышев. А прыгнешь, если заставят?

Багдасаров. Дойду до ЦК, а там уж если скажут,— прыгну.

Оба хохочут.

Девчонки на трубе, под самым небом, жуют белые булочки и хохочут по своему совершенно независимому поводу,— дела им нет до двух пожилых инженеров.

Губанов Александр Евдокимович, секретарь обкома, о неравномерности распространения передового опыта на комбинатах и предприятиях. Нежелание ломать привычное (даже на предприятиях, где в других сферах есть свое, передовое),— это с одной стороны, а с другой,— прожектерство, шум вокруг пустяков, мнимых изобретений и мнимого новаторства. Государство всегда пойдет навстречу, сломает все препоны бюрократизма и даже действительные объективные трудности поможет преодолеть, если руководитель предприятия подлинный хозяин, организатор, государственно мыслящий человек докажет опытом, делом, что он не прожектер и тем более не иждивенец на государственных ресурсах, а дает эффективные результаты, если ему помочь. Надо иметь напор и уметь найти максимальные резервы у себя, чтобы осуществить подлинно новое, нечто кардинальное, решающее в реконструкции и движении вперед всего предприятия.

В колхозах, получивших огромную технику, при изобилии земли, нехватка рабочих рук. Вынуждены прибегать к помощи комбината. Колебания секретаря обкома Губанова («Опять»!). Ведь сколько времени ушло от конца войны. А вынуждены опять согласиться!..

Рабочие комбината в колхозе. Две женщины заправляют колхозом. Одна — старая, бездетная, мужа убило молнией, жила в няньках, Марфа-посадница — предсельсовета. Другая,— средних лет, многодетная, мужа убили в Отечественной войне (или муж «возвысился» за время войны, женился на другой, ее оставил) — красивая, хозяйственная, а была застенчива и робка смолоду — предколхоза. Когда мужа убили (или муж бросил), Марфа-посадница приходила к ней, нянчила ее детей своими умелыми, сильными руками. Путь Марфы-посадницы от неграмотной женщины к общественной деятельности, давшей возможность полного применения таланта ее. Путь предколхоза — от робкой забитой женщины к подлинной всесоюзной славе.

Губанов и Арамилев.

Губанов о партийном просвещении. Здесь главный бич — шаблон. Однако, когда идет речь о воспитании

сотен тысяч и миллионов, нельзя обойтись без известного «порядка», «правил», «образца». Сочетание подлинного точного знания с индивидуальностью и талантом в передаче этого знания другим.

Агриппина Голубева — воспитательница. Ребята — «трудовые резервы» — люди бессемейные. Часто живут безалаберно, по-холостяцки. Она приучила ребят делать складчину для поочередного приобретения костюмов и других полезных вещей.

По поводу одного начальника мартеновского цеха: «Это Ленский нашего завода (лучше — завода такого-то...), слегка восторженная речь и кудри черные до плеч». Это как раз по адресу одного из «прожектеров», любителя славы, изобретателя пустяков.

Размышления автора (от скуки, в поезде) по поводу внутренней связи людей и событий в романе.

Поезд идет по мосту через Днепр, в поезде еду я. Рыбак выезжает с подъемкой на веслах на середину Днепра. Меня провожали школьники, писатели, представители власти, мы долго прощались, было шумно, представитель облисполкома, выпивший на вокзале, целовал меня. *А рыбаку — все это безразлично.* Писатель обязан прежде всего понимать такие вещи. Иначе произведение его будет в *дурном* смысле слова тенденциозным. В романе люди связаны, но они связаны реальными жизненными стечениями обстоятельств, а не только замыслом автора. На обязанности автора вскрыть жизненную связь людей и именно такую и ту, какая нужна ему по мысли. Это, конечно, не будет моей связью, связью человека, едущего в поезде, с рыбаком, выплывающим на середину Днепра, поскольку это чисто случайное совпадение. Но благодаря этой записи я и рыбак уже связаны, нас связала авторская мысль. И не зависящая от моей воли, объективная и случайная ситуация получила свое содержание благодаря заключенной в этой записи авторской мысли.

Мой геолог (Дорохин) в больнице, история с веткой, которая сама находит воду (см. книжку № 16). Сюжетно — это возможная «экспозиция», то есть первое появление Дорохина в романе. И одновременно это первый выход на работу жены Сомова — врача.

Линия инженерская, хозяйственная, быт — все в книжке 16. Вообще не забыть эту книжку, как необходимую в *первую очередь* в разработке плана романа.

Сомов в самолете. Он очень неразговорчив. Бука. Но он летит со своим маленьким сыном. Сын капризничает. И вот маленькая ручка сына в его большой руке. Сомов достает из портфеля книжку Маршака для маленьких детей. И, не обращая внимания на других пассажиров, читает вслух сыну все то лучшее и благородное, что всегда существует в стихах Маршака. Ребенок затих и слушает, слушает папу.

Сельская линия. Старик, участник войны 1905 года, сказал о Ляодунском полуострове: «Их лошади никогда там не паслись».

Великий энтузиазм первых лет строительства и история стройки (см. тетрадь Г.).

В е р а К а р а т а е в а. Разве есть на свете город лучше нашей Магнитки!

Две подруги-вальцовщицы, члены партии, мужей потеряли на фронте, никак не могут выйти замуж. Однажды, в хорошую минуту, сидят, выпивают четвертинку, одна, старшая, говорит:

— Скушно, знаешь, без мужика. Я бы хоть погуляла, да неудобно, скажут, партийная...

— Слыхали вы ее? Партия ей мешает, погулять мешает.

— А ей-богу, мешает.

Смеются.

(Найти в записных книжках старых (37—38 годы) записи — заготовки к пьесе,— вполне подойдут сюда.)

Старик вальцовщик (или кто-нибудь вроде) как-то им говорит:

— Ух, какие вы молодые бабки — привереды. И как же это вы замуж не выскочите у нас на Магнитке? Вы больше на доменщиков, на сталеплавильщиков поглядывайте, там одни мужики...

— Нужны они нам, грязнули! Мы — прокатчицы.

— Ишь аристократия какая!

Багдасаров воспитывает своих детей в демократическом духе,— они похожи и по манере одеваться, и по требовательности, предъявляемой к ним, соединенной с их «пролетарской» свободой, то есть ранней самостоятельностью в жизни, и по всякому отсутствию привилегий в их быту, столь часто предоставляемым ответственными людьми их детям, и по естественности и простоте отношений между родителями и детьми,— они похожи на обыкновенных детей обыкновенных родителей, и именно поэтому они очень хорошие дети.

Семейная жизнь Багдасарова. Его жена. Семейная обстановка. История женитьбы и семейной жизни Багдасарова.

П а в л у ш а К у з н е ц о в. Показать освоение новых марок стали в дни войны. Первые пробы. Это напряженно и величественно!

Ударить по «шпаргалке»!

Разоблачить «работников» и «руководителей», которые не любят «черной» работы и не любят прислушиваться к массам, к голосам жизни снизу, а только заботятся о том, чтобы быть видными «сверху», «изображают» деятельность перед стоящими выше, «угождают» «руководству».

Мой профсоюзник выдвинулся на делах, связанных с агаповскими известковыми карьерами и фабрикой — той самой, в строительстве которой участвовала Даша Панина в первые годы пребывания на Магнитке. Он разоблачил и добился суда над помощником директора по быту. Его борьба за правильную охрану труда. См. тетрадь Д2.

О положении (вернее, о бытовом устройстве) интеллигенции — главным образом учителей, медработников, актеров, библиотекарей, служащих, не связанных непосредственно с заводами и комбинатами,— в городах типа Магнитогорска. Архиважный вопрос, с точки зрения культурного развития города,— без интеллигенции не может быть современного культурного города! Может быть, это Сомова (Челнокова) выскажет напрямик секретарю обкома партии или еще кому-нибудь из «руководящих»!

Может быть, сюжетно связать мой колхоз с городом через одну из девушек колхоза, приехавшую в гости к своим подругам.

В развитие разговора — объяснения Балышева и Сомовой. Возможно, он происходит после того, как Сомова уже побывала у своей подруги в областном центре (подруга — доктор наук, профессор мединститута, бактериолог), договорилась о научной деятельности. Перед ней большая дорога. Она говорит: «У детей Сомова другого отца не будет». Он пытается высмеять ее «аскетизм». Она смеется. Нет, она не осуждает тех, кто может, она не осудила бы и себя, если бы *смогла, но она не может*. «Но вы еще молоды, неужели вы думаете, что выдержите так всю жизнь? Не зарекайтесь!» — «Я не зарекаюсь, я знаю себя». Удивительно цельный характер: при физическом здоровье, жизнелюбии, жизнерадостности — это ее заверение не плод ума, а плод чувства. Она могла любить в жизни *только* Сомова. И уже совсем не могла любить Балышева. Он убеждается, что она бессознательно забавлялась им, как может забавляться очень добрый, уравновешенный и веселый ребенок чужой замысловатой, яркой игрушкой: привлекла

внимание, повеселился, а взять ее себе даже желания не возникает, настолько органично чувство — «не мое».

Сомова делает маникюр, а рядом местная «львица» Олимпиада тоже делает маникюр у Леночки. «Львица» только что из Сочи, руки, плечи — все покрыл южный загар.

— А вы где загорели, Леночка?

— На трамвайных остановках.

Сомова заливается краской.

О стимулах повышения производительности труда при коммунизме. Отмирание индивидуалистического стимула и все большее место — стимул государственный, народный. При всеобщем достатке отпадет ревность в вопросе: «иметь и не иметь». Но стимул «славы», нового честолюбия — в смысле все бóльшего признания тебя за пользу, принесенную тобой народу,— вырастет ли он или нет? Естественно он, этот стимул, а главное — *норма поведения* в этих делах — станут (уже становятся) совершенно иными.

Две подруги-коммунистки, прокатчицы

Два характера, и два типа красавиц.

1. Очень светлая блондинка лет тридцати, белозубая, зеленоглазая, умная, опытная, даже скептик, с полными характерными губами (уголки книзу), с подпухшими (чуть-чуть!) веками, подбородок мягкий и сильный,— очень складная, неторопливая полноватая, в мягком теплом тонком белом шерстяном платке, вольно, свободно повязанном, как бы небрежно накинутом, в яркой пестрой кофточке (знает, что надеть!), в черной юбке и черных ботинках на высоких каблуках. Улыбка — необъяснимая: и поманит и не допустит. Особенность выражения ее лицу придают брови: они светлые, но четко очерченные, и внутренние крылья бровей чуть шире и поставлены выше, чем тонкие, внешние. В спокойном состоянии в ее лице есть что-то грустное или печальное, что-то ею пережито тяжелое,— и вдруг — эта улыбка необъяснимая. Но может вдруг улыбнуться так,

что пойдешь за ней,— уж очень женская и умная улыбка! Иногда она так огорчается или сердится, или обижается или презирает, что нижняя губка ее подпухает, даже тень ложится под губой. На самой бороздке над верхней губой у нее родинка, родинка на подбородке. Все формы ее тела и черты лица пропорциональные, округлые, такие же движения.

2. Крупная, броско-красивая, с широкими бедрами, крупными руками, каштановыми волосами, темно-карими глазами и черными бровями, яркими губами, очень подвижная, сильная, свободная в движениях, вольная в жестах, необыкновенно ясный чистый лоб, стройные сильные ноги. Ей 27—28 лет, одевается она просто, в цвета более темные, скромные,— все же она знает, какой платок ей носить — темно-малиновый, и когда она проходит, все оглядываются. Она во всем советуется со старшей и более опытной подругой, но в то же время обладает большей решительностью, стремительностью характера и в минуты, требующие быстрого решения, увлекает подругу своей непосредственностью. Все формы ее тела и черты лица резко обозначенные, в лице даже что-то асимметричное, но это еще больше ее красит.

Обе — отличные мастерицы и обе — необыкновенно хороши. Обе потеряли в войну мужей и обе — очень разборчивые вдовушки. Половина их разговоров друг с другом вертится вокруг будущих мужей, и порой они так солоно острят по этому поводу, что не дай бог подслушать претендентам — особенно тем, кому уже лет под сорок, а таких — увы — большинство, если говорить о людях с серьезными намерениями!

Возможно, *обе они* — сменщицы, машинистки поста управления рольгангов и шлепперов где-нибудь на передаче с ролико-правильной машины (для правки рельс) на штемпельные добавочные пресса (см. тетрадь Б., завод имени Петровского).

Во весь голос о роли гуманитарной интеллигенции в культурном подъеме и воспитании народа. *Без* нее на одной технике и на одной технической интеллигенции не выедешь. Врачи, учителя, библиотекари, научные ра-

сотники, армия работников политического просвещения, артисты, художники, писатели, музыканты, архитекторы!

Новые города типа Магнитки могли бы куда быстрее шагнуть в области культурного развития, меньше было бы общекультурной отсталости, невежества (на фоне технического *невиданного* прогресса!), если бы больше внимания, заботы было о кадрах гуманитарной интеллигенции.

Вера Каратаева — в местном театре. Посещение инкогнито вместе с приятелями-стахановцами и стахановками. (Описать в подробностях мое с В. Захаровым и его женой посещение спектакля «Свадьба Кречинского» на Магнитке.)

Как ни странно, но именно «жизнь», продолжающаяся в металле, когда он выходит из печи, и является причиной всех дальнейших пороков металла. Если бы в формах застывал уже безжизненный, мертвый металл, это было бы тем идеалом, к которому металлургия должна стремиться! (см. Байков, тетрадь $Д_1$).

Со всею яростью *продраить* в романе виновников небрежного строительства жилых домов.

Когда Бессонов выводит на одно из первых мест новый завод, он вспоминает все начальные ошибки свои и Сомова на Большом Казымовском комбинате и начинает с азов... Но он, Бессонов, делает все это после того как получил нагоняй в министерстве или в ЦК. *Продумать, нельзя ли это «новое рождение» Бессонова совместить сюжетно с «новым рождением» Шубина и со сменой руководства в области.*

Поездки Паниной с мужем в Днепропетровск. Семья мужа. Встречи со старыми товарищами. Сюжетная связь с югом — кроме Балышева.

Гигантский завод-комбинат, как непрерывно действующий, неустанный часовой механизм.

Когда Бессонов покидает Большой Казымовский, он бродит по прокату, вспоминает, как здесь охотились на куропаток, потом,— как осваивали [*1 неразобр.*] стан «302»,— так тяжело, так грустно было ему расставаться! Особенно, когда видит стариков рабочих, вальцовщиков своего поколения, с которыми вместе с таким трудом и энтузиазмом строили и осваивали все это!

Каратаев — доменщик старого закала, но сказалось, что работал у Громадина и у его кума — обер-мастера. Выдвинулся, когда не пошел с теми, кто «судил пушку «Брозиус», а заставил ее работать.

Даша Панина — секретарь райкома, по профессии строитель, женщина тридцати восьми лет. Ее муж лет сорока, Григорьев. Инженер на комбинате. Они из Днепропетровска, с «Чечеловок». Балышев тоже оттуда, мать его старая учительница церковно-приходской школы. Неудачный роман Балышева с Паниной в юности. Начало романа — в деревне, во время коллективизации. Ему приходится снимать свою любовь с райкома комсомола за перегибы (после статьи Сталина «Головокружение от успехов»). В то время она — работница-строитель с пятиклассным образованием, выдвиженка, он — инженер, окончивший вуз в Москве. Он работает по реконструкции завода имени Буранова. Ее «задвигают» обратно, и она работает там же чуть ли не чернорабочей. Ее любовь длится около двух лет, неразделенная. Выходит замуж за своего теперешнего мужа, который тогда — молодой рабочий на заводе. Но между Балышевым и ею дружба. Он преодолевает все «низкие» чувства, он любит ее, он держится, как ее старый друг. Он советует молодой паре — в неясную, трудную пору их совместной жизни и развития ехать на строительство Большого Казымовского комбината. Они работают в Сталинске, потом — сначала он, муж, а через некоторое время и она — попадают на ученье в Москву. Балышев

уже в Москве, в министерстве. Переписка Балышева с неразделенной его любовью прекратилась некоторое время спустя после их отъезда в Сталинск, потому что он, спустя год, неудачно, но страстно влюбился и женился и семейная жизнь у него трагична. Попытки Даши связаться с ним в Москве, хотя бы увидеться, так как ее брак испытывает самый большой кризис. Она видит, что вышла замуж за человека заурядного. Выше его на несколько голов, она нагоняет и обгоняет его в ученье. Очень большой удар, моральный, для Даши, что Балышев ее попыток *не замечает*. Объяснить, как это могло и внешне и психологически получиться, что они даже не видятся. Он не отвечает на ее письмо. Когда Даша с мужем возвращается в Сталинск, они работают каждый по своей специальности — она как строитель, он — как металлург. Дети, трое детей. Мечта о той несостоявшейся любви. Гордость. Нежелание «искать» новой любви, «завлекать» любовь. Лучше примириться с тем, что есть. Она — сильный, цельный и женственный характер. Все несостоявшееся прошлое оборачивается как что-то волшебное, мимо чего она прошла. Но все это затаено, гордость мешает даже напомнить о себе, так как там, в Москве, ей дважды не ответили. Душевное состояние Балышева в Москве — в тот период, когда Даша училась. Почему он не ответил первый раз и как получилось, что второй его ответ не попал к ней. Встреча его с Дашей — секретарем райкома в начале романа. В этой встрече показать ее как человека и женщину во всей красоте и силе ее чувств. Оба понимают: «Поздно!» (Кстати: когда Балышев едет в поезде, он не думает, что она с мужем могут быть еще там — с тех лет, но он знает, куда едет, и думает о том, как хорошо было бы ехать туда двадцать лет тому назад!) Перед их встречей показать разбор на райкоме дела Навурского, после которого Навурский объявляет своему другу, что Панина — «человек бездушный». И все величие души ее раскрывается во время встречи с Балышевым.

Вместе с Балышевым в купе международного вагона едет тот самый полковник, теперь генерал, который когда-то, сразу после войны, бросил свою жену

Фросю — теперь знатную женщину, предколхоза, с двумя детьми. Продумать — на какую должность в областной центр или в Сталинск едет этот генерал (а может быть, он теперь полковник, а был, скажем, капитан или майор — Герой Советского Союза) и едет ли он один или с женой — и какая у него жена?

В больнице «сестра», совсем молоденькая, молчаливая, всегда немножко грустноватая (о себе говорит сама — «скучная»), зовут ее Тамара.

— А фамилия ваша?

— Ульянова...— Немножко помолчав, говорит тем же грустным голосом без улыбки: — Нет, Петрова...— Опять помолчав: — Я всего три месяца назад вышла замуж, никак не могу привыкнуть, что я — Петрова.

Забавы Дорохина в больнице. Лежит в палате «ответственных»,— еще три крупных инженера. Он — геолог — рассказывает древнее поверье об определении подземных вод с помощью ветки в руках. Сам проделывает это в палате (тополевую ветку принесли из парка). Ветка пригибается в направлении водопровода. Дорохину завязывают глаза, вертят посреди комнаты, чтобы спутал направление, ветка неизменно указывает на водопровод. Хохот стоит ужасный. Дорохин утверждает, что народная примета верна (поворачивает же подсолнух — или анютины глазки — голову по ходу солнца), но не всякие руки могут чувствовать это движение ветки. Другим признаком, подтверждающим это народное поверье, является, по словам Дорохина, следующий: лиственные деревья, их ветви, растущие у воды, всегда имеют склонение, свисание к воде. Это — чудачество Дорохина, хорошего талантливого человека, именно хорошее чудачество!

Начало: молодой сталевар Павлуша Кузнецов едет на трамвае с Заречной стороны на работу. Висят на подножках трамвая. Ремесленники. Савка. И серьезный паренек (главный герой в *этом* возрасте). Мысли о доме. Панорама завода. Лучше всего — весна и — ут-

ренняя смена. Авторские мысли о рабочем классе. Путь сталевара — до мартена — все в бытовых подробностях. Встреча с Агриппиной Голубевой. И — совсем другая картина — поезд со специальным вагоном и молодежью в третьем классе. А может быть посредине, *между* этими главами — глава: совещание по качеству во главе с Бессоновым. Или субботний график. Тогда Павлуша Кузнецов едет на дневную смену.

Каратаев-сын и девушка горный мастер. Милая моя Голубева с ее судьбой и — Каратаев. Здесь с Каратаевым на экскаваторе очень хорошо увязывается вся гора, все судьбы, связанные с горой — и фабрика, и электровоз с его машинистом и составителем — казахом. Увязка бригады Кузнецова через Маннурова с Галлиулиным — реликвией первых лет Большого Казымовского комбината. А московские связи Галлиулина, Маннурова связывают Большой Казымовский — с московской металлургией.

«Освоение» новым директором, Шубиным, его места. Что он видит и что он не видит — сначала. Техника. Экономика. Хозяйственно-политическое руководство в широком смысле. Как он ошибается в ряде вопросов *политически*. Как упускает многие стороны как руководитель. Об этом кричат, а он не слышит. Как он вырастает, наконец, в масштабе руководства в широком смысле. Только победив, он начинает понимать предшественника своего Сомова.

Дружба между двумя корифеями — реликвиями первых лет стройки — каменщиком — бригадиром Галлиулиным и плотником Стёпиным. Оба малограмотные, оба многосемейные, у обоих образованные дети разных профессий, разных судеб.

Партийная тема. Продумать: смена секретарей обкомов в начале романа. Или вначале еще действует старый незадачливый секретарь, а потом присылают но-

вого? Секретарь обкома с Багдасаровым едут на похороны Сомова.

Секретарь обкома (старый и новый) — и тема геологическая. Секретарь обкома — и тема семейная. Обком и Большой Казымовский горком. Парторг. Во весь разворот тему партпросвещения с большой критикой.

Тема профсоюзная. Профсоюзник с «крыльями». Когда Панина строит известковую фабрику, он, этот паренек, еще ФЗО. Потом его хотят забрать на работу партийную. *Не идет*. Поднять значение и роль профсоюзов. Начать с «известки» и грязного водопроводного дела. И — одновременно — профсоюзник-чиновник.

Тема молодежная, комсомольская.

Тема самого младшего поколения рабочего класса — ремесленников, ФЗО, трудовых резервов.

Быт широко, мощно. Люди хозяева. Люди живут «бесстрашно», ощущение свободы — все свое, общее: школа, больница, поликлиника, баня, милиция, сад, клуб, каток, дом отдыха, улица, магазин продовольственный, промтоварный, ларьки, проспект Пушкина и улица Маяковского, кино, театр, трамвай, автомашины, стадион, водная станция, охота, рыбная ловля. Дать вечеринки, свадьбы, похороны, гулянье в саду, детвору на улицах, первый «ЗИМ» в городе.

Отрицательное. Недостатки элементарной культуры, пьянка, драки, хулиганство, уголовщина. Область культуры, область воспитания, просвещения отстает от области материальной.

К теме инженерской и хозяйственной

Почему даже самые передовые предприятия имеют отсталые звенья. Почему отсталые предприятия с таким трудом и усилием выходят в передовые. Личные (мест-

ные) усилия и помощь государства. Государственные возможности и желаемое. Кто может быть победителем в своем стремлении вперед. Кому государство поможет, а кому поостережется. О людях лжеинициативных, лженоваторах, «барабанщиках»,— только шумят, жалуются. Настоящих рук нет. Таким государство навстречу не пойдет. Оно пойдет навстречу, во-первых, тогда, когда увидит, что это действительно первостепенное, во-вторых, тогда, когда знает, что человек, поднявший новое, не прожектер, а может осуществить то, что поднял. Настоящий хозяйственник — инженер не только «с головой», но и «с рукой, рукастый».

Балышев реконструировал завод имени Буранова, потом строил «Запорожсталь». И он же взрывал «Запорожсталь».

Вопросы политвоспитания, просвещения. Вспомнить пленум обкома «О счастье жизни», «О земле и солнце». Не надо смеяться над такими вопросами. Смеются потому, что привыкли к трафарету. Это надо связать с общей партийной темой. Очень было бы уместно вложить в уста секретаря обкома очень ясные, спокойные, мудрые разъяснения по этим вопросам.

Вопросы религии. Две новых церкви на Большом Казымовском.

Разговор с читателем о том, что он не имеет права не знать техники.

Григорьев — инженер-прокатчик. В грубом смысле слова это тип инженера без перспектив, инженера «деляги». В нем та честность и практический ум, которые в результате, к сорока годам, сделали из него опытного, ценного инженера, умеющего приспосабливаться к требованиям времени. В должностном смысле он пошел «выше» и дальше, чем жена его Даша. Но он не может являться одной из движущих сил технического прогресса, потому что мысль его не работает на буду-

щее, она просто привыкла приспособляться к новому. Поэтому он не из тех, кто толкает прогресс, но и не из тех, кто тормозит его, он из тех, кто не мешает прогрессу. На партсобраниях он всегда молчит, из нежелания доставить себе лишние хлопоты. Он и честен и не трус, а все ж таки лучше помолчать, а не то, не дай бог, выдвинут еще по общественной линии, когда и так работы много. А ему нужно время и на выпивку в хорошей, привычной, домашней компании, и на преферанс, и на охоту. «На что нам столько общественных деятелей в семье, пусть уж жена там выдвигается»,— шутливо говорит он в такой домашней компании за столом. Жена привыкла к нему, знает, что он работник, знает, что он добр и любит детей, знает, что он честен и предан делу, но за эти черты «обывательщины» в нем она его втайне немножко презирает. Художественную литературу он читает не потому, что это для него душевная потребность, а потому, что надо же знать — для разговора с другими людьми,— кто это и за что получил очередную сталинскую премию. Но это для него почти одно и то же, что неизбежные и тоже скучные для него занятия по марксизму-ленинизму по «индивидуальному заданию». И высказывается он о явлениях художественной литературы и по вопросам внешней политики теми самыми словами, какими и все, то есть взятыми из газет и житейских разговоров. В своем же деле он может высказать и свое дельное предложение и настоять на своем, проявить твердость и руку, и если его, можно сказать, насильственно, при глубоком внутреннем его сопротивлении, втаскивают в технический прогресс, то зато он за версту чувствует барабанщика — прожектера, и уже никогда тому не сломить Григорьева. Поэтому его ценят как инженера: «Работать может» и «беды с ним не наживешь».

Куйбышев и Губанов на вечеринке молодых инженеров. «Я ненавижу капитализм,— не допущу!..» А потом он, принимая Губанова в Госплане, извинился, и что же он сказал? Он сказал: «Извините, это было нескромно».

Дзержинский и Громадин. Громадин у него на приеме. Дзержинский цитирует «Что делать?» Ленина.

О металлургии и вообще тяжелой промышленности на Востоке. Ломоносов. Менделеев. Ленин. Сталин.

О равнодушии и о «равнении только наверх». Дела прокурорские, судебные. История Я. с ее четырьмя детьми (так называемое «нарушение» Устава сельскохозяйственной артели, где, однако, нет ни грана корысти). История ребят Ф. и других. Эту историю возможно использовать, развернуть, сделав одного из ребят сыном кого-либо из *главных* героев романа. Может быть, Сомовой? А общую мысль о том, что нельзя решить вопрос по справедливости, «без психологии», вложить в самой прямой и очень народной интерпретации в уста моей старухи колхозницы, предсельсовета: либо в споре с Губановым, либо развить ее точку зрения в остроконфликтной форме в столкновении с областным прокурором. Тогда надо и его вывести. Возможно, после столкновения с ним она идет к Губанову. Показать, что ей трудно было пробиться и к Губанову. Точка зрения прокурора — общая — образец формализма и равнодушия: «У нас есть закон, мы не можем заниматься психологией». А когда Губанов вызывает его, он: «Я вам покажу сотни дел, когда трудно поверить, сам знаю людей, а преступление налицо». Губанов: «А я уверен, что это и есть на девяносто процентов дутые дела». Разговор приобретает характер «чистосердечный». Прокурор: «Вы не будете отвечать, а я буду отвечать. Знаете, за что полетел Панкратов? За либерализм, за доброту в отношении нарушителей государственных законов». Губанов: «И правильно, что он за это полетел. Но нельзя из-за боязни либерализма становиться подлецом, жить хотя бы даже с кусочком подлости в душе».

К спору инженеров о молодежи. О тех, кто гонится за рублем. О тех, кто основной экономический закон социализма рассматривает только с точки зрения личного благополучия. Вся духовная жизнь с ее этическими и эстетическими потребностями и идеалами остается за бортом у молодых людей этого типа. Есть периоды

исторического развития нашего социалистического общества, когда народная жизнь протекает бурно, когда в активное историческое действие сразу вовлекаются самые глубокие, казалось бы «неподвижные» пласты общества, когда наглядно вскрываются лучшие народные силы,— в такие периоды легче видеть, как народ рождает героев,— яркие таланты во всех областях деятельности. Вот эти периоды: Октябрь, гражданская война, первая пятилетка, Отечественная война. Это не значит, что в периоды между «бурями» духовная жизнь имеет принципиально иное содержание и нет развития,— наоборот, именно эти мирные периоды и есть периоды жатвы после посева. Но если в периоды «бури и натиска» генеральные черты времени выступают заостренно и конденсированно, то в периоды более «спокойного» развития их уже надо уметь видеть среди всего остального. В споре инженеров о молодежи у многих из них, порожденных как раз в периоды «бури и натиска», не хватает подлинного знания и понимания тех сложных и противоречивых процессов духовного развития, которые характерны для нашей современной молодежи. Отсюда черты второстепенные, «пятна» заслоняют для многих из них главное, генеральное в духовной жизни молодежи наших дней. Инженеры поколения Багдасарова, а также поколения Бессонова, Шубина напрасно втайне вздыхают о «своем времени». Наше время, после Великой Отечественной войны, рождает таланты, несущие в себе лучшие черты времени перехода от социализма к коммунизму и притом в таком количестве, как никогда раньше. Но это надо уметь видеть, понимать, *как* это происходит в живой жизни и *что* приходится преодолевать современной молодежи.

Балышев много и разносторонне читает. Среди своих товарищей по министерству, среди инженеров он так выделяется этим, что сам этого стесняется. Ему часто не с кем поделиться. Он ловит себя на том, что иногда точно «приседает» до уровня товарищей.

Вера Каратаева кончает заочно Институт истории искусств в Ленинграде и там же — заочно — поступает в аспирантуру. Она ездит сдавать экзамены или дипломные работы. Показ Ленинграда через нее. Возмож-

но, вместе с молодым архитектором. Возможно, вместе с отцом Бессонова (тогда последнему принадлежат мысли о непонятности книжек по архитектуре). Возможно, это совпадает с поездкой Павлуши Кузнецова (экскурсия). Но лучше, чтобы мысли о книжках по архитектуре принадлежали не металлургу, а строителю. Может быть, старик вроде Стёпина-плотника? Лаврен Борознов?

Ненормальный рабочий день ответственных работников — наследие гражданской войны, периода коллективизации и индустриализации, потом Великой Отечественной войны.

Что происходит, когда день наконец изменился в 1953 году!

Большегорск и Запорожье связать по соревнованию.

Учение Чернышевского до *очень* низовой русской интеллигенции, как мать Балышева, например, продолжало доходить еще и в семидесятых и в восьмидесятых годах — отчасти потому, что цензурные рогатки задерживали возможность распространения быстрого, отчасти потому, что Россия велика: пока дойдет до глухих углов та или иная брошюра или листовка или сочинение, изданные легально! Балышева была воспитана именно на Чернышевском, чувствовала себя ученицей Чернышевского, «шестидесятницей», была натура цельная, волевая, последовательная во всем — в делах общественных и в делах личных, в отличие от окружавших ее типичных «восьмидесятниц», натур уже рефлектирующих, надломленных, хлипких.

Когда учитель ремесленного училища объясняется с Агриппиной Голубевой в любви, он объясняется с ней хотя и простыми, но настолько необычными человеческими словами, полными такого уважения к ней, которых она даже и не слыхала в наше время. Не потому, что таких слов теперь нет, и не потому, что людей

таких нет,— так объясняющихся в любви, а просто ей никогда не приходилось такие слышать.

Надо отличать резкость и прямоту суждений от грубости, проистекающей от невежества. Это надо хорошо различать. Давно пора начать серьезнейшую борьбу с грубостью в быту, с грубостью в суждениях, с грубостью в критике. В искусстве тоже иные суждения и приговоры произносит топор, а не перо или карандаш, и это приносит только вред, как и всякое невежество.

Павел Кузнецов в Москве. Вся красота старой архитектуры и мощь архитектуры новой — высотных зданий, университета. Нужно либо весь эпизод перенести в 1953 год, но это трудно по сюжету, либо в одной из последующих частей, во время очередной поездки Павла Кузнецова в Москву, дать *только* новую Москву с ее архитектурой — метро (новые станции), университет и пр. И новую строительную технику, величественную, масштабную. Но надо найти такой повод этой поездки Кузнецова, какой по самому своему внутреннему смыслу перенес бы нас *именно в наши дни*.

Еще раз проблема заработной платы мастеров-доменщиков и сталеплавильщиков по сравнению с стахановцами производства — рабочими. Невыгодно быть мастером!

Небрежное отношение к «ремесленникам», использование их на подсобных работах, на побегушках, фактическое отстранение от передовой техники — все эти явления, которые еще совсем недавно имели массовое распространение и отчасти живы и теперь, представляют из себя варварство, атавизм, возвращение к дореволюционным формам обучения подростков. Тогда, в дореволюционное время, человек, уже изрядно поживший, становился квалифицированным рабочим. Сейчас — при социалистических методах обучения — он достигает совершенства еще юнцом, обгоняя стариков. Небрежное отношение можно наблюдать и сегодня на заводах со старой «традицией».

Я — такой-то и такой-то (страшно длинное название его должности),— сказал он, стараясь соблюсти достоинство в этом длинном перечне.

Фамилия — Едвабный.

Толстый красный старый официант, подвыпив, утверждает, что у него два сердца: одно с левой, другое — с правой стороны.

Человек может исправиться. Ничто так не сбрасывает его обратно в яму, как недоверие. Недоверие унижает человека. (Из переживаний Агриппины Голубевой.)

Муж жалуется на жену: «Она все человечество делит надвое — на пьющих и непьющих. Пьющие плохие, а непьющие хорошие. И вот она только «хороших» приглашает в дом. Не удивительно, что я так охотно убегаю из дома».

Марфа Васильевна: «То солнечно, то наволочно».

«Дело не секрет». «Всевозможно». «Ефетивно» (шофер говорит).

Теплое дуновение ветра, как прикосновение щеки.

Сумерки спустились. Последний стриж прочертил месяц.

Круг света вокруг луны,— будет дождливое время.

26/VIII. 10 часов вечера. Только что прошла гроза. Небо очистилось. Месяц, больше половины, тяжелый, низкий, висит над лесом. Туман редкий, недвижимый над прудом. И вся природа, облитая луной и точно

налившаяся тяжестью, холодная, влажная, застыла в темной неподвижности.

Утренники побили картофельную ботву, она повяла, почернела, и от нее в полях стоит запах сладковатого сена.

6/V. Чудесные березы с высыпавшими мелкими, необыкновенно изящного рисунка, воздушными листочками. Липа в надутых, вот-вот готовых лопнуть почках, а там очередь уже только за дубом. В сырости сумеречного леса так и накатывают волны этого еще детского запаха влажных листочков и почек, среди которых гудят и путаются запоздавшие ко сну шмели.

Вороны ловко ловят нерестящуюся рыбу в травке у берега, подкарауливая ее, спрятавшись среди веток вербы.

В Кузнецове сочетание мальчишеской, мужественной хитрости и доброты.

Галина Сомова (урожденная Челнокова), прошедшая в первые годы совместной жизни с Сомовым трудный жизненный путь, полный испытаний, а в общем путь трудовой, сходный с путем миллионов, очень призадумалась над своей судьбой женщины — врача, труженицы, над судьбой детей своих, когда муж круто пошел на повышение и на семью посыпались материальные блага и удобства. Именно потому, что все жены и все дети в семьях этого типа уверенно и очень естественно воспринимают эти блага и удобства, не задумываясь над тем, заслуживают ли они их сами по себе, независимо от заслуг главы семьи, именно поэтому Сомова избрала для себя необычный... путь — не пользоваться этими благами и удобствами там, где жизнь ее и детей носит или может и должна носить независимый характер. Столкновения с мужем на этой почве. Непонимание этого не только со стороны жен других ответственных работников, но даже и со стороны людей простой жизни. Как много ей пришлось пережить и понять и в себе и в окружающих, чтобы все-таки неуклонно провести эту линию через всю свою жизнь, не став в гла-

зах других ни позеркой, ни ханжой, ни кривлякой. Она все преодолела трудом, естественной, неподкупной простотой и скромностью. Нет ничего прекрасней женщины, в которой принципиальность, несгибаемая и неподкупная, никак не выпячена, а так же естественна, скромна и женственна, как и все, что бы эта женщина ни делала. Такова была Галина Сомова.

Секретарь обкома, вспомнив, как он в молодости вел кружок по истории партии, решил тряхнуть стариной, показать пример и провести занятия в кружке на заводе — там, где раскритиковал положение с делом пропаганды и «поучал» вволю пропагандиста. И вот, когда он стал готовиться к занятию, он увидел, насколько труднее провести одно конкретное, живое, увлекательное для слушателей и участников занятие в кружке, чем давать «указания» и «директивы» о том, как лучше вести пропаганду. «Ах, ты черт!»

А может быть, мальчишка, совершивший «преступление»,— сын Губанова? Очень было бы хорошо сделать так: по ходу романа, где-то пораньше происходит столкновение старухи колхозницы с прокуратурой вокруг вопроса о нарушении колхозного устава, она жалуется Губанову, и вся «прокурорская» тема обсуждается у Губанова. Губанов решает данный вопрос правильно, но общие «установки» прокурора еще не вызывают в сознании Губанова такой протест, пока он не сталкивается с подобным же казенным формальным отношением к делу в связи с «преступлением» своего сына. Но что всего возмутительнее: оказывается, что прокурор вполне может повернуть дело на оправдание сына, это не так сложно сделать, на всякий закон есть и другие законы, а главное, многие, очень многие дела можно подвести не под этот, а под другой закон. Почему же в первом случае прокурор боялся сделать это, а во втором — нет? Потому что в первом случае он имел дело с колхозницей, а во втором — с секретарем обкома. Губанов добивается того, что прокурора снимают с должности. Ему бы следовало, однако, чтобы быть последовательным до конца, согласиться с осуждением сына. Но этого он уже не в силах сделать.

Обращение к читателю по поводу техники и технических терминов в романе — в одной из первых глав. в связи с тем, что Маннуров, добиваясь рекорда, поджег динасовый свод мартеновской печи. Придраться к тому, что такое «динасовый свод», объяснить это читателю, а потом его же, читателя, отругать за то, что он этого не знает. В наш век он это обязан знать! Почему у читателя не вызывают смущения, когда он читает классический роман, такие «технические» термины, как «изба, поставленная глаголем», или «пятистенная изба», или «бричка», «линейка», «карета», или названия созвездий из звезд или такие слова и понятия, как «понёва», «дежка», «косье», «просто сидит» (про косу), «лобогрейка» или щеголяние охотничьими терминами, профессиональными и вообще специфическими терминами при описании, например, собак или лошадей — у Толстого, Куприна, Эртеля? Ведь современный наш читатель в большинстве своем не видел, не знает этого, а это кажется ему, однако, в порядке вещей. Он к этому привык. Он обязан привыкнуть к технической терминологии в современном романе, ибо нельзя написать современный роман, обходя вопросы техники, в наш век невиданного технического развития. Без знания техники уже многое становится непонятным в любом номере газеты, выходящей в наши дни. К тому же писатель обращается не только к настоящему, а и к будущему, а в будущем его будет читать народ с политехническим всеобщим средним образованием. Уже сейчас можно сказать, что читатель, не знающий техники, через десять—двадцать лет будет выглядеть троглодитом. Литература не может равняться на троглодитов! Другое дело, что предметом литературы является не техника, а человек. Значит, надо писать о человеке, а техника тогда само собой приобретает такое же естественное звучание в романе, как естественно звучала старая техника или описания природы, или специфическая собачья и лошадиная терминология в классическом романе.

Панина у Губанова по делам в связи с той борьбой, которую она ведет с Навурским (а возможно, ее тоже увязать с «прокурорскими» делами). Тут они выясняют, что и он и она — воспитанники детского дома.

Губанов говорит: «Обратите внимание, сколько встречается среди современных работников, среди военных людей и вообще среди хороших людей разных профессий — воспитанников детских домов. Своими детскими домами социалистическое общество за тридцать пять лет своего существования спасло от гибели физической и моральной и сделало полноценными людьми, работниками миллионы детей, оставшихся сиротами, потерявших родителей своих в ту мировую войну, в гражданскую войну, в голодный 1921 год, в период коллективизации, в Великую Отечественную войну. Ну, кем бы мы были с вами, если бы не наши детские дома? Нас или не было бы, или были бы мы — я, скажем, чернорабочим, грузчиком, например, а может быть, вором, а вы всю жизнь проработали бы на каких-нибудь торфяных болотах или прислугой, или... нет, даже страшно подумать, не только сказать... И мне так приятно смотреть на вас, точно землячку встретил. Знаете что? Этой работы все равно никогда всей не переделать, пойдемте-ка ко мне домой да выпьем с вами за мой и ваш детский дом, который заменил нам и мать и отца! Жена будет рада».

Либерализм особенно отвратителен в наши дни, ибо означает покровительство, поблажку, слюнявую доброту по отношению к антинародным силам. На этом основании, однако, все бюрократы, карьеристы, стяжатели, эгоисты, обыватели на постах, скрывающих номенклатурой данного поста антинародную черствую душу человека, сидящего на посту,— считают «либерализмом» всякое проявление человечности по отношению к людям, совершившим ошибку, так или иначе согрешившим, попавшим в ту или иную общественную беду.

Мать Христины так и осталась деревенская, все ее чувства, мысли, вся жизнь ее осталась там, она только и говорит о своей «вёске». Лаврен Борознов, муж ее, тоже любит послушать,— он уже давно оторвался от деревни, он стал уже строителем по призванию, никогда бы не был способен вернуться в деревню,— но ему уже пятьдесят восемь лет, близится старость, и расска-

зы жены напоминают ему время, когда он был молодым. А Тина слушает мать, а вернее делает вид, что слушает, из дочернего такта, а ей все это стало чуждым и далеким. Ремесленное училище с практикой на заводе уже перевернуло ее с четырнадцати-пятнадцати лет, она стала заводская — и теперь, когда она просто домашняя хозяйка, она тоскует не по деревне, а по заводу, по заводскому труду.

Коля Красовский так же, как и Христина, медленно формирующийся характер; кроме того, ей нравится, что он смоленский, сосед ее, его фамилия и говор типичны для «смолян» и родственны белорусской душе Христины, они оба — из «западных славян», хотя и не сознают этой подпочвы их робкой симпатии друг к другу.

Размышления секретаря обкома о душевной неподкупности и о компромиссах допустимых и недопустимых.

Дружба в труде самый высокий вид дружбы. В числе прочего это и самый прочный и самый принципиальный и в то же время наиболее широкий вид дружбы — в ней люди ценят друг друга по самому лучшему и высокому друг в друге, поэтому она может объединить людей самых разных по характерам, по достоинствам и недостаткам; ничто обывательское не может ее разрушить, если объединяющий трудовой принцип не поколеблен.

Обывательский предрассудок, будто женщины, особенно уже сформировавшиеся женщины, не могут так же прочно и верно дружить между собой, как мужчины (якобы из-за более или менее осознанной или скрытой «конкуренции» между женщинами перед лицом мужчин). Это справедливо только по отношению к праздным женщинам. Жизнь дает примеры исключительной дружбы между трудовыми женщинами, женщинами, объединенными общностью труда или общественного дела.

Современные плохие писатели, плохие прежде всего именно в моральном отношении, любят выводить в сатирическом освещении типы своих собратьев по перу, любят выводить их людьми, оторванными от народа, пьяницами, красивыми говорунами без правды в душе, подхалимами перед людьми вышестоящими, халтурщиками и сребролюбцами. Это первый признак, что у автора у самого нет любви и уважения к своей профессии, нет моральной основы в своей профессии, а есть некоторое смутное ощущение собственной неполноценности и фальши. Изображая своих собратьев скверными и маленькими, они надеются тем самым спастись от суда народа и возвыситься перед народом. Но народ не чернит [?], не знает скверных писателей, он видит в писателе своего учителя и часто совесть свою, он знает, что писатели — это духовные руководители народа, такие же, как и его, народа, политические вожди, и относится к профессии писателя с любовью и уважением.

Писатель, который в своем произведении оплевывает писателя, это прежде всего трус, боящийся народа своего.

Шубин не хочет, чтобы его из начальников доменного цеха превратили в директора комбината. Его разговор с Багдасаровым. «Я хотел бы учить молодежь доменному делу».— «В профессора, что ли? В доктора наук?.. А кандидатский минимум?..» И здесь развернуть вновь — в их споре — всю тему о высшем образовании, о научно-исследовательской работе, о проектантах, о работниках лабораторий заводских и т. д. Багдасаров вынужден соглашаться. «Почему же вы не ставите этот вопрос в целом перед правительством, разве это не ваша обязанность? Поставите?» Багдасаров, подумав: «Нет, не поставлю». Объяснить, почему Багдасарову действительно трудно ставить вопросы, не имеющие прямого и непосредственного отношения к *выполнению плана*, к тем прямым и непосредственным обязанностям, которые возложены на министерство, тем более что они выполняются далеко не так, как надо. Рассуждение о том, что наше государство — молодое государство, где формы государственного управления неизбежно меняются и надо вовремя видеть, где и что

бюрократически «сложилось», застыло и тормозит рождение нового и живого. Багдасаров понимает это, но соразмеряет свои силы и сознательно отходит в сторону там, где это прямо его не касается. Он чувствует, что у него «не найдется времени» для того, чтобы весь вопрос изучить и поднять настолько, чтобы иметь успех в правительстве. И в то же время понимает, что все это может иметь успех при всех условиях только после большой борьбы. И, зная «ресурсы» свои, не берется за это. И это — слабое место Багдасарова как государственного деятеля? Беда в том, что рано или поздно и его непосредственное дело упрется в эту проблему, как в тормоз.

Гамалей — мягкий, добрый, спокойный, положительный человек, но долговременная, умеренная, холостая жизнь приучила его к экономности, доходящей до скупости, а кроме того, привила ему привычку к независимости в домашнем обиходе, и, когда он, наконец, женился, он живет в семье точно отдельным хозяйством.

Даша назначила Балышеву встречу в райкоме утром, в воскресенье, когда там никого нет, кроме дежурной в приемной,— больше им негде было бы встретиться наедине. И в этой приемной, пока дежурная докладывала о нем, Балышев испытывал волнение, сходное с волнением перед экзаменом. Он не видел Дашу двадцать лет. Встретив ее на заводе, он был поражен ее женственностью в расцвете сил, ее новым душевным и физическим обликом, и в нем проснулось былое чувство любви. Но сейчас это не было волнение любви. В юности, хотя она не ответила ему на чувство его — и в этом тогда была ее власть над ним,— он все же был настолько более развитой и сформировавшийся человек, что в чувствах его было и покровительство по отношению к ней, молчаливо ею признаваемое. Может быть, она сразу и не ответила на его чувство, потому что не чувствовала себя ровней,— он был человеком другого душевного мира и склада, она не во всем понимала его, немного опасалась, кроме того, ей мешали самолюбие

и гордость. В переписке, которая возникла между ними, когда она вышла замуж, это самолюбие и гордость мешали ей показать, что теперь она его понимает и жалеет о том, что не ответила на его чувство,— разве она могла сама написать ему, что теперь... роли переменились. И всякий раз, получая письма ее, будучи тоже женат, он вновь и вновь испытывал волнение былой любви. Но это казалось уже прошлым. И в письмах его, очень человечных, все сильнее звучал этот оттенок доброго покровительства. И вот теперь он впервые понял, что же он потерял в жизни! Во всем ее облике была цельность и чистота, нравственная высота познавшей жизнь женщины с ее долгом по отношению к нелюбимому мужу, со всем, что она выстрадала, рожая от него детей, воспитывая их и вкладывая в них все самое лучшее, что было в ней самой. Новая духовная жизнь светилась в глазах ее, она обрела эту жизнь через образование, через большой трудовой и общественный опыт, давшие природному ясному уму ее осмысленную цель существования. Это не была уже девушка-работница, ищущая себя, с поразившими его тогда особенностями пробуждения ее индивидуальности. Это была созревшая, цельная, умная женщина в расцвете духовной и физической красоты. Она предстала перед Балышевым как бы на пьедестале, теперь он стоял внизу. И вот он волновался теперь, примет ли она его душою, не отвергнет ли вновь, не придется ли теперь, когда лучшая часть жизни осталась позади, вновь снискивать любви ее, но уже на основе неравенства, обернувшегося не в его пользу. А в общем черт его знает, почему он волновался, все-таки в этом было что-то и от обычного волнения влюбленного юноши, неуверенного в том, как будет принята любовь его, которую нельзя скрыть...

Когда он вошел, она встала из-за своего стола секретаря райкома и быстро пошла навстречу ему вдоль залитого солнцем зеленого поля,— так казалось ему,— на самом деле она шла навстречу ему вдоль стола заседаний, покрытого зеленым сукном. Она смотрела на него, но он не видел ее лица, пока она не остановилась перед ним. И как двадцать лет назад он увидел сверху, на уровне своих плеч обращенные на него умные, твердые с неуловимым оттенком печали темно-серые глаза,— нет, такими они были тогда, а теперь

в них светились любовь, робость, стыд... Она смотрела так на него одно мгновение, потом быстро положила маленькие руки свои на его широкие плечи и припала головой к его груди.

И то волнение, которое не было волнением чувств, а волнением, вызванным побочными движениями души, мгновенно оставило его,— великий покой, который нисходит на путника или пловца с немыслимым напряжением сил достигшего цели своей, сошел на его душу, и большое чувство человеческой благодарности, нежности к Даше, маленькой женщине, так непосредственно после двадцати лет разлуки отдавшей ему всю себя,— пронзило его... Он обнял ее, и вся она оказалась спрятанной в его больших руках. Он прижался щекой к ее волосам. Так они стояли, не говоря ни слова. Та, другая жизнь, которую они прожили отдельно друг от друга, которую нельзя было ни переменить, ни прожить сначала, в это мгновение с более отчетливой ясностью, чем они знали это давно, встала перед ними, как заблуждение, случайность, еще и до сих пор определяющая выбор жизненного пути для миллионов и миллионов юношей и девушек. В старину говорили: «Они созданы друг для друга»,— пусть так! Да, они были созданы друг для друга! Они мучительно искали друг друга, они, как сквозь дебри, пробирались друг к другу сквозь два десятилетия, исказившие их жизнь. И вот они были теперь вместе, и это и была та единственная правда, какую только и можно назвать любовью. Они оба чувствовали это и длили это мгновение, принесшее глубокий счастливый покой их душам, они длили его, зная, что вслед за этим счастливым мгновением в их души вновь ворвется все то, что не дало им возможности жить по правде любви и что уже было непоправимо.

Кто из настоящих инженеров или передовых рабочих, попав в другой город или район, где есть металлургическое производство, не зайдет в гости к приятелю и не попросит показать ему завода,— всегда интересно знать, что делается у других.

Кто-то из инженеров Большегорского комбината, приятель Бессонова, всегда заезжает к нему и смотрит, что нового на заводе. Теперь уже Бессонов патриот сво-

его завода, хотя был главным инженером Большегорска,— говорит: «у нас», «у вас». В 1954 году в Большегорском комбинате должен быть пущен новый мартеновский цех, но из-за того, что шагнула вперед прокатка, не хватает металла, покупают слитки у других.

— Какие ты можешь продать нам слитки и сколько?

— Об этом дотолкуемся... Да стоит ли мне вам продавать, когда от вас никогда, ни в чем не дождешься помощи? Просил помочь кадрами... Это ты, говорят, не пустил ко мне Гунна?

— Да, Гунна, признаться, я задержал.

— А почему Иванова не дали?

— Иванов сам не захотел.

— Неправда, он мне звонил, говорил, что согласен, но не пускают.

— Значит, цену себе набивал.

Гамалей жене (примирительно,— она плохо стряпает, но очень ревнива к стряпне своей):

— Нет, это ты добрый борщ сварила, Маруся,— за время воссоединения Украины с Россией это второй такой борщ: первым наш Богдан угощал русских послов, а вторым — ты угощаешь меня.

Из черновиков первых глав взять кое-что, не использованное там: о детях Павлуши и отношениях между ними; некоторые черты Красовского, Вассы, Тины и особенно Мусы из сцены свадьбы, а может быть, и всю свадьбу; наметки того, как сложилась «тройка» сталеваров; новый взгляд Павлуши на жену, когда он видит ее через смятенную, страдающую, не умеющую себя выразить душу ее (стр. 13 черновика); характеристику Вассы (на обороте 15-й стр.); отношения между Павлушей и Маннуровым и Красовским; детали отношений между Вассой и Тиной (на обороте стр. 36 и дальше на оборотах страниц),— как одеваются девушки, в частности; как Вассу оценивает Павлуша; эгоизм Тины и большая душа Вассы (все, что на обороте 44-й стр. *особенно*); отношения Павлуши, Тины, Вассы в тот период, когда Павлуша ухаживает за Тиной; характеристика отношения мужчин к Вассе (на обороте 47-й стр.).

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ ПЕРВЫХ ГЛАВ

Ах, каким прекрасным вдруг показалось ей то — кажется уже такое далекое, далекое — время до замужества, когда жизнь так много сулила ей всего, всего. Да, как ее все любили в цеху, ее и Вассу Иванову, подругу еще по ремесленному училищу, о них уже заговорили как об инициаторах движения за продление жизни машин, на Урале они были первыми, кто поднял это движение в одно время с Ниной Назаровой*. Но она, Христина Борознова, вышла замуж и все бросила ради мужа и семьи. Как все это получилось? Как она пошла на это? Она все пыталась вспомнить, как это началось, и она хорошо помнила, что Павлуша очень хотел этого, но ведь ей тоже показалось таким увлекательным — наладить их жизнь, их дом, ведь им так посчастливилось, они сразу начали все, как самостоятельные люди, никого не было на их плечах, им никто не мешал. Она любила и теперь Павлушу до полного забвения себя, она видела много таких же молодых семейств вокруг и могла сравнивать, и она просто знала, что Павлуша — редкий муж, ей многие могли позавидовать, и завидовали. Она отдала ему всю себя беззаветно, и действительно, три-четыре года она прожила, как в счастливом сне, хотя было так много тяжелого и трудного: она с трудом рожала, и вторые ее роды были даже тяжелей первых, у них долгое время ничего не полу-

* В сорок шестом году не могло быть движения за сохранность машин. Надо найти другой повод для соревнования, отвечающий тому времени.

Нет, они наметили это, но Тина вышла замуж, и в силу распадения их дружеского союза распалось и это начинание. Тем обидней было Тине, когда это подняли другие.

чалось с квартирой, и так трудно было им в одной комнате. Но она как-то прожила три-четыре года, почти не замечая всего этого, вернее, тотчас же забывая все тяжелое из того бесконечного наслаждения и упоения жизнью, которое приносило ей это новое положение жены и то внезапное ощущение свободы, которое ей принесло это новое положение. И она могла считать это свободой! Какая же она была еще наивная! Она так долго не замечала, какое значение и влияние в доме все больше приобретала родня Павлуши, все Кузнецовы, ей казалось все это естественным. На всю страну гремели имена ее сверстниц и подруг, с которыми она познакомилась на стахановских слетах — Нины Назаровой, Руффины Рассомахиной, Романовской,— но она не замечала и этого.

И вот она оказалась ввергнутой неизвестно когда и как в этот невыносимый конвейер таких обильных и разных и в то же время таких скучных [?] и мучительно однообразных дел, и вдруг начала замечать и себя, и мужа, и всех окружающих, но прежде всего понимать свое место среди всех этих и близких и далеких людей вокруг нее. И вот она проснулась и поняла, что жизнь ее безрадостна, что она, Тина, не только стоит на месте, она катится вниз.

Разве можно было считать ее дружбу с Вассой, если она, Тина, оставила подругу в тот самый момент, когда они взбулгачили весь ремонтный цех. Как ни быстра на подъем, как ни решительна была Васса, сама она ничего не умела продумать, все знали, что она, Тина, хотя и была тихой, но более вдумчивый и упорный работник. Она не умела говорить и всегда выпускала вперед Вассу, но все знали, что она застрельщица в соревновании, охватившем все цеха комбината.

И вдруг она вспомнила, с чего это началось, как она «проснулась»: ее «разбудила» Васса, с которой она сама не заметила, как рассталась некоторое время спустя после ее, Тины, женитьбы. Ведь как же они дружили в те тяжелые годы войны в ремесленном! Только такие подруги, как они, могли признаться друг другу, когда они уже немного пожили вместе, что одна из них никакая не Васса, а просто Василиса, и что она дочь бон-

даря из Ельца, а другая — вовсе не Тина, а Христина, и что дома мать зовет ее Христей, что сама она природная белоруска из деревни, как и мать ее и отец,— это можно сразу узнать по ее говору — и фамилия ее даже не Бoрознова, а просто Борозна, но что, когда отец получал свой первый паспорт,— он работал тогда уже здесь в Большегорске, ему для простоты заменили имя Лаврен на Лаврентий, а фамилию сделали Борознов: его так звали в бригаде, где все были русские, и милиции так было удобнее, а ему это было все равно.

Им вдруг стало смешно, как же это им пришло в голову назвать себя, когда они поступили в училище и их поселили вместе, и они знакомились с другими девушками и с ребятами не своими именами, а назвать себя Вассой, Тиной. Васса сказала, что она слышала где-то такое имя и оно показалось ей красивей, чем Василиса; Васса — можно без уменьшительного, и оно ей подходит, такая она крупная, а никто бы не стал ее звать Василисой, а звали бы, как в детстве, уменьшительным — Васей, а не то Васькой, как мальчишку, и она уже давным-давно придумала назвать себя Вассой, как только станет самостоятельной. А Тина подумала-подумала, и не могла вспомнить, откуда она подхватила это имя — она нигде его не вычитала, и нигде не слыхала его, и никогда оно ей не приходило в голову, но, после того как она пожила в Большегорске в первый год войны и отец отдал ее в ремесленное, ей сразу показалось, что другим может показаться некрасивым ее имя Христя, и ей оно самой разонравилось, и она даже сама не может объяснить, как она всем стала говорить, что ее зовут Тиной. Должно быть, это как-то само собой пришло к ней из городского воздуха. (Потом она видела, что Павлуше нравится, что ее зовут Тина, сам он любил называть ее Тинкой, и она замечала, что он бывал недоволен, когда мать и отец по-прежнему называли ее Христей, хотя он, конечно, никогда бы не мог сказать им это.)

* Несомненно они дополняли одна другую. И в жизни и в работе всякое решение, за которым должен был следовать поступок, вызревало в Тине медленно. Нель-

---

* Очень важно: Павлуша этого не понимал в жене, а люди — организаторы и руководители — понимали положительные стороны такого характера.

зя сказать, чтобы даже теперь, а в те юные годы и подавно, она умела взвесить и обдумать всякое дело со всех сторон, нет, это происходило в ней само собой, больше даже в чувствах, чем в мыслях, но ей нужно было время для этого. И когда это назревало и она приходила к решению, она действовала уже очень последовательно и не отступала от того, на что пошла. В ней был природный здравый смысл, привитый с детства. Она была аккуратна в делах домашних, житейских и в ученье, и в работе на станке ей присуща была спорость — именно спорость, а не скорость, то есть методичность, точность, аккуратность, приводившие всегда к тому, что всякое дело получалось, это была не суетливая, не броская удачливость, при равных условиях она всегда приходила к одинаковому результату,— она работала незаметно, ровно, с естественным природным расчетом и какой-то непрерывностью в труде, поэтому на нее всегда можно было положиться, что все будет сделано, если условия останутся неизменными.

Но, как уже было сказано, она и в женском и в человеческом смысле развивалась медленно, характер ее все еще не сформировался. Это сказывалось даже в первые годы замужней жизни, сказывалось, конечно, только на ней, потому что она была покорна мужу, а он был увлечен ею, и сам, человек очень темпераментный, ничего не замечал. Но очень много времени прошло, пока в ней пробудилась чувственность, и еще ничто не говорило, что в ней может раскрыться страстная натура, не менее страстная, чем Павлуша,— это в ней еще не пробудилось даже и в намеке.

Такой же она была и в работе. Она не была находчива, если условия труда менялись, терялась при любом срыве, не говоря уже об аварии. А если надо было вступить в борьбу, она не умела постоять за себя,— в лучшем случае она могла не уступить, но никогда не могла чего-нибудь добиться. Это не значит, что она была застенчива или робка,— нет, даже понятие «скромность» не вполне выразило бы, кем она была на самом деле, она не бежала от трудностей, не уклонялась, а шла прямо на них, но шла покорно, молчаливо, как на заклание,— она не краснела, не потупляла головы перед людьми, она просто не умела возразить, если с ней были не согласны или наступали на нее, она смотрела на против-

ника своими необыкновенной чистоты синими глазами, которые, казалось, ничего не выражали, и молчала, а потом поворачивалась и уходила, тоненькая, строгая, не изменившись в лице, прямо, можно было подумать даже горделиво, держа изящную свою головку с этими ровно переливающимися, как спелый лен на солнце, волосами, которые всегда лежали так одинаково и ровно и были, казалось, так же невозмутимы и никогда не могли смешаться, спутаться, как и она сама, как и ее неразвившаяся душа.

И совсем другой была Васса. Крупная, броско-красивая, с широкими бедрами, крупными руками, темными, почти черными волосами, черными глазами и черными бровями, она была очень подвижная, сильная, свободная в движениях и вольная в жестах, вся очень открытая, смелая, и голос у нее был уверенный, громкий. Черты ее лица с его неуловимой асимметричностью и формы ее тела были резко обозначены,— это особенно стало заметным, когда она стала постарше, но поскольку наружность также неотрывна от движения, как характер от поступка, при этой ее свободе в движениях, смелости, стремительности, решительности, той непосредственности, против которой уже ничто не могло устоять и все было вовлечено ею в круговорот ее собственной деятельности, при этих ее особенностях все эти резко обозначенные черты ее лица и формы тела, крупного, сильного, были так ловко увязаны в ней самой природой, что все казалось в ней гармоничным, ее и в глаза и за глаза называли красавицей — она и была красавицей. Поскольку она была старше Тины на год и при этих особенностях ее характера и ее внешности, при ее общительности и активности в любом общественном деле, в то время как Тину никогда нельзя было услышать на комсомольском (Тина — беспартийная и не комсомолка) собрании, ее можно было бы и не увидеть, если бы на головку ее с этими невиданными волосами так не заглядывались ребята,— вообще Тина была пассивна там, где было много людей и надо было говорить, а особенно потому, что во всех, решительно во всех трудных случаях жизни и работы Тина неизменно выпускала вперед подругу, многие думали, что в этой девичьей дружбе, а в особенности, когда она переросла еще и в дружбу на производстве, где обе девушки быстро выдвинулись, первую

скрипку играет Васса. Но те, кто лучше знал их, видели, что в характере Вассы было много стихийного, она все делала рывками, была изменчива в настроениях, и многое вертелось и в ней самой и вокруг нее без ясно осознанных цели и смысла. Когда она оставалась без подруги, у нее ничего не получалось, а Тина могла работать и без нее. И тогда все увидели, что в этой дружбе все идет так, как посоветует Тина, посоветует не на людях, не здесь, а тогда, когда их никто не может услышать, когда они останутся одни и начнут шептаться и делиться своими соображениями, удачами и неудачами, горестями и радостями, и еще никому, никому, кроме них, не известными интимными делами, вот, как тогда, когда они лежали в постели и шептались, а потом заснули, и к ним ворвались Павлуша Кузнецов и Коля Красовский. Но то, что Тина могла надумать и посоветовать Вассе и что они могли потом принять, как общее решение, никогда не могло бы быть развито до своего логического конца, а главное никогда не могло бы стать общественным, а не индивидуальным делом, если бы Васса не начинала развивать это дело со свойственной ей решительностью и не пробивала потом дорогу как таран, сокрушая все на своем пути. Ее можно было видеть и там и здесь — свободная, сильная, она уже идет по пролету цеха, а вот, не чувствуя ступеней,— так, несмотря на ее крупный рост, она подвижна, легка на ходу,— взбегает по лестнице в контору, где в крохотной комнатке нашла себе приют комсомольская группа комитета, она не идет, она летит на стройных, сильных своих ногах, и все мужчины оглядываются на нее, вот она говорит с мастером, она смело смотрит на него своими большими карими глазами, оттененными этими черными бровями и длинными ресницами, лоб у нее необыкновенно ясный и чистый, а в глазах у мастера примерно такое выражение,— нет, ты не девка, ты просто дьявольское наваждение и, если не пойти тебе навстречу... нет, самое главное, что нельзя не пойти тебе навстречу! И вот она уже с другими девушками и женщинами в душевой, она хохочет так, что только ее одну и слышно, и за струями падающего дождя видны ее сверкающие белые зубы,— нет, она в самом деле дьявольски красивая девка, она хохочет потому, что, конечно же, она добилась всего, что они с Тиной надумали.

Разность их характеров сказывалась и в том, как они одевались. Тина любила тона светлые и скромные, она не гналась за преходящей модой, вкусы ее были постоянны, важно, чтобы все, что она носит, подходило к ее глазам и волосам, она знала, что именно в этом ее главная прелесть и чтобы все было скроено так, чтобы не скрыть, а выделить ее тоненькую девичью фигуру,— она понимала, что, при ее не маленьком, а вполне нормальном женском росте, эта тоненькая фигура и эти ее волосы цвета спелого льна в сочетании с синими глазами и есть главная ее прелесть. А Васса любила цвета поярче, она любила, чтобы ее все видели, чтобы ее все замечали, чтобы на нее все оглядывались.

И даже теперь, когда ее личная судьба сложилась так неудачно, когда она осталась, в сущности, уже переросшей девушкой,— ведь ей было уже двадцать пять лет,— даже теперь, когда она стала более сдержанной на людях и в одежде своей перешла на тона темные, скромные, она отлично знала, например, какой платок ей носить — малиновый, и какие туфли — сверкающие черные, лаковые и на высоком каблуке. Все-таки самое красивое, что в ней было, это ее ноги, стройные, сильные, тонко выточенные в лодыжках, и линия подъема казалась такой упругой и натянутой до предела благодаря этим высоким каблукам.

Как же так получилось, что дружба их распалась?

После этой их случайной встречи во Дворце металлургов, год тому назад, обозначившей душевный перелом в семейной жизни Тины, она не раз мысленно возвращалась к прошлому и думала: как же это у них получилось?

Когда она продумывала те ранние четыре года — в ремесленном, а потом, когда они вместе работали в ремкусте,— Тине казалось, что души их были до конца открыты и не было не только занозы в сердце одной против другой, не было ничего в жизни каждой из них, чего бы не знала другая. Ах, как Тина ошиблась! Но она и сейчас еще не видела и не понимала, что это было не совсем так. Почему она ошиблась? Она и тогда и теперь не в силах была понимать, что она всегда была больше занята собой, в то время как душа Вассы щедро изливала себя на всех людей. Тина привыкла к заботам, вниманию Вассы о ней, привыкла к резковатым, порой

даже суровым,— но бесконечно искренним проявлениям ее доброты и пониманию с полуслова всех ее душевных движений. Нельзя сказать, чтобы Тина злоупотребляла этим свойством души своей подруги, нет, она не эксплуатировала их, она пассивно принимала их, принимала как само собой разумеющееся,— ей было удобно, легко, естественно, уютно с Вассой и в их скромном быту, и в смысле душевном. Но она никогда не задумывалась над тем, что, будучи равной с подругой в обязанностях, часто выполняя даже больше, потому что она была более ровна и методична во всем, чем Васса,— она, в сущности, мало интересовалась тем, что происходит в душе Вассы, ее, Тины, душа не видела необходимости, не чувствовала потребности понять душевный мир подруги, принимала только факт ее совместного с ней существования. А если так, ей нечего было и дать Вассе в смысле глубокого удовлетворения ее душевных запросов и движений.

Чувствовала ли это Васса? Она никогда бы не догадалась об этом и не допустила себя до такой мысли, настолько она любила Тину, но она чувствовала это. И бессознательно это проявлялось в том, что в самых сокровенных и в самых трудных вопросах души она не была откровенна с Тиной, а если она не была откровенной с Тиной, ей уже не с кем было поделиться ими. С самых ранних дней их дружбы у нее были тайны от Тины, а значит и тайны от всех, в то время как душевный мир Тины был всегда для нее открытым.

* Люди, не судите друг о друге по первым бросающимся в глаза случайным признакам! Как часто люди, легко и свободно вращающиеся среди других людей, вольные в обращении, с душой открытой и отданной всем, благодаря душевной доброте своей, бывают более одиноки, чем люди, кажущиеся как раз более замкнутыми, сдержанными и молчаливыми. Как это может быть? Это может быть по очень простой причине. Люди второго склада часто только кажутся такими, а на самом деле они просто бедны душою. В то время как люди первого склада несут в себе так много, что в них всегда найдется еще что-то, самое главное и сокровенное, что не может быть открыто и отдано, если нет встречного потока такого же богатства и открытости и доброты души.

* Очень важно!

В дружбе Тины и Вассы Тина была более выдержанна и потому более счастлива, а Васса была одинока. Но этого Тина не видела даже сейчас.

Началось ли это тогда, когда Тина вышла замуж и перебралась в комнату к Павлуше — все там же, в «Шестом Западном»? Да, несомненно это началось с того времени, но Тина не могла вспомнить ничего такого ни в дни ее замужества, ни в первый год ее жизни с Павлушей, что можно было бы считать признаками охлаждения между ними. Оно началось, оно развивалось исподволь, незаметно, это их охлаждение друг к другу. Им даже трудно было бы назвать, с какого времени, когда они стали все реже и реже встречаться, а потом все больше ловили себя на том, что им даже не о чем поговорить.

Помнится,— это было года три тому назад,— Тина как-то сказала Павлуше:

— Как давно Васса не заходила!.. Вот так живешь, живешь, не думаешь, а ведь она к нам совсем и ходить перестала...— Она сказала это без горечи, без грусти, даже без удивления, а просто с раздумьем: шла, шла и вдруг наткнулась и на мгновение остановилась и посмотрела, на что наткнулась,— не нашла и пошла дальше.— Ничем мы вроде ее и не обидели,— сказала Тина после того, как не нашла, обо что она споткнулась, и жизнь их с Павлушей потекла дальше, уже без Вассы.

Она запомнила, что Павлуша сказал ей по этому поводу такое, что не показалось ей правильным, но она не возразила Павлуше, и жизнь их потекла дальше. А Павлуша сказал вот что:

— Слушай, ты ведь теперь замужняя женщина, у тебя ребенок, а она — ведь она старше тебя, ей уже двадцать два,— а она все в девках ходит. Она себе мужа ищет,— а какой ей может быть теперь интерес в тебе или во мне... У нее не только интереса к нам не может быть, ей — она девушка красивая — может быть, даже завидно глядеть на нас,— ведь в ней, знаешь, сколько горячей крови,— как в кобылице! — сказал Павлуша, метнув на Тину лукавый мальчишеский взгляд, и засмеялся. Он любил иногда подразнить Тину эдак, издалека, чтобы вызвать в ней ревность, но она его ни к кому не ревновала: в ней еще не было этого чувства, даже если бы Павлуша дал к нему какой-нибудь повод.

Но поводов действительно Павлуша не давал — по крайней мере тогда.

В том, как Павлуша сказал это, было не осознанное им самодовольство: он имел в виду не то, что Вассе завидно глядеть на них, а то, что Васса завидует счастливой судьбе своей подруги.

Васса завидует ей, Тине! Нет, Тина не только не допускала, она знала, что это не могло быть правдой. Она помнила, что с самой той поры, как она призналась Вассе в своей любви к Павлуше, призналась в одну из тех счастливых минут откровения, когда они отдыхали вот так, обнявшись, на кровати и шептались, шептались друг с другом,— а то, что Павлуша в нее влюблен, об этом знало все общежитие, все клубы и парки города, вся молодежь, которая проводит свой досуг на улицах,— с той самой поры, как она призналась подруге в своей любви к Павлуше, Васса была счастлива ее счастьем, жила ее чувствами и интересами, она, Васса, в ту пору совсем отрешилась от себя. Тина прекрасно знала, что Павлуша, с которым Васса дружила как со всеми ребятами, вовсе не нравился ей в том особенном смысле, в котором можно было бы говорить если не о ревности, то о зависти.

Правда, ей, Тине, странно было, как это такая девушка, как Васса, о красоте которой твердили все, за которой ухаживало столько ребят и столько взрослых мужчин и один из них, заместитель председателя профессионального цехкома ремонтников, такой видный мужчина, всерьез страдал из-за нее и даже хотел оставить свою жену и двух детей из-за Вассы, хотя она и наотрез отказалась выйти за него замуж. Но его отговорили товарищи, сказав, что не хорошо оставлять семью ради другой женщины, даже если есть возможность жениться, а уж оставлять семью ради одной любви,— это просто глупо и не расчетливо,— как это она сама ни в кого не влюбится, а так вот и живет вечная комсомолка, живет всегда в окружении девчат и ребят, живет беспечно, весело, живет, как трава растет, но так же век ведь не проживешь?

— Неужто так-таки никого и никого? Ну, вот просто, ну, никогошеньки, никого? — допытывалась Тина у подруги во время [*1 неразобр.*], таких смешных и волнительных перешептываний на койке общежития.

А Васса смеялась, откинувшись от подруги, сверкая своими белыми зубами, или вдруг, покачивая своими развитыми не по летам бедрами, говорила страшным, манящим шепотом:

— Как никогошеньки, никого? Я ж тебе говорила, отдайте мне того скромненького, что влетел тогда к нам в комнату за Павлушей,— как его, Коля, что ли? Отдайте мне моего Коленьку, ух, я его задушу — закачаю! — и начинала так мять и тискать и щекотать бедную Тину, что та заливалась хохотом и выпрыгивала из кровати, едва вырвавшись из сильных и жарких объятий подруги. А та все тянулась руками и говорила страшным шепотом:

— Ну, куда ж ты, куда ж ты ушел, мой Коленька, иди я еще тебя погрею...— И вдруг, уткнувшись в подушку, она фыркала,— прямо [?] как кобылица, и вдруг говорила самым обыкновенным голосом: — И правда, куда ж ты удрала, только-только разговорились о самом интересном, а ты со своими глупостями, давай, давай еще помечтаем...

И Тина видела, что Вассе не нужен ни Коля, ни Павлуша и никто другой,— видно, еще не пришла пора ее подруги, хотя она была старшей.

Нет, Васса не могла завидовать ей, Тине, она так радовалась ее счастью, она так щедро дарила ей свою доброту, любовь, ласку в эти дни, когда судьба Тины уже решалась. Иногда она точно чувствовала, что в новой судьбе Тины таится угроза их дружбе. Иногда она вдруг прижимала ее к себе и долго-долго не отпускала. Иногда ей становилось порой жалко Тины, и она так ее ласкала и целовала, как будто в том, что предстояло Тине, таилась какая-то угроза дальнейшей ее судьбе.

Несколько раз до свадьбы, когда они оставались вдвоем в комнатке, все еще в той комнатке, где они жили, когда были ремесленницами, из которой Тина должна была переехать сразу, как они с Павлушей зарегистрируются, и к Вассе должна будет въехать какая-нибудь другая девушка или одинокая женщина и даже не по выбору Вассы, а по тому указанию свыше, равному почти предопределению судьбы, по которому будет предоставлена эта койка, независимо от желаний Вас-

---

Заметка на полях: Вассе нужен был Павлуша. Тина этого не видела. Тина видела, что она нравится Коле Красовскому.

сы,— несколько раз Васса вдруг мрачнела и, остановившись среди комнаты с опущенными большими руками, отчего она сразу становилась какой-то неуклюжей и тяжеловесной, как только прекращалось непрестанное искрометное движение в пространстве ее большого тела, и говорила:

— А это как же все будет, все, что мы начали?.. Ой, Тинка, мне как-то не верится, что ты будешь замужней женщиной, ведь ты уже не будешь такой свободной, какой мы были здесь с тобой, а как же работа?

Но Тине казалось, что в жизни ее совершается такое важное событие,— при чем же тут работа? И она говорила небрежно:

— При чем тут работа? Работа как была так и останется работой.

Теперь она часто вспоминала, как Васса спрашивала ее об этом. А после этой их встречи во Дворце металлургов Тина все больше думала о том, что дружба их распалась из-за того, что они перестали работать вместе, а теперь она думала об этом с чувством еще более жестоким по отношению к себе: нет, дружба их распалась из-за того, что она, Тина, бросила свою профессию, труд на производстве ради семьи, а Васса не пошла на это и стала известным в стране человеком. Правда, она осталась одинокой и вряд ли счастливой в личной своей жизни, но разве это произошло оттого, что она продолжала работать в цеху и изменила свою квалификацию на более высшую,— нет, наверно, ее одиночество объясняется какими-нибудь другими причинами. Ведь большинство замужних женщин в стране не оставляет своей работы, какой бы она ни была, эта работа, и многие из них растут в работе и повышают свою квалификацию,— значит дело здесь не в замужестве.

В тот день, когда Павлуша и Тина справляли свадьбу, у родителей Тины собралось много народу, молодого и старого,— были ребята, и девушки, и уже женатые молодые люди из тех, с кем Павлуша и Тина учились в ремесленном и с кем они работали теперь в мартеновском цехе и в ремкусте сортопрокатного цеха. Даже оба сменщика Павлуши по печи — Афзал Маннуров и Коля Красовский — оба присутствовали на свадьбе своего друга. Ивашенко, начальник второго мартеновского цеха, разрешил по случаю такого выдающегося дня, чтобы

Афзала и Колю подменили их первые подручные, а иначе Коля смог бы прийти уже после восьми вечера, а Афзал — уйти с таким расчетом, чтобы в восемь часов вечера принять смену от Коли. Конечно, это расстроило бы всю компанию. А самое главное, что в этот день Павлуше был дан выходной, и пиршество их началось в пять тридцать вечера и, конечно, часам к семи Афзал уже не был бы способен варить сталь. В этой их дружной тройке совсем почти не пил Коля Красовский, Павлуша мог сильно выпить при случае, но у него не было привычки к вину и он всегда мог управлять собой. А Маннуров был пристрастен к вину и не знал чувства меры. Он принадлежал к более старшему поколению,— в то время ему было двадцать девять лет,— он вырос из самого человеческого низа, он начинал свой путь неграмотным, и еще мальчишкой попал на строительство в Москве в бригаду знаменитого Галлиулина, он рос среди мастеровых людей старого закала, где мало было непьющих людей, и пристрастился к вину с ранних лет.

Конечно, если бы Маннурову не разрешено было передать в этот день свою смену первому подручному, это вовсе не означало, что он не вышел бы на работу в точно назначенное время и не провел бы свою смену с соблюдением всех внешних приличий. Да, он был мастеровым старого закала и в том отношении, что сколько бы он ни выпил, он никогда не мог нарушить дисциплину труда, и не было такого случая, чтобы он не вышел на работу в положенное время. Поэтому было бы несправедливостью сказать, что его принадлежность к старым мастеровым отличала его в дурную сторону от молодежи. Среди молодых рабочих в возрасте Павлуши и Коли, который был на год моложе Павлуши, не меньше было таких же пристрастных к вину, что и среди старших поколений, но сколько было среди них людей без чувства долга и дисциплины и не таких выносливых, а набалованных, их развозило после нескольких рюмок, и они теряли свое лицо рабочего человека настолько, что вся работа шла прахом.

В этом отношении Афзалу Маннурову сносу не было. Очень высокий, худой, жилистый, со смуглым лицом, с двумя резкими продольными и мужественными морщинами на впалых щеках, с черными жесткими волосами,

которые он стриг под «бокс» так, что затылок и виски были голыми и только на темени торчала во все стороны челка этих жестких черных волос, он никогда не считал нужным ни приглаживать, ни причесывать их, и они торчали как хотели. Глаза у него были черно-карие, узкие, хитрые, пронзительные, и, когда он смеялся, а смеялся он охотно, они приобретали выражение не столько веселое, сколько опасное,— а может быть, это опасное выражение возникало не столько в глазах его, сколько от сочетания этого смеющегося, хитрого, пронзительного выражения в узких черно-карих глазах с оскалом рта, и смеялся он тихо-тихо, почти не слышно, в то же время так широко раздвигая губы свои, что на впалых щеках его под скулами ложились резкие морщины и видны были почти все его сплошные крупные крепкие зубы, а с правой стороны сверху обнаруживался недостаток четырех зубов, выбитых в драке его двоюродным братом, каменщиком, когда Маннуров и этот брат его... *(пропуск в рукописи)*.

Одним словом, получилось так, что в течение суток, на которые выпало это торжество, комсомольская печь— рекордсменка, тогда еще только набиравшая всесоюзную славу, была оставлена сталеварами на попечение своих подручных, и, конечно, Ивашенко сам никогда не пошел бы на это, если бы сам директор комбината Сомов не поддержал Павлушу Кузнецова в его просьбе дать выходной всем троим в день его свадьбы.

В этот памятный вечер Васса нарочно подстроила так, чтобы попасть соседкой к Коле Красовскому. Тина видела, что она сделала это для того, чтобы самой посмеяться и посмешить ее, Тину. Она была в ударе, Васса, в этот вечер, который был для двух подруг и вечером прощания,— Тина должна была уже ночевать у Павлуши. Васса выпила неожиданно много вина, но она не опьянела нисколько, нет, только сильный румянец, немного тяжелый, лег на скулы ее матово-смуглого лица, большие карие глаза ее искрились, она подмечала все смешное и так и заливалась хохотом, в то же время она успевала ухаживать за всеми. А когда Тина, сидев-

---

Заметка на полях: Маннуров никогда не брал с собой жену в гости, ее можно было видеть только у него дома, когда она выступала в роли хозяйки.

шая рядом с Павлушей, останавливала на ней иногда свой притихший взгляд, Васса вдруг делала заметное только ей движение руками и глазами, будто она хочет сейчас схватить сидящего рядом с ней Колю Красовского своими полными сильными руками и стиснуть его в жарком и страстном объятии. Ноздри ее раздувались, казалось она вот-вот сделает это; Тина, не выдержав, смеялась, потупив нежное лицо свое, чтобы Коля не заметил, что они смеются над ним, но Коля ничего и не замечал.

Тине было в тайне души не так смешно, как неловко, оттого что Васса, незаметно для Коли, делала его смешным в ее глазах. Коля Красовский был очень молчаливый, очень скромный и, должно быть, даже застенчивый юноша, но эта его спокойная молчаливость и открытый взгляд черных глаз из-под разлетных, черных как смоль бровей, скрывали его застенчивость от людей неопытных. Из-за этой своей молчаливости и скромности Коля вообще редко выявлял свои чувства, его все любили, но мало кто мог рассказать о том, что происходит в душе этого паренька, да никто и не задумывался над этим, настолько Коля ни на что не претендовал. Но чутьем девушки, по признакам таким неуловимым, что она сама не могла бы их определить, Тина видела, что она нравится Коле, нравится с того самого июльского дня, когда Павлуша и Коля ворвались так внезапно в комнату подруг. Она, не давая в том себе отчета, знала, что она даже больше чем нравится Коле, и где-то чувствовала, какую большую нравственную душевную работу должен он был проделать над собой в эти военные и позднее — послевоенные годы, чтобы сохранить к лучшему другу своему Павлуше Кузнецову неизменным чувство ровного дружеского доверия и уважения, хотя нигде и никогда не переходящего в подчинение, но все же признающего за Павлушей как бы положение руководства (сохранить простые ровные и открытые отношения с . . .), спрятать свои чувства от Тины и подавить в себе возможность какого бы то ни было проявления таких чувств, которые могли бы разрушить счастье его друга.

Заметка на полях: Не забыть, как была одета невеста! Как была одета Васса.

Но Тина видела и чувствовала это, и это вызывало в ней чувство признательности и даже какое-то материнское чувство по отношению к Коле Красовскому (всю линию Красовского здесь не развивать, так как все это должно быть дано в дальнейшем).

Она так плясала на этой свадебной вечеринке, что затмила всех, эта красавица Васса. В ней была такая мощь темперамента — в пору женщине, а не девушке; физически развитая и сильная, казалось над всеми смеющаяся, непреклонная, она и манила и отпугивала ребят-юношей, точно каждый невольно спрашивал себя: «А справишься ли» — и боялся не справиться. В конце концов она все-таки обняла Колю Красовского, и он со своей спокойной молчаливостью подчинялся всем ее выдумкам, казалось даже и не заботясь о том, что о нем подумают и как он выглядит перед товарищами, но все-таки она не в силах была развеселить его.

Так они то пели, то плясали, то снова садились за стол и пили за молодых и за стариков и заставляли целоваться Тину с Павлушей, а потом опять плясали и пели. Но гулянка уже шла на убыль, и вдруг, когда сели уже за последний, внезапно притихший стол, когда одни уже упились, другие устали, а молодые уже хотели бы остаться одни, Васса, по-прежнему сидевшая рядом с Колей, вдруг вся вытянулась, помрачнела, румянец сошел с ее щек, и все черты лица ее выступили в их резкой обозначенности, неподвижности, и только большие глаза ее некоторое время напряженно смотрели куда-то уже за пределы этой комнаты, над этим пиршественным столом, составленным из нескольких столов, мимо жениха и невесты, в окно, за которым стояла светлая июньская ночь, но она не казалась светлой, потому что Лаврентий Устинович, отец Христины, по случаю праздника ввернул под абажур над столом двухсотсвечовую лампочку. Так смотрела она, смотрела, Васса, этими своими большими, карими глазами и вдруг упала лицом на крупные руки свои, сложенные одна на другую на краю стола, и зарыдала.

Тина подумала, что Васса зарыдала оттого, что они расстаются. И она тут же, спросив взглядом Павлушу, можно ли, ловко выгнула свое легкое тело из того тесного пространства, которое было ей отведено на скамье между Павлушей, Афзалом Маннуровым, столом и

окном, и, легко проскользнув за спинами гостей вдоль стены, обежала стол и кинулась к подруге, обняла ее и стала ее утешать. Она была расстроена, но не заплакала,— она никогда не плакала с той поры, как вышла из детского возраста. Коля Красовский, с лицом недоуменным и жалостливым, смотрел сбоку на подруг.

Люди постарше подумали втайне, что девушка немного приняла лишнего за этот вечер и вот сердце дает разрядку на ее необузданное веселье. Большинство молодых людей не придавали рыданиям Вассы никакого значения, потому что девчонки либо хохочут, либо ревут, и такое состояние является для них вполне естественным. Одна старая, старая старуха, попавшая на эту вечеринку только потому, что она... осуждала Вассу за неприличие со стороны незамужней девушки на свадьбе. Были такие, что и не заметили, что происходит с Вассой, потому что они уже ничего не способны были заметить, иные уже крепко спали.

И только пьяный, но способный еще выпить четырежды столько и не свалиться, Афзал Маннуров смотрел на плачущую Вассу своими узкими пронзительными черно-карими глазами и смеялся своим тихим опасным смехом, обнажив крупные белые сплошные зубы с темным, как оскал, провалом там, где у него было выбито четыре зуба.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Первая редакция романа опубликована в журнале «Знамя» за 1945 год (№№ 2—12) и в газете «Комсомольская правда» (№№ 83—302 за 1945 год и №№ 44—52 за 1946 год). Отдельным изданием роман вышел в 1946 году в издательстве «Молодая гвардия». Вторая редакция романа опубликована в том же издательстве в 1951 году.

В основу произведения А. Фадеева положена история молодежной подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне в дни временной фашистской оккупации, с сентября 1942 по январь 1943 года. Первые сведения о деятельности молодогвардейцев стали известны в феврале 1943 года из телеграммы, отправленной из освобожденного Краснодона в ЦК ВЛКСМ. Вскоре появились и первые публикации о подвиге краснодонских подпольщиков. Весной 1943 года в Краснодоне работала специальная комиссия ЦК ВЛКСМ, собравшая обширный материал о борьбе краснодонских комсомольцев. Однако, по условиям военного времени, многие факты из деятельности краснодонского подполья оставались неизвестными. «В те памятные дни,— вспоминал секретарь Ворошиловградского обкома КП(б)У А. Гаевой,— когда наш народ впервые узнал о подвиге молодогвардейцев, подробности их самоотверженной борьбы были известны лишь немногим. В ту пору еще шло сражение за Украину и о некоторых сторонах деятельности подпольных партийных организаций нельзя было писать хотя бы по условиям конспирации» («Молодая гвардия». Сб. документов и воспоминаний о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни временной фашист-

ской оккупации (июль 1942— февраль 1943 г.). Издание 3-е, дополненное, Донецк, 1969, стр. 48). После окончания войны в Краснодоне работала специальная комиссия Ворошиловградского обкома партии, раскрывшая по архивным материалам новые факты деятельности большевистской и молодежной подпольных организаций. Важные свидетельства о днях героической борьбы дали оставшиеся в живых члены «Молодой гвардии», родственники погибших героев, жители Краснодона. Так, постепенно, были восстановлены детали исторически реальной картины борьбы краснодонского подполья.

К лету 1942 года, когда над Донбассом нависла угроза оккупации, здесь было организовано партийное подполье, подобраны кадры. Подпольную организацию города Краснодона возглавил Филипп Петрович Лютиков, бывший начальник механического цеха Центральных мастерских треста «Краснодонуголь». Ближайшим помощником Лютикова стал Николай Петрович Бараков, инженер-механик. Ядро большевистского подполья составляли коммунисты Д. С. Выставкин, М. Г. Дымченко, Г. Т. Винокуров и бывший председатель Совета жен горняков Н. Г. Соколова. Основной базой подполья стали электромеханические мастерские немецкого дирекциона № 10, куда в целях конспирации пошли работать Лютиков и Бараков. Пользуясь служебным положением, руководители подполья устроили на работу в мастерские своих товарищей по борьбе, в том числе коммунистов Н. Н. Румянцева, Н. Г. Телуева, Е. Д. Мошкова, С. Г. Яковлева, А. Я. Ельшина, комсомольцев В. Осьмухина и А. Орлова.

Свою деятельность подпольная большевистская организация начала уже в первых числах августа 1942 года (немцы вступили в Краснодон 20 июля) распространением листовок, агитацией среди населения. Одновременно предпринимались шаги по сближению с комсомольцами, не сумевшими эвакуироваться из города и желавшими бороться с фашистами. Была установлена связь с руководителями молодежных групп в городе Краснодоне, поселках Первомайка, Краснодон, селах Ново-Александровка, Шеверевка — Олегом Кошевым, Сергеем Тюлениным, Иваном Земнуховым, Ульяной Громовой, Анатолием Поповым, Майей Пегливановой, Антониной Елисеенко, Клавдией Ковалевой, Степаном Сафоновым. Как свидетельствуют документы, к началу сентября 1942 года «Молодая гвардия» организационно еще не была оформлена. Однако 25 комсомольцев Краснодона, по заданию подпольщиков-большевиков, собирали оружие и распространяли листовки в городе и прилегающих поселках (см. цитированный выше сборник «Молодая гвардия», стр. 47).

Молодежные группы Краснодона быстро пополнялись. Активными подпольщиками стали—стрелок-радист Евгений Мошков, лейтенант Иван Туркенич, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачев, артиллерист Василий Гуков, медсестра Антонина Иванихина, выпускники школы особого назначения Сергей и Василий Левашовы, Владимир Загоруйко, Любовь Шевцова, переводчик Борис Главан.

Объединение молодежных групп произошло в конце сентября 1942 года. Последним толчком к созданию единой организации стала зверская казнь 32 шахтеров, закопанных фашистами 29 сентября живыми в городском парке. На состоявшемся вскоре после этого трагического события совещании по предложению Сергея Тюленина было принято решение назвать подпольную молодежную организацию «Молодой гвардией». Ее командиром избрали Ивана Туркенича, комиссаром — Олега Кошевого, членами штаба— Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Виктора Третьякевича и Василия Левашова. Любовь Шевцова и Ульяна Громова были введены в штаб позже. Вся организация делилась на отдельные группы, созданные по территориальному принципу. В ноябре ряды «Молодой гвардии» уже насчитывали около ста юношей и девушек. 22 из них стали в суровые дни фашистского террора комсомольцами. Комиссар «Молодой гвардии» Олег Кошевой выдавал принятым «Временное комсомольское удостоверение», он же делал отметки об уплате членских взносов.

Работая под руководством старших товарищей-коммунистов, молодогвардейцы наносили ощутимый урон врагу. Освобождение группы пленных красноармейцев, поджог биржы труда, где находились списки советских людей (около двух тысяч), намеченных к вывозу в Германию, водружение в ночь под 7 ноября 1942 года на самых высоких зданиях Краснодона и близлежащих поселков красных флагов, участие в диверсиях, организованных большевистским подпольем в механических мастерских, казнь предателей, нападения на автомашины с немецкими солдатами и офицерами — эти и многие другие дела на счету молодогвардейцев. Патриоты постоянно вели антифашистскую пропаганду, распространяли листовки (их было выпущено 30, тиражом более пяти тысяч), добывали оружие, готовили вооруженное восстание.

Врагу удалось напасть на след «Молодой гвардии» в январе 1943 года, за месяц до освобождения Краснодона. Испытывая острую нужду в деньгах, необходимых для поддержки наиболее нуждающихся семей фронтовиков, молодогвардейцы совершили налет на немецкие автомашины с новогодними подарками. Вскоре полицией был схвачен один из подростков, сбывавший на базаре

сигареты из этих подарков. Не выдержав побоев в полицейском участке, он назвал фамилии тех, кто дал ему сигареты. 1 января 1943 года были арестованы Евгений Мошков и Виктор Третьякевич. На следующий день в руки полиции попал Иван Земнухов, пытавшийся освободить арестованных товарищей. В это время, по наущению своего отчима, агента полиции В. Громова (настоящая фамилия Нуждин), предательский поступок совершает Геннадий Почепцов, входивший в «Молодую гвардию». Испугавшись возможного ареста, он пишет заявление, в котором предлагает себя в качестве доносчика на членов подпольной молодежной организации. Начались массовые аресты, во время которых в городе и поселках были проведены повальные обыски, устраивались ночные засады. С 5 по 11 января в камеры фашистского застенка было брошено большинство членов «Молодой гвардии». Лишь незначительной части подпольщиков удалось выполнить указание штаба «Молодой гвардии» — покинуть город, просачиваться небольшими группами к линии фронта. В эти же дни были арестованы руководители большевистского подполья.

Фашисты и их пособники подвергли арестованных нечеловеческим пыткам, но не смогли сломить волю советских патриотов. Ночью 15, 16 и 31 января молодогвардейцев, коммунистов и других участников подполья вывозили на казнь к шахте № 5. Многих сбросили в шурф шахты живыми. Часть членов «Молодой гвардии» была казнена в г. Ровеньки, где находилась окружная жандармерия. Здесь, в городском парке, 9 февраля фашисты расстреляли Олега Кошевого, Любовь Шевцову, Дмитрия Огурцова, Семена Остапенко и Виктора Субботина.

14 февраля 1943 года в Краснодон вступили передовые части Красной Армии. Не успевшие бежать изменники родины, причастные к гибели молодогвардейцев, пытались скрыть правду о мужестве и стойкости подпольщиков. Следователь полиции М. Кулешов во время судебного разбирательства летом 1943 года заявил, что «Молодую гвардию» выдал В. Третьякевич, не устоявший якобы перед пытками. Потребовались годы, чтобы восторжествовала истина. В 1959 году органами Государственной безопасности был изобличен долго скрывавшийся от возмездия В. Подтынный, бывший заместитель начальника краснодонской полиции. В ходе суда над предателем обнаружились факты, позволившие полностью реабилитировать доброе имя Виктора Третьякевича; 13 декабря 1960 года Указом Президиума Верховного Совета СССР героический юноша посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Таковы основные моменты истории краснодонского молодежного подполья. Приступая в 1943 году к работе над романом, А. Фадеев имел перед собой материалы, собранные упомянутой выше комиссией ЦК ВЛКСМ. 15 сентября 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами членов «Молодой гвардии». Пятерым из них — Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Сергею Тюленину, Ульяне Громовой, Любови Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день в печати появился первый отклик А. Фадеева на события в Краснодоне — очерк «Бессмертие», в котором автор рассказал о героических делах молодогвардейцев, их беспримерном мужестве, дал характеристику пяти членам штаба, посмертно удостоенным звания Героя.

Писатель значительно дополнил материал, представленный ему комиссией ЦК ВЛКСМ. Он около месяца жил в Краснодоне, за это время «опросил большое число людей... ознакомился с материалом допроса предателя Кулешова... встречался с рядом партизан и подпольных работников не только Краснодона, но и других районов Ворошиловградс. ой области» (V, 424)[1].

Подход А. Фадеева к фактическому материалу, его творческому осмыслению определялся в работе над первой редакцией следующими моментами. Во-первых, не располагая к сентябрю 1943 года документальными данными о деятельности большевистского подполья, он считал, что молодежь от начала и до конца действовала самостоятельно. «Люди старших поколений,—писал А. Фадеев в очерке «Бессмертие»,— оставшиеся в городе Краснодоне, для того чтобы организовать борьбу против немецких оккупантов, были скоро выявлены врагом и погибли от его руки или вынуждены были скрыться. Вся тяжесть организации борьбы с врагом выпала на плечи молодежи. Так осенью 1942 года сложилась в городе Краснодоне подпольная организация «Молодая гвардия» (IV, 103). Во-вторых, имея дело с обилием фактов и большим числом лиц, причастных к деятельности «Молодой гвардии», А. Фадеев вынужден был ограничить круг героев, выведенных на авансцену романа. «...Я решил,— говорил он на одной из читательских встреч,— что основное внимание уделю руководящей пятерке членов штаба, которые посмертно получили высокое звание Героя Советского Союза... Кроме того, я решил вывести несколько героев, наиболее близко стоявших к руководству организацией.

---

[1] А. Фадеев. Собрание сочинений в семи томах. М., «Художественная литература», 1970—1971, т. 5, стр. 424. В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию.

К ним принадлежали такие ребята, как Володя Осьмухин, Валя Борц, Анатолий Попов и еще некоторые» (V, 424—425). В конечном счете такое «сужение» диктовалось самой формой романа, требовавшей концентрации действия вокруг небольшого количества действующих лиц. Правда, «перенаселенности» произведения, в силу его реальной основы, А. Фадееву избежать не удалось, но ограничение круга главных героев помогло автору в разработке композиционной структуры, сюжета произведения.

В октябре 1943 года А. Фадеев приступает к непосредственной работе над романом, составляет план и сюжетную схему произведения. В записной книжке появляется заметка: «Начать надо с Ули Громовой. Цветок. На берегу речки Каменки» (А. Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, стр. 596). С намеченной сцены и была начата «Молодая гвардия».

Роман о молодогвардейцах создавался А. Фадеевым на едином дыхании. В письме к болгарским школьникам автор «Молодой гвардии» говорил: «...Я писал этот роман с большим волнением, так как изучение событий на месте особенно наглядно показало мне, какими прекрасными чертами обладает передовая молодежь нашего социалистического общества» (VII, 563). В мыслях, делах, поступках краснодонских юношей и девушек писатель видел характерные черты личности, рожденной советским строем. Типичность образов молодогвардейцев А. Фадеев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях. «Именно потому, что это самая обыкновенная наша советская молодежь, вышедшая из самых обыкновенных рядовых советских семей,— говорил он,— именно поэтому вся деятельность «Молодой гвардии» заслуживает того, чтобы ее изобразить в художественном произведении как нечто типичное для всей советской молодежи» (А. Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, стр. 131).

Журнально-газетные публикации «Молодой гвардии» в 1945—1946 гг. и последовавший за ними выход произведения в свет отдельным изданием стали литературным событием. Роман А. Фадеева получил поистине всенародное признание. В читательских конференциях, посвященных новому произведению, охотно участвовал сам автор. Писатель встречался с учащимися и педагогическим коллективом 110-й московской школы, студентами московских вузов, коллективом завода имени И. А. Лихачева, учащимися ремесленного училища № 3, комсомольцами Куйбышевского района Москвы, писательской общественностью.

Идеи и образы «Молодой гвардии» А. Фадеева нашли широкое освещение на страницах газетной и журнальной периодики. Внимание одних привлекла документальная основа произведения,

других — романтическая одухотворенность характеров молодогвардейцев. Но все сходились на высокой оценке произведения Фадеева. Об имевшихся просчетах романа, вызванных неполнотой изображения старшего поколения подпольщиков-большевиков, впервые было сказано в редакционных статьях «Молодая гвардия» на сцене наших театров» газеты «Культура и жизнь» от 30 ноября 1947 года и «Молодая гвардия» в романе и на сцене» газеты «Правда» от 3 декабря 1947 года. «Из романа выпало самое главное,— подчеркивала «Правда»,— что характеризует жизнь, рост, работу комсомола,— это руководящая, воспитательная роль партии, партийной организации». Справедливость критических замечаний была подтверждена последовавшими публикациями в журнале «Большевик» (№ 19,1948 г. Выступление Н. Михайлова), в «Комсомольской правде» (30 сентября 1948 г., статья Р. Новоплянской), несколько позже — в журнале «Знамя» (№ 8, 1950 г., статья А. Гаевого), в которых на основании фактических материалов раскрывалась связь молодежной организации с большевистским подпольем Краснодона.

Фадеев, признав обоснованность критических замечаний, проделал огромную работу и создал второй вариант «Молодой гвардии». Уже весной 1948 года в его дневниковых записях появляются наброски к теме большевистского подполья Краснодона. Записная книжка писателя пополняется биографическими данными Ф. П. Лютикова, Н. П. Баракова и других большевиков, заметками о деталях организации подполья, явочных квартирах, связи «Молодой гвардии» с коммунистами. В записи от 12 ноября 1948 года автор намечает следующие изменения в романе:

«Развить линию Проценко и его жены.

Иначе обосновать провал Валько.

Изменить образ Лютикова и сохранить его до дней гибели «Молодой гвардии» как руководителя.

Сочетание партизанской борьбы с подпольной работой.

Развить сцену: жена Проценко — Земнухов.

Показать всю организаторскую роль партии в период эвакуации...

По-новому трактовать сцену Шульги — Валько в тюрьме.

Сделать купюры в сценах паники.

Выбросить главу беседы Проценко с Шульгой, заменив ее одновременной сценой (или двумя раздельными),— Проценко организует эвакуацию, Проценко дает указания *Шульге и Лютикову*. Здесь же, возможно, военные люди — командиры отступающих частей,— так сказать, в интермедии» (VI, 503—504).

Примечательна заметка от 13 июля 1950 года: «Где найти место для наиболее показательной, наглядной и увлекательной для читателя деятельности собственно большевистского подполья, т. е. вне сюжетной связи с деятельностью «Молодой гвардии»?» (IV, 514). Однако автор не стал на путь развития самостоятельных сюжетных линий, структура произведения осталась прежней, но текст в целом претерпел существенные изменения: семь глав автор написал заново, двадцать пять основательно переработал, в семь глав внес поправки и дополнения. В произведении была воссоздана более развернутая картина борьбы с фашистскими оккупантами, шире показано партизанское движение в области, городское подполье, руководимое старой большевистской гвардией. В результате доработки более глубокими, художественно убедительными получились образы коммунистов-руководителей.

Фадеев продолжал работу над романом «Молодая гвардия» и после выхода его в дополненной и переработанной редакции. Писатель, по его словам, получал «различного рода ценные поправки от читателей», учитывал их, «когда они справедливы». Он подвергал редактуре решительно все: и собственно авторскую речь, и лирические отступления, и сцены непосредственного сюжетного действия, освобождал текст от разного рода излишеств, стремился к простоте, ясности выражения.

Роман А. Фадеева «Молодая гвардия» является одной из любимых кинг современного читателя. Произведение А. Фадеева знают не только в нашей стране — оно издано на многих иностранных языках, практически обошло все континенты.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Восемь глав этого последнего, оставшегося незавершенным произведения были опубликованы при жизни писателя в 1954 году: газета «Челябинский рабочий» от 6, 7, 10 и 17 октября; журнал «Огонек» №№ 42—45; «Литературная газета» от 11 ноября. Заметки к плану произведения и черновики первых глав впервые напечатаны в 3-м томе посмертного собрания сочинений писателя в 5 томах, выпущенных издательством «Художественная литература» в 1959—1961 годах.

Замысел романа «Черная металлургия» относится к началу 50-х годов. Уже в 1951 году, вскоре после завершения второй редакции «Молодой гвардии», Фадеев говорил о «большой, настоящей песне», которую ему хочется спеть,— романе «о нашем советском рабочем классе, о наших рабочих — младших и старших по-

колений, о командирах и организаторах нашей промышленности» (VI, 187). В том же году писатель обращается в ЦК партии с просьбой о годичном отпуске для работы над новым романом.

Фадееву предстояло «войти в тему», вжиться в реальные факты, искать жизненную основу намеченных конфликтов. Поэтому художник посвящает 1952—1953 годы подготовительной работе, которая оказалась поистине огромной. В письме к А. Суркову в апреле — мае 1953 года А. Фадеев подводил итоги сделанному: «...Я изучил жизнь, быт, производство 9-ти крупнейших металлургических заводов Востока и Юга страны, а также Москвы, проштудировал, по совету академика Бардина, 2 учебника металлургии как следует, прочел немыслимое количество брошюр новаторов производства, изучил биографии таких крупнейших русских металлургов, как Аносов, Чернов, Павлов, Байков, Бардин, изучил биографии Дзержинского, Куйбышева, Орджоникидзе, которые будут показаны в моем романе. Я вложил в роман все лучшее из своего собственного жизненного опыта, все, что я передумал и перечувствовал за 50 лет своей жизни, в этом романе сейчас вся моя душа, все мое сердце». Специалист в области металлургии академик А. М. Самарин, ознакомившись с подготовительными набросками А. Фадеева к роману «Черная металлургия», отмечал: «Во время пребывания на металлургических заводах писатель подробно изучает технологию производства и многогранную деятельность, жизнь огромных заводских коллективов. Большое внимание было уделено работе партийных организаций, методам работы отдельных инженеров и рабочих. Почти на каждом заводе А. Фадеев тщательно изучает жилищно-бытовые условия.

Но это не все. А. А. Фадеев, очевидно, еще до поездки на заводы посвятил очень много времени изучению как практики, так и теории металлургического производства. Помимо обширных выписок из учебников общей металлургии, писатель *детально* изучает отдельные разделы физико-химических основ металлургического производства. Это изучение и позволило с должным знанием дела собрать необходимый материал о направлении и осуществлении технического прогресса в черной металлургии.

Можно только удивляться огромной предварительной подготовке к созданию художественного произведения таким крупным писателем, каким был А. А. Фадеев» (VI, 610).

Столь основательная «подготовка» к написанию романа была необходима для глубоких художественных обобщений, к которым стремился писатель. В своих выступлениях, письмах А. Фадеев подчеркивал обширность замысла романа «Черная металлургия», в котором речь должна идти не только о металлургах и строителях

металлургии разных поколений, а о многих других злободневных вопросах жизни 50-х годов. Вот одно из характерных разъяснений самого автора: «...Наряду с технической интеллигенцией я отвожу большое место интеллигенции гуманитарной — врачам, учителям, журналистам, работникам просветительных учреждений, художественной интеллигенции.

Одна из мыслей этого романа в том, что технический прогресс на путях от социализма к коммунизму должен сопровождаться общекультурным подъемом масс, перевоспитанием душ — без этого коммунизма не построишь, а проделать эту работу без усилий гуманитарной интеллигенции, без отведения ей надлежащего места и в материальном и в духовном смысле — в нашем обществе просто невозможно. Очень большое место в романе отведено месту и роли женщины, ее положению на разных ступенях — в области физического и умственного труда, в деревне и на заводе, в среде партийного и советского актива. Я покажу, как много советский строй дал женщине, но как много он ей недодал. Покажу, как много трудятся целые категории женщин, насчитывающие миллионы и миллионы, трудятся больше мужчин, поскольку одновременно прикованы к кухне, и сколько женщин, ведущих паразитарный образ жизни, там, где заработок мужа это позволяет... Главная же мысль романа — это мысль о коммунистическом перевоспитании людей, подобно тому, как черная металлургия берет в природе уголь, руду, известняк и пр. и пр. и переплавляет в совершенный металл, из которого можно сделать все — вплоть до микроскопа и нитей электрической лампочки. Причем эта переделка человека тоже поистине черная металлургия!» (Письмо Н. А. Магалифу от 17 июля 1954 г.).

Отдавая себе отчет в том, насколько его роман является «самонужнейшим, архисовременным» (письмо А. Суркову, апрель — май 1953 г.), автор стремится предварительно проверить впечатление от написанного им. Слушателями глав «Черной металлургии» были К. Федин, Вс. Иванов, Е. Книпович, И. Андроников и другие. Об одном из таких «слушаний» А. Фадеев пишет жене, А. О. Степановой: «Всеволод Вячеславович (Вс. Иванов.— *Ст. З.*) и Тамара Владимировна... очень меня вдохновили, укрепили. Сказали, что это с читательской точки зрения очень интересно, что они даже не заметили времени, хочется знать, что будет дальше. По подходу к явлениям — это «возвышенно», лишено слащавости, жизненно. Изобразительные средства «на большой высоте», все выпукло, зримо... Одним словом, *очень, очень* хвалили! Всеволод Вячеславович сказал, что если весь роман пройдет на такой «высоте» (sic!), это будет «событием» (учитывая тему)!.. Все это

меня воспалило, и я с аппетитом работаю!..» (Письмо А. О. Степановой от 19 мая 1954 г.).

К сожалению, по признанию самого А. Фадеева, одна из основных коллизий романа оказалась во многих своих гранях устарелой и даже неверной в наши дни. И автору многое предстояло начинать заново. Смерть писателя остановила работу над романом.

Самокритичный, требовательный к себе художник, А. Фадеев счел возможным опубликовать лишь восемь глав из своего романа. И все же опубликованное при жизни писателя начало «Черной металлургии» вкупе с обширным материалом заготовок, набросков к роману дают весьма отчетливое представление о размахе последней творческой работы большого художника, его стремлении идти непроторенными путями, поднимать насущно важные проблемы своего времени.

Ст. Заика

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович

ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том IV

Редактор тома
Е. А. Ромашкина

Оформление художника
Р. И. Боролина

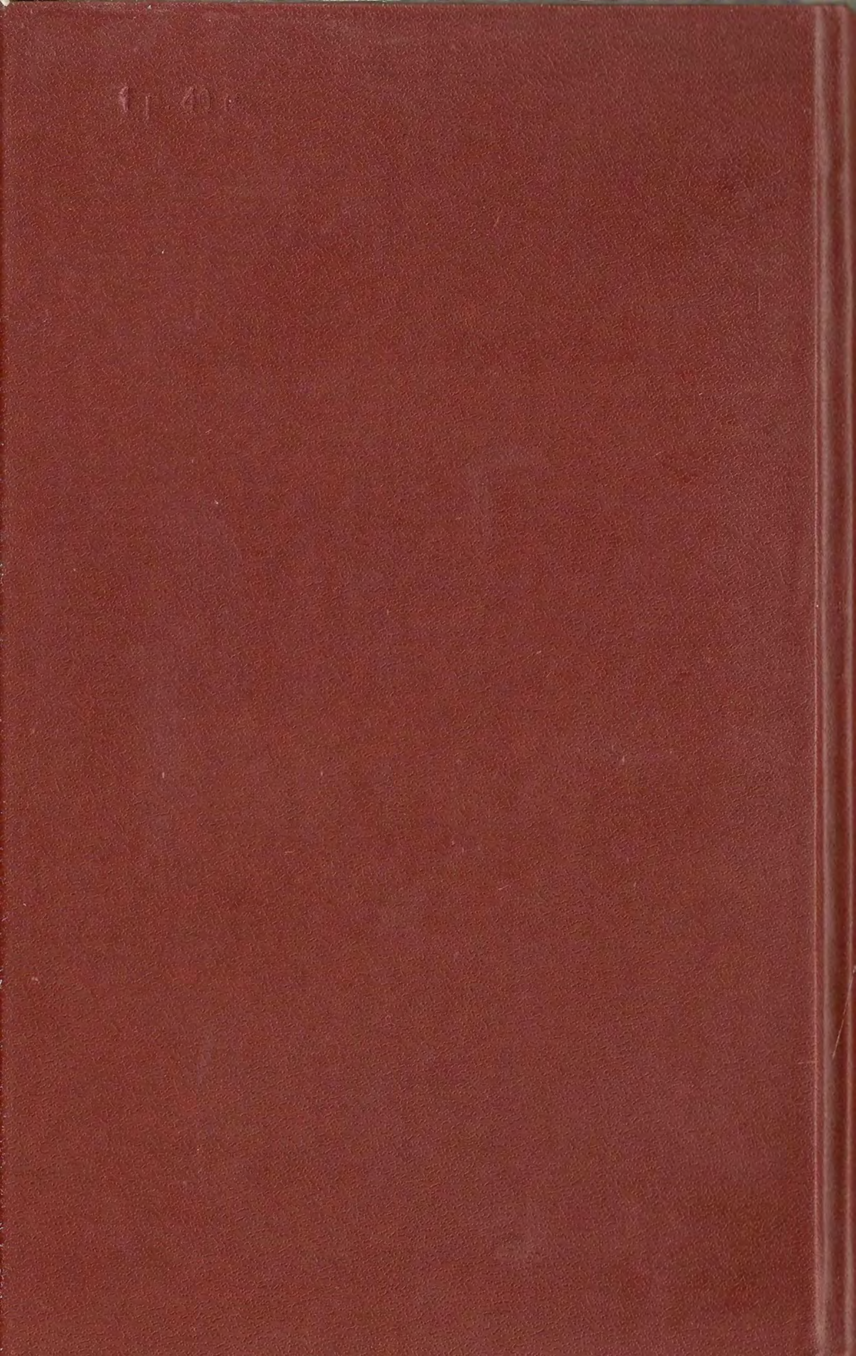
Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 27.09.79. Подписано к печати 02.02.80.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,78. Уч.-изд. л. 25,03. Тираж 600 000
(400 001—600 000) экз. Изд. № 3020. Заказ № 4749.
Цена 1 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865. Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.

Индекс 70684


1 р. 40 к.